

КОНТИНЕНТ

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТИНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

94

С ним - в его-то годы! - стряслось самое непредвиденное и опасное, ему задурила мозги девчонка несоизмеримого с ним возраста...

Анатолий Азольский



Описанная Чеховым Россия, исторически далекая от нас, в действительности никак не делась, она с нами, в нас.

Валерий Мильдон

Отвергнутый культурной элитой всех стран и народов, триллер завоевал сердца наследников как д'Артаньяна, так и князя Мышкина. Почему?

Марина Адамович

И Он сказал мне -
пять твоих мужей
Мужьями тебе
не были, но плача
Об участи
бесхитростной своей,
Ты знать должна,
что можешь жить
иначе.

Ирина Соголова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В НОМЕРЕ.

Стихи:

Валентины Ботевой, Бориса
Викторова, Владимира Пе-
шехонова

Рассказы:

Сергея Бабаяна, Павла Ка-
таева, Ольги Постниковой,
Дмитрия Стакова

Статьи:

Александра Гениса, Алек-
сандра Годлевского и Ки-
рилла Подрабинека, Григо-
рия Померанца, Зиновия
Фаликова, Владимира Шо-
хина



Мир устроен просто.
Все состоит из пятен:
пятна домов, пятно неба,
пятно деревьев, пятно сне-
га... Жизнь - сплош-
ной восторг открытия
мира...

Анатолий Слепышев



Перемены начала 90-х создали иллюзию близкого про-
рыва, качественного скакча в совершенно
иную эпоху. Сейчас, увы, ясно, что про-
рыва придется по-
дождать.

Юрий Каараманов

ЧИТАТЕЛЬ!

Вы держите в руках журнал, который был основан в 1974 г. в Париже Вл. Максимовым и за 17 лет своего зарубежного существования приобрел мировую славу как ведущий орган вольного русского слова, противостоявший идеологической экспансии коммунистического тоталитаризма.

После крушения коммунизма, когда задача духовного сопротивления ему утратила свой актуальный смысл, Максимов передал журнал новой редакции в Москву, и новый «Континент», сохранив преемственность с прежним, стал в ряд отечественных периодических журналов.

Как видим мы себя в этом ряду, что отличает «Континент» от других «толстых» журналов?

Во-первых, «Континент» выходит 4 раза в год и не печатает прозу с продолжением. Поэтому каждый его номер делается как вполне самостоятельная «книга для чтения», в которой мы стремимся к тому же всегда представить достаточно разнообразные по художественным манерам тексты, отражающие главные тенденции литературного процесса. Журнал открыт для молодых талантов, но читатель всегда, в любом номере, встретится в нем и с самыми известными писателями сегодняшней России.

Во-вторых, ни в одном журнале нет столь объемных и столь разнообразных публицистических рубрик, где обсуждаются самые острые проблемы современной российской и мировой жизни. При этом, печатая из номера в номер большие тематические подборки, мы всегда стараемся представить в них разные точки зрения. «Континент» стал сегодня, можно сказать, своего рода постоянным форумом такого рода дискуссий, в которых участвуют самые видные авторы России и Запада.

В-третьих, мы регулярно печатаем раздел БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА», не имеющий аналогов в других журналах: в каждом номере — подробный аннотационный обзор прозы и критики в русской периодике за предыдущий квартал, а раз в полгода — религиозно-философской и культурологической мысли. Это дает читателю уникальную возможность надежно ориентироваться в современном культурном процессе.

И в-четвертых, журнал постоянно и широко знакомит своих читателей с творчеством выдающихся деятелей современной зарубежной (в том числе и русской) культуры, значительно превосходя в этом отношении почти все другие общелитературные «толстые» российские издания.

Что представляет собою «Континент», осознающий себя традиционным для России «журналом с направлением», по своим ценностным позициям? Ваш ли это журнал?

Мы могли бы ответить на это примерно так:

— Если Вы противостоите всякой угрозе коммунистического реванша, но отнюдь не приемлемте и торжествующий беспредел современной рос-

Далее см. 3-ю страницу обложки





Финансирование
типографского и редакционно-издательского процесса
выпуска журнала «Континент» обеспечивается
ИНКОМБАНКом

КОНТИНЕНТ

*Литературный, публицистический
и религиозный журнал*

Выходит 4 раза в год

94

1997, № 4
октябрь — декабрь

ПАРИЖ • МОСКВА

КОНТИНЕНТ — CONTINENT

Журнал основан в 1974 году в Париже
писателем Владимиром МАКСИМОВЫМ

Издатели:

Редакция журнала «Континент»
Издательство «Московский рабочий»

Учредитель — И.И. Виноградов

Журнал зарегистрирован в Комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № 014255

**Адрес редакции: 101923, Москва,
Чистопрудный бульвар, 8.
Телефон: (095) 928-97-42**

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются,
и в переписку по этому вопросу редакция не вступает

При перепечатке наших материалов ссылка на «Континент»
обязательна

Авторы несут ответственность за достоверность
приводимых ими фактов и цитат

© ТОО «Журнал «Континент»

© Название журнала «Континент» — В.Е. Максимов

Главный редактор
Игорь ВИНОГРАДОВ

Редакционная коллегия:

Сергей АВЕРИНЦЕВ

Василий АКСЕНОВ

Виктор АСТАФЬЕВ

Ценко БАРЕВ

Александр БЛОК

Армандо ВАЛЬЯДАРЕС

Галина ВИШНЕВСКАЯ

Георгий ВЛАДИМОВ

Ежи ГЕДРОЙЦ

Густав ГЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ

Пауль ГОМА

Алла ДЕМИДОВА

Ион ДРУЦЭ

Андрей ЗУБОВ

Вячеслав ИВАНОВ

Фазиль ИСКАНДЕР

Оливье КЛЕМАН

Роберт КОНКВЕСТ

Наум КОРЖАВИН

Эдуард КУЗНЕЦОВ

Александр КЫРЛЕЖЕВ

Николаус ЛОБКОВИЦ

Эдуард ЛОЗАНСКИЙ

Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ

Жорж НИВА

Амос ОЗ

Ярослав ПЕЛЕНСКИЙ

Лариса ПИЯШЕВА

Виктор СПАРРЕ

Карл-Густав ШТРЕМ

Юлиу ЭДЛИС

Сергей ЮРСКИЙ

Представители «Континента»

Израиль

Юлия Эйдельман
Hashaftim 22
64365 TEL-AVIV, ISRAEL
☎ (03) 69-67-375

Италия

Джулия Филиппелли
Via Olmetto, 5
20100 MILANO, ITALIA
☎ (2) 86-45-47-23

Канада

Ольга Бутенко
1221, Boul. Rene Levesque
SILLERY QC G1S1V8, CANADA
☎/fax (418) 688-1221

США

Эдуард Лозанский
1800 Connecticut Ave., N.W.
WASHINGTON, D.C. 20009 USA
☎ (202) 986-6010, fax (202) 667-4244

Франция

Татьяна Максимова
5 rue Chalgrin, 75116 PARIS, FRANCE
☎ (1) 45-00-67-56

Швейцария

Жан-Филипп Жаккар
104 rue de Carouge
1205 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 321-4052

Нелли Биуль-Зедгинидзе
25 Malagnou
1208 GENEVE, SUISSE
☎ (22) 736-40-69

Латвия,
Литва,
Эстония

Леон Габриэль ТАЙВАН
Raina bulv., 19
LV 1586, Riga, LATVIA
☎ (3712) 234-145

СОДЕРЖАНИЕ

Ирина СУГЛОБОВА	
Обнаженное имя. Из цикла «Причастницы». <i>Стихи</i>	9
Анатолий АЗОЛЬСКИЙ	
Труба. <i>Повесть</i>	15
Валентина БОТЕВА	
Я знаю, что время не лечит... <i>Стихи</i>	68
Ольга ПОСТНИКОВА	
Тристан и Изольда. <i>Рассказ</i>	72
Борис ВИКТОРОВ	
Взрывали обреченную Иню. <i>Стихи</i>	86
Сергей БАБАЯН	
Два рассказа	91
Владимир ПЕШЕХОНОВ	
Четыре стихотворения	113
Павел КАТАЕВ	
Вид с горы Волошина. <i>Рассказ</i>	115
Дмитрий СТАХОВ	
История надежд и разочарований Кочешковой. <i>Рассказ</i> . .	130

РОССИЯ

Юрий КАГРАМАНОВ	
От какого наследства мы отказываемся	149

ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА, ДОКУМЕНТЫ

Кирилл ПОДРАБИНЕК, Александр ГОДЛЕВСКИЙ	
Правосудие в России?	184

РЕЛИГИЯ

Борис ФАЛИКОВ	
«Новый век»: назад в будущее	194

ГНОЗИС

Григорий ПОМЕРАНЦ

Из цикла эссе «Работа любви»..... 216

ПРОЧТЕНИЕ

Валерий МИЛЬДОН

Вся Россия — наш сад (о провидческих мотивах творчества А.П. Чехова)..... 229

Валерий СЕРДЮЧЕНКО

Зона Ш. (Опыт литературной фантасмагории)..... 246

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ

Симпозиум в Норвиче — литература в постсоветской

России..... 262

Марина АДАМОВИЧ

Преступление или наказание?

(Американский и российский триллер)..... 263

Александр ГЕНИС

Обживая хаос. Русская литература в конце XX века..... 277

ИСКУССТВО

Анатолий СЛЕПЫШЕВ

Этюды о Тяпушкине 296

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» 342

РАЗНОЕ

Владимир ШОХИН

О православии, цареславии и воцерковляемом монтганизме. (По поводу статьи прот. Валентина Асмуса и не только)..... 371

От редакции 396

ОБНАЖЕННОЕ ИМЯ

Из цикла «Причастницы»

*Когда встали женщины эти, потупясь,
И робко их дети вослед побрали,
Смеялись надменные книжники — глупость.
Но плакали мытари и рыбари*

*От счастья. Так Бог не здоровых, но хворых
Поднявши, воздвиг одесную себя.
Страницы — и странницы, те, из которых
Пришла, припадая, по памяти я.*

Самарянка

И он сказал мне — пять твоих мужей
Мужьями тебе не были, но плача
Об участи бесхитростной своей,
Ты знать должна, что можешь жить иначе,
Что можно не мотаться каждый день,
К ручью таская углую посуду, —
Наслушавшись чудных Его речей,
Я жаждать никогда уже не буду.
Но эта речь сама во мне ключом
Пробьется, потечет — куда забыла...
Я всё спросить хотела вот о чём —
Упьется ль вечной жизнью тот мой милый,
Который, пусть не муж, но дома ждет
И добр ко мне, и гвоздь прибил у двери.
Он посмотрел, всё видя наперед,
Сказал — спасенья жди от иудеев.
И кланяться велел не на горе,
Но в истине и духе поклоняться.

Ирина
СУГЛОБОВА

— родилась в г. Тамбове. Окончила Литературный институт. Подборки стихов публиковались в журналах «Литературная учеба», «Духовный собеседник», «Литературный Тамбов», в альманахе «Богема». Живет в Москве.

А как мне в эту истину пробраться
И тело здесь оставить или где, —
Я не успела обо всем спросить,
Пришла толпа с базара — загадделя,
И прервалась беседы нашей нить.
И я ушла — настолько оробела...
Но как же Он пронзительно красив,
Как профиль этот горестен и светел,
Как улыбался тонко, словно дети,
И как спокойно был светлоречив,
И как знакомы мне Его черты...
Пути моих любовей подытожа,
Подумать даже грех, помилуй Боже...
И вот не принесла домой воды.

А вот хожу и пристаю к прохожим:
— Идите же, смотрите на Него...

* * *

Я жена Иуды Искариота.
А вернее — брошенная им баба.
Не пойду я мирро лить — неохота,
Видишь — мне самой с собой нету слада.
Ты и так воскрес теперь, как писали,
И сосуды зря они тащат в гору.
Я не спорю, Господи, с небесами —
Я одна причастна его позору.
Все причастны правде Твоей и силе,
А с причастниц грех Ты снимаешь тут же.
Только — чтоб повсюду не голосили —
Не скажи, что он был Тебе не нужен.
Ты увел Иуду как будто в гости,
Чудной речью увел от меня прельстивши.
Вон — растут еще борода и ногти —
Как он, значит, верит, что всех простишь Ты.
Не следи за мною скорбящим оком, —
Станут овцы многие Твоим стадом, —
Хоронить дозволь его одиноко,
Коль не смог оставить с Собою рядом.
Я пойду по пыльной дороге в поле,
Пусть закроют храмы пред мной повсюду —
Не Твоя ль на все была — Божья воля —
И не Сам ли Ты торопил Иуду?

Так, споткнувшись где-то в дверях вокзала,
Прошепчу, охрипшая от простуды,
Что должна сказать была — не сказала —
иудее, стало быть, я Иуды.
Но, пройдя сквозь время и сквозь пространство,
Мне ли нынче сетовать на дорогу?
Мне ль у Бога требовать постоянства?
Вот и снег пошел уже... —
слава Богу.

Раав

1

Раав, принявший двух израильтян,
Лишь этим и отмеченной пред Богом,
Влачи душа, свой пагубный изъян
По черным хлябям, по большим дорогам.
Над разоренной родиной своей,
Предательством не выторговав права
Узнать, зачем над гибелюю детей
В живых тебя оставили, Раава.

2

Раав-блудница, нет тебе закона,
К лицу ль тебе следы душевных мук
В борьбе за двух с царем Иерихона
(А после с Богом тех посланцев двух)?

За что — уже сама не понимая,
Ведь никого из пепла не поднять,
За то ль, что всех каморка не вмешала,
Что прокляли потом отец и мать,

Иерихон в твоих изгибах тела,
И в молоке твоем и в волосах,
Ты проклята — и стало быть за дело,
И поделом весь этот стыд и страх.

Вот-вот в одну трубу вструбят мужчины —
Где первенец и где последыш твой?
Ты хочешь знать проклятия причину —
Она ж и родилась вместе с тобой,

Раав-блудница.

Еве

1

Преодолевая дремучее бремя проклятья,
Опять застываю над первой главой Бытия —
Наверное Еве в раю теперь выдали платье,
Не ходит нагою нагая праматерь моя.

Наверное Ева вновь, в кущи вступая несмело,
Искала то древо — не древо познания зла —
Не то, от которого плод ослепительный съела,
А то, на котором шершавые листья рвала.

Я дочь назвала в честь прощеной праматери Евы,
И на подоконнике, в старом цветочном горшке,
Без семени, чудом, смоковницы выросло древо —
И линия жизни на каждом простертом листке.

2

Дочери Еве

Будешь ты обнаженное имя свое
так носить — как монахини носят вериги.
Дом сиротский — любое земное жилье,
но, как спелые смоквы, мудреные книги.
Этот щелест страниц вспеленает тебя,
воспитает своим нескисающим млечом —
постоялица дола, жиличка дождя,
весть оттуда, побудь среди нас человеком.
Походи по хворобышным чахлым полям,
износи колокольчиков гулких веночек,
отработай праматери радость и срам —
да помедлит Господь с расставлением точек...

* * *

Я девка — я хожу на босу ногу,
А то и вовсе босиком хожу.
Я кожей помню каждую дорогу —
Проезжую, тропинку и межу.

Меня беря, — татан не представляли.
Бросая, не сдавали палачу.
Мне на прощанье вольную давали,
Чтоб я могла идти куда хочу.

Хотелось к речке, к омуту сбычно,
И с легкою поклажею своей
Я вскоре превращалась в щебет птичий,
В беспечный всплеск русалочных ночей.

И опыта во мне такого нету —
Лицом к лицу чтоб аккуратно врозвь,
Чтоб быть подсудной ветреному свету,
За то, что грезилось, а паче — не сбылось.

Теряя вкус и самообладанье,
Забывши Бога, всякий ад и рай,
Как я вмешу проклятья все... признанья —
В одно *прости*?

Прощай меня...

Прощай.

* * *

Хочу быть второгодницей. Хочу
Остаться у Создателя на осень.
И тыгчу в небо тускую свечу,
Как двоечница перышко заносит,

Когда учитель требует тетрадь
И три звонка слились в едином визге:
Позвольте мне пол слова дописать,
Позвольте дописать... еще полжизни...

Я, кажется, еще не поняла,
В чем *суть* и что ошибочно и мнимо:
Я комкаю невнятные слова —
Плоть от тетради так неотделима.

Позвольте мне, преодолевшей стыд,
Одеться в черный фартук на неделе,
И детский мусор выцветших обид
Повытряхнуть из ветхого портфеля.

И прежних жизней грязный черновик
Переписать на белую страницу...
Я не успела — дайте научиться —
Прощу я, плача шепотом... и в крик...

* * *

Я хочу в город Львов,
Там, наверное, львы.
Боже мой... там, наверное, львицы...
Даже если мне там не сносить головы,
Я хочу причаститься.

Посмотреть, как выводят медлительных львят
Златогривые дамы.
Помолюсь я — так после меня разорят
Православные храмы.

Город царственных львов, город древних потерь,
Позолоченно-ржавый,
Все тебя, словно девку с постели в постель, —
Из державы в державу.

Удержать журавля ли хочу в рукаве?
Иль замечена в краже?
Я хочу в город Львов, он в неведомом дне —
Может, немцы там даже?

Я хочу, город Львов, чтобы ты мне вернул
Под столичные крыши
Одного, что до льва-то и не дотянул,
В львы не вышел.

Для чего тебе подслеповатый поэт?
Он тебе ко двору ли?
Я б его увезла сквозь хохочущий бред
В дом, где раки зимуют.

Вот проявится поезд из режущей тьмы,
Сквозь скрипящие тонны.
Я хочу в город Львов, потому что там ты,
Потому что ... погромы.

Я хочу в город Львов — там, наверно, весна...
(Обрываясь на стоне):
Даже если там нет ни тебя, ни хрена...
Ничего... Покурю на перроне.

ТРУБА

Повесть

1

Восемь цехов на заводе, отделов столько же — главного механика, главного энергетика, главного технолога, труда и зарплаты, планово-диспетчерский и так далее. Много позднее, когда завод, построенный в военной спешке, стал гнать и мирную продукцию, возник отдел нестандартного оборудования (ОНО).

Ранее все рукотворное, вспомогательное и самодельное (под общим названием «фиговина») учитывал — не глядя, на веру, — инженерик без должности; этот скучавший от безделья паренек прославил себя изобретением складного металлического стакана с нанесенными изнутри круговыми метками, которые способствовали равному — по числу однобутыльников — разлитию обыкновеннейшей водки в сосудах типовой вместимости. На патент шутник не замахивался, рассчитывая на заказы, которые потекут к нему после сотворения столь великолепного образца универсального мерного устройства. Однако вскоре безжалостная производственная жизнь поставила перед ним невыполнимые задачи. Обнаружилось, что завод не выживет, если быстро стареющие станки не дооборудовать — для обретения второго дыхания — дополнительными устройствами много сложнее стакана. Все эти купленные на бесценную валюту и лежавшие на смертном одре агрегаты создавались в Италии и Франции, где борьба трудящихся за сорокачасовую неделю чудным образом отразилась на живучести механизмов: проектировались они в расчете на отдых и лечение по субботам и воскресеньям. На новом месте обитания

**Анатолий
АЗОЛЬСКИЙ**

— родился в 1930 году в Вязьме. Окончил высшее военно-морское училище имени М. Фрунзе, служил на флоте, после демобилизации работал на производстве. Автор романов «Степан Сергеевич» (1987), «Затяжной выстрел» (1987) и многих повестей, в том числе — «Легенда о Травкине» (1990), «Пароход» (1990), «Лишний» (1990), «Клетка» (1996). Живет в Москве.

царили, однако, иные порядки, цеха по субботам громыхали в две смены, раны же залечивались теми, кто и без пометок на стакане знал, сколько налито. Заводское начальство подсуетилось и выбило у главка тарифные ставки дляспешно созданного отдела. Шустрого инженера выставили за проходную, начальником сделали опытного механика. Но он вскоре проворовался. Взяли рекомендованного товарища со стороны, этот подолгу стоял на заводском дворе, глаз не сводя с легкого дымка над трубой. Прославился он немалой эрудицией и однажды, взирая на воткнутое в небо продолжение котельной, произнес мало кому известное сравнение: «Луна стояла над трубой, как точка над і». Он же вознамерился ликвидировать вверенное ему детище, подсчитав убытки, наносимые заводу отделом нестандартного оборудования, — и, разумеется, был уволен, после чего должность начальника ОНО долгое время оставалась вакантной. Занял ее наконец смешливый Гафур Галибин. Все сумасбродства свои этот расторопный парень объяснял анекдотическим присловьем: «Нам, татарам...». При нем все цеховые переделки и доделки стали «внедрением новой техники» с выплатой премиальных не только начальнику ОНО, но и главному инженеру вкупе с директором, что позволяло всей троице кормиться премиями, раза в три большими оклада. С этого хлебного места Галибин сбежал, возбудив ложные, к счастью, толки о скорой ревизии и небеспорученные слухи о своей непреодолимой тяге к выпивке.

Наконец, после долгих колебаний во главе ОНО поставили сорокапятилетнего Андрея Петровича Оглезнева — из НИИ, на разработках которого жил завод и за спину которого прятался при всех комиссиях.

2

Без радости принял Оглезнев отдел, в НИИ сулили ему кресло главного инженера, а оттуда возможен скачок еще повыше. Пять лет назад умерла его жена, так и не народив детей, холостяцкие расходы невелики, большие деньги не прельщали, до пенсии далеко, мороки же на новом месте хоть отбавляй. Завод он, правда, знал, не раз включался в комиссии по разным скользким историям.

Расписавшись в охране и получив ключи от кабинета и сейфа, он без любопытства шел к скромному двухэтажному корпусу, что рядом с котельной. Но стало почему-то радостно, когда подалась дверь кабинета и он вошел в пространство, залитое до краев, от потолка до пола, светом сверкающего зимнего дня. В торце корпуса, на втором этаже был этот громадный — с трехкомнатную квартиру — кабинет, и выходящие на юг и восток широкие и высокие окна как бы сообщали его с простором всей Москвы,

планеты, неба, где в безмолвной неподвижности застыли две молочного цвета тучки. От служебных покоев сбежавшего Галибина веяло домашним уютом, даже канцелярские шкафы, ломящиеся от технической литературы, и стеллажи с папками походили на серванты и буфеты. В сейфе — недопитая бутылка водки и, как послание потомкам, тот самый складной металлический стакан, что прославил отдел. Паркет под ногами приятно потрескивает. Тепло. Сухо. На том же этаже — конструкторы и технологи отдела. Ниже погромыхивали станки механического участка, мастер его кратко и дальне доложил Оглезневу о делах насущных, и Андрей Петрович решил впредь чутко прислушиваться к этому человеку, ибо мастер всем угоден и удобен был — и творцу складного стакана, и ворюге механику, и придурковатому эрудиту, и махинатору Галибину.

Десять или двенадцать костюмов сносил Оглезнев за взрослуу жизнь свою, дюжину пальто, плащей, курток, шляп, беретов и шапок, полусотню рубашек, начиная с детских, неисчислимые пары носков, какое-то неопределенное количество трусиков и маек, ботинок, галстуков, тапочек, наручных часов и прочей мужской дребедени, то делавшей его похожим на всех мужчин, то отличавшей от них. Купленные новенькими, они ветшали и прели с годами, рвались, латались и потом куда-то исчезали. То ли покойная супруга отдавала эту рухлядь деревенской родне, то ли на помойку летели износки, то ли в тряпки для мытья полов превращались... И не припомнить уже, куда подевался прекрасно спицый костюм из голубой индийской шерсти и где зеленый пулlover, некогда хорошо облегавший ладное тело Андрея Петровича Оглезнева.

Точно так же обветшали, износились, прорвались до дыр и потеряли всякое сходство с первовиденным все мысли Оглезнева о прошлом, в котором, наверное, были острые и возбуждающие события. Иногда по утрам свежий нос его улавливал в уличной гари запахи тех дней, которые казались знаменательными, поворотными, но потом ни обрывки старых мелодий, ни поднявшиеся вдруг с самого дна памяти давно забытые люди более его не тревожили. Он и женщины (а их было много!) уже подзабывал, и к приходу на завод, куда определен был переводом, то есть без заполнения обязательных анкет и собственоручно написанных автобиографий, к сорокапятилетию своему о прошлой жизни вспоминал пунктирно: Москва времен строительства метро, школа, оконченная перед самой войной, бестолковые десанты, поиски кипятка на станциях, вновь столица, институт, какие-то чертежи, им завизированные, женщины разных возрастов и

склонностей, жена, инженер нормоконтроля, тихая и любящая, попытка защитить диссертацию, смерть родителей, до самой кончины занятых наукой, этот вот НИИ со склоками... Давно улегшиеся волнения, давно заглохшие страсти, которых, кажется, и не было. Правда, хотелось купить автомашину, и очередь на нее подходила уже в НИИ...

Тепло и мирно было в этом кабинете, покоем дышал он. Андрей Петрович уселся в кресло с высокой спинкой, проверил телефоны. Настроение было отличное, он будто хорошо помылся, переоделся во всё ненощеное, и (глянул еще раз в южные окна) невинными ягнятами паслись в небе две тучки, на которые набегал вопрос: очередь на «Москвич» — сохранится за ним?

Не только не сохранилась, но и продвинулась вперед, автомашиной директор НИИ как бы принёсил Оглезневу извинения за то, что в кабинет главного инженера выехал другой специалист.

И потекла заводская жизнь. За год Оглезнев купил машину, в отпуске объездил Прибалтику, в Москве частенько притормаживал у куда-то спешащих женщин, знакомился, кое-кому позванивал... Сорок седьмой год пошел уже, однажды прикатил он в главк по сугубо производственным делам и заговорил в коридоре с женщиной, не имея никаких конкретных сиюминутных целей, а просто потому, что женщина была миловидна, и встретил не ответное желание убить время за игрой, а тупое непонимание, разъясненное двумя взглядами, по нему проскользнувшими, и если первый пронизан был сарказмом («Еще и этот kleится...»), то второй, более снисходительный, рекомендовал не в меру прыткому мужчине вспомнить о возрасте. Он отвернулся, к своему стыду признавая правоту немилосердной бабы... Работа и дом — вот твоя любовь, вот где твои страсти, и пора, пора заняться ремонтом квартиры...

3

Вставал он обычно в половине седьмого, пустно завтракал, неспешно катил на машине к проходной и погружался в привычный ритм царящего на заводе беспорядка. Отдел разросся, заманив премиальными умелых работяг и башковитых инженеров, всеми делами управлял мастер, по уграм приходивший к Оглезневу с обстоятельным докладом, который уладил бы душу замдиректора по кадрам и режиму: кто что кому говорил, в чем суть заявки такого-то цеха на то-то и то-то, по какому поводу и на чьи деньги пили вчера в раздевалке, чем объясняется интерес главного технолога к секретарше директора, надо ли гнать в три шеи проходящего испытательный срок инженера или повремен-

нить. Оглезнев молча выслушивал конфиденциальную информацию, видом своим показывая, что она «принимается к сведению». В одиннадцать — планерка, потом хождение по цехам, в пять вечера — улыбка вахтерше, и «Москвич» трогался со стоянки. Иногда задерживался на испытаниях новинки, придуманной не-угомонными русскими мозгами во вред производству и на благо начальства. Так вот и засиделся однажды в кабинете, ожидая обеда вечерней смены, когда цех обесточится, новинку быстро подсоединят и опробуют. Ждал, поглядывал на часы, дважды поднимал трубку телефона, так и не поняв, кто звонит, и решил, что это начальник цеха таким наивным способом удостоверяется: Оглезнев здесь, ждет и готов по первому зову идти к месту предстоящих испытаний.

Слоняясь по кабинету, подошел он к окну на восток. В полусотне метров — здание гальванического цеха, глухая стена его смотрела на Оглезнева трубами вентиляции, вытяжной и приточной. Левее же гальваники пролегала аллея, ведущая к проходной. Оглезнев глянул вниз, бесцельно, никакого интереса не испытывая, и увидел — в оживленной беседе — женскую парочку на аллее. Болтуны выбрали очень неудачное место, не в тени (июньское солнце еще не скрылось за корпусами дальних цехов) и в оглушающем шуме: вентиляция гальваники работала на полную мощь, воздуховоды создавали,ibriруя, противный надоедливый гул. Спиной к Оглезневу стояла в синем халатике кладовщица гальваники, у ее собеседницы рабочий день уже кончился, на ней был сарафанчик скромной расцветки — девушку в сарафанчике этом Оглезнев часто встречал на заводе, от вида ее впадая в горестное недоумение и еще во что-то, имя чему — осознавание себя пожилым и стареющим, тем, кого время лишает известных мужских радостей не со зла, а потому, что иначе и не может быть. При встречах девушка опускала глаза, позволяя рассматривать себя долго и внимательно, не отгоняя мужские взоры встречным укоряющим взглядом, и Оглезнев видел не только покорность еще несмелой девчушки, но и — будто сквозь дымку проступающие — очертания будущей женщины, той, которая была только намеком, предвестием скорых изменений недозавершенного облика. Появилась эта девушка на заводе поздней осенью, а в начале зимы мастер, как всегда смотря куда-то в угол, доложил: Таня Воронихина, двадцать три года, кончила Менделеевский институт, химик-аналитик в группе экспресс-контроля. Агентурную сводку напоминали порою доклады мастера, и Оглезнев, никогда доносы не пресекавший, промолчал и на этот раз. Но запомнил. Молодой специалист же все чаще

напоминал о себе, сталкиваясь с Оглезневым на заводских аллеях и в проходах между цехами; однажды он, хороший рисовальщик, потянулся к карандашу и набросал смешные рожицы, всмотрелся в одну из них — и узнал новую химичку, двумя штришками преобразил ее милое лицо — и засмеялась Таня Воронихина, показывая превосходные зубы, и брови взметнулись, приглашая мужчин к разговору, к знакомству. Пять лет варилась, надо полагать, в студенческом котле, освоилась в нем — и вдруг завод, к которому ее не подготовили, и страстно хочется войти в новую жизнь, взрослую и греховную; и уж, конечно, чья-то мужская рука подтолкнет ее к манящей пропасти женских страданий или поведет к вершинам наслаждений — чья-то, но не его, Оглезнева, потому что надо знать меру, время его прошло.

Она очень ему нравилась. Он любовался ею, как актрисой, впервые на экране играющей, неумело и честно, какую-то второстепенную роль. Она была за стеклом, как драгоценность на выставке.

Теперь эта девушка живо обсуждала какую-то вовсе не химическую проблему, помогая себе жестами (в подывании вентиляционных труб к интонациям не прибегнешь), изменениями позы, и будущая женщина уже проявлялась в ней; девчушка, как голубь невинная, использовала язык телодвижений, столь же знакомый всякому опытному мужчине, как радиостанция — азбука Морзе. Она, пребывавшая в девственности, показывала, какой будет в постели, у детской кроватки и на кухне, и Оглезнев, глаз не сводивший с пылких говорушек, отдал должное гибкости плечевых суставов химички, ее умению перемещать центр тяжести тела, наиболее выгодно показывая свою фигурку. Стой рядом с нею любимый мужчина — и девичьи руки взметнулись бы, легли на плечи счастливчика, голова прильнула бы к нему, но поцелуй обязывал тело удлиниться, она встала бы на цыпочки, чтоб дотянуться до щек или губ юноши, того, с кем, конечно, уже знакома и которому сейчас предъявляет себя — в воображаемой наготе, потому что обреченное опускание рук намекало на то, что они, руки, не станут препятствовать раздеванию...

Ревнивое любопытство заставило Оглезнева решить отнюдь не простую задачу, определить — геометрически — человека, которому согласна отаться девчушка, глянуть на юнца, который сейчас, в эту вот минуту глаз не сводит с нее. Искомый инженеришко мог располагаться на дуге окружности с центром в самой Тане и в пределах визуального обзора, дуга же эта начиналась от окон гальваники и втыкалась в литейный цех, задев двухэтажный корпус и коснувшись самого Оглезнева. Задача упрощалась тем,

что молодой человек не мог находиться за спиной собеседницы Тани, грузная и пышноволосая кладовщица заслоняла девушку, еще один сектор исключался из расчетов, потому что из-за поломки компрессора литейный цех во вторую смену не работал. Гальваника тоже отпадала, единственный мужчина там — начальник цеха, ушедший домой полчаса назад. Оставался двухэтажный корпус, и, следовательно, счастливчик таращил глаза, пуская слюни, либо на первом этаже, либо где-то рядом по соседству, за стеной.

Вдруг девушка развернулась и вытянулась, поднялась на носочки туфель для того, чтобы обрисовался бюст, а затем согнула стан, чтобы коснуться края юбки, — движение, обозначающее женщину, третичный половой признак, жест без пользы, зрячий, потому что там, где стояли трепушки, юбки и платья не всплывали воздушными вихрями вентиляции, а, наоборот, рельефно влипались в тела; девушка, пожалуй, не столько одергивала сарафан, сколько похвалялась вполне зрелыми бедрами... Наклон туловища еще и уверял мужчину в умении тазобедренных суставов расходиться по природной нужде — челюстями питона при заглатывании кролика или при отхаркивании несъедобного...

Разнужданное воображение поскакало дальше — и было остановлено горьким вздохом; пристыженный Оглезнев хотел было уже повернуться, отойти от недоступной ему, как на экране, юной недотроги, и вдруг поймал на себе взгляд девушки, направленный на него в упор, — вот тут-то он попятился, понял, что это ему — ему! — демонстрирует себя девушка, — она! она! — никому другому, и сразу уразумел значение телефонных звонков, вспомнилось и сегодняшнее утро: она, шедшая впереди уже здесь, на территории завода, едва минув проходную, чуть приотстала в надежде, что он догонит ее, пойдет рядом, заведет пустячный разговор... Она знала, кто он, знала номер его телефона, знала, где кабинет его и когда он будет в нем!

Он залпом выпил газировку, два стакана, отвечал невплопад, когда ввалились к нему технологи и потащили к новинке. Домой приехал — и отупело стоял на пороге кухни, пытаясь вспомнить последовательность бытовых операций, повторяемых им из вечера в вечер, но так и не переоделся в домашнее, ходил по квартире, что-то угрожающе настынивая, и хотелось двинуть ногой по холодильнику, чтоб тот захлебнулся в собственном ворчании. Что он задержался на работе — это понятно, размышлял Андрей Петрович, но почему же Воронихина не ушла домой вовремя? С какой целью караулила его? Не может того быть, чтоб двадцатиреходлетняя девчонка, не обкатанная ни одним мужиком, бросалась на шею вдовцу, который ровно вдвое старше ее!

Ненормальность угнетала и волновала. Мелькнула было идея — срочно уйти в отпуск, разрешив тем самым все неопределенности, но здравая мысль сама себя придушила соображением: отдохнуть в июне нельзя по той причине, что молодому специалисту Татьяне Воронихиной отпуск полагался только после одиннадцати месяцев работы на предприятии, то есть где-то в октябре, и негодующий Оглезнев догадался: в мыслях он уже едет с Воронихиной куда-нибудь на юг, бархатный сезон кончится, правда, но сколько же милых теплых уголков ожидает их на побережье!

Спал он плохо, сон обрывался женщиной, вроде бы лежавшей рядом. Утром подкатил к родному заводу, но из машины долго не выходил, напрасно ожидая Воронихину, и ее запаздываниеказалось уже намеренным. Все первые часы работы ушли на обдумывание ловкого хода каверзной девчонки или безукоризненного расчета женщины, расставляющей брачные сети. Еще одна догадка пришла: провокация! На должность его зарятася многие, секретарша директора давно плетет интриги, чтоб на доходное место посадить своего человека, и поскольку никаких обоснованных претензий к нему нет, в ход решено пустить аморалку, для чего и задействован хитроумный план совращения. Более тщательный расчет показал абсолютную никчемность этих козней, за место свое Оглезнев не держался и всегда имел в запасе выгодные предложения со стороны, тот же НИИ опомнился и не раз уламывал его вернуться, суля при этом не только деньги, но и почет с последующим возвышением.

Вдруг эта Воронихина, вроде бы заболевшая или намеренно скрывавшаяся, сразу после обеда пронефтирировала мимо его окон в синем рабочем халате с мензуркой в вытянутой руке, выпала из поля зрения и через пять минут показалась в южном окне, как и рассчитал Оглезнев. Химлаборатория из кабинета не видна, однако люди, идущие к химикам по разным нуждам, на десять или чуть более секунд возникали в проеме между корпусами цехов. Как только синий халатик исчез, невероятным скачком мысли Оглезнев понял: кто-то из группы экспресс-контроля ушел в отпуск, и Таня, у которой шестичасовой рабочий день (вредное производство!), замещает отпускницу по скользящему графику, она и по вечерам-то, наверное, задерживается в надежде, что Оглезнев остановит ее, заговорит: на людях ведь и днем не всякий отважится на знакомство, на заводе свирепо блюли чистоту морали.

Едва разгадал девичьи хитрости, как вихрем взметнулось: да ведь и она тоже всё продумала, она ведь каким-то непостижимым образом знает все пути его передвижений по заводу! Это ведь не случайность: он перебрал в памяти все встречи с нею за минувший

месяц и убедился — куда бы он ни шел, Воронихина пересекала его путь. Девчонка подставляла себя, предлагала и умоляла! Надо, надо что-то делать!

Он заметался. Хотел было выдумать местную командировку, чтобы улегнуться домой, но голова отказывалась думать. Еле дождался вечера. Ночью однако случилось непредвиденное, дикое, достойное безудержного смеха: финалом сна, связанного с обладанием женщиной, было явление, присущее мужающим мальчишкам. Смыв простыню, постояв под душем, он приказал себе забыть эту неизвестно в какие игры играющую Воронихину. Не понимает дуреха, что все интрижки на заводе — под строжайшим контролем секретарши директора, что партком завален доносами.

Забыть!.. Но забыть — не мог. Как-то так получалось, что все дела его отныне касались тех цехов и участков, куда бегала Воронихина брат на анализы смеси, а в гальванику, что под самым его носом, она повадилась ходить раз пять за смену. Где бы ни была — он с точностью до минуты угадывал, когда Воронихина возникнет перед глазами его, под окнами кабинета, чтоб только ему понятным наклоном головы уличить Оглезнева: да, я знаю, ты смотришь сейчас на меня. Она начинала хорошеть, она стремительно хорошела, и кое-какие нескладности лица и фигуры стали вдруг самыми замечательными, привлекательными. Один шаг отделял Оглезнева от непоправимого безрассудства — подойти к Воронихиной и сказать: «Нам надо с вами поговорить...»

Июнь уже кончался, по каким-то так и не угаданным и не познанным признакам явствовало: она — раздражена, она вот-вот вскипит злостью. Сам Оглезнев начинал сравнивать себя со стервятником, плавно делающим круги над беззащитной курочкой; от ненависти к Воронихиной, твари коварной и хитрой, спирало временами дыхание, и попадись она ему в темном коридоре, он напал бы на нее, а как именно напал — тут уж воображение склеивало мелькающие подробности: платье под халатом разорвать до пупа, столь же стремительным обхватом потащить брыкающееся тело на мешки с химикатами, одна рука на талии, другая зажимает рот и отрывается от него, чтоб стянуть с бедер какую-то косоугольную тряпичку. Вздумала поиграть с огнем — на вот тебе, получай!

По вечерам он рылся в книгах, классический труд Стендэля оставил его равнодушным, уже настрадавшимися глазами прочитал он вирши лирических поэтов, подивился искривлениям всех органов чувств, некоторое время его занимала химическая теория полового возбуждения, что унижало, и уж совсем возмутили его не пламенные строки, бичующие ревность, а само чувство это, возникающее по ничтожным поводам. Насыщенный теорией, он

все чаще заставал себя у южного окна и видел в длинные и мучительные секунды пробегавшую вдали Воронихину: в руке — какой-то химический сосуд с раствором или пробою из цеха, но по тому, как переставлялись ноги ее и как хватка держалась в руке стекляшка, узнавалась уйма нового, свежего, удивительного — спорится ли у нее сегодня работа и когда она пойдет домой. Работяги так и норовили пошлепать ее по попке, выказывая на своем языке одобрение вездесущей и проворной химичке, и этот мужской знак внимания приводил Оглезнева в тихую ярость, в позорно-старческие мечтания: ладонь его ощущала умиление, мысленно прикасаясь к попке, отвечавшей ему упругим укором, рука охватывала обе полусфера, от ягодичек перемещаясь вверх, к таким же полусферам, но фронтальным, и обе эти грудочки представлялись — объемным восприятием — так, словно он, глядя на плоский лист чертежа, видит пространственные, трехмерные фигуры. Много лет тому назад был он конструктором, неважнецким, правда, и сейчас, прикидывая, как в разных проекциях будут выводиться на ватмане вроде бы простенькие узлы и детали, то есть девичьи груди Тани Воронихиной, поражался изыску природы, ничего женского не делавшей без мужского сочувствия по крайней мере, а все девичье наделявшей, как ни странно, громадной гравитационной массой, придававшей мужчинам ускорение и силу.

Что, конечно, она тоже понимала, потому что пробежки ее с колбой или мензуркой удлинялись по времени, она замедляла шаги, чтоб глаза Оглезнева могли насытиться и насладиться ею. Однажды она остановилась и развернулась в сторону его окна, она столбом стояла, будто вызывая Оглезнева на бой, она словно говорила: «Ну, что ж ты медлишь?..» Он отшатнулся, сердце его забилось в тревоге. Он глянул на небо, которое было свидетелем, и увидел три тучи, которые, чернея, наполнялись будущим дождем... В тот же день — по совету Стендэля — решено было избыток мужских сил перелить в знакомое лоно давней любовницы, которой позвонил в пятницу после двухлетнего молчания, но в понедельник утром издали увидел Воронихину и вновь до краев наполнился желанием.

Жара в июле стояла неимоверная, на заводе дважды вспыхивали пожарчики, один из них — рядом с химлабораторией, и Оглезнев, испытав ужас, вдруг как-то легко подумал: а ведь сгори в огне Воронихина — и все разрешилось бы само собой.

И вдруг решился — пойти, туда, в святилище, в темницу, где томилась жаждущая его послушница, в химлабораторию. Случай благоприятствовал, произошла крохотная производственная ка-

тастрофа, законы физики, открытые вроде бы человеком и им же зафиксированные в формулах, оказались бесправными и бессильными перед напором спущенного сверху внепланового задания — в гальванической ванне элемент хром отказался покрывать стандартную деталь. Химический конфуз разительно сказался на перемещениях Воронихиной по территории завода, мимо восточных окон Оглезнева она пробегала каждые пятнадцать минут, и тому приходилось ни на секунду не покидать наблюдательного поста, отчего страдал отдел, с утра принесенные чертежи так и не подписывались, заявки цехов ожидали та же участь. От окна Оглезнева оторвал ввалившийся в кабинет электрик, красавец парень, недавно принятый в отдел, вчера по пьянке, наверное, склонившийся по морде и по сему случаю просивший отгул — ему, видите ли, надо срочно ехать в особый травматологический пункт, где за час-другой фингал под глазом будет ликвидирован. Произошел разговор, тут же забытый Оглезневым.

— Куда спешить-то? — урезонил он алкаша, глянув на заплывшую глаз.

— Отсидись на заводе, вечером намажься зеленкой — и домой.

Красавец чуть не взвыл от непонимания.

— Да меня, — плаксиво сказал он, — шведский посол пригласил на прием! Сегодня вечером, мать его...

Не оценить такой юмор Оглезнев не мог.

— Валяй, — разрешил он. И убегавшему красавцу бросил вдогонку: — Послу — производственный привет!

Вдруг после обеда пробежки Воронихиной под окнами прекратились, Оглезнев развернул чертежи, ничего в них не видя. Тоска сжимала сердце, которое — по всем уверениям врачей — ничем не страдало. Селектор посулил премию тому, кто найдет технологическую бяку в гальванике, по просьбе главного инженера в химлабораторию созваны «лучшие умы». Предложили и Оглезневу составить компанию, но тот пугливо отказался: процессы переноса металла на металл — китайская грамота для него (что было сущей правдой), нет, нет, избавьте... И вдруг ввалился в химлабораторию, к лучшим умам — все знакомые лица, но лица эти будто пылью покрыты, он видел их мутными, похожими друг на друга, лишь Воронихина, — а он на нее не смотрел, — была в красках, отчетливой, сидела она в простенке, спиной к нему, полистывая какую-то книжонку. Поразительное спокойствие овладело им, он заговорил в своей манере, вроде бы по делу и обстоятельно, но придавая интонацией иронический подтекст своей наукообразной речи. Начальник лаборатории всем разрешил курить, вентиляция работала умно, сигаретные дымки лени-

выми струйками тянулись, как воздушные змеи, к форточке, и Оглезневу казалось, что все разговорчики о коварном хроме столь же устремленно впитываются молчаливо сидящей Воронихиной, все слова, все паузы вбираются ею в себя, каждый звук подвергается усиленной обработке каким-то реактивом восприятия и всасывается. В середине спора он неожиданно повернулся к ней, спросил, а что по этому поводу мыслит недавно сползший со студенческой скамьи химик-аналитик, и ответом было молчание, а затем она, сидевшая на вертящемся стульчике, повернулась к нему, и во влажных глазах ее читалось: как же ты не понимаешь, какой же ты неумный, я ведь так потрясена встречей с тобой, что слова боюсь сказать, я ведь онемела от счастья этого — видеть тебя рядом, близко, а ты...

Прервав себя на полуслове, он вышел из лаборатории, спиной ощущая недоумение «лучших умов», и — что было совсем уж унизительно — отчетливо понимая: эта девчонка, эта юная химичка — притвора, отнюдь не разполнованная встречею с ним, а торжествующая, она вся в ликовании от победы над сломленным мужчиной.

4

Сникший и раздавленный, опустился он в креслице свое перед столом, замкнув ключом дверь кабинета, чтоб никто не мешал ему предаваться горю. С ним — в его-то годы! — стряслось самое непредвиденное и опасное, в него попала пуля, наугад пущенная в небо, в неизвестность, ему задурила мозги девчонка несопримого с ним возраста, и что делать с этой девчонкой, — уму непостижимо, потому что можно дуреху затащить сюда и на диванчике сделать ее женщиной, но беда в том, что диванчиком никак не ограничишься, а за диванчиком — трагедия, которая, может быть, и полезна женщине, вступающей в жизнь, но ему как раз вредоносна. Пыл этой девчонки будет необузданным, к тому же она, годящаяся ему в дочери, к наставлениям партнера по любви будет относиться, как к советам отца при выборе профессии, и сколько же нитей совьются в клубочек, который ни размотать, ни разрубить. И — девушка, вот еще дополнительная, если не главная, обуза... Жениться на ней нельзя, даже если она и захочет, потому что лет через шесть-семь мужская прыть его уймется, а тридцатилетняя, в расцвете женских сил и в разгаре страсти Татьяна Владимировна Воронихина-Оглезнева начнет, обделенная мужем, «задерживаться на работе», «навещать подруг» или пропадать неизвестно где, никаких объяснений не приводя. Детей от него она не захочет — в этом он был твердо убежден,

как и в кратковременности союза, который не может стать брачным. Ей ведь жить да жить еще, рожать и рожать, и всё оборвется на этом диванчике или на кровати у него дома. И еще: дорвавшись, грубо говоря, до свежатинки, он черт те что натворит, развращая девчонку, да и та, наслышавшись о новинках секса, потребует по крайней мере ознакомления с ними. Не надо забывать и о деньгах. Сейчас их достаточно, однако любовь требует жертв, денежки улетят тем более, что сама Воронихина — из бедненькой семьи, это уж он точно знает.

Почему знает, откуда — неизвестно, таково уж удивительное свойство глаз и ушей, постоянно нацеленных на одного и того же человека; в разноголосии и мелькании людей слышалось и виделось то, что сама Воронихина подзабыла — среднюю школу № 542, откуда ее выгнали за непочтительное отношение к старшим, спортивное общество «Динамо», где она училась плаванию. Обратная экстраполяция — иначе не назовешь — дала Оглезневу количество поцелуев, которыми осыпал Воронихину до гроба верный ей поклонник, некто Удальцов Гриша.

Нельзя! Ни в коем случае! Ни при каких обостренных желаниях! Девчонку — забыть!

Тяжело далось решение, но победа все-таки одержана, над собой. До конца рабочего дня Оглезнев к окнам не подходил, радуясь собственной выдержке и вознося неумеренную хвалу себе. И утром звенел в нем одобрительный хор голосов. Гимн во славу себя подвигнул его на необычный шаг, когда мастер, говоря будто не начальнику отдела, а сейфу, преподнес необыкновенную по содержанию информацию.

— Этот электромонтер Васюхин, которого вы вчера отпустили... Который, так сказать, на прием в шведское посольство приглашен...

После долгого молчания, перебрав в памяти все события вчерашнего дня, Оглезнев кивнул: да, помню, продолжай... И заерзal в кресле, услышав о том, что алкаш Васюхин и в самом деле причастен к дипломатическим мероприятиям. Вчера, оказывается, в ресторане «Прага» шведский посол устраивал прием в честь чего-то или кого-то. Якобы случайно проходивший мимо мастер увидел и услышал, как из ресторана вышел хмырь в адмиральской фуражке и гаркнул: «Машину депутата Верховного Совета Васюхиной — к подъезду!» И, можете себе представить, под ручку с какой-то дородной бабой вышел электромонтер, без фингала.

Чтоб не поощрять доносительство мастера, Оглезнев никаких распоряжений по наветам не давал. Но этим утром выдержка ему изменила.

— Убрать его из отдела! — распорядился он. — Как и куда — сам решай.

Ближе к вечеру, в инструментальном цехе, приглашенный на пресс-форму, в которой оказалась раковина и которую заделывали умельцы, Оглезнев услышал сдавленную ругань, кто-то за спиной совестил бракодела: «Чего фиговину-то порещь?.. Заладил тоже — размеры не те, сверло затупилось, ты мне еще поладь так вот разок — и проценты сбросят!» Уши уловили «заладил», потом выделился корень слова, к нему пристроились побеги и ростки, «обладание» приобрело вдруг особое значение, обладание мыслилось констатацией временного господства над кем-то или чем-то, согласованным единством встречных желаний. «Я должен обладать ею, — подумал Оглезнев отрешенно и спокойно. — Ладить, ладно, ладонь, ладушки, приладить... Я обязан. Это, возможно, моя первая и последняя любовь. До конца жизни страдать буду, если упущу шанс, не удовлетворю пожелания природы... Обладать! Не я, так кто-нибудь другой возьмет ее. Но лучше — я. Мудрость и невежество, вечно юная любовь, плюс и минус батареи, взаимное обогащение... Владыко. Ладья. Ладанка. Клад...» (*Кладбище* пришло на ум.)

Телефон стоял рядом. Он набрал номер, услышал голос Воронихиной и сказал, что будет ждать ее в машине у магазина «Диета» сразу после шести вечера...

Облегчение снизошло на него, и уже прозревался высший смысл в том, что произойдет и что не может не произойти, потому что судьба гнала их навстречу друг другу — его и Воронихину, судьба могла забросить выпускницу института в Нижний Тагил, в Красноярск, на отравлявший всю округу завод «Химдормаш», инженера Оглезнева та же зоркая устроительница жизней уберегла от сидения в НИИ, и двухэтажный корпус этот построен для того лишь, чтоб под окнами его прошло однажды юное существо, которое соединится с увядающим мужчиной и вернет ему — наперекор однолинейно текущему времени — давно пройденное и испытанное. Великий, величайший и высочайший смысл мироздания — опровергать себя ради собственного выживания!

Он ждал ее в машине — холодный, спокойный, и как-то равнодушно установил предел: двенадцать месяцев! На большее Таня не потянет, в июле следующего года она уйдет, бросит его, отвергнет, и здесь не надобны никакие расчеты. Неизбежность, неотвратимость вечера в разгаре солнечного дня. «От нее пахло грозой, и вся она была в дымке, потому что глаза Оглезнева слезились. В машине она сидела сзади, в кабине лифта стояла, от него отвернувшись. На худенькой спине зябко двигались лопатки под полупрозрачной

блузкой. Вшла в комнату, где предстояло раздевание, сбросила швырком туфлю и вытянула босую ногу, будто пробовала перед купанием воду, холодная она или теплая.

5

Ровно двенадцать месяцев спустя, в прохладном июле следующего года, под конец рабочего дня Оглезнева вызвали к директору — за час до того, как совершился самоубийство, и душа его, ставшая зоркой, видела трепыхание людышек, коим далеко еще до минуты, когда океан бытия сомкнется над их головами, поглощая очередные бренности. Он шел в административный корпус, и какая-то струна подрагивала в нем, издавая низкие,ibriрующие звуки, словно похоронный оркестр играл на далеком-далеком кладбище... Три человека ожидали его, и кто они такие — Оглезнев догадался бы, не отрешился он уже — перед самоубийством — от мирских сует. Четвертый же, директор, являл собою воплощение того абсолютного спокойствия, какое бывает только у несменяемых руководителей. Главный инженер отсутствовал, что могло быть дурным знаком, но на что Оглезневу уже было наплевать. С молчаливого одобрения гостей директор предложил Оглезневу подумать над автоматизацией всех процессов в гальванике, на что тот грубо заявил, что думать не станет, потому что думать — это еще и делать, а дел никаких не будет, ибо автоматизация — это отраслевые и государственные стандарты, на них набили руку разные спецмонтажные конторы, подрядных организаций уйма, с ними и надо заключать договора, а не принуждать отдел нестандартного оборудования, ОНО, к не свойственной ему работе.

Иного ответа здесь не ожидали, цель вызова была иная, задавались вопросы, о многом сказавшие бы Оглезневу, но тот всего лишь вяло подумал о недавней смерти начальника гальванического цеха. Пустяковые вопросы, прощупывание на все случаи производственных необходимостей, — Оглезнев, на все ответивший, шел уже к двери, когда зазвонил телефон прямой связи с министром и, отвечая министру, директор произнес несколько цифр, с траурной интонацией, такозвучной настроению Оглезнева; директор будто сообщал о часе и минутах кончины какой-то персоны чрезвычайной значимости, и цифры эти запали в память Оглезнева — монетой, которая покатится в темный и пыльный угол, покачается на ребре, повалится и будет лежать долгие месяцы, пока случайный взгляд не обнаружит ее или она выплынет венником уборщицы на середину кабинета.

Легкий дымок истекал из заводской трубы, и вместе с ним вытягивались летучие остатки самого Оглезнева, уже заживо сгоревшего. Хотя невдалеке со скорострельностью пулемета бухал компрессор, он слышал величественную музыку прощания, и будь на нем шляпа или кепка — рука потянулась бы к голове, в скорби обнажая вместилище обманных порывов. Он шел к себе, к месту самоубийства, и мудрая природа замедляла его шаги к пропасти, она вновь остановила его, он вновь поднял голову и воззрился на небо, на беспредельный потолок квартиры, где обитало все человечество, и потолок этот будет он видеть и завтра, и послезавтра, потому что самоубийство, до которого сорок минут, не прервет в нем физиологические процессы, легкие его по-прежнему будут потреблять кислород, выбирая его из воздуха, но пресечется жизнь, полная счастья, подойдет к концу двенадцатимесячный цикл щемящего и тихого восторга.

Еще раз остановился он, потому что не остановиться не мог. Над входом в его корпус электромонтер пытался навесить на кронштейн светильник, приставив к стене шаткую лестницу, которая под тяжестью массивного и неумелого парня изгибалась, угрожающе потрескивая. У лестницы уже толпились любопытные, гадая вслух, когда сверзится бесшабашный монтер и что от него останется: брякнуться — с трехметровой высоты — мог он только на торчавшую из земли заостренную арматуру. Подняв голову, Оглезнев узнал Васюхина, выгнанного из отдела год назад; красавец, в какой бы цех его ни бросали, везде показывал себя «с отрицательной стороны», пил, приставал к девушкам, делать ничего не умел и потому лишь не изгонялся за проходную, что кадровики оберегали дурня и шалопая, уломали все-таки Оглезнева и вновь определили муженька депутата Васюхиной в отдел. На глазах начальника ОНО творилось техническое беззаконие: подчиненный ему электрик работал на трехметровой высоте с нарушением всех правил безопасности, никем и ничем не застрахованный от падения на вилы и копья производственной свалки, и толпа любопытных ждала окрика Оглезнева, а кое-кто давал ему советы, которыми он, естественно, пренебрег, и то, что сказал он монтеру, назавтра облетело цеха и стало заводской легендой.

— Эй, наверху!.. Стоп! Стоп тебе говорю! Так, правильно... Сунь пассатижи в карман... Так... Светильник — выпусти из рук... Так... (Светильник грохнулся на землю.) Веревку с собой не догадался прихватить? Тогда привались к лестнице и вытащи из брюк поясной ремень... Молодец, соображаешь... Вытащил? Теперь набрось ремень на шею и затяни его на ней... Да туже, туже!... Хорошо!.. Ну, осталось

последнее: свободный конец ремня закрепи на кронштейне...
Двойным узлом!

Повинуясь напористым командам, ретивый дурачок так и сделал. Шея его была захлестнута ременной петлею, брюки сползли, руки тем не менее успели привязать ремень к кронштейну. Притихшая толпа ждала продолжения. И оно последовало.

— Тебе бы еще записочку написать, что, мол, кончаю жизнь самоубийством и прошу в моей смерти никого не винить. Но и без записочки сойдет, свидетелей полно. Можешь отталкиваться от стены и лететь вниз, подергаясь малость и притихнешь. Английские суды некогда говаривали: «Вы будете повешены за шею до тех пор, пока вы не будете мертвы». И концы в воду. Никого не привлекут к ответственности — ни меня, ни мастера, ни инженера по технике безопасности... Спускайся вниз, дур-рак!..

И поднялся на свой этаж, в кабинет, где прозвучит вскоре выстрел, — придет Таня и услышит от него, что пришла пора прощания и не стоит, пожалуй, разъяснять ей, она всё понимает и обо всем догадывается: у любой сказки есть конец. Два отпуска проведены вместе, дважды или трижды в неделю ночевала она у него, связь их держится втайне ото всех, ни разу не была она в этом кабинете, и когда в полдень он позвонил ей и попросил прийти сюда вечером к половине пятого, не могла она не догадаться, что ожидает ее. Да и слов не надо, есть язык сплетенных рук и ног, давно сказавших ему о наступающей недостаточности — не сердца: Таня вырвалась из девичества, как из клетки, и свобода опьянила ее, юной женщине хочется мужчин, музыки, вина, толпа сверстников манит ее, и он, Оглезнев, уже наскучил, он уже помеха, молодость тянется к молодости и, что уж скрывать, к той частоте общения тел, которую он уже не обеспечивает. Постыдная нагота любви, делающая смешными все слова его и потуги. Сбывается то, что предрекалось им в те дни, когда он раздумывал над будущим и представлял себе лживые увертки женщины, начинающей избегать встреч. Да и она тоже думала о будущем, она — при всей своей неопытности — как-то сразу научилась уберегать чрево от вторжения того, что может через девять месяцев привязать ее к мужчине цепью материнства. Жизнь расстилалась перед нею — и останавливалась в начале бескрайнего пути она не желала, всё еще впереди, всё впереди — и забудется какой-то Оглезнев, заслонится одним, другим, третьим, четвертый ненадолго задержит ее у себя, но тоже окажется очередной ступенькой, и только лет в тридцать эта дерзкая умница женит на себе такого же умудренного, как Оглезнев, мужчину с, как это ныне говорится, перспективами, приспособит свое тело

к нудным и редким пожеланиям мужа. Святая простота будней, физиология затмила идеологию, и от возвышенности чувств так и разит вонью зоопарка. А оно было — у Тани — это чувство, раздутое разгорающим интересом к жизни и страхом, что кто-либо другой, не такой опытный, как Оглезнев, в критическую для девушки минуту поведет себя так, что получит она отвращение к иному полу, не испытает того, что всегда получается у мужчины, и психосексуальная травма останется на всю жизнь — как у одной из ее подруг, рассказами которой была напугана.

Уже опустели оба этажа корпуса, уборщица выключила пылесос, сидевший в кресле Оглезнев опустил голову на сложенные ладони, сердце, бухавшее величавым колоколом, затрепетало, разбивая громы звуков на стеклянные перезвонь. В гулком здании смешиваются шумы завода и сердца, и вот внизу потянулась тугая пружина входной двери, ударила, закрываясь, по косяку, Оглезнев слышал теперь каждый шорох на первом этаже, в тишину ворвались шаги, каблучки Таниных туфель выбивали дробь, нарастающую с каждой секундой. Лестница на второй этаж — металлическая, каблучки шрапнелью лупили по ступенькам, Оглезнев приподнялся, выпрямился — из уважения к историческому в его жизни моменту, ибо сейчас будет не величественная поэзия погибающей любви, а бытовая проза, примерно так изложенная: нам надо расстаться, поезжай ко мне, забери свои вещи, ключ брось в почтовый ящик, всего хорошего.

Самоубийства не случилось, потому что выстрелил не он, а она. Взмахнула рукой, ключи описали дугу и шмякнулись на стол перед Оглезневым.

— Нам надо расстаться, — сказала она. — Ты сам знаешь, почему. Всё свое я в обед съездила и забрала. Прощай. Ради бога — без слов... Ты много мне дал. Но и получил тоже. Насчет меня не беспокойся. На днях с завода ухожу — переводом в НИИ.

6

По утрам он брался с отвращением, от себя отворачиваясь. Запихивал в рот что-то съедобное и до завода добирался автобусами и метро, ездить на машине побаивался, потому что стал рассеянным, постоянно пребывая в отупелости. Он разучился читать чертежи, и если б не работящий и хитрый мастер, отделу премий не видать. Однажды в бешенстве разломал карандаш — напополам, потом каждую половинку на части: он узрел, что рука его рисует поверх линий чертежа один и тот же женский силуэт. Его спасал завод, одиночество в наглухо зашторенном кабинете,

потому что квартира попугивала, Таня выгребла из нее все свое, но не могла уничтожить того, чего касались руки ее, а мокрый коврик в ванной продолжал хранить в себе воду, стекавшую с Таниных бедер, и снеси коврик на свалку, плитка на полу напомнит о нем, и квартира, как ни проветривай, пропахла мускусными испарениями женской кожи.

Что он хворает — заметили многие, врачи не глядя выписывали бюллетени, рекомендуя покой и таблетки, обнаруживая вегетативные расстройства.

Только через два месяца оправился он — как после операции или тяжелой болезни, и лучшим лекарством стали неоновые названия магазинов: «гастроном» — «моноортсаг», «Диета», тоже прочитанная справа налево, превратилась в очень благозвучный «Атеид», истинным спасением были две рядом горящие по вечерам вывески книжного и рыбного магазинов, «игинкабыр» — с мстительным почему-то удовольствием повторял Оглезнев. На глаза попадались такие головоломные, не поддающиеся перелицовке названия, что произносить их мог только цирковой артист или тренированный эстрадный чтец. Оглезнев же подменял варварские звуки нечленораздельным бормотанием, а потом издавал, при плотно сжатых губах, дикарский клич. Иногда забывал, что вокруг — люди, и на него удивленно, услышав агрессивное мычание, посматривали. Полюбил уединенное сидение по вечерам в кабинете, и если бы не жесткая система охраны, до полуночи торчал бы в темноте, внимая шумам завода и доносящимся до него голосам из прежнего мира, того, который исчез вместе с Татьяной. Усердие, с каким выламывался язык, произносящий слова наизнанку, помогало ему восстанавливать недели, дни и часы, предварявшие страшный вечер, звон ключей, брошенных ему на стол Воронихиной. Вспомнился будильник: Таня, оставаясь на ночь, сама ставила его на шесть утра, чтоб успеть на работу, и стрелка учитывала те двадцать минут, что отводились на любовь после пробуждения. В тот последний вечер Таня протянула руку к будильнику, и Оглезнев поправил ее: не на шесть, а на двадцать минут седьмого! Ему хотелось отучить Таню от истового и регулярного отдавания себя, он, пожалуй, высчитал также, что вряд ли сможет утром повторить то, что только что совершил. Она не возразила, она промолчала, зато сказали руки, в тягучем раздумье державшие будильник, пальцы сказали — стрелкою часов на отметке утреннего боя, и что-то добавили дрогнувшие плечи. Наверное, это было для нее оскорблением, обманом: похожее на молитву утреннее действие становилось обязательным, ритуальным, неотвратимым, как восход солнца, поскольку всю ночь

намеком на него — розовеющей зарею — было мужское тело рядом. Тридцатилетняя женщина стерпела бы, но при такой разнице в годах девчоночья обида особо остра, ничто так не унижает, как одергивание старшего, и — Оглезнев теперь морщился — что-то в нем самом было родительское, отцовское, он и зимние сапожки покупал не в подарок ей ко дню рождения, а заботясь о ножках родного существа, на свет появившегося не без его участия: он, конечно, не сажал маленькую Таню на горшок, но взрослую девушку Татьяну Воронихину всему научил.

Тот вечер с будильником был изучен, следующие дни тоже, вплоть до последнего телефонного разговора, когда он попросил зайти ее к себе после работы. Звонок этот был около одиннадцати утра, потом столовая, потом литейный цех, потом сборочный, потом...

Потом был срочный вызов к директору, где ему предложили разработать документацию: все процессы в гальванике будут поручены отныне технике, и директор не очень-то уговаривал (а уж уламывать он умел!), что-то другое стояло за вызовом, и люди там сидели странные...

Затаившись в кабинете опустевшего корпуса, не включая света, Андрей Петрович Оглезнев воссоздал в памяти странных людей в кабинете директора и воспроизвел разговоры, изучил каждую фразу непонятных визитеров, которые показались ему тогда дурачками, несущими ахинею о радикальной перестройке гальваники. Их было трое, этих прищельцев из мира, всегда пугающего неизвестностью. Гражданин, работающий под моложавого доктора наук, определенно из КГБ, там с недавних пор шло облагораживание фасада, явление повсеместное, все административные корпуса московских заводов облицевались керамикой, с улицы глянешь — и душа радуется. Второй — из партийного ведомства, что рангом выше горкома, его Оглезнев встречал уже в НИИ, когда там в позапрошлом году обвиняли кого-то в краже секретной рецептуры. Третий — из той породы людишек, что обнохивают всех встречных и поперечных, идут по следу и открывают пасть только по команде егеря, — из прокуратуры тип этот, без сомнения. Троица сия выпытывала у Оглезнева сущие пустяки, визитеры мучились отсутствием какой-то чрезвычайно важной для них информации и ожидали, что ее поднесет им на блюдечке кто-нибудь из тех, кто близко знал начальника гальванического цеха, две недели назад умершего от инфаркта.

Андрей Петрович Оглезнев, делавший примечания и сноски к воспоминаниям своим, отклонился от темы и отвел полновесную главу Виктору Степановичу Ломакину, бывшему начальнику.

гальванического цеха, и пришел к поразительному заключению: Ломакин кончил жизнь самоубийством, а не скончался на руках супруги от сердечного приступа! Да и на заводе тогда шли слухи о не совсем естественной смерти, поговаривали об отравлении ядом, каких в гальванике полно, и хотя Ломакин похоронили с вывешиванием высокопарного некролога и с венками, чернящий его шепоток не стихал. Вдове однако собрали деньги, пустив шапку по кругу, сумма получилась изрядная, никаким слухам в то время Оглезнев не поверил, а теперь вспомнил: за день до беседы с визитерами, в проходной столкнулась с ним жена покойного и протянула деньги, жалкие пять рублей, сказав, что возвращает долг. Действительно, Ломакин, незадолго до смерти или самоубийства покупая что-то в заводском ларьке, замешкался у кассы и попросил у Оглезнева пятерку. О ней, оказывается, он, испуская последний дух, не забыл, что очень странно. Вдова страдающими глазами смотрела на него, смерть мужа на месяц или даже год всех людей разделила на плохих и хороших, и хорошими были те, о ком хорошо отзывался Ломакин. «Виктор так признательно говорил о вас...» — прошептала вдова страдальчески, и вдруг заговорила сухо, жестко: «Вы все-таки возьмите деньги, Витя перед смертью наказал мне вернуть их вам».

Значит (размышлял у себя в кабинете Оглезнев), не скоропостижно скончался, как пишут в некрологе, а умирал в ясном сознании, загодя готовый к смерти. Дотошным, ретивым или очень уж пунктуальным он не был, и о пятерке мог вспомнить только в том прозрачном и возвышенном состоянии духа, когда люди, по доброй воле уходя из жизни, не хотят даже в малости навредить кому-либо. Смерть, кажется, показалась начальству не совсем праведной, назначили — еще до похорон — комиссию, протрясли всю гальванику, но — это было всем известно — никаких грехов у Ломакина не нашли, как и не обнаруживали их раньше: госинспекция пробирного надзора почти ежемесячно наваливалась на самое уязвимое место — участок золочения, но даже пылинки неучтенного металла не выискала. Обследовали все рабочие места, перерыли всю документацию — чисто! Одновременно подвергли пристрастному допросу спецотдел, что может означать следующее: какие-то производственные тайны вышли за пределы завода.

Было чем занять себя, и Оглезнев думал каждый вечер, находя упоительной задачу, в чем-то схожую с той, что решалась им в день, когда две подруги пустились в девичий треп рядом с гальваникой и одна из них подавала себя неизвестному мужчине. Рука Оглезнева на листе бумаги вычертила круг, в центре его был Ломакин, от него исходили секторы: «Женщины», «Хищение»,

«Связь с иностранцами», «Смертельная болезнь, возможно — заразная», «Угроза уголовного наказания за что-то»... Грузный, вечно озабоченный мужчина, в последние дни каждого месяца страдающий боязнью невыполнения плана, а это уже — своего рода психическое расстройство. Однако — честный человек, никогда не прибегавший к припискам. Никаких щалостей с девицами, коих у него полно в цехе. Любящий муж и отец, сын, кстати, учился на последнем курсе физтеха. Диспансеризацию проходил вместе с Оглезневым в апреле, за три месяца до смерти, и на здоровье не жаловался. Подвел некоторый итог, определил, что дальнейшее существование грозит ему и семье неисчислимymi бедами, делил, умножал, складывал, вычитал, и результат ошеломил, смерть оказалась выгоднее жизни. Уж не те ли цифры напугали, что услышаны были им, Оглезневым, на пороге директорского кабинета? А цифрам — что предшествовало?

Рык телефона прямой связи с министром! И что звонил именно министр — сомнений не было: раз в два месяца начальники цехов и отделов поочередно сидели ночью в кабинете директора, праздники и выходные требовали всегда особой бдительности, потому-то дребезжания, трели и трезвоны всех разноцветных телефонных аппаратов были Оглезневу знакомы. Министр звонил, это абсолютно точно, и был он, как говорится, в курсе каких-то происшествий, министр задал, видимо, один единственный вопрос, краткий, не допускающий размазанного ответа, и получил этот ответ в чрезвычайно сжатой форме, потому что директора стеснял Оглезнев, уже отпущенный им; начальник ОНО, нежелательный свидетель, еще не покинул кабинета, лишь взялся за ручку двери, но и затягивать ответ было по меньшей мере бестактно, и сказано было тихо: «Девять в прошлом, почти одиннадцать в позапрошлом...»

Загадочные цифры, и без единиц измерения. Что — девять? Что — одиннадцать? Метров? Киловатт-часов энергии? Кубометров газа? Количество изделий в тысячах штук? Число каких-либо нарушений? Что? И если это связано с гальваникой, то... Быть может, всё дело в так называемых черных субботах? Было строжайшее указание — по субботам не работать! И тем не менее почти все московские заводы урывали одну лишнюю смену — утреннюю, субботнюю, — иначе бы проваливался месячный план. Гальваника чаще всех грешила, однако же ни одного случая не было ни у них, ни на других московских заводах, чтоб кого-то наказывали за незаконные труды по выходным дням. Выговора и даже строгие с лишением премий доставались за невыполненный план, да и не такой человек Ломакин, чтоб накладывать на себя

руки за то, что какие-то комиссии девять раз в прошлом году и одиннадцать в позапрошлом застукали его цех на сверхурочных работах без ведома профкома и разрешения директора.

Так что же сгубило начальника гальванического цеха?

В начале зимы подошла очередь Оглезнева ночевать в кабинете директора. Журнал посетителей сказал ему, кто и когда приходил к директору в прошлые месяцы — фамилии, наименование организаций и должностей, время пребывания в кабинете и кого звали к директору сразу после таких визитов. Кое-что стало проясняться. Заводскому телефону своему Оглезнев не доверял, нужные справки наводил из дома, называя знакомым из министерств и комитетов, ни одного слова не услышали они о гальванике, разговоры велись только на непроизводственные темы, Оглезнев не раз бывал в гостях у этих знакомых вместе с Воронихиной, спрашивали его и о ней, но — вот что начинало радовать — боль уже не зудела в Оглезневе, отвечал он знакомым так, будто его спрашивали о вчерашнем ливне или хорошей погоде на Рижском взморье.

Откуда пришла Оглезневу разгадка тайны смерти — он и сам не знал толком, глаза и уши его были избирательно нацелены только на одну тему, и настал вечер, когда впервые за полгода Оглезнев включил свет, распахнул окна и в волнении заходил по кабинету.

«Девять в прошлом, почти одиннадцать в позапрошлом» — это в полном виде прозвучало бы так: «Товарищ министр, в прошлом году на заводе из-за преступно неверной организации труда гальванический цех потерял девять килограммов золота, а в позапрошлом — одиннадцать, это в грубом округлении, сейчас комиссия устанавливает точно. И это тем более странно, что хищение золота работниками цеха абсолютно исключается...» Министру можно не говорить о том, кто первый забил тревогу. В феврале разбрисался на испытаниях новейший истребитель-перехватчик, все причастные к самолету ведомства яростно уверяли госкомиссию в собственной непричастности, виновника всё же нашли — в электронной схеме рухнувшего на землю перехватчика не сработал малосенький датчик из-за окисления позолоченных контактов, золота на них — измеряли дотошно, пристрастно и целый месяц — на сколько-то там микронов меньше по толщине, но когда эти микроны просуммировали с учетом всех прошедших золочение деталей, то и обнаружилось: девять килограммов золота как корова языком слизала. Это — в прошлом году. А годом раньше — одиннадцать. Было от чего наложить на себя руки в предвидении уголовного дела с заранее предрешенным исходом.

Отныне все мысли Оглезнева крутились вокруг обновлявшейся гальваники. На ежеутренних планерках он, ничем не показывая интереса, чутко вслушивался в доклады преемника Ломакина, которого, как и всех на заводе, в тайну утекшего золота не посвятили, а пристройку к цеху объясняли интригами санэпидстанции. «Спецавтоматика», денно и нощно трудясь, уже заканчивала монтаж. Что именно делала она — на планерках не говорилось, и жгучее любопытство терзало будто онемевшего и оглохшего Оглезнева: ни одного вопроса не слетело с его злорадно изогнутых губ. Была какая-то обольстительная радость от того, что только он знает о золоте. Все последние годы гальваника работала в такой лихорадочной спешке, что ни разу не просила помощи Оглезнева, дыры свои латала подручными материалами. Несколько раз по каким-то нуждам Оглезнев бывал там, и теперь, в упор глядя из восточного окна на глухую стену гальваники, сквозь нее видел весь допотопный процесс переноса одного металла на другой, и все чаще вспоминал обманутого всеми Ломакина. Завод обычно никелировал и хромировал, нужда в золочении возникла года три назад, дело казалось пустяковым — побывали на 2-м часовом заводе, присмотрелись к участку, где корпуса наручных изделий покрывались золотом. Оттуда привезли три фарфоровые ванны по двадцать литров каждая, процесс — проще не придумаешь: в дистилированной воде растворяется порошок дицианоаурата калия, в нем — промышленное золото наивысшей пробы; 12 вольт постоянного тока, температура нагрева по таблице, в винилластовом барабане — покрываемые золотом детали, барабан равномерно вращается... Не успели однако утром озолотить первую партию контактов, как вечерняя смена уже погрузила в ванну ложки и самовары. Скандал решили замять тем, что якобы случайно тюкнули молотком по фарфору — и ванна раскололась. Назначили Ломакина — сперва начальником участка золочения, а потом и всего цеха. Ванн стало побольше, порядка добиться не удалось. Постоянный обогрев не получался, на двенадцати вольтах стрелка держаться не хотела. Детали часто «запарывались», тогда и приучились сливать растворенное золото в канализацию. После сеанса золочения следовала регенерация, разными способами золото, осаждавшееся на стенах ванны, отделялось, но это казалось утерей драгоценного времени и вообще слишком трудоемким занятием, а план выполнить надо, сливание становилось нормой, и золото уносилось в Москву-реку. С того же часового завода привезли бракованные

ванны, вынудили Ломакина принять их, план по золочению исправно выполнялся, пока наконец не выперли две эти цифры — девять и одиннадцать. Они не могли не появиться. Завод потреблял вдвое или втройе больше того, что положено ему по всем нормативам. Штрафы платились за перерасход воды, электричества, металла — за всё, и почему так получалось, никто не знал. Так было везде, и новейшая электронная техника приоровиться к человеческому разгульдейству не могла, рекламации шли отовсюду, и директора не снимали потому лишь, что все понимали — так было и так будет! Везде и всегда! Потому что на том стоит и стояла Россия, ежегодно терявшая четверть всего урожая.

Никто не запрещал Оглезневу идти в гальванику на разведку, никто не удивился бы, появись он там. Но он не шел, он выжидал — чего, сам не знал, он даже побаивался цеха, на который неотрывно смотрел часами. Ему временами хотелось, чтоб в цехе этом вспыхнул пожар, чтоб взрыв разметал по всему заводу порошок дицианоаурата калия.

И вдруг, проходя мимо гальваники, шагнул к двери, с большим усилием открыл: тугие воздушные потоки присосали ее к косяку. Ревела вентиляция, с поверхности булькающего электролита оттягивая выделяющиеся газы, и тем не менее в носу и в глазах пощипывало; жарко, хотя и вдувался свежий воздух. Температура в ваннах поддерживалась вручную, время от времени работница выхватывала из электролита градусник и вглядывалась в него. Вибрирующие воздуховоды создавали ровный гул, квакали ревуны, сигнали о нарушениях режима, работницы — в резиновых перчатках и фартуках, под ногами — какая-то сине-зеленая жижа, которую смывали водой из шланга. Не двадцатый век, а чуть ли не мануфактурное производство. Современностью пахло в пристройке. Там уже приварили к несущим конструкциям балки, к тем — рельсы, по которым будут передвигаться тельферы над новыми ваннами. Три ряда ванн — и три программных устройства, через месяц в заданном режиме из ванн будут извлекаться крюками тельферов решетчатые коробы с деталями, переноситься без помощи человеческих рук в другие ванны для промывки и обсушки, и никому уже не дано будет изменять режимные процессы.

Это — в ваннах, где детали покрывались никелем или хромом. Для самого ценного и опасного процесса монтажники этажом выше расположили сорок восемь продолговатых фарфоровых корытце — золочение в них обеспечивалось ЧПУ, числовым программным устройством, здесь еще более строгий режим, и баба в фартуке ничего уже самовольно не изменит.

Изменит! Еще как изменит! Испохабит за милую душу — злорадно констатировал Андрей Петрович, наученный горьким опытом: на заводе всегда производительность труда так искусно повышалась, с таким усердием, что в конечном счете — понижалась. Люди, то есть те же работницы, что сейчас двумя этажами ниже, исходят потом и вдыхают — кожей и легкими — ядовитые испарения, эти так пекущиеся о собственном благе и собственном здоровье бабенки сломают всю электронику программных устройств и вручную станут переносить барабаны с деталями из ванны в ванну, и не строго по часам-будильникам, а по собственному разумению, и заставит их быть вандалами само начальство, оно же недоуменно разведет руками: «Ну, что с ними поделаешь!..» На завод спущен план, как всегда не осуществимый в нормальном режиме работы, начальству позарез нужна одна субботняя смена, чтоб свести концы с концами, а обосновать лишнюю смену можно только законно: сорок один рабочий час в неделе, если пять дней трудиться по восемь часов, то недоработка всего один час, за месяц набежит от силы пять часов, что для субботней смены мало. И всесоюзное руководство нашло выход, укоротив рабочий день по будням до семи часов, московское же разрешило принимать на заводы непрописанных в столице граждан, и бабам из Подмосковья приходилось еще больше укорачивать вечернюю смену, чтоб успеть на электричку, — так вот и получилось, что весь технологический режим гальваники бессознательно нарушался, и растворенное золото сливалось в канализацию. Изменить что-либо в этой стройной системе самовредительства было невозможно, какую хитрую автоматику ни внедряй, люди всегда будут людьми. И люди, прикинул Оглезнев, начнут вскоре воровать золото, потому что золота станет много, появятся производственные излишки, запасец на черный день, их времена от времени надо уничтожать, то есть ссыпать в канализацию.

Андрей Петрович обследовал весь цех и приблизился наконец к месту, к которому стремился, которое жаждал увидеть, которое и увидел, с третьего этажа спустившись на первый. В некоторой скорби стоял у трубы, где струилась жидкость с микрочастицами золота. Он стал считать: в месяце примерно сто восемьдесят рабочих часов, гальваника трудится в две смены, итого триста шестьдесят, да умножить на двенадцать... В прошлом году цех прогнал через эту трубу десять килограммов золота, так сколько же граммов пронеслось мимо него за то время, что стоит он здесь? И сколько пронесется, когда заработает новый участок золочения с почти полусотней ванн, которые начнут трескаться, лопаться, разбиваться? Даже если поставят металлические эмалированные

ванны, которым молоток не страшен, золото все равно потечет в канализацию. Официальная цена золота — двенадцать с половиной долларов за грамм, но это то золото, что в тринадцати килограммовых брусках хранится в подвалах Госбанка с пробою в четыре девятки — 999,9. На черном рынке стоит оно во много раз больше. Но все операции с золотом выведены из гражданского оборота. То есть наказуемы.

8

Газоэлектропаровододыщащее существо, называемое заводом, пыхтело, гремело, стучало, ухало, вздрагивало, шипело, позванивало, бормотало, свистело, и не было, пожалуй, глагола, не приложимого к жизни этого существа. Пять гектаров занимали корпуса цехов и зданий, объединенных в одно целое кабелями, трубами, проводами и людьми. Как жители выходящих на центральные проспекты домов привыкают к неумолчному гаму, так и заводчане не слышали того, что происходит вокруг, и те немногие, что волей случая оказывались на заводе в праздничные дни, поражались тишине. Андрей Петрович, закрывшись в кабинете, вслушивался в шумы родного предприятия и учился отличать шипение пара в котельной от прорыва воздуха в магистрали, удар пресса от уханья воды при подкачке ее в котлы. Звуковая карта завода уточнялась от вечера к вечеру, привычными стали полутоны: станок останавливался в механическом цехе, компрессор справлялся избыток воздуха, плюхалась порция конденсата в бак, сборочный цех выключил вентиляцию... Андрей Петрович сливался с заводской жизнью, пытаясь уловить плеск жидкости в той трубе, что несла в себе отходы участка золочения. В самом кабинете постанивали батареи отопления, скрежетали, разражались проклятиями, выдавливая воздушные пробки. Ухо Оглезнева запоминало стенания труб, а те шепелявили, гундосили и отхаркивались, страдая хроническим бронхитом, и лишь золотоносная труба величественно молчала, и где она — Оглезнев не знал. Подземное хозяйство завода поделено между механиками и энергетиками, а те все делали наобум, не заглядывая в схемы, и никто на заводе не мог предугадать, какую трубу или какой кабель разорвет ковш экскаватора при прокладке очередной траншеи (по указанию главка завод прятал воздушные проводные линии под землю).

Он с особой тщательностью одевался теперь, на работу шел, как на праздник, ибо каждый день сулил открытия.

К южным окнам он теперь не подходил, только к восточным, смотрящим на гальванику. Он ждал чего-то — со страхом и упоением, будто назначил кому-то свидание, страстно желает

видеть кого-то, боится опоздать и готов торчать на ветру и холоде, stoически вытерпеть жару или стужу, но — увидеть, протянуть руку, обнять.

В конце февраля случилось долгожданное: гальваника погрузилась в темноту — пробой кабеля, питающего цех. Оглезнев не отзывался ни на один телефонный звонок, но все селекторные разговоры слышал. Погасил в кабинете свет, стоял у окна, потирая в радости руки, наслаждаясь, чутьем долго идущей по следу собаки догадываясь, в каком месте начнутся вскрышные работы. Улыбнулся, когда увидел аварийную бригаду у стены гальваники. Выждал полчаса, набросил на себя телогрейку, вышел, глянул. Четыре кабеля в свинцовой оболочке лежали рядышком на кирпичах, правее и ниже их на полметра — три трубы канализации, и среди них — «его» труба, золотоносная, в отличие от остальных не ныряющая в колодец, а уходящая под двухэтажный корпус.

Андрей Петрович хмыкнул: ну да, конечно, всполошенное прохожей золота начальство обещало впредь все золотоносные отходы прогонять через фильтрационный бассейн, для чего и трубу эту выделили особо. Да только денег на бассейн главк не дал.

Электрики протянули новый кабель, заложили кирпичами трассу, забросали землей траншею. Рабочий день кончился давно, Оглезнев закрылся в корпусе изнутри, открыл крышку колодца канализации, спустился в него. Из «его» трубы жидкой струей стекала в общую канализацию золотосодержащая водица.

Он прощупал трубу. Остался доволен.

«Труба, — произнес он вполголоса. — В трубу. Через трубу. Трубный глас. Труба дело. Вылетим в трубу. Труба зовет».

Теперь он мог голос этой трубы выделять из общего хора.

9

Он наслаждался и тосковал. Сладкой музыкой был только ему слышный шелест проносящихся по трубе частичек драгоценного металла, и в музыку вторгались саднящие душу напоминания о бренности, бессмыслиности, никчемности... — чего именно, он не знал. Золото безвозвратно, никем и ничем не схваченное, по длинному металлическому цилиндуру уносилось в городскую канализацию, подло осаждалось на каком-то подземном горизонте или глупо покрывало дно Москвы-реки. И — мимо Оглезнева, мимо — дразня, издеваясь, гогота, похихикивая, подмигивая и щурша денежными купорами. Золото, добытое где-то на Вилюе или намытое в речушке на среднем Урале, прошедшее через обогатительные фабрики, расплавленное и охлажденное, сфор-

мованное в штатные бруски, а затем превращенное в порошок и привезенное в спецкладовую. И какая-то часть этого богатства возвращалась к истокам своего существования, в земную кору, 79-м элементом периодической системы Менделеева... Таинственный металл, соединивший в себе величие и ущербность рода человеческого. Редкий элемент, с громадным трудом добываемый, но однако же окупаемый тем значением, которое придал ему человек и не мог не придать. Как устное слова возникало из звуков, как печатное из букв, так и в 79-м элементе спрессовались все остальные, потому что человек выбрал его всеобщей, универсальной единицей расчетов, и золотом измерялись плоды рук людей, богатства всей планеты и потертый половик в коммунальной квартире. По золотому запасу государства судили о мощи его, и особой ценностью становились бумажные суррогаты золота, деньги, которые уравнивали вещи и разнообразили потребности ненасытного человека.

Только один набор звуков слышал он теперь. В нескольких метрах от него проносились микрочастицы универсального металла. Они царапались о шершавые внутренности трубы, изъеденные кислотами, и жалобно попискивали. Они же с прощальным стенанием устремлялись в пугающую их неизвестность. Они рыдали. Они смеялись. Они с трагическим надрывом покидали мир, в котором оставались их братья. Мимо зачарованного Оглезнева огнями низко летящего самолета шли на последнюю посадку все радости и горести земного быта. Грандиозная панорама так и не свершившейся жизни раскрывалась перед Андреем Петровичем, ибо в кусочках золота были апартаменты на трансатлантическом лайнере, ужин с женщиной в превосходном ресторане, вилла, снятая на Рижском взморье, одухотворенное безделье, ощущение вечности собственного благосостояния. Все течет, все изменяется — так утверждали древние мудрецы. Да — текло, да — изменялось, но незыблемым оставалось настоящее, то время, в котором жили нынешние люди, и однажды с горьким прозрением Оглезнев подумал: «Вот и жизнь пронесется, как золото через трубу... И канет в вечность».

И всё же едкое наслаждение было в симфонии, исполняемой трубами. Та, золотоносная, вела основную партию, издавала мелодию, под которую подстраивались остальные, и каждый вечер Андрей Петрович наслаждался музыкой сфер. Он мог читать и партитуру, он по утрам имел редкостную возможность определять зрило, как работала вчера гальваника. Он сделал еще одно открытие.

Катастрофой закончилась попытка сделать гальванику современной, потому что автоматизация не дотянулась до других цехов.

Детали к ваннам приходили с опозданием, нарушая загодя установленный режим. Мартовский план провалился, и с негласного одобрения начальства бабы в гальванике вернулись к привычному им методу, цех, опозорившись, стал работать в три смены, вентиляция по ночам сбивала сон в жилых домах, посыпались жалобы, приехала санэпидемстанция, замерила состав воздуха, пригрозила закрыть цех, на что начальство саркастически улыбнулось и приняло меры: вентиляционные растробы вытяжки, направленные вверх, изогнули, все выдуваемые с ванн испарения теперь отравляли поверхность земли, и на снегу Оглезнев увидел радужные полукруги — розовые, зеленые, синие, оранжевые, и любой человек, знакомый с хроматографией, легко распознал бы, к примеру, в концентрических оранжевых кругах следы хрома, а по интенсивности цветов мог судить о том, чем занимался цех. Андрей Петрович долго смотрел из окна и гадал — что напоминают ему хромоникелиевые отпечатки, эти мазки по снегу, кое-где уже выточанные, стерты, и кого... Походил по кабинету, усмехнулся. Вспомнилось одно утро. Таня Воронихина, став женщиной, бурно приобщалась ко всем бабским приемам прихорашивания и однажды решила освоить помады, села перед зеркалом и разными тюбиками начала окрашивать губы.

Не было уже горечи в воспоминаниях о ней — потому, наверное, что обученная им женщина совершила грандиозную глупость, полюбила почти одногодка, двадцативосьмилетнего научного сотрудника из института высокомолекулярных соединений, и не только полюбила, но и скоропалительно вышла замуж. А подающего великие надежды парня этого Оглезнев дважды видел, сидел как-то с ним за одним столом, уловил в будущем светиле отечественной науки порок и сомневался теперь, сумела ли Таня увидеть в суженом то, что определил он. Она ведь жадно поглощала знания, а он, возвращаясь с нею из гостей, в лицах показывал, кто как себя вел и почему; она, натасканная им, с ходу понимала, кто лебезил перед нею, какая гадость угнездена в мужчине, или, наоборот, какая гнусность преодолена человеком.

Март выдался снежным, и как ни мела поземка, оранжево-зеленые круги устойчиво напоминали о золоте, о тупом упрямстве конкистадоров, чрез немыслимые лишения рвавшиеся к драгоценностям ацтеков, о бедняках, мерзлые трупы которых устилали дорогу на Клондайк. Миллионы людей по-своему решали проблему пространства и времени, они не хотели кропотливым многолетним трудом добиваться достатка, они в один короткий миг вкладывали титанические усилия, золото для них было не эквивалентом стоимости товаров, а нечто большим, но даже если

каждый из этих торопыг урывал от щедрот земли крохотинку желтого металла, только на выпивку в будущем рассчитывая, то все вместе алчные людишки эти, сами того не подозревая, осуществляли великий замысел природы, какой — да неизвестно это никому, потому что великий смысл прозревался в обладании золотом, сами поиски его вели в манящие дали.

«Труба зовет. Я должен обладать золотом. Именно я. Пока не взял его другой. А оно может достаться другому. Оно — вечно-юное, как любовь. На миллиард лет оно старше меня — и так притягательно...»

Никто не покушался на струящееся золото, никто, и можно было думать о нем, мыслями воспаряясь к безоблачному небу и падая оттуда в канализационный люк... Сладостное время раздумий, когда летучий карандаш набрасывает не женские рожицы, не контуры тел, а строгие прямые линии и окружности будущего прибора, фильтра с компактной электронной начинкой — устройства для извлечения микрочастиц золота из нейтральной жидкой среды. Ищущая мысль озарялась необычными решениями, а потом погружалась в темень очевидной ошибки.

Март, апрель, солнце вновь заливало светлым половодьем заводской двор, кабинет, самого Андрея Петровича. Месяца через три-четыре новые ванны начнут сбрасывать в канализацию увеличенные порции золота, и к этому времени Оглезнев надеялся изобрести фильтр.

10

И вдруг обнаружилось, что он — не единственный охотник за золотом!

Галибин! Татарин Галибин знал тайну золотоносной трубы! Более того, он, кажется, создал вожделенное портативное устройство!

Андрей Петрович полез однажды в шкаф за каким-то справочником, нашел его, раскрыл — и на паркет полетел листочек, исписанный формулами. Легко узнался почерк Галибина по документам прошлых лет. Дрожащие руки смяли формулы, комком бумаги они упятались в кармане оцепеневшего Оглезнева. Поразительно! Бывший начальник отдела нестандартного оборудования интересовался растворением золота в разных кислотах, толщиной защитной пленки, той самой, что обеспечивает золоту химическое упрямство, нежелание вступать в реакцию. Царская водка считалась единственной кислотой, на которую активно реагировало золото, — она, правда, создавала и побочные про-

дукты. Галибин догадался, как избавляться от них, показав преимущества переменного тока в ваннах.

Закрывшись в кабинете, потный и воспаленный Оглезнев развернуши книги в шкафу. Так и сидел на полу, не отвечая на телефонные звонки, пораженный невероятным открытием. Галибин изучал процессы переноса золота на другие металлы! Татарин примеривался к золотоносной трубе!

И ни одного библиотечного штампа на книгах! Ни одного! А точно такие книги — Оглезнев установил это час спустя — стояли на полках заводской библиотеки. Галибин таился! Сбежал он с завода, еще не зная, что вместо трех ванн поставят сорок восемь. И в расчеты его вкрадась поэтому ошибка, в трубе, по его мнению, концентрация микрочастиц золота не позволяла улавливать его каким-либо прибором. Но предполагал установить его! Предполагал! Значит — изобрел!

В тот же вечер Оглезнев забрался в канализационный колодец, аккумуляторным фонарем осветил трубу. Так и есть: в ней был отстойник, крышка на шести болтах позволяла просунуть в трубу некий прибор. Какой? И где он сейчас? Куда сбежал Гафур Галибин? На какой завод?

Надо было соблюдать чрезвычайную осторожность.

Через третий или четвертые руки получил он наконец телефон Галибина. Трубку поднял грузин или армянин, голос был с явным восточным акцентом, приторно-приветливым, и сказано было следующее: эту квартиру хозяин сдал на некоторое время, сейчас живет у родственников, здесь бывает редко.

С нетерпением ожидал Оглезнев ночного первомайского дежурства по заводу, директорские телефоны свяжут его с людьми, которые способны поймать в столице сбежавшую болонку. Первый звонок — на «Спецсплав», предприятие это славилось изощренными способами безнаказанного хищения золота. Его тащили оттуда слитками, проволокой, порошками, последним изобретением заводских умельцев были деревянные тапочки с выемкой для пластины из драгметалла: рабочих после смены просвечивали аппаратурой на трех уровнях (голова, туловище, ноги), деревянные сандаletы, надеваемые в душе, в поле пронизывающего облучения не попадали. Воровали все, кому не лень, — и все попадались на следующем этапе, глупцов ловили с поличным на встречах с перекупщиками, спекулянтами и дантистами.

Второй звонок, третий... Ни на одном московском заводе Галибин не работал! Хитрый татарин нашел какой-то другой источник дармового золота... Какой? Родственников, кстати, в

Москве не имел, с женой давно развелся и связи с нею не поддерживал.

Долгожданной ласточкой прилетело верное сообщение — Гафур Шаймиевич Галибин снимает комнату в доме № 5 на единственной улице в деревне Аминьево. А это — окраина Москвы, в двух километрах от знаменитого завода № 304.

Ранним субботним утром Оглезнев подъехал к деревне на краю оврага — и успокойте сизошло на него. Галибин не смог изобрести фильтр, потому что погнался за дармовым бесхозным золотом, точнее — бросовым. Завод № 304, изготовитель радиолокационных станций и электронной начинки ракет, поставлял в магазины ширпотреб, телевизоры «Старт», отходы громадного производства вывозились на свалку, в овраг, рассекавший Аминьево; наклон кузова самосвала — и вниз летели мешки с бракованными радиодеталями, недокрашенные корпуса телевизоров, некондиционные кинескопы всех размеров. Человек пятнадцать или больше мародеров копошились в отбросах, набивали сумки и поднимались с добычей наверх по другому склону. Кое-где дымило, без огня, и пахло почему-то горелой резиной. У дороги, по которой шныряли самосвалы, пряталась в засаде ватага самых умных и инициативных, некоторые машины с известными только ей номерами, подвергались осмотру, ушлые ребята бережно опускали на землю спрятанные под мусором целехонькие телеприемники. Мародеры же тащились к дому № 5 — добротному, истинно крестьянскому, — туда, где обитал Галибин. Бывший начальник отдела нестандартного оборудования и вольной своей нынешней жизни нестандартно решил проблему обогащения. Ему несли то, что безуспешно пытался добыть он на родном предприятии — золото. Не в чистом виде, разумеется, получал он благородный металл, ему несли бракованные панели и печатные платы, гетинаковые колодки и микрореле с неотвинченными контактами, прошедшими золочение или серебрение. Расплачивался водкой: добытчики начинали ее пить, едва отойдя от дома № 5.

Самая прибыльная и самая скучная технология, усложненная дополнительной операцией, грязной и трудоёмкой: латунные основы золоченых контактов надо вытравливать смесью кислот да еще и при высокой температуре.

Андрей Петрович перебрался на другую сторону оврага и медленно поехал вдоль домов, приближаясь к тому, куда мешками несли радиодетали. Окна деревни смотрели в овраг, увидеть Оглезнева татарин никак не мог, занятый сортировкой золотоносного мусора, не хотел видеть Галибина и Андрей Петрович, он надеялся по запаху определить, в доме ли № 5 вытравливается латунь или откусанные контакты увозятся куда-то в другое, более

безопасное место. А может — безмерно талантливый Гафур Шай-миеевич нашел иной способ отделения золота?

Метрах в десяти от дома от остановил машину, приспустил стекла, повел носом... Распахнулась дверь, на крыльце вышла девочка с портфелем, школьница в куцем пальтишке, черноволосая, лет одиннадцати или двенадцати, но когда она миновала палисадник, когда за нею, подтянутая пружиной, закрылась калитка, Оглезнев добавил ей года два: ноги выше коленок уже наливались полнотой. До машины оставалось совсем немного, школьница уже видела сидевшего за рулем Оглезнева, приостановилась вдруг и бросила взгляд назад, как бы удостоверяясь, что никого нет и никто не увидит того, что сейчас произойдет.

А произошло то, чего Оглезнев ни догадаться, ни предположить, ни даже представить не мог: девочка неопределенных, но никак не старше тринацати лет, остановилась рядом с машиной и бросила на Оглезнева *женский* взгляд, в глазах ее было обещание даже самому привередливому эротоману дать нужное ему наслаждение, ибо девочка — это уж точно — знала мужчин с их гадостями, соглашалась заранее изгадиться вместе, если мужчина того хочет, если у него есть деньги и если он сейчас приманит ее открыванием дверцы, приглашением сесть рядом.

В знак согласия девочка уже расстегнула верхнюю пуговицу пальтеца... Но поскольку рука ошалевшего Оглезнева так и не потянулась к дверце, девчонка пошла своей дорогой, а рванувшийся с места Андрей Петрович нескоро опомнился... Ясно теперь: от мерзавки этой Галибина уже не оторвать, девчонка будет помыкать им даже после того, как власти спохватятся и бульдозерами втопчут в овраг золотосодержащий мусор.

По петляющей дороге выбрался он на Можайское шоссе. Лишь вчера услышал он о том, что в черте города есть деревня под названием Аминьево, впервые сегодня увидел он ее — и тем не менее в Оглезневе надеяливо ворочалось ощущение того, что не раз уже бывал он здесь. Странное было ощущение, так и толкающее к каким-то неприятным выводам, к воспоминаниям о Тане.

11

Отныне все свободные дни и часы проводил он в библиотеках, по знакомству получил все патенты, касавшиеся поимки или извлечения микрочастиц золота. Уже полтора века люди ломали головы над загадкой — не уплывающего в никуда золота, а чего-то чрезвычайно ценного, безостановочно и безвозвратно уходящего в прошлое, в небытие. Эта сумасбродно-величественная мысль

вิตала не только в умах философов. Лаборатории всех стран мира пытались изобрести компактное устройство, извлекающее золото из отходов производства. Создавались громадные бассейны, где осаждался электролит для фильтрации, но — овчинка выделки не стоила. На один зарегистрированный патент приходилось до полусотни отклоненных, среди них и те, за которыми гонялись иностранцы, ценящие русскую смекалку, но к изобретениям частных лиц государство относились с предубеждением, лица вынуждались работать под крышею организаций, а министерства и комитеты не желали признавать себя растратчиками народного достояния, противясь любым изобретениям, считая их политически вредными.

Вдруг легкий шумок прошелся по молодежным газетам, скучо, но славили пятнадцатилетнего школьера, придумавшего до удивления простую и верную систему шлопования, мальчишке выдали патент и не поскупились на регистрацию за рубежом. Дети, подумалось Оглезневу, не стиснуты запретами, — так не у детей ли спросить о золоте? Для начала съездил на ВДНХ, там в одном павильоне открылся смотр юных дарований на ниве технического прогресса. Извлек он для себя много полезного, но пока ненужного, зато получил адреса, где выставляются сумасшедшие поделки паканов. Назывались они по-разному: станции технического творчества, кружки умелые руки, общества юных конструкторов. Каждый вечер обезжал он эти ребячьи конторы, уже терял надежду, когда колеса автомобиля завезли его на Ярцевскую улицу, в Дом научно-технического творчества. Впрочем, задерживаться в этом похожем на Дворец культуры заведении он не собирался, рядом кинотеатр «Брест», там крутили хороший фильм, билет был куплен, до начала сеанса тридцать пять минут. Оглезнев шел вдоль макетов, дивясь настырности мальцов, которые брались решать задачи, непосильные умудренным мозгам родителей. Юные отроки, еще не развращенные логикой науки, тащили на показ простейшие приспособления, поражая пап и мам, соседских сопляков и дирекцию этого помпезного Дома творчества...

Андрей Петрович скучающе и в полном одиночестве рассматривал анекдотические диковинки. Шел — и остановился. Стеклянный куб, в нем — какой-то приборчик, в половину противогазной коробки, аббревиатура непроизносимая, пояснения внизу, под кубом, и можно понять лишь, что юный изобретатель обеспокоен судьбой золотинок ничтожного размера, тех, что уносятся водой, сколько бы старатель ни промывал золотоносный песок. «Фиговина», возможно, и годна таежному люду, промышлявшему «золотишком», но она — не для завода. Оглезнев

глянул на часы: минут пятнадцать всего до начала сеанса. Подозвал отрока, содравшего с него двадцать копеек за вход, спросил, не находится ли поблизости изобретатель сей штуковины, то есть Гена Крылов, ученик 6-го класса. «А я и есть...» — пробурчал отрок, похожий до неправдоподобия на юного изобретателя, каким его рисуют карикатуристы: белая рубашечка с красным галстуком, громадные очки в металлической оправе и два расширенных в удивлении глаза. Волосенки причесаны аккуратно, в нагрудном кармане — расческа, показавшаяся Оглезневу логарифмической линейкой. Придавая лицу и голосу уважительность, стал осторожно расспрашивать очередного вундеркинда. Как он давно заметил, детишки этого пошиба огораживают взрослых не столько дурацкими вопросами, сколько невежественными ответами. А у этого пионерика оказалось славное техническое прошлое, то есть отец и мать на ВИЛСе работают до сих пор, институт этот (Всесоюзный, легких сплавов) на весь мир гремел смелыми разработками композитных материалов и уж в металлах разбирался много лучше кого-либо в стране. У пацана этого могли быть не только идеи, но и нигде еще не испытанные материалы, поскольку мальчишка, гордый интересом к себе, плел очень интересную чушь. В земной коре, да будет известно, сто миллиардов тонн золота, моря и океаны растворяют в себе десять миллиардов, американца создали установку на атомной энергии, выкачивая из океана драгоценный металл, но столь неэкономичным оказался способ, что применения он не получил...

«Каковы ваши творческие планы?» — крутился на языке Оглезнева вопрос, и задал он его в бытовом варианте. Юный творец новой техники признался в изобретении особого фильтра, на котором осаждались частицы золота. Юнцу хватило нагости назвать безделушку своим именем («Гена-2»), фильтр успешно прошел испытания и был возвращен владельцу с уничтожающей характеристикой, но и с протоколами испытаний в институтской лаборатории.

О кино было забыто. Малец повел Оглезнева в чуланчик и показал отвергнутый фильтр, пересказал содержание протоколов, из чего Андрей Петрович вывел заключение: придет пора — и ВИЛС понесет «тяжелую утрату», назревала преждевременная смерть руководителя гальванического подразделения. «Да будет земля ему пухом...» — скорбно констатировал Андрей Петрович.

Приближался между тем критический момент: давать мальцу деньги? задурить ему голову?

Что-то хищненькое было в глазах отрока, зверек чуял добычу. Три червонца показались ему убедительным вознаграждением, и

фильтр в презентованной мальцом коробке бережно положен был на заднее сиденье «Москвича».

С субботу гальваника отработала всего одну смену, хватило трех минут, чтобы установить в трубе фильтр, изобретенный мальцом.

Теперь надо было ждать — месяц, два, три.

12

Наконец-то смог он вникнуть во все им же подпанные ранее документы. Остался довольным — не столько собою, сколько мастером. Этот тихий циник подворовывал, конечно, прикрываясь резолюциями своего непосредственного начальника, то есть Оглезнева, ухитрился списать семь якобы загубленных тестеров да метров четыреста провода, за которым высунув язык бегали новоселы. Он же в два приема выколотил из Оглезнева повышенный оклад, но сам Оглезнев получал много больше от угренних докладов мастера да газет, которые тот подсовывал ему. Кое-какую устную информацию мастер доносил до ушей начальника в урезанном виде, полагаясь на то, что порочащие кое-кого сведения могут быть Оглезневым приняты во внимание, а могут оказаться и не принятыми, но в любом случае будут додуманы и осмыслены для дальнейшего использования. Так, однажды он обмолвился о том, что электромонтер Васюхин во второй раз — после полутора лет задержания — пришел на работу сильно поддатым и с фингалом, хулиганский удар пришелся на левый глаз. Никаких мер воздействий принято не было — доложил мастер. Из дальнейших слов его следовало, что, кажется, не пытался воздействовать на фингал и электромонтер Васюхин, то есть не прибег к помощи травматолога, отработал смену и даже не сходил к фельдшеру. Более того, гордо являя всему заводу синяк под глазом, будто получил его при защите социалистической собственности. Решил и на другой день красоваться с необычным знаком отличия, но неожиданно вызван был к врачу, который и начал изгонять с лица красавца позорящий или славящий его синяк. В тот же день позвонила жена его, депутат Верховного Совета, что немало удивило Оглезнева. Голос выдавал происхождение из северных областей России и характер бабы, дорвавшейся до власти, но еще не умеющей пользоваться ею. Голос то возносился к угрозам, то начинал угодничать, гражданка Васюхина обрела нужный тон только где-то в середине речи, сводящейся к тому, что полученная мужем травма не столь серьезна, чтоб стать поводом какого-либо расследования, трав-

ма — результат несчастного случая, человек поскользнулся и упал на улице, со всяkim это бывает. Затем Антонина Николаевна Васюхина попросила уважаемого Андрея Петровича быть к подчиненному, то есть Васюхину Сергею Павловичу, постrophe, и о каждом нарушении им трудовой дисциплины — докладывать ей незамедлительно...

Оглезнев положил трубку в твердом убеждении: фингал дурню поставила сама депутатша, и было за что. Муженек обладал искусством уходить из-под опеки супруги, старше его лет на десять, и спутываться с малолетками из ПТУ, его дважды уже накрывали в раздевалке стройцеха с юными практикантками-маляршами, и не будь директор завода по рукам и ногам связан каким-то словом-обещанием, этот льнувший к молодняку малограмотный электрик был бы давно выброшен за проходную. В одном ему нельзя было отказать — в редкостной изворотливости и предпримчивости, когда дело доходило до измен супруге. Последнее его изобретение в этой области могло не только позабавить. У Васюхина был «Москвич», он подъезжал на нем к дому очередной девчонки и звонил жене — машина, мол, сломалась, вышли за мной свою служебно-персональную или разъездную, из гаража особого назначения. Блюдущая свою депутатскую честь супруга такой вариант не принимала и позволяла непугевому мужу ночевать в машине, которую он тут же покидал и падал на недозрелую девицу.

Близился сбор урожая, еще три недели — и надо вынимать из трубы фильтр, как вдруг — после угренного доклада — мастер «забыл» на столе вчерашний номер «Московского комсомольца» — редкой для столицы газеты, подписывались на нее только в Подмосковье, и Оглезнев, прочитав ее, так и не мог найти что-либо к нему или отделу относящееся. Выразительно пожал плечами в знак недоумения при следующем докладе, и мастер столь же выразительно поджал губы, давая понять, что нечто важное в газете все-таки есть.

Вновь прочитал ее Оглезнев, от названия на первом листе до цензорской буквицы на последнем — и вновь ничего не нашел. Совсем заинтригованный, он начал изучать газетенку поабзацно, и вник наконец в коротенький репортаж. Корреспондент взял интервью у ткачих фабрики имени Фрунзе, которые в один голос пожаловались на вредные условия труда, в чем повинна администрация и старший мастер их, которая житьем-бытьем товарок не интересуется и вечно занята какими-то никому не нужными общественными делами.

И всё. Ни слова больше. Но за причтаниями ткачих крылась бомба со взрывателем замедленного действия. Старший мастер —

женщина, какие-то общественные дела — сидение, с отрывом от производства, в каком-то выборном органе, и хотя фамилия не названа, речь идет, конечно, о супруге электромонтера Васюхина, это, без сомнения, она фигурирует в провокационной статье. Возможно, корреспондент не знал даже, до какой высоты взлетела товарка задыхавшихся в пыли ткачих. Возможно, редакция мимо глаз пропустила намек об общественной деятельности, приняв ее за бабскую суету в фабкоме. Возможно. Однако многие и очень многие могли статью посчитать первым сигналом к стаскиванию Васюхиной с кремлевского помоста. Сама она так и поняла, ибо супруг ее третий день прятался тараканом в какой-то заводской щели. Над семейством нависла угроза лишения всех благ — квартиры, пайка, врачей, беда нависла грозовой тучей, за газетным словом всегда прозревался либо барский гнев, либо милость, и как раз в день, когда наконец Оглезнев статью эту «принял к сведению», вернулся с трехдневного семинара инженер по технике безопасности, рассказал удивительную историю. Как только в перерыве заседания газету прочитали, сразу выступила некая бабенка с завода «Станколит» и обрушилась на не поименованную в статье Васюхину. Видимо, сигнал был дан.

Андрей Петрович пожал плечами, поражаясь дурости русской бабы, полезшей в депутаты такого уровня: она еще числилась и заместителем председателя комиссии по иностранным делам! Надо ж такое представить — министр иностранных дел, собаку съевший во всегда запутанной внешней политике, вынужден (а конституция обязывала!) прислушиваться к советам члена законодательного органа!

Разгадав смысл статьи, Оглезнев сделал еще одну попытку избавиться от малахольного страдальца по юным телам, но встретил решительный отпор. Видимо, газета дала маху, о чем вскоре оповестила, неуклонно опровергнув себя: корреспондент, мол, «обстановку на фабрике обрисовал в ложном свете». Показала зубы и сама депутатша, позвонила Оглезневу и вновь очень жестко потребовала — неукоснительно присматривать за монтером Васюхиным. Тремя днями позднее Оглезнева вызвали в НИИ на разбор пустякового дела, приехал он на своей машине, отсидел на совещании сколько положено, отметил командировку, постоял в некотором раздумье у книжного киоска в холле НИИ, что-то купил, сел в машину, поехал... Его не оставляло ощущение, что по какой-то другой причине выдернули его из стен уже родного предприятия, потащили за руку и вывели на обозреваемую со всех сторон площадку. Кто-то, короче, очень хотел рассмотреть его вблизи...

Он удвоил осторожность, делал вид, что гальваники на заводе вообще нет, однако возникло опасение: труба с золотосодержащей жидкостью могла засориться, и сантехники, прочищая ее, обнаружат гениальное изобретение мальца. Принял меры, появился на третьем этаже гальваники, убедился: решетчатые отверстия канализационных стоков надежны и станут преградой любому предмету. И тут же решил: в кабинете — не засиживаться! По случайному стечению обстоятельств кабинет этот (догадался Оглезнев) обладал свойствами реверберационной камеры, его стены, пол и потолок резонировали от колебаний трубы с золотосодержащей жидкостью. Сладкозвучной сиреною пела эта труба, и звала она — в Аминьево.

13

Теперь он брал с собой из дома пакет с бутербродами и после работы катил поближе к оврагу. Купил подзорную трубу и треногу к ней. Оптика приближала окна, за которыми страдал Галибин (да, страдал, бесился от вожделения — уже понял Оглезнев), и всё чаще окуляры направлялись не на Гафура, а на дочь хозяйки, школьницу, так, пожалуй, уже развращенную, что будь у порока степени отличия, награды и дипломы, малолетняя мерзавка была бы увещана ими с макушки до пят, и горько было Оглезневу думать о ней и видеть ее, потому что при взгляде на Раечку (так звали паскудную девчонку) вспоминалась уже забываемая Татьяна Воронихина, и головокружительная, полная нежности и страданий любовь к ней не казалась теперь старческим блудом, блажью, над которой смеялась, показывая кончик языка, двадцатitreхлетняя Таня.

Уродливым повторением той лучезарной и черной любви была эта страсть сорокалетнего татарина к толстожопой паскуде, и угнетенный Андрей Петрович всё чаще отрывался от трубы и смотрел в себя, вспоминая Татьяну Воронихину: она-то ведь свое золото тоже искала! И нашла — муж, будущий доктор наук, разоблачен как наркоман и поставщик зелья, изготавляемого в его лаборатории. Всему вроде бы научил он, каялся теперь Оглезнев, любимую женщину, а вот как распознать наркомана — поленился, и сейчас вспоминал: был же, был повод рассказать Тане, что означают у людей мгновенные переходы от бестолковой суеты к тягучему созерцанию, какой смысл таят в себе обращенные вовнутрь взгляды, как страх перед возможной ломкой искажает порою поведенческие реакции. Мог бы просветить — но промолчал, и было это — отложенной местью, чего он теперь

стыдился. По слухам, разводиться она пока не намерена. И — несет в себе ребенка от арестованного корифея.

14

Пришло время пожинать плоды. Андрей Петрович нырнул в люк. В кабинет поднялся, держа под мышкою творение жадного до денег отрока. Развинтил его и рассмотрел мембрану, которая сама по себе была изобретением крупного масштаба, истинно пионерским (скаламбурил Андрей Петрович), в нем создавались — без внешнего источника энергии — вихревые токи. Какие-то затвердевшие ржавые хлопья отпали от пластины при ударе о край стола. Кажется, это было золото.

Фильтр был спрятан в сейф. А со ржавыми хлопьями он пошел в термичку: так называли на заводе участок инструментального цеха, где стояла муфельная печь. Там вовсю забивали козла, на манипуляции Оглезнева глазом не повели. На заводе давно уже существовала полуподпольная индустрия товаров и услуг, в коих нуждался малоимущий люд за проходной. Дихлорэтаном склеивали зубные протезы жильцам соседних домов, чинили то, от чего бежали ремонтные мастерские, почти открыто делались разборные гаражи, могильные ограждения, и все каким-то способом вывозилось за территорию завода. Одну из литьевых машин приспособили для выделки пластмассовых стаканчиков, вилок и ложек, плавили и металлы. Сорок минут посидел с доминошниками Оглезнев, наигрался вволю, уступил место более достойному и ухватиком вытащил из печи горшочек. Швырнул его в бак с водой, увернувшись от столба сухого горячего пара. Тем же ухватиком поместил горшочек в контейнер и понес к себе. Все реактивы были готовы, они собирались по крохам весь последний месяц. А весы, будто зная об истинном назначении своем, уже какой год стояли в шкафу. Молоток в столе, удар по горшочку из огнеупорной глины — и на газету вывалился светло-бурый сегмент.

Это было золото высокой пробы, всего сто восемьдесят семь граммов, продать их официально — невозможно, государство преследовало как хождение иностранной валюты по стране, так и обращение драгметаллов. Разрешалось, правда, сдавать в скупку ювелирные украшения, равно и покупать их в магазинах, и тем не менее золото на черном рынке ходило, перехватывалось госбезопасностью и милицией, и попадись выловленный Оглезневым металл на Петровку, 38, — эксперты загнали бы себя в тупик предположениями, откуда взялось это не шлиховое золото.

Место ему нашлось в багажнике «Москвича». Могут, конечно, украсть. Да черт с ним, другой сегмент сам собой нарастется в трубе.

Преодолен некий рубеж — а в радости была примесь тревоги. Мадам Васюхина производила какие-то непонятные маневры. Как ни секретничал начальник спецотдела, а не мог не поделиться кое-каким сведениями. Оглезнева — проверяли! Шло уточнение анкеты, кого-то очень интересовало прошлое его, и поэтому нельзя было повторно забрасывать удочку в кишащий золотом водоем. Прибор, некогда пылившийся в чулане Дома научно-технического творчества, обрел пристанище под задним сиденьем автомашины.

Оглезнев ждал, теряясь в догадках. Об Аминьеве старался не вспоминать. На утренних докладах мастера вопросительно поглядывал на него. Тот молчал — интригующе, полный скорби от того, что не может ответить, пока не может.

Ответил наконец тем, что докладывать стал иначе одетым: не в спецовке. Костюм хорошего покроя, галстук, рубашка не белая, но и не темная. В голосе — еще больше вкрадчивости. Не мастер, а министерский служащий.

15

И вдруг под вечер телефонный звонок: Васюхина! Голос томный, как у деревенской дуры, обкатанной городом и нарядившейся в обновки. Предложила встретиться, «поговорить о насущных проблемах». Андрей Петрович соглашался, быстренько выискивая такой способ общения, который покажется депутатше наименее приемлемым. Ничего не придумал и брякнул то, что некогда говорил дамам: кафе, часиков эдак в восемь вечера. Наступила долгая пауза, мадам Васюхина примеривала себя к тем, кого Оглезнев запросто возил к себе после кафе. Сочла предложение вздорным, что и выразил голос ее, тон с оттенком крикливости. Дело почти семейное, сказала она, и лучше всего поговорить у нее дома, сегодня же, тем более что мужа не будет.

Оглезнев согласился. И тут же позвонил начальнику отдела кадров, в который раз попросил убрать из отдела электромонтера Васюхина. Порадовался, что машина у проходной: можно будет сослаться на сие обстоятельство, отказываясь пить.

Демонстрируя пунктуальность, прирулил к дому Васюхиной за пять минут до назначенного времени. Машину поставил во дворе. Дом — из тех, что называются «с улучшенной планировкой», фасад выходил на Москву-реку, деревья во дворе тянулись

к пятому этажу и обещали когда-нибудь добраться до крыши. Лифт обычный, карачаровского завода, на лестничной площадке можно играть в пинг-понг. Дверь открыла бодрая старушка, сказала, что Анна Николаевна ждет. Оглезнев усмехнулся: его ставили в положение просителя и томили в приемной. В просторном холле висело зеркало, во весь рост позволяя обозревать себя, и он машинально, как того требовали приличия, оглядел фигуру свою, остался довольным, не мог не заметить и взгляда наконец-то показавшейся депутатши, и взгляд этот насторожил его: женщина с пытливостью портного оценивала рост, размер, особенности телосложения, и, кажется, пришла к выводу, что такого мужчину можно одеть хорошо, со вкусом, быстро и с минимальными затратами. Сама была в длинном вечернем платье. (Мастер, вспомнилось, подсунул как-то газетную статейку о посещении министром культуры какого-то театра, мастер тем самым давал понять, что и женщина электромонтера Васюхина подвержена этому пристрастию — бывать в местах культурного отдыха трудящихся да еще и указывать, как до трудящихся доносить слово партии). Для театра предназначалось темное платье, смело декольтированное, покрой позволял предполагать, что деревенская по размерам грудь не увяла в городских условиях. (Такую грудь, впрочем, мужики на заводе называли выменем, ничуть этим не принижая достоинств ни деревенских красоток, ни вторичного полового признака высокодойных коров.) Была протянута рука — для наклона к ней с последующим прикосновением мужских губ. Жилищный вопрос мало волновал Андрея Петровича, ему вполне хватало, даже с избытком, двухкомнатной квартиры, тем не менее он отметил: три комнаты, и самая маленькая вместит все жилище его. Потолки — три метра, планировка действительно увеличивает комфорт, обои такие, каких он не видел, но о которых мечтал. Спрашивать, где достала депутатша обои, было, конечно, бессмысленно. Но мебель — удручила, хоть такую нигде не купишь: слишком вычурна, громоздка, помпезна... Прошлого своего хозяйка не смущалась, предъявила семейный альбом: вот она в седьмом классе, вот ПГУ, вот она — лучшая среди лучших, победительница конкурса по профессиям. Далее шли почти официальные, годные для газетной полосы фотографии — в президиуме съезда, на открытии чего-то, на трибуне, у трапа самолета, который сейчас унесет посланцев страны социализма куда-то во враждебную даль, в кулуарах съезда, что ли, или какого-то заседания — рядом с самим Гагариным...

Он рассматривал фотографии, поднимал глаза, сравнивая наружные изображения с сидевшей рядом на диванчике Анной Николаевной, позаботившейся о том, чтобы выглядеть не только

лучше (женщина все-таки!), но и явно склонной к роли русской бабы, которую можно смертным боем бить за дурость. Эта тяга к бытовой жертвенности усиливалась тем, что красавец муженек оказался на проверку жизнью хлопником, всю мужскую силу свою направивший не на усаду супруги, а на добывание утех у юных соблазнительниц, и терпела его Анна Николаевна потому, что развод в ее депутатском положении мог оказаться гибельным, возбуждающим подозрения. В самом деле, тридцатилетний красавец муж (ей-то уже под сорок!), о котором можно с гордостью писать в анкетах («электромонтер 4 разряда!»), ничем не запятнанное прошлое самой Анны Николаевны, счастливая семейная пара в официальной трактовке — и вдруг бракоразводный процесс... Надо терпеть — и терпению сему поможет не кто иной, как Андрей Петрович, который приложит все силы, но образумит порывистого электромонтера...

Для этого и был он приглашен — так явствовало из поведения Анны Николаевны и кратких пояснений к фотографиям. Но не из речей ее за столом, к которым Андрей Петрович поначалу не прислушивался, принимая их за ностальгические вздохи деревенщины, а затем начинав понемногу постигать смысл приглашения в гости, со всё большим страхом и восхищением понимая, на что его нацеливают... Подавался, кстати, чай — с разными ватрушками и калачами, испеченными старушкой, дальней родственницей хозяйки. Эта кикимора притворялась глуховатой, прикладывала к уху темную ладошку, когда говорила Анна Николаевна, но понимающе кивала сморщенной головой, слыша Оглезнева. При прощании мелькнула запоздалая мысль: а ведь надо было приходить с цветами! Но кто мог знать, во что превратится почти служебный визит. Рука теперь протянута не была, депутатша намекала Оглезневу, что отношения их — почти родственные, настолько близкие, что некоторые знаки внимания уже излишни, и если в следующий раз Андрей Петрович протянет Анне Николаевне благоухающий букет, то будет вознагражден за внимание поцелуем в щеку, пока в щеку.

Андрей Петрович ехал к дому, часто останавливаясь и недоуменно цыкая. Осторожно открыл дверь. Свет не включал, опасаясь неизвестно чего. В нем что-то разладилось, он едва не поджег квартиру, отвернув кран с газом и чиркнув спичкой не сразу, а по прошествии нескольких минут. Решил на утро отложить разгадку той тайны, которой был окутан разговор с депутатшей. Не мог не усмехнуться горько, и в некоторой злобности постигнул наконец, какой удар нанесен Васюхиной корреспондентским рейдом на ее родную фабрику. На тех верхах, где она обитала, ничто не делалось без соизволения всемогущего партий-

ного органа, и статья о порядках на фабрике и гневе работниц на отлынивающего мастера, Васюхину то есть, по твердому убеждению ее (да и не только ее!) была запланирована с далеко идущими целями. Во-первых, она давала Васюхиной понять, что судьба ее — без оглядки на депутатство — может решиться в любой момент; статья в мягко угрожающих тонах советовала Анне Николаевне не рыпаться, не проявлять политически вздорного своееволия (чего в помине и не было), а преданно и не думая исполнять решения вышестоящих органов. Во-вторых, статья рекомендовала Васюхиной более глубоко продумать семейные проблемы свои. И цели своей газета достигла. Депутат Верховного Совета (она же — заместитель председателя комиссии по иностранным делам) была так напугана, что решилась на отчаянный шаг. Она вздумала исправить биографию свою, срочно избавиться от позорящего ее мужа. Она кляла себя за бабскую ревность, толкнувшую ее много лет назад на завоевание красавца электрика. Васюхин работал когда-то на той же фабрике, виды на него имели девки и помоложе Анны Николаевны, и покрасивше, и с пропиской. В борьбе самок за самца Аня Гуртовая, не привыкшая и не умевшая уступать кого-либо или чего-либо, взяла верх, о чем ныне горько сожалела. Не победила она тогда, а потерпела поражение, потому что стала уязвимой, потому что нет рядом настоящего мужского плеча, о которое можно опереться, и те власти, которым она подчинялась, поостереглись бы угрожать ей, будь она в брачном союзе с уважаемым, занимающим крупный пост мужчиной. Примеры таких семейно-служебных связок-союзов были налицо: министр культуры (жена) и заместитель министра иностранных дел (муж). Применительно к общественной значимости Васюхиной муж ее обязан быть начальником главка какого-либо влиятельного министерства и быть вхожим в правительственные верхи. Анна Николаевна неспроста в разговоре вспоминала времена Никиты Хрущева, именно тогда вдруг вознесся некий директор совхоза, став неожиданно заместителем министра сельского хозяйства. Опорой себя депутатша отныне мыслила Андрей Петровича Оглезнева, только его, как-то между прочим сказав о том, что никак не найдут достойного человека на роль заместителя председателя комитета по электронной технике. Требования к нему были простыми и поэтому почти невыполнимыми: этот облагодетельствованный назначенец родом обязательно с низов производства, но со знаниями, позволяющими ему уверенно сидеть в кабинете заместителя. Никто такого человека впускать в свой круг не хотел, но его непременно пустят, ежели кто-то за него замолвит словечко. Тот, кого он

должен заменить, уходит на пенсию через несколько месяцев, и по намекам Анны Николаевны в начале следующего года она и Андрей Петрович Оглезнев предстанут в загсе рука об руку. Что они подходят друг другу и, в сущности, рождены для совместной жизни, это Анна Николаевна выразила одним взглядом и кивком головы — в тот момент, когда в холле провожаемый хозяйкой Оглезнев по чистоплюйской привычке оглядел себя в зеркале и встретился в нем с оценивающим взглядом Анны Николаевны, и та, подведя итог своим депутатско-бабским подсчетам, кивнула, соглашаясь с решением некоей инстанции: да, *этот* мужчина — и к месту, и ко времени, да и вообще... Идеальная пара: жена моложе мужа на десять лет, хороша собой, почти красавица в русском, то есть патриотическом стиле, уважаемая народом женщина — и муж, заслуженный производственник, у обоих — статные фигуры и многолетний партийный стаж, мужчина ростом, как и положено, чуть выше спутницы жизни, до женитьбы на Анне Николаевне — вдовец, и она через три-четыре месяца снимет траур по безвременно скончавшемуся мужу...

Убитому — так вернее сказать, ибо на убийство красавчика, мужа своего, нацеливала Оглезнева уже готовящая траурное одеяние Анна Николаевна. Имея, конечно, в виду не смерть красавчика от пули, яда или рук самого Оглезнева, а нечто иное, и Андрею Петровичу было не до сна. В тихой ярости ходил он по квартире, то включая свет, то затемняясь, как по воздушной тревоге в годы войны, и беззвучными смешками признаваясь, что был, оказывается, кретином и дебилом, когда похихивал над Конституцией РСФСР, дозволявшей деревенской дурочке изглагляться над главой дипломатического ведомства. Да этой бабе не то что министра иностранных дел учить уму-разуму, ей впору давать наставления шефу тайной полиции! Потому что Анна Николаевна Васюхина, при всей дурости своей, обладала умением самые чудовищные по смыслу вещи излагать словами, к которым не придерется ни один дотошный следователь. Она и свидетеля притасла на тот случай, если возникнут какие-либо недоразумения с законом: эта притворявшаяся глуховатой деревенская тетушка поклянется на всех допросах, что за чаепитием говорилось только о родной деревеньке ее. Что было полной правдой: о родне и несчастных семьях велись безобидные речи под шумок вскипающего электросамовара. Да о разных новостях в той среде, где обитали депутаты Верховного Совета. Анна Николаевна — рассказами о деревенских и городских происшествиях — предлагала Оглезневу убрать с дороги своей — и с его тоже! — им обоим мешающего человека, причем сделать это так, чтоб и тени подо-

зрения не упало ни на него, ни на нее. Она и о плане устраниния намекнула, проявив благородство и знание производства. До Васюхиной — неизвестно с чьих слов — дошел эпизод чересчур Оглезневу памятного вечера, когда он, идя к себе на последний и решительный разговор с Воронихиной, увидел электромонтера Васюхина на шаткой лестнице. Не поняла депутатша горького производственного юмора начальника, несущего ответственность за жизнь подчиненных, не догадывалась о том, какие бури бушевали в душе Оглезнева. Ей одно втемяшилось в голову: дурня монтера склоняли к самоубийству! И припомнив этот случай, Анна Николаевна давала понять: красавчик не должен погибнуть на производстве, хоть оно и дает массу возможностей. Видимо, в свое время Аня Гуртовая не одну соперницу отпихнула, штурмую Васюхина, такие подстраивала каверзы, что особо охочие до красавчика девки обваривались по собственной вине кипятком, совали пальцы в зубчатые передачи, по странной оплошности выпивали кислоту вместо воды. И всегда производственные травмы эти расследовались, и, видимо, Аню Гуртовую никто не потянул к ответу потому лишь, что она тогда даже в бригадиршах не значилась. Гибель муженька на производстве никак не устраивала Анну Николаевну: трудносмыываемое пятно ляжет на Оглезнева, и какие бы ходы ни делала депутат Васюхина, готовя его к креслу заместителя председателя комитета, по формальным основаниям назначение это состояться не может. Более того, если и через эту преграду проскочит Оглезнев, последующее бракосочетание отменится, пойдут слухи, они свяжут сидение в кресле с гибелью монтера. Следовательно, уничтожать дурня и красавца надо каким-то другим путем.

Увлекательная задача! Головоломка, достойная Агаты Кристи или Честертона! Никогда Андрей Петрович не подозревал о своих способностях сочинять завихренные детективные повести, а именно этим занимался он всю ночь, благо следующим днем была суббота. Он заснул под утро, но уже в полдень машина его проехала мимо Комитета по электронной технике, Андрей Петрович примерялся к новому месту работы, и по здравому рассуждению понял, что не стеченье обстоятельств, а железная государственная необходимость приведет его в здание, осмотренное им снаружи. Настанет время — и обойдет он этажи и кабинеты, он — сейчас это отчетливо понималось — заранее готовился к новой должности, он просматривал бюллетени, читал журналы, знал конъюнктуру, он разыщет ученых, которые обеспечат скачок в технологии. Он горы свернет! Он — а не комитетская челядь с ее мышиной возней!

«Власть... влазь... владение... Владимир... всласть... — бормотал Андрей Петрович. — Блага... блага... совладать... соблазн...»

Пока же надо было устроить убийство Васюхина за пределами завода, в нерабочее время, на бытовой почве и не заводскими людьми.

Он выпросил у директора две недели в счет будущего отпуска, перекрасил свою машину и возобновил наблюдение за домом № 5. Все деревни, окружавшие Белокаменную, славились разнообразием — с еще допетровских времен — воровских наклонностей, в Аминьеве умели выколачивать деньги из мусора, навоза, народец там был ушлым, извлекал выгоду из самого места пребывания. Строились рядом заводы — работали тащили в Аминьево краску, линолеум, шифер, столовые снабжали хозяйственных поросят и коров густым и жирным пойлом. Самогонные аппараты в сараев гнали продукцию, находящую сбыт на стройках, и промысел этот прикрывался участковым, который был к Раечке весьма неравнодушен и обладал законным правом тискать ее — в присутствии мамаш, правда. Та строго надзирала и за будущим зятем, Галибиным то есть; погладить девчонку по попке и притронуться к груди — это все, что пока разрешалось. Мыслилось же этой бандой завладение денежками, которые текли к Галибину через тех грузин, что сняли у него квартиру и пятый год учились в аспирантуре института машиноведения имени Благонравова, а уж в заведении этом очистить золото от латунной основы контактов — плевое дело. Оглезневу так и не было ясно, что же послужило ростком этого бизнеса: преступные наклонности аминьевского семейства или благородная страсть Галибина изловить жар-птицу. И пропал у того интерес к золоту, как к жене, которая отдается мужчине в любой час дня и ночи. Мистический металл, психически нездоровы: золото только тогда обладало ценностью, когда оно либо зарабатывалось каждодневным потом, либо с риском для жизни изымалось у кого-то.

Двухнедельный отпуск еще не кончился, как вдруг позвонил мастер и посоветовал изучить вчерашнюю «Правду». То же пожелание выразила и депутатша. Андрей Петрович нашел в партийной газете так заинтриговавшие многих строчки — родной сын всесильного генсека был назначен заместителем министра внешней торговли, а означать это — применительно к Оглезневу и Анне Николаевне — могло следующее: для нейтрализации, что ли, столь шокирующего народ назначения требовался представитель трудящихся масс, с той же внезапностью поднятый на высокий государственный пост!

Надо было спешить — так понял Оглезнев, и выходной день посвятил Раечке.

Еще раньше заметил он, что с утра воскресенья она исчезает куда-то, домой возвращается ранним вечером, нагруженная сладостями — кульками конфет, плитками шоколада и живыми деньгами, которые отдавала матери. Теперь надо было проследить весь ее маршрут. Из дома она выскочила, одетая более чем по-детски, метро и автобусами добралась до шоссе Энтузиастов, нырнула в подъезд. Вышла оттуда со старухой, чуть подкрасив губки. Шестидесятилетняя матрона, нагло и густо намазанная, за руку вела внучку, ребенка лет под десять, не больше, и внучка на выбранного бабкою мужчину бросала взгляд, в котором эротоман нашел бы восхитившую его смесь младенческой тупости и обещания уладить клиента по высшему разряду. Некоторые в изумлении приостанавливались, кое-кто, потрогав в нерешительности лоб, поворачивался, шел следом, подзывал накрашенную бабулю. А та знала все подвалы и бойлерные в округе (устраивать вертеп на дому остерегалась), мужчина как привязанный плелся за парочкой. Остальное легко угадывалось, девственность сохранялась при любом варианте.

Андрей Петрович полез под душ. Ближе чем на двадцать метров к Раечке он не подходил, но грязи нахлебался вдоволь... Мелькнуло было желание — да бросить эту затею к чертовой матери, туда же послать депутатшу, но всякий раз ревнивая мысль пресекала порыв: если он не сядет в кресло заместителя председателя комитета, то — кто..? Ему известны были все претенденты, и он знал: они не сделают и десятой доли того, на что способен он.

Поход на шоссе Энтузиастов внес коррективы в уже почти разработанный план устранения красавчика. Так и сяк обсасывая варианты, Оглезнев начал с того, что посоветовал будущей супруге удлинить поводок, на котором она держала ветреного муженька. Поводок она удлинила, красавец получил свободу передвижения и право на ночевку в наиболее приемлемых ему местах — с обязательством помалкивать о том, кем приходится он Анне Николаевне Васюхиной. Сама она позванивала Оглезневу по вечерам, о деле, их связывающем, не говорила, язык на привязи держать умела, но тоном, советами по готовке пищи давала понять: аванс, то есть ее самое как женщину, Андрей Петрович может получить. Правда, аванс на предприятиях бывает в двадцатых числах каждого месяца. Депутатша, судя по многим признакам, темпераментностью не отличалась, и не стоило опасаться гнева ее в будущем, когда Оглезнев постареет.

Приходя с работы, Андрей Петрович наскоро ужинал и предавался размышлениям, переставлял воображаемые фигурки людей, располагая их в разных композициях. Театральное действие

разворачивалось перед ним, фигурки одна за другой выходили из-за кулис, произносили монологи, вступали в споры, затаивали в себе обиды, стяжали, предавались порокам, пылали благородным негодованием, любили, страдали, мстили, а в зрительном зале сидел Андрей Петрович, дивясь подлостям человеческой натуры. Однажды он смел со стола незримых человечков, признав себя побежденным, потому что испытал к себе ненависть. Произошло это в день, когда узнал он о постигшей Татьяну Воронихину беде: родился ребенок, девочка, зачатая от наркомана, урод, и Андрею Петровичу захотелось вернуться в давние времена, позвать к себе Таню и вместе с нею ставить на ноги — в самом буквальном смысле — девочку. На себя взвалить все тяготы спасения, ибо — виновен. Порыв испарился, едва вспомнилось прощание с Воронихиной. Не опереди она его, не швырни ключи на стол, не скажи, что «нам пора расстаться», — и поехал бы он сейчас к ней. Но — не поехал, а продолжал раскладывать пасьянс, пока не добился желаемого, наступила развязка трехактной драмы. Четыре человека на сцене — Галибин, обессиленный позорной страстью, девчонка, выгадывающая, с кем выгоднее, красавчик Васюхин, всегда напролом рвавшийся к цели, и распаленный милиционер с пистолетом в дрожащей руке. Раздается выстрел, один, другой, девчонка выскакивает из дома, сталкивается со спешающей матерью, а потом — в ужасе от содеянного — милиционер производит третий выстрел. Занавес падает, зрителям остается только гадать, а за кулисами ловят свидетелей прокурорские работники, обыски ничего не дают, потому что грузины все золото давно уже переправили на юг. Якобы случайно попавший в передрягу Васюхин укладывается в гроб, и безутешная вдова облачается в траур на месяц-другой...

Оставалось дать сигнал к открытию занавеса и первым репликам действующих лиц, для чего следовало ввести Васюхина в круг аминьевского жулья, то есть познакомить его с плотоядной малолеткой в юбочонке, задранной до копчика, — задача не такая уж невыполнимая, хотя и осложненная тем, что сам Андрей Петрович должен остаться невидимым и вообще не существующим. Как это сделать — Оглезнев представлял смутно, откладывал решение, рассматривая все варианты и понемногу склоняясь к тому, что дело это надо доверить грузинам, как-то будто со стороны намекнуть им, эти сбытчики и курьеры понимали, какая опасность таится и в распаленном участковом, и в красавчике.

Для последней рекогносцировки приехал он в Аминьево. Был один из тех дней, когда природа тоже производит осмотр местности, выявляя готовность земли к приему влажных семян. Ред-

кие белые облачка висели в небе наблюдательными постами, солнце обшаривало все закоулочки, изгоняя тени. В воздухе — густота запахов разморенной почвы. Андрей Петрович подкатил к облюбованному месту наблюдения, нацепил трубу, ничего любопытного не увидел. И заснул, положив голову на баранку, провалился в сон. А когда поднял голову — солнце уже закатывалось за высокие красные корпуса завода «Каучук», овраг наполнился тенью. Андрей Петрович посмотрел направо, потом налево, все более удивляясь: как он попал сюда, что делает здесь? А когда вспомнил, то поразился тишине в себе и полному безразличию к тому, что происходило в доме напротив. Возникло старое ощущение — того, что и раньше здесь бывал он, год, два или три назад. И за эти годы произошло всё задуманное, то есть не так давно в нелепой пьяной потасовке убит его бывший подчиненный электромонтер Васюхин, в Комитете по электронной технике ждут не дождутся нового заместителя — его, Андрея Петровича Оглезнева.

Странное ощущение, удивительное, и не сном рожденное. Во всем теле — спокойная сыгость, удовлетворенность, напомнившая давнее: он, после фронта, в Москве, война окончена, паспорт в кармане и не надо уже срываться с места и куда-то бежать, кому-то докладывать... Поспал-то всего часа три-четыре и будто перелетел в другое время, в другие физические единицы измерения, будто последние два года проглотились, переварились, насытили его привычной пищей, той, которую можно получить не только на склоне этого оврага, в двухстах метрах от бандитского дома.

Вышел из машины, глянул вверх. Два облачка на небе — и вспомнился зимний день, когда он впервые попал в свой кабинет и осваивался в нем... Да, те же облака. Конечно, не те, но какая разница? Те же насыщенные распыленной влагой объемы, сгустившиеся испарения земли... Не те облака, конечно, что увидел он в южном окне кабинета, не те, но — те самые, потому что они вечны, потому что они падут на землю дождем или снегом и вновь создадутся. И вообще — зачем он здесь, в Аминьеве?

Всё было, оказывается, давно было, всё, чем он занимается сейчас, пройдено, как школьная таблица умножения. Всё знакомо, всё привычно, и всё испытано уже, и странно, что одни и те же страсти волновали его одинаково. Всё — было, всё — в прошлом, и будущее — поднадоевшее прошлое, ничего нового он не испытает уже, и как были эти белые облачка на небе пять, десять, сто лет назад, так и будут, сколько бы их ни отгонял ветер; и какими каплями они ни опадали бы на землю, вновь испарение уплотнит их до белого ненормально растянутого эллипсоида,

называемого тучей. Небо же представилось отверстием трубы, уходящей за пределы земли, тянувшейся ввысь, в глубины мицроздания. И совсем уж смешным показался ему тот кабинет, куда намеревался он переехать в ближайшие месяцы. Какие-то приказы по Комитету, какие-то схемы и чертежи, и какой-нибудь прилипчивый гражданин станет ему по уграм наушничать.

Всё было уж, было — и до Воронихиной были женщины, и до золота были такие же страсти, потому что выражаются они одинаково — устремленностью духа и тела на один и тот же объект, учащением дыхания, приливами крови, насыщенной адреналином. То же сердце и те же легкие будут осваивать кислород воздуха, который есть атмосфера, которому уже какой миллиард лет. Нельзя в одну реку вступить дважды? Да глупости это, река-то течет и течет. Кажется, он задумал убить человека. Тоже не новость. Реакция нескольких кислот, результатом чего всегда будет осадок, жизнь, утерянная кем-то неизвестно за что. Всё — повторение давно повторенного, и никто не знает, есть ли хоть какой-то смысл в увидении всего, в распылении сущего, в безвозвратных утерях.

Он вышел из машины, вздохнул полной грудью. Достал из багажника сегмент золота, размахнулся и швырнул его в овраг. Туда же полетело гениальное изобретение юнца. Всё кончено, жизнь возвращалась к двум облачкам в южных окнах кабинета, с которым пора расставаться...

Неоновые слова «Рыба» и «Книги», читаемые когда-то как «Игинкабыр», проплыли мимо, когда подъезжал к дому, и вернули они Оглезнева не к расспросам в директорском кабинете, а напомнили детские годы и детские страсти, которые так и не стали взрослыми, и не могли ими стать, потому что у всех желаний один конец — удовлетворение их. Либо наяву, либо в мыслях — и всегда в извращении, в придавании им какого-то высокого смысла.

Уже перед сном позвонила Анна Николаевна. Он не стал говорить с ней.

16

С завода он уволился, вернулся в НИИ на прежнюю тихую должность, но в запасе были полторы недели отпуска, и он бесцельно бродил по слякотной Москве, словно выкарабкиваясь из тяжелой болезни, которой, он знал, подвержены все люди. Было то умиротворение в душе, какое бывает после пробуждения в выходной день: в квартире — тишина, никаких забот, за окном — солнце, в холодильнике достаточно еды, но кое-что прикупить не мешало бы. Так вот, сладко потягиваясь, и проснулся

он однажды. Выпил, поел, еще раз выпил. Стал обходить жилище свое, радуясь одиночеству и беззлобно негодяя на себя. Ремонт нужен квартире, он подзапустил ее. С сантехникой надо управляться. Крышка бачка треснула, но самое похабное — обои, квартира напоминает хулигана после драки. Можно бы самому сделать ремонт, да попробуй отодвинь эти шкафы — не тот возраст, не те силы. Дом старый, не панельный, электропроводка наружная, стыд и срамота. Любовь (да была ли она?) требовала жертв, часть богатейшей родительской библиотеки снесена в букинистический, а деньги сейчас ой как нужны, но не продавать же машину. Самому сделать ремонт? И обойдется ли самодеятельность дешевле? Существуют ведь какие-то конторы по ремонту.

Позвонил туда, приехала баба — составить смету. Потянула надорванную обойну, ковырнула пальцем, многозначительно протянула: «Та-ак...». Прицельно глянула на потолок, опустила глаза, проехавшие по паркету и остановившиеся на книжных шкафах.

— Всё читаешь?.. Не надоело?.. Пишут-то — всё об одном...

У нее была привычка — втягивать углом губ воздух и чмокать. Села, закурила. Как на подлежащую ремонту мебель, глянула на Оглезнева. Чмокнула.

— Один живешь-то?.. Не беда. Оно и лучше. Мужик ты вроде справный. Поможем тебе. Людей дадим. С краской у нас туго, придется тебе на какое-нибудь производство обратиться, работяги, дай им волю, завод по кирпичикам растащат.

Андрей Петрович робко попросил достать обои — такие, чтоб во всю стену какая-нибудь панорама была, живописная, на природу зовущая.

— Фотообои, — догадалась чмокнувшая баба. — Дело дрянь, поставляет их нам ГДР и Югославия, куда-то всё расходится, не доехав до магазина. Дам я тебе адресочек, может, уломаешь кого. Телефончик подброшу. Тебе же дешевле обойдется. А то мы купим, потом надбавим и тебе перепродадим... Чаем угостишь?

— Угощу, угошу... — засуетился Андрей Петрович, уже прикидывая, как добыть краску и где достать обои, и уже разгораясь, уже мечтая о «ёлочки» для мойки, которую он купит из-под полы у магазина. Да и бачок там же найдется!

А баба не унималась: линолеум на кухне, кафельная плитка в ванной, карнизы на окнах, палас, который где-то продается, но где, где? Но надо, надо всё находить — для дома. В человеке, сказал классик, всё должно быть прекрасно, и дом его тоже. «Дом... домогаться... мой дом — моя крепость... домовитая женщина... домовничать...»

Я ЗНАЮ, ЧТО ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ...

* * *

Перейти в другое состоянье
страшно даже льду, —
если потеряю я дыханье,
что взамен найду?

Как боится всё живое смерти! —
и наверно, зря...
Может быть, я лишь письмо в конверте —
весть из сентября.

Долечу и сброшу оболочку
вместе с сургучом,
надо, чтоб меня — за строчкой строчку —
кто-нибудь прочел.

И не станет прахом легковесным
то, что было мной,
если кто-то на Весах небесных
взвесит путь земной.

5 апреля 1995 г.

Рождественское небо

Торжественно рождественское небо,
как будто до него не знали звезд,
но замысел его, должно быть, прост —
как прост обычай преломленья хлеба.

Вода не превращается в вино,
стекает лунный луч на подоконник, —
все чудеса — издержки древних хроник,
и если даже были — то давно...
Вода не превращается в вино,

Валентина БОТЕВА — родилась в селе Ивня Белгородской области. Окончила Донецкий университет. Впервые опубликовала стихи в № 80 «Континента». Живет в Донецке (Украина).

а только в лед, блуждает луч в стакане,
приходит полночь, назначая срок,
когда омоет голубой глоток
сухое горло, причащая к тайне
живущего в строке — и между строк...

Бесплотны — свет луны и брызги звезд,
и ангелов рождественская треба,
и до конца распахнутое небо
вытягивает душу в полный рост, —
но горек вкус воды и хлеб мой черств.

12 января 1996 г.

* * *

Я знаю, что время не лечит —
Овидий порукой...

Я знаю, что платят за встречи
каленой разлукой.

Клеймом несмываемым платят,
сердечным ожогом.

Я знаю — за каждым объятьем
клубится дорога.

Я знаю — как в стекла губами,
как лбом — в крестовину...

Я знаю еще, что мы сами
в разлуках повинны.

Но, друг, не ищи виноватых,
а лучше утешь их, —
как много на свете распятых!
как мало воскресших...

Апрель—август 1996 г.

* * *

Был у народа Бог,
был у народа Царь...
Вот бы — протяжный вздох —
так бы и шло, как встарь...

Но не вздохну — далек
был и сто лет назад
Бог от кривых дорог
и от горбатых хат.

Царь, настреляв ворон,
спал — да читал Дюма,
а с четырех сторон
выла волчья — зима.

Выюга и треск лучин,
прелый овечий мех,
кислые щи в печи, —
лучше уж — смертный грех! —

только бы отряхнуть
липкий угарный сон,
лучше — в последний путь
под колокольный звон

или кандалы, — в тьму
ту, что за тьмой могил,
душу вернул Тому,
Кто нас за день слепил.

Глина в руках сыра —
мять бы ее и мять...
Нет, еще не пора
время направить вспять.

Низкого неба хмарь,
сохлый чертополох...
Был у народа Царь,
был у народа Бог...

9 декабря 1996 г.

* * *

Читаю жизнь чужую, чтоб узнать...
Чтоб — что узнать? — как плавилось и пелось,
как заносилась августом в тетрадь
сухих колосьев восковая спелость.

Дождь моросил, пыль пахла, как зола,
когда водою брызнут в поддувало...
Каким был день, в котором не жила?
Какою ночь, где я не ночевала?

Читаю жизнь чужую, чтоб понять,
чем делится она — и что в остатке,
и отчего к нам сходит благодать,
как свет с Фавора, — из простой тетрадки...

16 января 1997 г.

* * *

Не станет время ни теплей, ни чище,
но всё же есть игольное ушко,
куда и я пройду с толпою нищей,
куда не на верблюдах, — а пешком,

оставив скарб домашним на потребу, —
и ломаного не сыскать в горсти...
Сначала — сквозь ушко, потом по небу,
чтоб там — покой и волю обрести.

И вниз смотреть на круглый купол храма,
прислушиваясь к гомону грачей, —
не встретит взгляд ни мерзости, ни хлама
на первозданной и еще ничьей

земле... Неужто я с нее хотела, —
о, как она прекрасна и чиста!
И даст Спаситель мне другое тело,
но тело не бывает без креста...

13 февраля 1997 г.

ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА

Рассказ

Я знал Елену сто лет. Про нее говорили: «Хорошая баба». Мы встречались то в одной, то в другой компании, но когда она не попадалась мне на глаза, я совершенно о ней забывал. Она была не в моем вкусе: никакой косметики, невзрачная такая.

Женился я на Елене скоропалительно и как-то автоматически. Просто во время новогоднего празднества на даче у друга я, воодушевленный джином, нечаянно пристал к ней, и мы оказались ночью в одной кровати. Мороз был жуткий. Мы накрылись, помню, кроме одеял, Елениной старенькой дубленкой, и та все падала на пол.

Когда хозяин вломился утром в комнату и, распахнув гардероб, стал искать в куче тряпья лыжную шапочку, мы еще спали. Разбуженный скрипом немазанных петель допотопного шкафа, я, по-дураски хихикая и закрывая спиной притворявшуюся спящей Елену, сказал этому дубу, рванувшему было к двери без всякой шапочки, что завтра мы с Еленой расписываемся, о чем он и объявил остальной публике, сползающейся к завтраку из разных нор.

Невеста промолчала целый месяц, в течение которого ее мать чуть не каждый день ходила в Салон для новобрачных по выданному нам в ЗАГСе «Приглашению», надеясь купить Елене сапоги. Но купила только два комплекта постельного белья. Заодно моя будущая теща приобрела очень нужную вещь: теплые трико для своей

Ольга
ПОСТНИКОВА

— окончила Московский институт тонкой химической технологии, работала инженером в редкометаллической промышленности. В настоящее время занимается реставрацией памятников архитектуры. Автор четырех поэтических книг («Високосный год», «Крылатый лев», «Понтийская соль», «Бабы песни»), а также стихов и рассказов, опубликованных в журналах «Новый мир», «Знамя», «Согласие». Собирательница мемуаров XX века, часть которых опубликована в книгах «В августе 91-го. Россия глазами очевидцев» (1993) и «Москва — с любовью. Воспоминания москвичей» (1994). Живет в Москве.

матери, то есть бабушки Елены. На свадьбе кто-то из родственников шутил на эту тему, мал, разжились штанами пятьдесят восьмого размера, бывают же невесты таких габаритов, везет кому-то.

Жизнь моя после бракосочетания почти не изменилась. В первые два месяца нам с Еленой пришлось перебывать в гостях у ее родни, но это были приятные посещения хлебосольных домов, где я острил за столом и почти всегда напивался.

Какое-то время я жил у Елены в коммуналке (у нее была своя комната), а потом стал задерживаться на всяких сборищах и звонил, чтоб она не беспокоилась. Не хватало в ней какой-то перчинки, чтоб меня расшевелить. Я, честно признаться, не был ей верен. И часто просто не мог показаться ей на глаза, потому что был не в том виде, в каком прилично приходить домой.

Денег я ей не давал, но, когда являлся, всегда приносил что-нибудь из еды, ухваченное по дороге: пачку творога или кус колбасы, и хлеб всегда. Она не роптала. Стирала на меня и даже купила мне несколько фланелевых рубашек, потому что в КБ у нас был страшный холод.

Но приходил я все реже и просто звонил ей: «Я к маме, надо доделать халтуру». А потом и не звонил почти и опять водворился к матери в нашу хрущобу, куда она водить подруг мне запрещала, но не докучала нравоучениями, если приходил поддатый или завеивался с очередной компашкой куда-нибудь за город на несколько дней. Хоть и осуждала эти мои финты...

В конце концов мои супружеские обязанности свелись к тому, что по большим праздникам мы с Еленой ходили навещать ее семейство, изображая добропорядочную брачную чету, чтобы старики не волновались. И я надевал костюм, встречался с Еленой на выходе из метро, и мы с тортом, который каким-то чудом всегда удавалось достать Елене, шли в ее отчий дом, где нас считали счастливой парой и, между прочим, гордились мной как зятем и специалистом. Трудней всего было на обратном пути, когда я провожал Елену домой и она с тихой улыбкой спрашивала: «Зайдешь?». Я оставался до утра. Но было занудно.

Мать моя на старости лет ударила в религию, постилась по средам и пятницам и тогда готовила мне отдельно, в субботу вечером и в воскресенье ходила в церковь. Отношения наши очень улучшились, потому что она больше не приставала ко мне с воспитательными речами, а, как видно, только молилась за своего блудного, в полном смысле этого слова, сына. Но молитвы не действовали.

Я любил шумные вечеринки с магнитофонной музыкой и состоянием алкогольной легкости. Мне нравились девушки, с которыми можно знакомиться на улице. Далеко не все они были шлюхами, и обычно я выбирал хорошенеких.

Месяц назад неожиданно случилось вот что.

— Теща тебя ищет, — сказала мне мать, едва я переступил порог, вернувшись с работы. — Елена в больнице. Надо ей отвезти халат и тапки, казенное там все рваное. Посещение до семи, но можно успеть. Скорая увезла. «Ну, началась катавасия», — подумал я с неудовольствием.

Я знал, что Елена в последнее время куксится и как будто нездорова, но не вникал в подробности.

Я взял ключи от Елениного жилища, в свое время торжественно врученные мне благоверной, но так и валившиеся отдельной связкой, и поехал в ее коммуналку. Там, в комнате, которая показалась мне совершенно незнакомой, елозя по полу и здорово наследив, так что на паркете везде читался грязный протектор моих кроссовок, я нашел шлепанцы, сорвал с вешалки первый попавшийся халат. Хорошо, что больница находилась недалеко от метро.

В палате было душно и воняло. Елена сидела на койке и, когда я вошел, застенчиво заулыбалась мне, словно чувствуя неловкость, что я трачу на нее свое время. Я испытал жгучую жалость с привкусом досады: ну, за что мне такая нагрузка, возня с человеком, по сути, мне чужим... Хозяйственные немужские дела, тряпочные надобности...

Я видел ее узкие губы, надрез наивного рта, желтоватые руки чистюли с перепонками между пальцами. Она выглядела совсем некрасивой. Лягушонок какой-то.

Я отдал вещи, поставил на тумбочку бутылку сока, вывернул из сумки на постель яблоки. И пошел покурить.

По коридору ходили мужчины в синей больничной байке, прогуливаясь взад-вперед в ожидании программы «Время». На лестничной площадке дымили два мужика. «Четыре тарифных ставки, — сказал один, — и все. Когда набирали ликвидаторов в Чернобыль, много всего обещали, а теперь мы тут гнием, а прольготы не слыхать». Прошел человек, у которого виднелась на груди квадратная заклейка из бинта, кожа вокруг вся в зеленке. Не отдавая себе отчета в том, кто здесь находится, я стал всматриваться в больных. Многие были бледны и смуглы. Я выискивал взглядом оконца из марли на торсах, видные сквозь бязь исподнего под распахнутыми от жары линялыми стандартными куртками. Таких было много. Я догадался, что людей этих оперировали, выпиливая в грудной клетке отверстия.

— Что с тобой?» — спросил я Елену, вернувшись в палату.

— Хроническая пневмония — сказала она. — Подлечат, а то трудно дышать.

Нянька погнала меня. Мы расцеловались, и я, пообещав скоро опять прийти, двинул к выходу.

Было уже больше восьми, и основной вход заперли. Я проблуждал по подземному коридору между больничными зданиями минут двадцать. Справляясь, как выйти, у санитарок, бойко сновавших по лабиринтам с пустыми ведрами, я выбрался, наконец, во двор и быстро пошел к воротам, в которые въезжали белые ладные машины. Выходя с территории клиники, я обернулся, чтобы сориентироваться и сразу найти нужный корпус в следующий раз. И увидел на пylonе ворот черную вывеску «Городская онкологическая больница», на секунду насторожился, но сразу же инстинктивно отогнал тревогу.

Болезнь Елены внесла в мою жизнь тяготы, к которым я не был готов. Надо было ходить в клинику, включаться в добывание еды, общаться с Елениной мамашей. Пришлось отказаться от футбола по субботам, приятельских встреч, когда мы, отрубив неделю по «ящикам», собирались в скверике возле своего института и в проулке, отгороженном вечной стройкой, где никогда не ездили машины, на так называемом клизмодроме, разминались, гоняя мяч, а потом заваливались к живущему поблизости Лехе ради пивка, и водочки, и мужских разговоров. Но я считал, что должен принимать участие в Еленином излечении и рассчитывал, что через недельку-другую всё войдет в привычную колею, а я, оставаясь человеком, освобожусь для нормальной жизни.

В день, когда лечащий врач принимал родственников (только один раз в неделю и почему-то в отдельном помещении в подвале), я, отсидев небольшую очередь, резко и как будто даже обвинительно спросил долговязого усача, какой диагноз у Любимовой. Спросил и осекся, потому что у Елены была (я долго этого как будто не замечал) моя! фамилия, и я вдруг осознал степень нашего родства. Врач тихим и каким-то буратиновым голосом сказал: «Злокачественная опухоль в правой почке, метастазы в легких». Я обмер.

— Доктор, — ошеломленно произнес я, не ожидавши такого расклада, — а это не может быть ошибкой?

— Нет, — сказал он вяло. — На снимке грудной клетки круглые тени. Должен вам сказать, болезнь запущена. Канцер в третьей стадии.

— Отчего это? — допытывался я. — Она, вроде, ни на что не жаловалась.

— Причину трудно указать. Сейчас любят говорить: экология. А иногда процесс начинает развиваться спонтанно, без видимых причин. Некоторые специалисты считают, от стресса. Огорчился человек — и иммунная система отказывает. Вот придет биохимия, будем смотреть. Если очаг в почке, будем оперировать. Без почки люди живут.

Я вышел на улицу под кислый дождь. Брел по переулкам, переходил трамвайные пути, ничего не видя и не слыша вокруг. Я внезапно понял: она может умереть, и я приложил к этому руку. Я мучил Елену. За два года не поговорил с ней ни разу серьезно. И вот теперь она погибает от горя, которое так долго скрывала, от моего свинства.

Я дождался пяти часов, когда начинают пускать посетителей в палаты и, внутренне содрогаясь от своего знания, пришел к Елене, оптимистическим видом стараясь показать ей, что все о'кей. Елена была по-особому оживленной, глаза блестели, и когда я коснулся губами ее щеки, та удивила теплотой и румянцем. «Накрасилась, что ли?» — с надеждой подумал я.

— Наверное, я простудилась, — доверчиво, как маленькая девочка, сообщила Елена. — У меня температура утром и вечером тридцать восемь.

Я погрузился в грубую, физиологически беспощадную реальность. Но тут я впервые допер, что люди чувствуют, и вправду, сердцем, и чем больше сердце это ощущаешь в себе — даже если оно дрожит и щемит, — тем дороже жизнь.

Теще выписали пропуск по уходу, она сидела в палате целый день. Подключилась и моя мать, хотя Елена говорила, что справится сама и не надо зря трепыхаться. Но подниматься с кровати без поддержки она уже не могла.

Я доставал обезболивающие средства, что было непросто, потому что в аптеках анальгетиков без рецепта не отпускали. В стационаре действовал старый советский закон: палатный врач не имел права давать рецепты, считалось, что всё необходимое для лечения граждан в наших больницах есть. Приятель свел меня с медиком, который на своих бланках выписывал сначала пентальгин, а потом и максиган. А боль у нее с каждым днем становилась сильнее, причем болела не грудь, а суставы и мышцы, поэтому она часто просила переложить ее на другую сторону койки, мол, всё время неудобно лежать, ноги немеют.

На мою просьбу об обезболивании дежурная врача сказала, что промедол дают только в самом крайнем случае, а то больная может привыкнуть и стать наркоманкой. Впрочем, скоро стали

делать один укол в сутки, который должен был снимать боль на целый день, а на самом деле действовал часа три.

«Небось, экономят на ней, воруют лекарство», — говорила теща, платившая шоколадками каждой сестре и санитарке за процедуры.

Оказалось, что у моей матери давно, еще до болезни Елены были свои отношения с невесткой, о чем я и не догадывался. Мать, ходившая в больницу с неизменными термосами бульона и клюквенного морса, напела ей о спасении души и всё советовала позвать священника и собороваться. Но Елена кротко отвечала, что не готова к этому.

Мать заказала молебен с водосвятием, и бедолага ждала святую воду, отказываясь не только от снеди, которую мы ей носили в шесть рук, но и от вкусного домашнего питья, так что каждый день его выливали непробованным. Она съедала в день только две-три ложки государственной жидкой каши.

Моя мать знала диагноз, а идиотка-теща, которую мы берегли от потрясения, всё искала народные средства от воспаления легких и пыталась насилино кормить Елену смесью нутряного рыночного сала с медом и соком столетника.

Мать уговорила меня: «Завтра праздник. Надо отстоять молебен. Хоть ты и не веришь, а надо. Господь видит». И, понимая, что всю долгую службу в церкви я не выдержу, велела приходить в первом часу. Я с тоской обещал явиться, чтобы прямо из храма везти Елене воду.

Подавляя приступ тошноты от запаха ладана, я вошел в церковь. Служба уже заканчивалась. После проповеди священника, которую я не слушал, я подождал еще сколько-то времени среди невнятного старушечьего пения и характерных возглашений. Потом народ, крестясь и прикладываясь напоследок к иконе, стал выходить. Мать сделала мне знак, чтоб остался.

Певчие сошли со ступени перед иконостасом, перегруппировались и стояли теперь не по сторонам его, а у отдельного возышения, на котором лежала огромная раскрытая книга. Тревожно, без мелодии, звонил колокол, так тревожно, что я подумал, звонарь знает о нашей беде.

Я увидел огромную серебряную чашу с водой, рядом три толстых свечи.

В храме находилось совсем немного людей, и в молитве, которую отчетливо и сердечно произносил священник, я вдруг понял не только отдельные слова, а и всю ее, простую и как бы концентрирующую мои собственные мысли, но излагающую их

на старинный манер. «Угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, — слышал я симптомы Елениного недуга, — буди врач раба твоего... Воздвигни его от одра болезненного, — читал священник, а молодой помощник в светло-голубом облачении и с широкой лентой через плечо подавал ему узкие листки, — болящего Георгия, болящую Елену...» Я понял, что на молебен остались родственники тех людей, чьи имена были внесены в эти записки. Присутствовали и молодые. Одна старуха заливалась слезами.

Потом священник величественно перешел на другое место, где на низком столе со множеством свечек стояло небольшое бронзовое Распятие, и снова начал читать нараспев — печально и строго. И довольно долго тянулось это действие. «Новопреставленного Федора...», еще, еще имена. Я догадался, что служат теперь за упокой, но вместе молятся и те, у кого близкие больны, и те, что просят о прощении грехов умершим.

После освящения воды и довольно несуразного процесса окропления молящихся все стали расходиться. Мать сунула мне бутылку со святой водой: «Неси!».

«Вечная память» звучала во мне еще долго, когда я шел под гору к «Площади Ногина» и ехал в душном метро. Я, притащившийся в церковь с ворчанием на лишину трату времени и веривший только во психотерапевтический эффект святой воды, теперь был наполнен чем-то вроде затаенного восторга, потрясенный безмолвным участием незнакомых людей в горестных моих проблемах, которое почувствовал во время обряда, и уверился вдруг, что Елена выздоровеет.

Между тем ее из пятиместной палаты перевели в отдельную комнату на две койки, причем предназначалась комната одной Елене, так что родным можно было оставаться на ночь уже официально и занимать вторую кровать. Я взял на работе отпуск, чтобы подменять порядком уже вымотанных ежедневным дежурством наших матерей и Еленину сослуживицу, которая единственная из посторонних участвовала в уходе за больной.

Я не разбирался в медицинских терминах и поначалу все эти РОЭ, лейкоциты и «юные» не интересовали меня, но теперь после каждого анализа я спрашивал результаты и следил за показателями, рыская по страницам медицинской энциклопедии и пытаясь самостоятельно истолковать те отрывочные сведения, которые мне сообщали вечно спешащие врачи. А брали кровь у Елены часто, вены были уже разворочены, и только неимоверная ее терпеливость позволяла молчаливо сносить неумелость сестер.

Одну такую размалеванную стерву, равнодушно копающую здоровенной иглой кровоточащую руку Елены, я чуть не ударил. На мой прямой вопрос о состоянии его подопечной врач, глядя в пол, сказал: «Будьте готовы, не больше двух недель...».

Елена становилась всё тише и, по мере увеличения беспомощности, всё виноватей. Она уже не вставала и страшно стеснялась естественных отправлений. Но замученные сиделки вдруг вырубились все, и мы с Еленой остались одни.

Санитарки даже не входили в нашу палату. Я всё делал сам — умывал Елену, следил за капельницей, перестилал постель, перенося Елену на соседнюю койку и дивясь ее тщедушности. Однажды, закончив к девятычасовому обходу врачей уборку палаты, я сказал, улыбаясь: «Ну вот, наш дом в порядке». Елена беззвучно заплакала.

Болезнь вычернила ей брови и ресницы, губы горели и пересыхали, я поил ее с ложечки, как птенца. Я брал ее тонкую руку, и мы часами так молчали: она в полудремоте, а я в странных внутренних вызваниях. К кому — к медицине? к Богу?

Мне казалось, что если я искренне соглашаюсь и даже хочу принять на себя ее физическую боль, то где-то учитывается эта моя готовность и в общемировом балансе страданий и счастья отмеривается немногого жизни Елене за счет меня. Но Елена угасала и как будто платила своей судьбой за пробуждение моей души.

На одном длинном перегоне в метро, когда я ехал в больницу, мне пришло в голову, что наши времена страшно отличаются от прошлых, от какого-нибудь средневековья, например. Тогда общественное мнение не прощало проявлений чувственной любви и надо было скрывать свои плотские намерения, а сейчас круг, к которому принадлежишь, стережет любое проявление сентиментальности и наказывает иронией именно романтические устремления. Мужикам — ничего. Но как это давит женщин! Почти каждая девушка, которую я встречал на пирушки да и на работе, выглядела потаскую, даже если ею не была. Такой стала норма.

За ту неделю, что мы провели вдвоем с Еленой в душной каморке для умирающих, я понял, что неслучайно выбрал ее в жены. Я как бы запасался поддержкой на тот момент, когда мир, который я так эпикурейски эксплуатирую, наскучит мне или выкинет меня из-за сущностной моей чуждости ему. А теперь судьба повернула так, что я сам должен был стать Елене опорой. Я просчитался.

И я постиг теперь, почему так мучительно было после пьянок и сексуальных встреч идти в Еленину прибранную комнату, где

она ждала меня. Я знал, что ждала, и это придавало мне самоуве-ренности, но питало, что уж скрывать, и блудную мою удаль. Да, это просто, как говорят в мужской компании, перепихнуться с какой-нибудь телкой, вместе накиравшись. Но я не смел прика-саться к Елене, доверчиво принимающей меня всякого: грязного, пьяного, лгущего на каждом слове.

В эти дни, несмотря на трагизм положения, у меня были хорошие минуты. Когда Елена, глядя на заоконное голубое небо, сказала: «Я выйду, — давай поедем на море!»... И я поместил ее горячие пальцы между своими лапами, раздвигал и смыкал свои ладони, точно створки раковины, приговаривая, как малому ребенку: «Равлик-павлик, высунь рожки!». И когда ей велели давать «боржоми» и я нашел воду в ближайшем магазине, я этим бутылкам радовался больше, чем своему успеху после защиты проекта, за который меня хвалили и дали премию. И когда Елена на полчаса забывалась, мне нравилось ее рассматривать. Я уку-тывал выпроставшиеся из-под одеяла девчачьи робкие ступни и вспоминал, как совершенны ее ноги и как она обычно идет, точно козочка легко, в черных своих итальянских туфлях.

Теща, абсолютно не врубаясь в ситуацию, таскала всякие зелья и изводила Елену глупыми требованиями, чтобы та ела ветчину и сало. Она же рассказывала Елене, что тоже находилась в больнице (как я понимаю, в родильном доме и с температурой от какого-нибудь мастита), и что ей страшно захотелось кислой капусты, и что когда принесли и она поела, то жар спал, и ее благополучно выпи-сали. Неожиданно Елена поверила этой чуши. Она, на вопрос: «Хо-чется тебе чего-нибудь?» — обычно отвечавшая отрицательно, вдруг слабым голосом попросила капусты, и мы завертелись. На рынке капусты не продавали (был август, старую съели, а новую еще не квасили). В магазинах было вообще пусто, ни новой, ни прошлого-годней, нигде ни кочна. Когда же я спросил врача, можно ли Елене то, что она просит, тот замахал руками: «Какая капуста! Можно толь-ко сок пополам с водой. Цитрусовые можно».

Я принес два апельсина и там же, у постели Елены, на столике разрезал их и выжал сок. Добавил сахар и долил боржома. Получи-лась желтая шипучка, наполнившая комнату запахом озона. Я при-поднял голову Елены, приготовившись влить эту смесь в ее устало приоткрытые губы, но она отклонялась, глазами указывая на стакан, чтобы я пил первым. Я пригубил питье. Напиток, действитель-но, оказался божественным, и так, по очереди, глотками мы выпили все.

Елена полулежала в подушках. Солнце пришло в палату, так что ее волосы сделались прозрачными, а на масляной краске

стены стали видны концентрические окружности трещинок. Неожиданно для себя самого растянувшись, я приник лицом к одеялу, ощущая через шерстяной и полотняный слои покрова сжигаемое лихорадкой слабое ее тело.

Я гладил ей заглядывая и все спрашивал: «Леночка, что?». И она вдруг сказала жалобно: «Холодно». И я прямо в одежде, в белом кургузом халате, добытом моей матерью для больничных дел, лег с ней рядом на край проваленной кровати, уложив себе на правую руку легкую ее пепельную голову и поместив всю Елену, маленькую и свернувшуюся калачиком, в изгибе своих ног, всю ее загородив собою, и несдержанно, в эгоистическом и в то же время жертвенном порыве целуя ее загоревшееся лицо и твердя: «Ты — самая — любимая!». И она задыхающимся шепотом отвечала мне: «Нет, ты, ты ...». Моя белокурая Елена...

До меня дошло, что фраза, которая застряла в башке еще с тех пор, когда я читал книги: «Мы не столько любим людей за то, что они для нас делают, сколько за то, что мы для них делаем» (кажется, Стерна), есть великая истина, и чем больше я делал для Елены — просто обслуживал лежачую больную, — тем больше я любил ее и тем больше у меня прибавлялось сил.

Елену питали только через капельницу и, вникая в медицинские тонкости, я уразумел, что получает она лишь физиологический раствор, фактически натрий хлористый, витамины да наконец (как я уразумел, с трудом) ординатор добился введения дефицитного кровяного субстрата.

У нее вдруг очень улучшились показатели анализов. Я приставал к лечащему врачу, мол, могу сдать кровь. После консультации профессора, собравшей в Елениной комнате с десяток медиков, палатный доктор пообещал мне: «Попробуем. Если после первого дня химиотерапии все обойдется, шансы жизни растут».

В моих сложных душевных переживаниях и нескончаемых хлопотах мысль о том, что Елена может умереть, отступила было от меня. Мне казалось, что умирающие более активно проявляют свое отчаяние. Рассказывали, что рядом в палате мужик в состоянии средней тяжести царапал когтями руку жены из зависти, что она на ходу, а он валяется.

Я считал, что мы все вместе: сама Елена, врачи, обе старухи, знакомые, которые постепенно узнавали о больнице и пытались помочь, — трудимся с определенным успехом и так как настроение у больной ровное, все должно кончиться благополучно. «Ну, инвалидность, — думал я. — Ничего, будет лежать, читать, да я сам буду читать ей вслух. Будет смотреть телевизор, я ведь справляюсь с бытом».

Я планировал, как мы поселим Елену где-нибудь за городом на даче, я буду приезжать, привозить еду. Представлял ее лежащей в гамаке и в воображении уже раскачивал этот гамак под липами, так живо начертав трогательную картину, что, вроде, видел даже солнечные зайчики на лице Елены. И вот тут, когда я уже начал пускать пузыри от умиления самим собой, таким хорошим, вылезла в памяти вдруг одна сцена, слова, которые я давным-давно невольно услышал.

Как-то мы с приятелем сняли двух подружек у метро, привели в дом, и пока хозяин шуровал на кухне, девки поссорились. И ни к селу ни к городу сейчас всплыл их разговор. «Ты, Анжела, не выступай, — сказала одна, — ты такая толстая, что на тебе мужик трястется, как хрен на студне». — «А ты такая тощая, что тобой можно унитаз прочищать», — отпариowała другая.

Я отчаянно тряс головой, чтобы скинуть тошнотное наваждение, и ощущил: мое воображение навсегда измарано тем, что я так легкомысленно пережил и повидал. В минуты наибольшего напряжения чувств на той же частоте, как это бывает в радиоприемнике, возникает вдруг в сознании неистребимая гадость, в свое время тоже вызвавшая эмоции.

«Еле-на, Еле-на!» — произносил я родное имя, как заклинание.

А дела были весьма серьезны.

Перед первым сеансом «химии» наши врачи, худые и бодро прыгучие, достали из сейфа пластмассовые прямоугольные бутылки и деловито распорядились, что должна делать сестра, а что предстоит родным. По их предупреждениям я понял, что состояние очень тяжелое и начинать надо немедленно, несмотря на то, что наступает ночь. Через капельницу в кровь поступало лекарство, которое должно было убить проклятую нарость, а организм исторгал яд через желудок. Я не хочу описывать, что мы пережили с Еленой в первую ночь химиотерапии.

По тому, как суетились угром врачи, забегавшие в нашу палату глядеть на спящую Елену, стало ясно, что уже в эти сутки они ждали летального исхода. «Мы выжили!» — благодарил я судьбу и, как собачонка, бегал за молодым нашим эскулапом, ожидая указаний. Снова взяли кровь, и врач сказал: «Теперь параллельно химиотерапии нужна подпитка, а то она не выдержит. Нужен реоферон. Он есть в онкологической аптеке, езжайте на Ордынку, тридцать четыре».

Я полетел, как сумасшедший, пугая встречных своим небритым оголтелым видом. Но в аптеке объявили, что просто так купить это лекарство нельзя: онкологических больных в нашей

стране лечат бесплатно, нужен рецепт на специальном бланке от районного терапевта. Напрасно я умолял. Нет.

В районной поликлинике спокойная молодая заведующая перелистала тоненькую карточку Елены и сказала: «С онкологическим диагнозом она у нас не наблюдалась». Я показал больничный квиток, но она казалась недоверчивой, выходила куда-то и, вернувшись, сообщила, что выписать мне рецепт на бесплатное получение лекарства не может: «Средство дорогое, у района нет фондов». Дурак, я еще не осознавал тогда, сколько может стоить лекарство.

Я помчался снова в метро, снова на Ордынку и, вбежав за прилавок, в кабинет, где сидела толстая начальница, снова стал просить. Парадокс заключался в том, что аптека очень хотела продать препарат. «Срок годности у него небольшой, цена существенная, — говорила мне женщина в белом халате. — Если какая-нибудь организация купит за наличный расчет, то это разрешается в порядке исключения. Но надо всё оформить быстрее: сегодня пятница, а в воскресенье в аптеке выходной», — незлобиво выпроводила она меня.

Какая же организация! В институте, где работала Елена, я никого не знал и представить себе не мог, чтобы моя контора, где не хватало денег для выплаты по окладам, раскошелилась. Лекарство было почти рядом с Еленой, но принести его я ей не мог.

Я, здоровый мужик, одно время баловавшийся по утрам подкидыванием гирь и когда-то ходивший в зимний поход на Кольский, чувствовал себя абсолютно недееспособным. Я шел и проклинал страну, в которой живу, законопослушную аптеку и себя за то, что не сумел уговорить или в крайнем случае принудить продать. Силой заставить, угрозой. Отнять!

Когда через полчаса я вернулся в аптеку с твердым намерением убить, но получить лекарство, толстуха сказала, что хочет помочь: «Берите всю партию сейчас за наличные, а в понедельник привезете гарантийное письмо».

«Сколько стоят сто пятьдесят ампул?» — спросил я. Она назвала цену. Я был оглощен. У меня не было таких тысяч.

Наудачу я позвонил Ире, единственной подруге Елены, чей телефон застрял у меня в записной книжке. Я настолько не интересовался раньше жизнью Елены, что не знал людей, с которыми она общалась. Ира выслушала меня, выругалась и сказала: «В понедельник я сделаю письмо, но вряд ли профком даст столько. Сколько у тебя есть денег? За выходные я достану тебе штуку, а остальные надо собирать».

Друзей было немало, все отзывались, но после полугодовой давности денежной реформы финансов почти ни у кого не оказалось. «На той неделе», — обнадеживали меня. К половине пятого, крайнему сроку, назначенному в аптеке, у меня собралось денег только на девять ампул, на три дня жизни, как я отметил про себя.

Я отнес выкупленные ампулы в отделение, на минуту зашел в палату, где Елена лежала с капельницей под присмотром запла-канной тещи, и бросился на вокзал. Я доехал до Подольска, где жил мой старый друг, слава Богу, застал его дома, взял тысячу рублей и побежал назад на электричку.

Я подумал, надо срочно продать что-то, но у меня ничего не было. Старый магнитофон дома, не имеющий коммерческой ценности ... Замшевую куртку, которая была на мне, я снял и оглядел. Грязная, рукава внизу истерты. Я рассчитывал еще на мамины сбережения, но знал, что это рублей шестьсот на книжке. Я не мог ждать до понедельника, надо было выкупить всю партию рео-ферона, пока в аптеке шли на это, пока не кончилось необъяс-нимое благоволение, как я понимал, беззаконное.

Я вошел в вагон. Тревожный свет выхватывал красные и бледные физиономии, и, казалось, кругом ни одного нормального лица, то есть человека, к которому можно обратиться. Люди были усталы, недобры, некоторые явно навеселе, но как-то агрессивны. Тетки ехали с тяжелыми сумками. Одна старуха, несмотря на осень, в белой панаме, сползающей на брови, пристраивала в проходе мешок на тележке.

Я шагнул в пространство между рядами лавок и под грохот поезда, запинаясь, произнес: «Люди! У меня больна жена. Срочно нужно лекарство. Если кто-нибудь может дать мне в долг — вот мой паспорт, — я верну». И пошел по вагону.

Все смотрели мимо, будто и не слыхали. Я увидел, что никто не верит мне. Но когда я, готовый зарыдать, понесся вперед, чтобы поскорее выскочить из этого равнодушного объема, мча-щегося в густых сумерках со скоростью почти сто километров в час, что-то произошло.

Я не протягивал руки, шапки у меня не было, но чьи-то руки хватали меня за карманы куртки, догоняли в проходе, замедляя мое движение. Я понял, что никто не собирается дать мне в долг, мне совали деньги просто так, как подают нищим, не глядя в лицо. Это были рубли и трешки, кто-то вывалил горсть мелочи. Никто и не поинтересовался моим паспортом, раскрытым на странице прописки, но в него легла вдруг фиолетовая двадцати-пятирублевая бумажка.

Деньги уже выпадали у меня из рук, я нагибался, кто-то помогал мне подбирать их с пола. Одна женщина достала стираный полиэтиленовый мешочек, протянула мне и вменила указующим жестом, что, мол, деньги надо класть туда.

Я узнал вдруг, что просить не стыдно. Я шел, полз из вагона в вагон, собирая подаяние, и не чувствовал унижения. Кое-кто косился на меня с подозрением, пару раз меня грубо толкали спешащие выйти на станции пассажиры. И тут я вспомнил то место в «Тристане и Изольде», где герой нищим юродом тащится через моря и страны, чтобы увидеть свою возлюбленную. Ни гордости, ни бесчестия как будто не существовало для меня.

Я наклонялся к рукам, которые в простоте отдавали мне свои кровные, и повторял «Спасибо, спасибо!», внезапно открыв исходное значение этого слова, самой животной сущностью своей моля: «Боже, спаси!».

1992— 1995

ВЗРЫВАЛИ ОБРЕЧЕННУЮ ИНЮ

Темные святки

Мне семь, мне видится Иня'
в шипах ирги, в рогатках терна,
купанье белого коня
в сугробах черных!

В дыму и угольной пыли
поземка вьется по оврагам,
свистят охранники вдали,
шалит ватага;

«айда!» — кричат на берегу,
костер взвивается драконом
и в терриконовом снегу
дымит по склонам,

и я срываюсь со двора
к реке, где черти и русалка,
и граммофон, и пилорам-
ная жужжалка!

* * *

Над синей пропастью во мгле
жуть кувыркается в отрепьях,
в оплетьях, перьях и смоле,
в репьях вертепных,
 заводят ряженые в круг
девиц накрашенных, фартовых,
таких отбившихся от рук,
таких готовых!

Борис
ВИКТОРОВ

— родился в 1947 году в г. Уфе. Окончил Высшие литературные курсы. Подборки стихов печатались в журналах «Дружба народов», «Юность», «Сельская молодежь»; в альманахах «День поэзии», «Поэзия», «Студия» (Берлин). Автор сборника стихов «Каркас» (1979). Живет в Москве.

На бревна валятся ничком
с тряпьем фуфаечным в охапках,
встают и пляшут нагишом,
но в шапках!

Лафа — в дырявом шалаще
небес распахнутых усталых
всему, что загнанной душе
недоставало,

и месяц, зыря с облаков,
бликует весело на бревнах
по ягодицам мужиков,
по женским бедрам,

балуют, близкие, ничьи,
чужие, узнанные за ночь,
медведи, чушки, палачи,
и завуч! завуч!

(Баловников и баловниц
не уберечь от ставок очных,
от всех ежовых рукавиц,
снов еженощных...)

* * *

Впотьмах отряхиваясь, век
гордится сброшенною робой,
как амнистированный зек
своей зазнобой,

почил — в дымящемся тряпье,
явился голеньким на святках,
в снегах, опилках, чешуе —
мелькают пятки!

* * *

Жизнь где-то там, среди шутых,
над синей пропастью чудесной —
в чужой компании, в чужих
объятьях тесных,

жизнь там, где я кажусь шутом
над синей прорубью опасной —
в чужих объятиях, в чужом
краю прекрасном!

В кольце отчаянных подруг
неистребимы дух полынnyй
и граммофон, и репродук-
тор упыриный,

и здесь, и там горит огонь
на берегах обледенелых,
и небеса, как черный конь
в сугробах белых,

и бескорыстная игра
цветет в снегу за пилорамой,
и продолжается игра
в «замри!» упрямо

(жизнь не расстанется со мной
и горяча морозной ранью,
как пар над речкой ледяной,
над иорданью...)

* * *

Промчалась свадьба на рысях,
задела каждого незримо
и канула, как смех в санях,
летящих мимо!..

1995

* * *

Взрывали обреченную Иню.
Дохнуло вдруг заснеженной полынью.
И погружалось небо в полынью
беззвездную, подернутую стынью.

Дрожала дверь, шатало косяки,
скулил Полкан, гремела канонада.
Огромные прозрачные бруски
везли к воротам хладокомбината.

Гудели, провисая, провода.
Смерзались заготовленные глыбы.
В кристаллах оплывающего льда
угадывались дышащие рыбы;

мгла мартовская, сумеречный час
разлада, разговора, перекура;
чешуйчатого холода запас,
изломанного сна архитектура...

Блуждало эхо гулкое впотьмах,
и надрывались лошади, и пена
кровавая вскипала на губах...
И наступало утро постепенно.

«Не забывай!..» — советовали мне.
Не забывалась страшная утрага.
Разбуженное небо в полынье,
гудки и остов хладокомбината.

Не забывалась долгая беда,
заезжий двор, народ на чемоданах,
следы полозьев, талая вода
и глыбы льда, и голос Левитана,
дагерротипы с траурной каймой,
и всхлипы горожан, и гул вокзала...
И по ногам, окованным кирзой,
метель немилосердная хлестала.

* * *

M.T.

Отдирают с кожей от верстака,
покидаешь родину, угол, скит,
покидаешь землю,
вослед строка
остающаяся вопит...

Я не знаю, кто ее приютил
средь антенн, ощерившихся во мгле,
на родной, не помнящей нас Земле.

1995

* * *

А жизнь со мной расстаться хочет,
она, когда я засыпаю,
по-иноzemному лопочет
«бай-бай», по-русски «баю-баю», —
как в детстве, после зимних игр,
в санях, в соломе, под присмотром
существ, толпящихся вблизи...
И примерзала рукавица
к слезам, к щеке.

ДВА РАССКАЗА

ВОЛОДЯ И ИРА ВСЕГДА БУДУТ ВМЕСТЕ

Мы все возвращаемся к своей первой любви.

A. de Miosce

Обои сдирались легко, с журчащим, мелко-переливчатым треском; клеили их лет пятнадцать... нет — уже восемнадцать назад, и клей за это время устал. Это были тисненые, плотные немецкие обои, с бело-розовыми цветками на кремовом полотне, страшно (до абсурда, до неприличия их покупать) дорогие: десятиметровый рулон стоил три пятьдесят, тогда как отечественный восемнадцатиметровый — самое большее рубль с копейками. Он помнил, как долго уговаривал мать купить эти обои — с изумительно четким рисунком, с красками весенней свежести и чистоты, похожие на ван-гоговские «Деревья в цвету» среди десятков унылых, бледных, мутных полотен. Мать не соглашалась (сорок рублей!..), хотя обои ей очень понравились — более всего потому, что они были похожи на ситцевую стенную обивку в каком-то крымском дворце, которую она, четверть века назад впервые отыходя в Крыму, увидела и запомнила на всю жизнь во время экскурсии. Он уговаривал ее, ругался, просил, — он видел по ее ласково-печально туманящемуся лицу, как ей нравятся эти обои, как ей хочется их купить; *кусок жизни* — вот что такое были для нее эти обои; ему безумно хотелось хоть что-нибудь из этой ушедшей жизни ей возвратить — а у него тогда не было денег, даже стипендии... И она сдалась; они пошли вечером, когда спали жары, и весь магазин смотрел на них даже не с завистью — с изумлением: накупить на сорок рублей бумаги для комнаты, когда

Сергей
БАБАЯН

— родился в 1958 году в Москве. Окончил авиационный институт. Писать начал в 1987 году. Автор романов «Господа офицеры» (1994), «Ротмистр Неженцев» (1995), повестей «Сто семьдесят третий», «Крымская осень», «Мамаево побоище» («Континент» №№ 85, 87, 92), сборника прозы «Моя вина» (1996). Живет в Москве.

за эти же деньги можно оклеить пять! Они шли домой, он нес округло-ребристую связку обоев, пластмассовая веревка жестоко резала руку... наверное, резала: обои тогда были из настоящей бумаги, много тяжелее, чем ныне, — а мама шла рядом, покусывая ярко-красные губы (подкрасила в магазине: пока десять раз смотрели обои, стояли очередь в кассу и получать, помады на них почти не осталось), — лицо ее было бледно, с красными пятнами на щеках, но глаза счастливо, и испуганно, и гордо сияли...

Сейчас он эти обои сдирал.

Восемнадцать лет — долгий срок для квартиры, но нынешний ремонт случился нечаянно: в расселенную наверху коммуналку въехал какой-то нувориши, и, устанавливая огромную ванну для мытья сразу нескольких человек, затопил квартиры нижних соседей. Человеком он оказался покладистым и сразу по составлении сметы выплатил стоимость материалов и ремонтных работ; краски и обои Владимир купил (обои — почти неотличимые по рисунку и цвету от прежних: и в память о маме, которой уже четыре года как не было, и потому, что вообще не любил перемен), а ремонт решил делать сам: деньги были ему нужны — у него было мало денег.

Он бездумно поддевал лезвием кухонного ножа одно полотнище за другим, хрустко отслаивал их от стены и бросал себе под ноги; обои с тихим рокотом ложились на пол, изгинаясь вдоль плингусов огромными вялыми серпантинами. В пустой, непривычно просторной комнате было гулко и тихо; полуденное солнце вливалось в открытое настежь окно и балконную дверь и матово желтило пыльные дорожки паркета. Иногда было слышно, как налетающий порывами ветер сухо шелестит невидимыми с девятого этажа тополями. Комната постепенно меняла цвет, в ней становилось как будто прохладней и сумрачней — предыдущие обои были бледно-лиловыми. Этот цвет был ему непривычен, но не был чужим: память его проснулась — он вспомнил комнату, какой она была четверть века назад, когда они переехали в эту квартиру, и те семь лет, которые он прожил здесь до ремонта. Лиловым обоям было, наверное, лет тридцать; дом же построили в середине пятидесятых годов, и в нескольких местах, неосторожно задранных лезвием, поле цвета высущенных фиалок пятнали изжелта-зеленые островки, под которыми не было уже ничего, кроме плит сухой штукатурки. Ни лиловых, ни желто-зеленых обоев он трогать не стал: во-первых, они сидели довольно прочно, а во-вторых — ему их было как будто бы жаль... стало их жаль, когда он увидел и вспомнил их: они были частью его долгой, уже расплывающейся в памяти жизни, — частью его дома, частью его

самого; он как будто привык, привязался к столько лет невидимым нижним обоям, как привык к своей старой мебели, старым книгам, коврам, выключателям, телефонам, паркету — всё это было его родное, стало ему еще ближе, когда он остался один, — он ничего не собирался менять, даже если бы у него были лишние деньги, и когда Юля говорила ему, что надо отщелевать и покрыть лаком паркет, испытывал тревожное раздражение. Раз в год он натирал полы бесцветной мастикой — у него был старый, купленный в год его рождения полотер, — не похожий ни на что, ни на один современный предмет, может быть, лишь на круглое ребристое туловище не меняющегося уже сто миллионов лет реликтового мечехвоста; при работе он пел — тонко, сипло и радостно, как подгулявший старик, — и норовил ускользнуть из рук, особенно по ненапертому полу... В последнее время жизнь вокруг стремительно изменялась: рушилось государство, рушились судьбы, лукавые временщики штухами взмывали из непроплывных глубин в заоблачные высоты — и, перегорев, стремительно низвергались обратно; шел пир во время чумы, свалка чревонеистовствующих гиен над трупом поверженного российского великана; все, у кого появлялись деньги, бросались как от волков что-то строить, менять, покупать: телевизоры, мебель, дачи, машины, компьютеры, ванны, железные двери, пластиковые оконницы, туристические путевки в Таиланд и Египет... Ему не хотелось нового — ничего; ему казались уродливыми импортные беспереплетные окна и раздражало комариное зуденье компьютера; иногда он чувствовал себя белой вороной — но угешался черчиллевским: «Кто после тридцати лет не консерватор, тот просто глуп»... Ему было тридцать шесть.

Захотелось курить. Он подошел к подоконнику, взял пачку «Явы» и спички и вышагнул через высокий порог на балкон. Его жарко облило солнцем. Небо сияло; зеленые купы деревьев внизу во дворе начинали уже тускнеть — середина июля. Двор был безжизненно пуст, даже на желтой детской площадке не было ни души. У бордюра на приподъездной дороге стоял одинокий ржавеющий «Запорожец». Все на дачах... У него нет ни дачи, ни машины, — да и зачем они ему? Он один; у него есть дом, в доме есть всё необходимое — пусть всё старое, многое старше его самого, но основательное, массивное, прочное — вечное: холодильник, стиральная машина, газовая плита, полотер, пылесос — пятидесятых, много шестидесятых годов, ни грамма пластмассы, всё литое, точеное, в корпусах из толстой негнущейся жести; мебель из цельного дерева, а не оклеенных шпоном опилок, телевизору и магнитофону по двадцать лет, видео ему даром не

нужен... главное — книги: их хватит на две человеческих жизни — даже жаль, что он не успеет их все прочесть. В конце концов, что может быть лучше, чем вечером — особенно когда за гравированным морозной иглой окном лютует метель — лечь после ужина на диван и наугад развернуть Монтеня? Ничего не может быть лучше... разве что заглянут Леша со Славиком или ребята с работы: сядут на кухне (они и в особняке сядут на кухне), нарежут вареной колбасы, черного хлеба, — загудят разговоры, песни в дыму, под пlesк неупиваемой водки... Ребятам хорошо у него — дома жёны, дети, матери, теши, — он один, никто не мешает, не стоит над душой. Он привык один — четыре года без мамы, шесть без жены; единственное жалко, что дочка подрастает чужой: как мог он жениться на этой женщине? Но мало ли на свете неудавшихся жен и чужих дочерей... и Наташка еще мала, Бог даст, всё образуется. Да, бывает иногда одиноко... глупости: мыслящий человек одинок и в толпе. Жениться в другой раз он не хочет, страшно жениться; Юля красивая, наверное, хорошая, но... чужая; оттого их так и влечет друг к другу — влечет физически: в отношениях между мужчиной и женщиной чем больше желания, тем меньше любви... Впрочем, стыдно ему так говорить — о Юле. Она, наверное, с радостью вышла бы за него замуж; как она рвалась ему помогать в этом ремонте! Но он отказался, он почувствовал, что это будет уже слишком... интимно, и это испугало его, — сказал, что работать любит один, ему так покойней; а третьего дня она зашла без предупреждения и увидела Славика — они со Славиком красили потолок, вдвоем веселее... ох, это проклятое чувство вины... Ладно, всё в порядке.

В бури, в грозы, в житейскую стынь,
При тяжелых утратах и когда тебе грустно,
Казаться улыбчивым и простым —
Самое высшее в мире искусство.

Ему не надо казаться, ему хорошо. Жизнь его течет ровно и неторопливо. Работа есть, такому огромному объединению, как у них, пропасть не дадут; зарплата нищенская, но выручают испытания двигателей. Честолюбие в нем заглохло давно — по крайней мере в том, что касалось карьеры: сначала он понял, что большим и даже средним начальником ему скорее всего не быть — из-за недостаточной энергичности и гипертрофированного чувства собственного достоинства, — и не стал (да и трудно было) себя ломать, — а потом подумал и понял: зачем? Из-за денег? — так на высоком посту за вечной занятостью их не увидишь; из-за высокой цели? — где она, высокая цель? Одно

дело — наука, искусство, это он упустил; но спекулянтский или административный восторг?..

Он потушил сигарету, сплюнул в ящик с землей и вернулся в комнату. Снова певуче затрещали обои. Завтра приедет Славик, поможет клеить; сегодня надо всё ободрать и нарезать полотнища. Он перешел к последней стене — верхняя ее половина была лиловой (первый круг он прошел со стремянкой), зубцами смыкалась с кремовой нижней, — подцепил ножом волнистый остроугольный язык, с тягучим коленкоровым треском отслоил до плинтуса широкую полосу — бросил ее под ноги, подцепил соседний... Из-под желтоватого, с тисненым рисунком испода выбежала какая-то надпись; он удивился, взялся за нее, прочел...

ВОЛОДЯ И ИРА ВСЕГДА БУДУТ ВМЕСТЕ

Он замер, как громом пораженный. Он почти испугался. Володя?.. Ира?.. Написано крупно, ярким графитовым карандашом, наверное, женской рукой — очень красиво, петли в буквах «у» и «д» треугольничками — он никогда не видел такого почерка... ну, может быть, очень давно... Откуда здесь эта надпись? Это его дом, его обои, надписи не было... восемнадцать лет назад, — он бы заметил. Как она здесь появилась? Что она значит? Володя — это он. Ира?..

Он выронил недооторванную полосу, прошел на середину комнаты, сел на маленькую скамейку... встал, взял с подоконника сигарету, снова сел, закурил...

Он вспомнил.

Он вспомнил не просто Иру — ее он помнил, не забывал, но она жила в такой глубине сознания, что он не смог ее сразу соотнести с Ирой в надписи на стене, — он вспомнил и понял всё.

...Восемнадцать лет назад, в жаркое лето семьдесят пятого года, он клеил вместе с Ирой обои, которые сейчас обрывал.

Он сидел опустив голову, не в силах пошевелиться — обессилен от какого-то горького, сладкого, светло-печального наслаждения. Из каменно застывшей в руке сигареты поднимался, слегка покачиваясь, голубой струистый дымок. Восемнадцать лет! как давно это было!.. И как она смогла написать — так, чтобы он не заметил? Написать ему, в далекое будущее... и зачем? Она знала, чувствовала? Глупости, не могла она знать; в восемнадцать лет — что можно знать о будущем? Ничего... ничего, кроме этого:

Володя и Ира всегда будут вместе

...— Ну, давай, мажь, — сказал он. — Закончим эту стену, и хватит. Пошли в кино.

Ему не хотелось идти в кино — просто он боялся, что она устанет или наскучит работой. Он был счастлив kleить вместе с нею обои — как, впрочем, и делать всё, что они делали вместе, — тем более что в ту весну и в то лето они очень многое делали *вдвоем* в первый раз: в первый раз прокатились на теплоходе, в первый раз побывали в гостях у Славика, в первый раз пошли в зоопарк, приготовили у нее дома обед, отнесли в химчистку его костюм, погуляли с ее собакой, купили мяса на шашлыки, попали под сильный дождь, проехали на метро до станции «Автозаводская»... в первый раз между ними случилось то, самое главное, — и они были первыми друг у друга... Всё, что они делали вместе, доставляло ему неизъяснимое наслаждение. Ему не хотелось идти в кино.

— Закончим, тогда пойдем, — сказала она, беря за ручку широкую плоскую кисть и макая ее в пластмассовое ведро с желтоватым подвижным желе обойного клея. — Не ленись, Владик.

Солнце вливалось в открытое настежь окно и балконную дверь и золотило ее длинные гладкие светлые волосы. Она широко расставила ноги — по обе стороны разостланного на паркете полотнища — и начала плескуче намазывать kleем тисненый испод. На ней было темно-синее, обливающее бедра трико и завязанная уголками на животе сквозистая голубая рубашка. Он задохнулся — сердце ударило в голову, — шагнул к ней и неловко обнял за талию.

— Не балуйся, Владик! Ну что это такое... как будто тебе от меня нужно только одно!

В последнее время она часто так говорила — впрочем, с ласковой укоризною, не сердясь... Он наклонился, поцеловал ее сбоку в горячие мягкие губы — она чуть повернула голову, — поднял тяжелое, набрякающее kleем полотнище и, держа его на вытянутых руках, боком полез на стремянку. Выровняв верхний обрез, он пристыковал к уже наклеенной полосе правую кромку своей, прогладил ее ладонью и взялся за тряпку. Сердце нехотя успокаивалось, но еще постукивало в виски. Она стояла внизу; он разгладил свою половину и, сходя со стремянки, поцеловал ее в теплую, изумительно пахнущую макушку. Сердце вновь зачастило так, что в ушах зашумело. Она ускользнула, присев на корточки, и стала разгонять обои у плинтуса. Он подошел к подоконнику, взял пачку «Явы», вытащил сигарету и закурил.

— Сюда надо люстру с оранжевыми абажурами, — сказала она, выходя на средину комнаты и согнутым мизинцем отводя со лба золотистую прядь. — В «Свете» висит, за двадцать восемь рублей... И шторы такого же цвета.

Он кивнул, глядя на нее, — до безмыслия, до потери себя счастливый. Она протянула руку, взяла у него сигарету, слегка затянулась два раза и отдала. Рассудку его не нравилось, что она курит, но сердцу его в ней нравилось всё. Она подошла вплотную к нему и положила руки ему на плечи. Ему казалось, что взгляд его, всё его существо тонет в зеленовато-серой глубине ее глаз. Больше он ничего не видел.

— Ты меня любишь?

— Очень, — сказал он и, чуть подавшись вперед, поцеловал ее в бровь, нижней губой коснувшись шелковистого века. — Очень.

— А помнишь... мы с тобой где-то читали, что очень любить нельзя? Можно просто — любить или не любить. И кто говорит — очень люблю, тот говорит неправду.

— Это книжки, — сказал он улыбаясь. — В книжках чего только не напишут. А я тебя очень люблю.

— А ты меня не обманываешь?

Лицо ее вдруг затуманилось, построжело. Он испугался.

— Что ты, Ириша...

— А помнишь, вчера? С Кухарчук?

— Помню, — с досадой сказал он. Они стояли вчера с одноклассниками — бывшими одноклассниками — во дворе школы, которую окончили год назад, когда подошла Кухарчук и спросила: «Ну как вам понравилась «Осень»?». Он посмотрел на нее с удивлением: они еще не ходили на «Осень», только собирались идти. Кухарчук пояснила, глядя на него: «Я вас видела вчера у «Варшавы», — и вдруг, как будто смущившись, коротко взглянула на Иру и опустила глаза. — А... может быть... ну, извини».

— Кухарчук слепая, — уже с раздражением сказал он и вышел в окно сигарету. — Ты что, Ириша? («Как она может?...») Ты что мне — не веришь?!

Она улыбнулась ласково, но вместе победительно-гордо.

— Верю. Кухарчук не слепая, она просто неровно дышит рядом с тобой. Но имей в виду, — она взяла его за мочки ушей и легонько потянула к себе, — я тебя, Володенька, никому не отдам...

Он прижался губами к ее губам, она нежно и жадно ответила. Теплый ветер мягко толкал его в спину, шелестел внизу листьями невидимых тополей. Он мог стоять так вечно, всю жизнь, но она осторожно, с медленно нарастающим, ласковым сопротивлением отстранилась. Она всегда отстранялась первой; иногда это его слегка обижало.

— Всё, всё... давай клеить... Ох, что же мы делаем!

Он, помаргивая, смотрел на нее.

— Окно же надо закрыть! Нельзя клеить с открытыми окнами.

— Мы же задохнемся.

— Нельзя, пузыри пойдут.

Он закрыл окно, когда за дверью раздался бабушкин голос:

— Володя...

— Да!

Бабушка была очень деликатной — в комнату почти не заходила, а если надо было зайти, подавала голос и некоторое время ждала. Мать этого не признавала, считая, что для «порядочной девушки» одно предположение, что в комнате может происходить что-то не предназначенное для чужих глаз, уже оскорбительно. «В мое время...» — говорила она — и один на один пеняла ему на закрытую дверь. «Когда мы дома, это неприлично, — строго говорила она. — Ты должен помнить, что единственным принципиальным отличием человека от животного является стыд». Ко всему прочему, у нее было философское образование. Дверь закрывалась под предлогом ремонта — чтоб не летела пыль. Бабушка не говорила по этому поводу ничего — наверное, у них с мамой были разные времена...

— Володя, — сказала бабушка из-за двери, — мы с дедом пойдем погуляем. Если захотите кушать, в холодильнике борщ и голубцы.

— Хорошо, бабуль, — сипло сказал он, чувствуя, как жар заливает лицо. Мать была на работе. — Спасибо...

Он услышал, как щелкнула наружная дверь. Хотя старики и раньше не было слышно, но сейчас, при закрытых окнах, наступила прямо-таки звенящая тишина. Половина комнаты была цвета сирени, другая — цветущей вишни. Она взяла кисть и поболтала ею в ведре. Клей вязко похлопывал под плоским пучком щетины.

— Ну, я мажу, — сказала она как ни в чем не бывало.

— Ирочка, — прошептал он, умоляюще глядя на нее. Он всегда смущался своего желания. Вот когда была любовь.

— Давай клеить, — тихо сказала она.

— Ириша...

Она повернулась к нему, опустив глаза. Щеки ее пылали. Он подошел, обнял ее за плечи подрагивающими руками, стал целовать, задыхаясь от наслаждения; она выгибалась длинную горячую нежную шею под его поцелуями.

— Ох, Владик, — прошептала она. — Ох, Владик, ну подожди... Кисть... я тебя измажу...

...Он сидел один в бледно-лиловой комнате и смотрел на каллиграфически-четкую надпись на залитой солнцем стене. На-

верное, он зачем-нибудь вышел перед тем, как клеить очередное полотнище, и она написала. Написать было делом минуты, всего пять слов: *Володя и Ира всегда будут вместе*. Зачем? Зачем, если она не показала эту надпись ему? А она и не хотела, чтобы он увидел ее, она нарочно написала примерно в метре от пола: когда он шел к стремянке, стену ему загораживало намазанное kleem полотнище; когда он поднялся наверх, надпись оказалась внизу, а нижнюю половину разглаживала она... Наверное, она думала, что лет через десять они так же вместе будут делать ремонт, сорвут обои, которые kleят сейчас, прочтут то, что она написала... может быть, она думала, что лет через десять нарочно покажет эту надпись ему, — прочтут и с ожившей, как будто возвратившейся из прошлого нежностью обнимут и поцелуют друг друга. Может быть, она думала так; женщины мудрее мужчин, особенно когда мужчине и женщине по восемнадцать...

Ему казалось, что в груди его как будто дрожит струна — дрожит, звенит щемящей нежностью и печалью. *Володя и Ира всегда будут вместе*. Бедная моя девочка... Как вышло, что мы расстались? Наверное, мы пропустили время, нам надо было пожениться тогда, сразу после этого упоительного ремонта. Какое это, должно быть, редкое, светлое чудо — когда мужчина женится на своей первой женщине!.. И вспомнить только: они любили друг друга в этой комнате, без широкой кровати, иногда волнуясь и торопясь, — но как всё это было молодо, чисто, честно!.. — и как тускло, жестоко, в жару отнимающей разум похоти происходит это сейчас:

Урчит, облизываясь, плють —
Съесть душу удалось ей, —

и какая тогда была после этого нежность — и какая сейчас пустота...

Что было дальше? Он учился в институте, она в училище, он был... самое главное — глуп, глуп, глуп; мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати трех — самые пустые, бездушные, бесполезные твари. Они продолжали встречаться, время шло — уходило, — она уже была ему как будто жена: кормила его обедами, когда он приезжал, стирала ему носки, если родителей не было дома и он оставался у нее ночевать, покупала ему рубашки; как будто жена... как будто: он ее *женой* не считал, он вообще не понимал, что такое *жена*, что такое *жениться*, ему было восемнадцать, потом девятнадцать, потом двадцать лет; он шатался по пьяным студенческим вечеринкам, он обнимал дразнящих своей неизведанностью однокурсниц, пару раз он ей из-

менил — с до подлости коротким чувством вины и стыда... а она сидела одна, ждала, потом, ближе к концу (когда уже, наверное, она своей женской — уже не восемнадцатилетней — мудростью предчувствовала этот конец), ругалась с ним, попрекала его, — а он приезжал всё реже и реже, ему не хватало времени и на лекции, и на общагу, и на пивную, и на дискотеки, и на нее... А потом... Отец ее сильно пил; однажды Владимир приехал, отец был пьян, он тоже где-то хватил по дороге, — разразился скандал, отец ударил его, он ударил отца, сбил его с ног... После этого всё и кончилось. Он больше не позвонил, и она ему больше не позвонила. Отец тут был ни при чем; просто из-за своего подлого, глупого, самоубийственного нежелания остановиться, оглянуться, послушать сердце, задуматься — он решил сам и заставил ее поверить, что это конец...

Он встал, вытащил из пачки на подоконнике сигарету, снова сел, закурил. Всё вокруг было точно таким же, как и тогда, восемнадцать загубленных лет назад. Казалось, она стоит у него за спиной — в тесном трико, в завязанной ушастым узлом рубашке, с рассыпавшимися по плечам волосами, с кистью и тряпкой в руках, — всё любимое, единственное, незамещаемо дорогое... Он почувствовал, что слезы наворачиваются ему на глаза, без мысли — что-то толкнуло — вскочил, выбежал в коридор, вытащил из шкафа альбом с фотографиями... Вот она, как живая: с прыгающей перед нею дворняжкой Тимкой — это у нее, на прудах; со стаканом молочного коктейля в руке — это у него, в угловой «Диете»; с сумкой на автобусной остановке — опять у нее, это их первая осень, она в сапогах-чулках; вот она стоит на тумбе в школьном дворе, вот она нанизывает на берегу Сходни шашлык, вот она с бадминтонной ракеткой в Холщевиках, вот она с Маринкой, вот она с ним, — вот она, вот она, вот она...

Он закрыл альбом и положил его рядом с собою на пол. Надпись смотрела на него, улыбалась грустно, ласково, с сожалением. «Из весны далекой, — вдруг вспомнил он, — девочка и мальчик...»

Как же это всё,
Ну как же это всё
Мы не сберегли
с тобой?..»

Мы?.. Ты. И вот твоя жизнь. А она? Шестнадцать лет назад он последний раз видел ее. Кто-то говорил, что она была замужем, но недолго. Несколько лет назад, когда отмечали пятнадцатилетие окончания школы, она не пришла. Впрочем, ее и на десятилетие не было. Кто-то сказал, что она одинока. Тогда многие не

пришли, пришли, наверное, те, кому хорошо. Он пришел — ему было не хорошо и не плохо. А она была одинокая и потому не пришла. Собравшиеся девчонки все были замужем, кроме, кажется, Кухарчук. Он еще удивился, как мало они изменились... конечно, они были накрашены, но всё же...

Сердце его вдруг сильно забилось.

Всё вокруг было, как прежде. Ничего не изменилось. Идет ремонт. На старые бледно-лиловые обои надо наклеить новые. Июльское солнце вливается в распахнутое окно, и ветер шелестит внизу тополями. *Валодя и Ира всегда будут вместе*. Они будут вместе. Жизнь не кончена в тридцать шесть лет. Он найдет ее, он попросит ее помочь, она приедет, совсем не... ну, чуть-чуть изменившаяся, — и всё повторится сначала, время вернется назад, будет другая жизнь, и они будут счастливы. Мы оклеим с тобой эту комнату, мы снова спрячем от себя драгоценную надпись, но теперь мы будем помнить о ней и ждать — следующего ремонта. Каждые десять лет мы будем срывать обои и читать эту надпись — и, прочитав, мы будем снова ее заклеивать. Ты согласишься. Ты простишь меня, ты всегда прощала меня. Я буду стоять под твоим окном, пока ты не согласишься. Я помню твое окно. Я люблю тебя.

Он резко поднялся, подошел к стоявшему на полу телефону. Он видел перед собою ее лицо, она улыбалась ему. Через шесть-надцать лет ему не надо было не то что смотреть в алфавит, но и вспоминать телефон — он помнил его. Первые три цифры он набрал, даже не произнеся их про себя. Следующие — пятнадцать: один и пять. И — шестьдесят.

Шесть. Ноль.

Трубка ожила. Ему показалось, что он вспомнил эти гудки, тональность этих гудков. Ничего не изменилось, просто жизнь споткнулась... ненадолго — и теперь продолжается. В трубке щелкнуло. Сняли трубку. Он еще не знал, что говорить. Это неважно, он скажет.

— Алло?

Голос был женский, знакомый, немолодой. Это ее мать, Раиса Ивановна.

— Здравствуйте, — сказал он — отчего-то не узнавая себя. Наверное, тогда голос его был другим. Время тронулось вспять, а голос остался.

— Здравствуйте.

— Иру попросите пожалуйста.

Сколько тысяч раз он так говорил?..

Трубка молчала. В груди у него вдруг опустело.

— Алло?..

— Ирочки уже три года как с нами нет, — тихо сказала трубка. — Она погибла... в автокатастрофе. А кто...

Лгу я!!! Она жива! Это всего лишь плохой рассказ! В жизни они встретят друг друга!!!

ВОЛОДЯ И ИРА ВСЕГДА БУДУТ ВМЕСТЕ

1997

ТРУБАЧИ ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ

Однажды вечером, осенней, уже начинаящей ненастить порой, Николай Аркадьевич Синякин зашел (или, вернее будет сказать, заехал) к своему бывшему однокурснику и сослуживцу Пете Охлопкину. Визиту способствовала оказия: Николай Аркадьевич с Валентиной Ивановной, женой, ездили к очередному врачу пользовать ее от лишнего веса, а врач этот практиковал неподалеку от дома Охлопкиных.

Приятели не виделись уже несколько лет — с тех пор, как под ударами реформаторов развалился их институт по проектированию железобетонных конструкций, — но перезванивались иногда и сохранили взаимное чувство товарищества. Обоим не было еще сорока, и оба устроились в новой жизни: Петя был директором («генеральным директором», как гласила его визитная карточка) фирмы по грузовым перевозкам из нескольких грузовиков, а Николай Аркадьевич — владельцем маклерской конторы немногим даже более чем средней руки на одной из московских бирж...

Петя — маленький плотный губан, подвижный как ртуть, — встретил старинного приятеля и его супругу очень радушно и без обиняков потащил к столу. Квартира его была хоть и в блочном доме, но отремонтирована и обставлена на европейский (в понимании евразийцев) манер: стены и потолки зализаны до гладкости зеркала, небольшой коридор выложен ложнорамарной плиткой и обреображен полукруглыми арками, двери витражные, окна пластиковые, радиаторы нержавеющие, мебель с псевдорезьбой, собака породы *бобтейл*, по виду — болонка величиной с небольшого медведя... Впрочем, у Николая Аркадьевича было почти все то же самое, только, конечно, тоньше, — и собака была ротвейлером.

Сели за стол: Петя, в теплой пижамной куртке малинового сукна с золотыми сутажными петлями и кистями, его жена Люся — долгоносая, деревянно-худая блондинка, одетая в ядови-

то-зеленый переливчатый брючный костюм и буквально увешанная разнокалиберным золотом вперемешку с пластмассовой бижутерией; Валентина Ивановна — дама с очень полным, но интересным и, если можно так выразиться, корректным лицом, до последнего угла затопившая нижней половиной своего тела сидение стула и боками даже перелившаяся наружу, — в темно-коричневом, почти черном свободном платье, лишь чуть оживленном золотым с бриллиантовой искрой крестом на тонкой, золотой же цепочке; и, наконец, Николай Аркадьевич — представительный мужчина с энергичным суховатым лицом и сединой на висках, в строгом темном костюме и галстуке на безукоризненно-белой рубашке... Чиниться здесь было не перед кем (жены, правда, лишь по телефону знали друг друга, но это не в счет), и первые две рюмки, гостевые Петей, выпили вмах.

— Ну! ну! ну!.. — кричал возбужденный, разалевшийся тугими щеками и носом Петя, простирая обе руки над столом. — Закусывайте, закусывайте! Валюша — лобстера, это как раз для тебя. Николаша! — карбонатику, икорки, грибов... а вот кетовой нарезочки! — На столе чего только не было, многое даже ненатуральных каких-то цветов. Водка стояла «Абсолют», простой и лимонный, и отчего-то «Довгань» — с лоснящимся от здоровья и сытости маслиноглазым лицом винокура на золоченом боку; вин было с десяток сортов. Наверное, Петя готов был выставить всё, что случилось в доме (в открытом баре у него за спиной теснилось еще с десяток бутылок), — да не хватило стола. — Ну, Николаша, рассказывай... или нет! — давай еще по одной.

— Дай людям поесть-то, — строго сказала Люся.

Петя на мгновенье смешался (в обиходе он томился под каблуком) — глянул на жену виновато и заморгал... но даже две рюмки пятидесятиградусного «Абсолюта» уже неодолимо влекли его к вожделенной свободе, из-под жены, — и он решительно осадил ее, выставив короткопалую розовую ладошку.

— Еда не уйдет... Валюша, тебе чего налить? Хочешь ле... лейб... — Петя наморщил лоб, таращась на длинногорлую импортную бутылку.

— Хочешь «Молоко для женщин»? — улыбаясь, спросил Николай Аркадьевич.

— Нет-нет, благодарю, — несколько даже поспешно сказала Валентина Ивановна и выразительно посмотрела на мужа. На светлое у нее была аллергия. — Если можно, что-нибудь красное.

— Всегда пожалуйста! — воскликнул Петя и, уже не рискуя читать этикетки, схватил вишневого цвета бутылку. — ...Ну — за успехи малого бизнеса!

Петя говорил *бизнес*, напирая на оба «и». Николай Аркадьевич чуть поджал губы.

— Не такой уж он... у нас с тобой и малый.

— Ну, у тебя-то, может, уже и большой, а мы люди маленькие... мы — бизнес-пролетариат! — радостно сказал Петя — и видно было, что это определение очень ему понравилось. — Мы — пролетарии малого бизнеса, вот мы кто! А ты, Колян, — акула империализма!

— Выпьем за то, чтобы коммунисты не вернулись, — сказала Люся с трагическим выражением на узком, по-стерляжки остроносом лице.

— А-а-а!!! — закричал Петя, потеряв власть над голосом и,казалось, весь превратившись в один разверстый кричащий рот. — Не хочешь, значит, больше на машинке стучать?!

Люся резанула его таким взглядом, что пропорола защиту — Петя съежился и затих.

— А вы работали машинисткой? — ровным голосом спросила Валентина Ивановна с благожелательными ямочками на щеках.

— Э... секретарь-референтом, — ответила Люся, змеясь утробой улыбкой.

— Ну, за то, чтоб большевики не вернулись, — заторопился Петя преданным голосом и потянулся с рюмкой к жене. — Люсик...

— М-да... Коммунисты — это конец не только для нас, деловых людей, но и для всей России, — значительно сказал Николай Аркадьевич и поднял рюмку несколько выше обычного.

Выпили. Петя уткнулся в тарелку и так заработал челюстью, что запрыгали уши. Николай Аркадьевич запил водку боржомом и взглядом поискан на столе, что бы съесть: за время поездки к врачу и от выпитой водки он не в шутку проголодался. Перед ним была пропасть еды, но всё такое соленое, маринованное или копченое, что от одного только запаха продымаенного мяса, рыбы и уксуса у Николая Аркадьича начинало щемить под ложечкой: от биржи у него был гастрит, и ему не хотелось, чтобы тот превратился в язву... Наконец, по соседству с ядовито-, пронзительно-розовой, как будто светящейся изнутри колбасой онглядел каким-то чудом попавший на стол вареный язык — и, не церемонясь, отвалил себе полтарелки.

— Вы, пожалуйста, кушайте, — задушевно сказала Люся Валентине Ивановне, которой из-за ее живота и груди трудно было даже наклониться к столу. — Вот телячий паштет, вот угорь, колбаса с грибами... Вы ничего не едите.

— Благодарю вас, — дрогнувшим голосом сказала Валентина Ивановна и взяла кусочек омаровой шейки... и, конечно, хотела

что-то еще сказать — но не нашлась, что сказать. Люся зафиксировала улыбку и стала похожа на совершенного Буратино.

— Ты бы сама поела, — простодушно сказал вновь осмелевший Петя. — А то ходишь, как эта... модель, хе-хе...

Николай Аркадьевич, из-за свойственного серьезным мужчинам некоторого житейского эгоизма, вообще ничего не заметил. Впрочем, он ел язык.

— Петя, вы не нальете мне «Мерло Каберне»? — попросила Валентина Ивановна грудным, волнующим даже голосом. Николай Аркадьевич оторвался от языка и чуть удивленно посмотрел на жену. Люся доела остатки губной помады.

— С нашим удовольствием, Валечка! — выплеснулся Петя, подхватываясь со стула. — Люсик, а тебе чего? — Белого, — отрезала Люся. Петя проворно сменил бутылку. — Та-ак... И мы с Коляном нальем.

— Мне половину, — сказал Николай Аркадьевич. Он уже ощущал некоторое приятное шевеление в голове, выводящее его мозг из привычного ясного, логического состояния, и это смущало его: в последнее время за делами он редко и мало пил.

Петя вздрогнул — и в ужасе и гневе уставился на Николая Аркадьевича.

— Да ты что, Колян?! В кои-то веки встретились!!!

— Петя, Николай Аркадьевич за рулем, — сухо сказала Люся.

— Я поведу, — с несвойственной ей поспешностью сказала Валентина Ивановна, опережая объяснения мужа: они еще в дороге договорились, что он немного выпьет и за руль сядет она.

— Ну, хорошо, — сдался Николай Аркадьевич.

— А ты водишь, Валюша?! — с радостным удивлением спросил Петя — и, долив рюмку Николая Аркадьевича, энергично повернулся к жене: — Вот видишь, Люсик? Я тебе говорю — учись!

— Еще чего не хватало, — звенящим голосом ответила Люся, пронзая маринованный гриб.

— Надо же иногда доставить мужчинам удовольствие, — покойно улыбаясь, сказала Валентина Ивановна и положила себе на тарелку сразу несколько кусков светящейся колбасы. — А у вас какая машина?

— «Мазда», — ответила Люся — и поспешило и как можно непринужденней добавила: — Новая... А у вас?

— «Гранд Чероки», — скромно сказала Валентина Ивановна.

— Ну ты даешь, Колян! — восхитился Петя. — Ты прямо как новый русский!

— Да мы и есть с тобой новые русские, — с некоторой как будто досадой сказал Николай Аркадьевич — и Люся с благодар-

ностью на него посмотрела. — Ты что же думаешь, новые русские — это загривки в малиновых пиджаках?

— Да я ничего не думаю, — махнул рукою счастливый Петя. — Ну — давай. Как это... будем толстыми!

— Да тебе уже хватит, — смеясь, сказал Николай Аркадьевич.

— Да я в переносном смысле!

Выпив и уже наскоро закусив, Петя посунулся к бару и вытащил из него «Три пятерки».

— Ты еще не закурил?

— Нет, — сказал Николай Аркадьевич.

— Молодец!

Петя щелкнул зажигалкой, дал прикурить Люсе и прикурил сам. Над столом уютно поплыл голубоватый дымок.

— Ну, что там слышно о наших? — чуть снисходительно спросил Николай Аркадьевич.

— Ну, что?.. — Петя зажал сигарету уголком мясистого рта и затуманился взглядом — припоминая. — Валька, я слышал, спился... но он и раньше — помнишь? — любил. Серега Крючков сидит на ларьках, у него три или четыре точки на «Щукинской». Главный наш коммуника, Васильев, до сих пор в институте: сначала ему дали на откуп гараж, он там автомастерскую организовал, а потом поцарапался из-за дешевки с Филипповым и свернул себе шею: сейчас, говорят, стучит на компьютере за лимон...

— Поделом вору и мука, — сказал Николай Аркадьевич.

— Ну, кто еще?.. Гуськов не знаю, Любка челночит, Малахов вроде как машинами торговал... да! Вот кто в гору пошел — Генка Матвеев! На бешеной говядине вылез. Помнишь, в Европе у коров бешенство нашли? Так Генка, как только об этом услышал — а тогда еще никто и не чесался, — сразу же накупил по дешевке куриных окорочков. Дело-то у него уже было, так он почти все в эти ноги вбухал... ну, а когда кипеж поднялся и народ от говядины шарахаться стал, пошел торговать. Ну молодец, а?!

— Да, ничего, — кисловато сказал Николай Аркадьевич.

— Что ты! Он сейчас — во! Особняк на Рублевке стоит. Я его встретил тут в магазине: морда — в три дня не оплюешь! Нет, молодец...

— Ну, ладно, — сказал Николай Аркадьевич. — А сам-то ты как?

Петя оттопырил нижнюю губу до розового испода и добродушно развел руками.

— Я-то? Да ничего! Вот на днях еще одну «Газельку» взял. Работаем потихоньку... Самосвал надо бы скинуть, да кто его возьмет, это старье?!

... — А как вы относитесь к Виктуку? — интеллигентно спросила Люся.

Валентина Ивановна чуть приподняла брови, отчего лицо ее приняло несколько удивленное — и как будто пытающееся это удивление скрыть — выражение.

— Я думаю, что мы уже вышли из того возраста, когда хотя бы из любопытства ходят на подобные зрелища... По-моему, в тридцать пять лет интересоваться этим просто смешно.

Эта фраза: «в тридцать пять лет» и т. д. — прозвучала немножко искусственно. Валентина Ивановна знала от мужа, что Люся на три года старше ее.

— Ну... отчего же, — смеялась Люся. После джипа «Чероки» она вообще заметно сдала. — По-моему, у него есть чувство... полет...

— Я могу ошибаться, — кротко сказала Валентина Ивановна — и чуть-чуть напряглась. — Орари гуманум эст*.

Люся выпустила глаза, но тут же согласно и печально закивала худой длинноносой головой:

— Гуманизм, конечно...

— Кстати, а вы не были на выставке Неизвестного на Волхонке? Очень любопытное прочтение Экклезиаста.

— Нет, к сожалению... И что, автор так и остался неизвестен?

... — Да чего обо мне говорить, — Петя махнул рукой. — Ты-то как? «Крыша» не давит?

Николай Аркадьевич слегка нахмурился. Он не любил разговоров на эту тему: ему было неприятно, что он, пусть и не напрямую, вынужден отдавать часть заработанного бандитам. Ему не так было жалко денег — хотя и их было жалко, давались они нелегко: иногда он как будто чувствовал, что биржа съедает жизнь, — как страдало его самолюбие.

— Ну что значит «крыша», Петя? — с неудовольствием сказал он. — Это охрана, обычная охрана, а за охрану надо платить. Меня не интересуют их внутренние дела... Я предлагаю тест за хозяйку дома, — Николай Аркадьевич привстал и потянулся к бутылке. Петя опередил его и стал разливать. — Люсенька, за вас... за ваше гостеприимство, вашу красоту, вашу молодость... вот мы к вам приехали, и мне, честное слово, страшно: рядом с вами я чувствую себя стариком...

— Николай Аркадьевич, — задохнулась Люся, — Николай Аркадьевич, да вы... да я...

* Человеку свойственно ошибаться (искаж. лат.).

Валентина Ивановна, благостно улыбаясь, приподняла свою рюмку.

— Просто удивительно, Милочка, что вы сумели за час организовать такой стол. Я на кухне совершенно беспомощна.

— Люсик! — неистово закричал Петя и полез через стол на жену. — Люсик, ты у меня такой молодец!..

— Ну уж... — прошептала Люся, счастливая, как невеста, и красная, как пион, — ну вы скажете прямо...

Выпили. Николай Аркадьевич секунду помедлил — и решительно потянулся к тарелке с сыропотченным беконом.

— Коля, — осторожно сказала Валентина Ивановна.

Николай Аркадьевич махнул рукой. Петя выпил, крякнул и круговыми движениями набросал себе в рот с десяток разномясных кусков... — и вдруг остановился и замотал головой.

— Ты что?

Петя с трудом проглотил и засмеялся.

— О, ч-черт... Вспомнил, как при коммунистах часами стояли за колбасой. Да и саму колбасу, за два двадцать, — помните?

— Не напоминайте, Петя, это страшно, — с чувством сказала Валентина Ивановна и пухлыми пальчиками нашупала крест на груди. — Слава Богу, что всё это в прошлом.

— К сожалению, не всё так хорошо, как вам кажется, — виноватительно сказал Николай Аркадьевич. — Производство стоит, работать никто не хочет... все хотят только получать. Нанял людей поставить на даче летнюю кухню — пятнадцать миллионов. Пятнадцать миллионов — не бог весть что, — но за деревянный сарай?! Совсем обнаглели. Они нам еще устроят восемнадцатый год.

— Ну а чего ты хотел, Колян?! — вскинулся Петя. — Семьдесят лет уродовали страну! Вот я тут читал... в этой, как ее... ну, в газете какой-то. Кажется, в двадцатых годах Буденного ввели в правление Госбанка. И вот он сидит на одном из заседаний, а там говорят: нужна срочная интервенция... ну, валютная интервенция, ха-ха! Буденный сразу за шашку: «Что-о-о? Интервенция?!» Еле утихомирили дуболома... Вот кто нами правил!

— Идиот, — брезгливо сказал Николай Аркадьевич.

На высоте Люсиного плеча вдруг появилась морда гигантской болонки... бобтейла. Петя взял с блюда и протянул ей кусок сорокатысячной ветчины.

— Петя! — воскликнула Люся, — ему же вредно! Сильвестр, отдай!

Сильвестр, гулко топая, убежал в коридор, и оттуда понеслось чавканье, как из слоновника... Петя закричал и заслезился от смеха.

— Ах-ха-ха!.. Ему вредно — а нам?!

Люся смутилась так, что у нее загорелись уши.

— Сравнил собаку и человека, — добродушно сказал Николай Аркадьевич и не очень охотно посмотрел на часы. — Однако нам...

— Не пущу!!! — возопил Петя, чуть не вскакивая на стол. — Не пущу, и не думай! Завтра суббота!..

Николай Аркадьевич с улыбкой посмотрел на жену — и покорно развел руками.

...Через два часа стол был уже изрядно потрачен и литровый «абсолютовский» баллон опустел. Не обинуясь, почали второй... Люся и Петя поменялись местами, и теперь приятели сидели лицом к лицу, охлопывая друг на друге одежды и временами целуясь; целовал, правда, больше Петя, уже сильно огруженный и налившийся кровью до синевы, но и Николай Аркадьевич ожидал — как будто и не было биржи: пил сколько нальют, ел всё подряд, ни по какому поводу не проявлял недовольства и говорил если не больше и громче, то во всяком случае не меньше и тише Петра... Впрочем, и разговор был уже довольно бессвязен. Друзья *осадили* (так будет вернее всего сказать: без тоста, без чоканья, махом голов, закусив полукульцами ананаса) вторую рюмку из нового «Абсолюта» — и тут Петя, отдуваясь, спросил:

— А может... музыку, Колян?

— Д-давай! — сказал Николай Аркадьевич и махнул рукой так, как будто отказывался от чего-то очень важного в жизни.

— Лю-ю-юси-ик!..

Люся (они с Валентиной Ивановной за противоположным концом стола относительно безопасно говорили о детях) поднялась и включила магнитофон. Кто-то с полуслова запел — тягучим, медовым голосом.

— Да ну его, эту Меладзу!..

Люся немного перемотала и снова включила.

...ты скажи мне, скажи-и,
чё те надо, чё те на...

— Ну, заблеяла! — закричал Петя. — Вырубай! Споешь лучше что-нибудь наше... шахтерское!

Почему шахтерское — трудно было понять: Петя никогда не был шахтером.

— О!.. — встрепенулся Николай Аркадьевич.

— Чего будем петь, Колян?!

Николай Аркадьевич поводил слегка растрепанной, сильно опростившейся головой.

— Ну, эту... как ее?

— Давайте «Ой, цветет калина», — предложила Люся, визгнув на «ой». Она уже так много выпила, что у нее начали появляться фантазии на счет Николая Аркадьевича. Валентина Ивановна пила очень мало и вообще была не вполне довольна: несколько рюмок назад она сделала деликатную попытку увести Николая Аркадьевича и получила непривычно для себя резкий отпор.

— Давай!.. — согласился Петя — и совершенно потек лицом.

— У-у-ой! цвететь кали-и-и-на!.. — завела Люся таким пронзительно-тонким голосом, что Николай Аркадьевич двинул ушами.

— В по-оле у-у ру-чья-я, — заревел Петя.

— Парня мо...

Николай Аркадьевич вступил.

— ...лопардоняго-мо!..

— Тьфу! — по-настоящему плонул Петя. — Ну ее! Не идет.

— Петя, а может, эту? Старый клен, старый клен...

— ...старый клен стучит в окно, — бархатным голосом вступила вдруг Валентина Ивановна. Петя тоже запел, помогая себе головой.

...приглашая нас с друзьями на прогулку,
Отчего, отчего, отчего так хорошо?
Оттого, что ты идешь по переулку...

Слаженно, с душой повторили... и вдруг замолчали, глядя друг другу в рты.

— Ну, как дальше-то?! — возмутился Петя.

— Я думала, ты знаешь...

— Эх!..

— Давайте Есенина, — затуманился лицом, сказал Николай Аркадьевич.

— Клё-ё-ён ты мой опавши-и-и... — запищала Люся — и сорвалась. Петя махнул рукой.

— Да не вытянешь, брось! Ну... что за черт-то?! Чего раньше-то пели?

— Может, «Течет река Волга»?..

— Течет... вода Кубань-реки, куда велят большевики, — вспомнил Николай Аркадьевич.

— Да ну ее, эту... — Петя остановился — и замер с открытым ртом.

— Давай по...

— Тихо!!

Все замолчали. Из коридора доносилось вулканическое посыпывание бобтейла. Петя сидел с закрытыми глазами, наморщив лоб... и вдруг густо, нутром, загудел:

— У-гу-гу... у-гу-гу-гу... у-гу-гу... Во! — вскинулся он, распахнув обезмыслевшие от счастья глаза, — вспомнил!!!

И, разведя руки в стороны и всклепнув наполнив воздухом бочковидную грудь, заревел до хрипоты низким басом:

По вое-е-енной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боево-о-ой восемнадцатый го-од...

Николай Аркадьевич рывком поднял голову — и тенористо вступил:

Были сборы недолги,
От Кубани до Волги
Мы коней снаряжали в поход!

Среди зноя и пыли
Мы с Буденным ходили
На рысях на большие дела...

— По курга-анам горбатым, — подхватила Люся режуще-тонким голосом — и Валентина Ивановна, готовясь войти, округлила сердечко губ...

По речным перекатам
Наша громкая слава прошла.

На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости,
Над костями шумят ветерки...

Петя вел рокочущим басом; Николай Аркадьевич смягчал; Люся на сопрановом оселке доводила до лезвийной остроты переходы; голос Валентины Ивановны плыл в задушевной, ласковой глубине...

Помнят псы атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.

На повторе Петя вскинул сжатый до молочной белизны на костяшках кулак; лицо его было сурово, торжественно, гордо... Николай Аркадьевич сидел выпрямившись, с высоко поднятой головой.

Если в край наш спокойный
Хлынут новые войны
Проливным пулеметным дождем,
По дорогам знакомым
За любимым наркомом
Мы коней боевых поведем...

На словах «за любимым наркомом» Петя рубанул кулаком и зажмурился. Повторяли с такой силой, что в доме стонало эхо:

По дорогам знакомым
За любимым наркомом...
МЫ КОНЕЙ!
БОЕВЫХ!!
ПОВЕДЕМ!!!

Стало очень тихо. Петя сидел с низко опущенной головой. Николай Аркадьевич медленно кивал чему-то внутри себя. Люся кусала губы. Валентина Ивановна улыбалась отрешенной улыбкой.

— Вот так, — прошептал Петя, поднимая залитое слезами лицо. — Вот так, Коля... А ты говоришь — Америка...

1997

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Душевные дивные взлеты,
подобно стрижиным,
нежданно свершаются
над ячменем или тмином.

Душевные горькие спады
негаданы тоже,
когда пробегает мороз
по листве и по коже.

И я, как осина, дрожу
и страдаю некстати,
и заново жду
не падений, а благодати.

* * *

Безудержные властные слова,
Доверчивую душу леденя,
Как ветром разметенная листва,
Бросаются нежданно на меня.

Бедой грозит, угрюм и убежден,
Как долгие дурные холода,
Лукавый и незыблемый закон,
Не знающий пощады никогда.

А я люблю тебя, и, значит, есть
Отрадная и здравая вполне,
Другая оправдательная весть,
Которая рождается во мне.

— родился в 1949 году в поселке Шереметьево Московской области. Служил в армии. Окончил Литературный институт. Издал две книги стихотворений: «Подмосковное время» (1984) и «Медленная молния» (1992). Член Союза писателей. Живет под Москвой.

Владимир
ПЕШЕХОНОВ

* * *

Безмолвие люблю, как долгую зарю,
которая молчит о завтрашней надежде.
Но заново и вдруг зачем-то говорю
известное тебе и сказанное прежде.
А новые слова, с восторгом наравне,
молчание храня в родном душевном лоне,
уже томят меня и нежатся во мне,
как будто лепестки в ромашковом бутоне.

* * *

Иду, задорной силою влеком,
По опали дубовой босиком
И слышу под недвижными ветвями,
Что ангелы, ликуя и мания,
Как зяблики, приветствуют меня
Возвышенными чудо-голосами.

И где-то, вне сомнений и тревог,
Незримый и благой дубравный бог
На сретенье надеется и снова,
Мои желанья зная наперед,
Подобно лосю, прячется и ждет
Не гордого, а жалостного слова.

ВИД С ГОРЫ ВОЛОШИНА

Рассказ

Почему надо шептать, а не кричать? Дело в том, что люди делятся на тех, кто шепчет, и тех, кто кричит. Человек шепчущий потому и шепчет, что говорит о себе, честно и обстоятельно, не упуская из виду ни одного своего ощущения, взвешивая их (правда трудновато представить, как это можно ощущения взвешивать — безменом, что ли?) и, что самое главное, абсолютно им доверяя и наделяя незыблемыми полномочиями представлять себя. Шепчущие люди самодостаточны.

Процент дураков среди них довольно высок.

Теперь о кричащих. Своим криком они заглушают ответные звуки, оставаясь в неведении — достаточны ли их ощущения для того, чтобы считаться общезначимыми или это всего лишь предоощущения, лжеощущения, параощущения и так далее и тому подобное. Они совсем себе не доверяют и каждое собственное ощущение пускают в мир, ожидая отклика, резонанса, как, скажем, резонируют струны огромного числа роялей, специально для этой цели собранных в огромном и вполне уютном, хорошо освещенном ангаре, при звучании струн главного Рояля (с большой буквы). Тем временем по вымыщенному ангару, среди резонирующих инструментов разгуливает персонаж, всё это вообразивший, и внимательно прислушивается: какой рояль резонирует, а какой глух к вибрации струн главного Рояля, олицетворяющего единственную и неповторимую человеческую душу. Коэффициент полезного действия крика равен коэффициенту полезного действия паровоза. То есть страшно низок.

Павел КАТАЕВ — родился в 1938 году. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор детских книг: «Пять Робинзонов» (1963), «На краю города» (1967), «Девочка и белочка» (1979), «Летающий на стрекозе» (1977). Повестей и рассказов: «К сестре на свадьбу» («Юность», № 8, 1966), «Наши невесты» («Юность», № 9, 1972), «Ученик машиниста» («Юность», № 3, 1974), «Простое дело» («Апрель», выпуск пятый, 1992), «Футбольное поле в лесу» («Апрель», выпуск девятый, 1997). Живет в Москве.

Процент дураков среди кричащих еще выше, чем среди шепчущих.

Кстати, о паровозе. Не потому ли он так громко кричал по ночам среди зимних морозных пространств, что не верил собственным ощущениям и тем самым отдавался в душах романтиков сладкой тоской, пробуждая стремления к путешествиям, перемещению в пространстве, теплу и морю, и солнцу, и скалам, но — главное — к любви, эти далекие страны составляющей?

Так что — вперед и шепотом. А впереди у нас что? Как раз те самые, сотканные из любви таинственные страны.

Станем на точку зрения зимнего ночного прохожего, когда снег скрипит под остекленевшими подошвами, когда гулко трещит сосновый ствол, а чуть поодаль, другой, и, наконец, совсем далеко, в глубине кладбища — третий, и когда так холодно, что уже и страха не чувствуешь...

В скобках. По возрасту автор не может быть этим ночным прохожим, он им станет лет приблизительно через десять-двенадцать. Сейчас же он пятилетний мальчик и живет зимой на даче. В большом доме лишь одна комната обжита, та, где все спят — бабушка, двоюродный брат и автор. Здесь три кровати, шкаф, круглый стол... (Никакие это не кровати, а лежаки на кирпичах.) Кроме того, здесь ящик с песком для кошки — кусок фанеры с набитыми по четырем сторонам рейками-бортиками.

Для кого-то, особенно для сельских жителей того времени, может показаться странным этот кошачий туалет. Зачем? Кошка и в лес сбегает по нужде. Лес-то вот он, достаточно за дверь шмыгнуть. Перед глазами автора до сих пор стоит кошка, замершая в ящике и чуть позже растопыренной лапкой загребающая песок, высыпая его на пол.

Помнится, автор со своим четырехлетним двоюродным братцем, тогда еще живым, пытались развести в ящике костер. Какая-то тряпка очень вонюче и дымно тлела, и кусок бумаги высоко и ярко вспыхнул. Пожар был в самом корне погушен диким бабушкиным криком. Из-под теплого платка (темно-серый, плотный, козьей шерсти) выбились прямые черные волосы. Тогда они еще не были седыми, то есть не то что седыми, а даже единого белого волоса не было на ее голове. И лицо у бабушки было молодое, точно из кости вырезанное, и глаза были широко раскрыты и глядели в никуда.

Братец с любопытством, открыв рот, смотрел на орущую бабушку своими большими серо-голубыми глазами, опущенными густыми ресницами. Наверное, нельзя было не понять, что бабушкин страшный вопль несет в себе не только страх — даже ужас от происшедшего. Ведь ничего не произошло. Пожар не распро-

странился за пределы кошачьего ящика (можно представить удивление кошки, когда она вернулась из леса домой в туалет...) и вполне возможно прекратился бы сам по себе, так по-настоящему и не начавшись. Тут угадывался какой-то скрытый смысл, реакция на событие, которое произошло много-много лет назад и глубоко бабушку потрясло...

А паровоз в зимней ночи кричал печально, окликая автора и вселяя в его свежую душу острое беспокойство.

Ну, а вымышленный прохожий, благополучно доживший до наших дней, как о чем-то приятном, теплом думает об оставленном в далеком прошлом (или же далеком будущем, что зависит от точки отсчета) вечере, к описанию которого пришла пора приступить.

В действительности вечер не кажется таким уж теплым. Лето в Крыму на этот момент можно считать не получившимся. Настоящее крымское тепло еще не наступило, и — наступит ли?

Но таинственность и волшебство, конечно же...

Сие произведение — повествование — включает описание добродушной сотни людей. Немного больше, немного меньше, но число их крутится возле цифры сто. Пусть страницы будут населены большим количеством людей, и чтобы каждый был услышан, и чтобы речь каждого была слышна, и с каждым что-то происходило.

Итак, вперед!

Он — третий персонаж, ты — второй, мы — первый. Речь идет о трех составных одного, главного, лица, которое смотрит на мир то с одной точки зрения, то с другой, а то и с третьей.

Четвертым оказывается мальчик Гриша, прозванный своей мамой (пятый персонаж) Хомяком. Так вот, после застолья со скучной выпивкой (мальчик, разумеется, не пил) и превосходной рыбой, Хомяк вдруг заплакал и на вопрос Марины (шестой персонаж), почему слезы, ответил, всхлипывая:

— Этого никогда больше не будет!..

— Чего, маленький, не будет? — участливо спросила Марина, положив на худенькое плечико свою тонкую руку, украшенную браслетами и кольцами.

— Камбалы...

— Ну что ты! Обязательно будет!

— Такого вечера не будет. Всех вас не будет, — настойчиво прошептал мальчик.

У Марины дыхание перехватило.

— Ну что ты, Хомяк! И такой вечер будет, и все мы будем...

Описываемому вечеру предшествовали, как нетрудно догадаться, последовательно сменяя друг друга, утро и день. Тоже не

Бог весть какие жаркие, но все-таки лето наступило, и на горе ветер был по-летнему прохладный (то есть не по-зимнему морозный), а не пронизывающе-холодный, как мы могли бы ожидать от столь неудачного лета.

Для нас нет жизни здесь, в этом благословенном краю, без этой горы (с трудом удерживаемся от написания ее с большой буквы), и жизнь начинается после подъема на вершину горы с того мига, когда, не отышавшись, мы пускаемся в обратный путь, и наш взор обращен вниз, на камни под босыми ногами (очень важно, что они босые, хотя от описания удержимся), на комки сухой почвы, на пучки сухой травы, на ящерицу, мелькнувшую, точно в большом воображении, между камней, на легкую бабочку. Повторяю — действительно всё время приходится смотреть под ноги, и во время подъема и во время спуска, так что окрест мы оглядываемся считанные разы. Но и мгновенных впечатлений хватает на то, чтобы полностью ощутить себя именно в этой точке пространства и отметить, что обжитое нашей душой место под Солнцем отсюда выглядит чуть иначе, а может быть, и сильно иначе. Это как бы трезвый взгляд со стороны.

Мы смотрим под ноги, но наше воображение уже наполнено до краев могучей картиной — небесной твердью моря, состоящего из сотен, тысяч огромных полей, переходящих одно в другое, мерцающих и дымящихся, ледяных, как айсберг, и зноных, как пустыня, и вся эта поверхность испаряется на далеком-далеком горизонте, которого, собственно, и не видно вовсе. С горы он угадывается, а вернее — мы просто думаем, что он там, а не где-то в другом месте, хотя в действительности это лишь плод наших школьных представлений, и никакого горизонта не существует.

Граница между морем и берегом не столь таинственна. Как всё конкретное, она вызывает в нас неприятие, побуждает к неконструктивной критике, причем соприкосновение естественного и искусственного столь внезапно и столь необратимо, что мы возмущаемся не только человеческой бездарностью, соорудившей столь непримечательный и негармоничный волнолом, кривой дощечкой, щепкой, занозой (вид с горы) вонзившейся в прозрачное тело моря, и другие жалкие строения — хижины, ангары, сарайчики и так далее и тому подобное, но позволяем себе недоумевать по поводу неряшливой пены божественного прибоя и столь же божественного серого обломка скалы в море возле берега, который сверху кажется нелепым камешком, вдавленным в плотную бирюзово-белесую поверхность...

И этот вырвавшийся из души дух критики распространяется на всю правую (противоположную морской) часть ландшафта,

занятого горами, долинами, снова горами, покрытыми крепкой растительностью — тут и деревья, и кустарники, и просто трава — или же ничем не покрытыми, обнаженными, рельефными, и мы даже какое-то время с неприятием думаем об эпатирующей форме той или иной вершины, с слишком уж чрезмерным нагромождением скал, неправильном расположении предыдущей горы, как-то уж совсем неразумно заслоняющей последующую, которую как раз и хотелось бы видеть, и эти глобальные естественные неудачи примиряют нас с наличием искусственных вторжений в природу очаровательных домиков, дорог, даже целиком поселков. Очаровательных на расстоянии, господа, лишь на расстоянии.

Следует иметь в виду, что пейзаж кажется безлюдным. Но это далеко не так. Начать с того, что мы сами составляем значительную его часть, может быть, и основную. Если же быть откровенными до конца, то мы и есть целиком весь пейзаж, вместе со всеми его значительными и основными частями. Ведь без нашего зрения, нашего отбора, без нашей оценки и без всего нашего остального ни о каком пейзаже не было бы и речи. Кроме того, он в действительности населен большим количеством людей, и если в начале повествования упоминается сотня персонажей, с которыми хотелось бы познакомить читателя, то лишь бросив взгляд на самый близкий человеческий стукок, а именно на домики пионерского лагеря, сокрытые зеленью, мы можем считать свою задачу выполненной и перевыполненной и поставить точку.

Но нет, речь идет о вполне конкретных персонажах. Каждый из них появится здесь во всей своей красе, будь то уже знакомый Хомяк с глазами, вечно наполненными слезами грусти и сожаления (речь идет о вечности детства), или же капитан рыболовного сейнера, суденышка, что, точно соринка в глазу, мерцает там, под горой, в дымке морского простора.

За капитана его и не принять — помятый, с недельной щетиной... К нему-то Марина и обратилась. Не знаем, что именно она ему сказала, мы не были допущены к беседе, более того, не были допущены и к сейнеру и вынуждены были томиться неподалеку (в самом начале пирса, возле турникетов), делая вид, что мы совсем ни при чем, даже незнакомы, — но капитан, мы это видели, благосклонно кивнул, после чего Марина, худая и длинноногая, женщина мечты, перемахнула через деревянный фальшборт и стремительно проследовала за морским волком в надстройку.

Она дрожит (от страха ли, от волнения), но этого нельзя увидеть, это можно только знать, как мы знаем. У нее пальцы

дрожат, когда она быстро устраниет иглой какую-нибудь неполадку в одежде ребенка. Сердце дрожит, иногда так сильно, что сбивается дыхание, округляются глаза, и на лице недоумение и испуг, хотя это и не отражает ее внутреннего состояния. Лицо самостоятельно боится за нее.

Вечерний причал и сейнер, скрывший в своих недрах Марину.

Нас не оставляет чувство довольно препротивное, точно мы являемся бессовестным кавалером, который послал свою подругу (в нашем случае собственную жену) в глухой ночной час на пустынную дорогу ловить машину, а сам притаился на обочине, чтобы водитель не заметил раньше времени. Предполагается, что при виде одинокой девушки в водителе должны проснуться низменные инстинкты. Такие вещи и наблюдать-то со стороны противно, что уж говорить о собственном участии. Однако же...

Подобно Марине, перемахнувшей через фальшборг, решительно перескакиваем через несколько часов жизни, так что не сразу сообразишь (или вообще не сообразишь), что, спускаясь с горы, мы отметили наличие сейнера в море, никак не думая, что уже сегодня к вечеру он подойдет к причалу и начнет незаконную распродажу прямо с борта своего браконьерского улова. Мы же продолжали спускаться с горы, все силы души направив на то, чтобы сдержать восторг, ликование, радость, готовые, как ядерный заряд, в клочья разнести нашу плоть по атому в окружающем пространстве.

Да, мы поднялись на гору, побывали на ее вершине, подержали ладони на гранитной плите общей могилы поэта и его верной жены и спускаемся в дальнейшую жизнь обновленные и воодушевленные. Об этом и мечтать-то страшно, а ведь свершилось же!

С горы видно то, что видно — поселки внизу, море, нагромождения обрушившегося кратера потухшего вулкана Кара-Даг, и так далее, и тому подобное — и то, что составляет нашу душу, нашу память и вдруг возникает перед нами (душа замирает), с ощущениями вкуса и запаха, и самое главное — лица родных нам людей возникают, и мы обращаемся к ним с вопросами и слышим ответы, ловим на себе их взгляды, и они в этот миг более материальные, более живые, чем ящерица, мелькнувшая в сухой траве, или медленно взирающаяся по тропинке нам навстречу босая женщина со старенькими вьетнамками в руке.

Теперь факты и только факты. Голые факты.

В Балтийском море пароход такой-то (название и порт приписки неизвестны) попал в сильный шторм. Серые волны вставали до самого неба. У многих пассажиров разыгралась морская болезнь, а вот самой бабушке не было плохо. Хотя она страшно боялась, что пароход потерпит крушение и потонет.

Да, господа. Что ни говорите, а Промысел пронизывает и определяет мельчайшую крупицу нашей жизни во времени и пространстве. Диву даешься, как тонок Промысел, каждый раз готовый помочь тебе, хотя ты и представить не можешь, зачем эта помощь нужна. Вот пример (шепотом, шепотом!). Дважды мы побывали в том опасном месте, где бабушка с детьми и мужем пережила шторм. Первый раз мы видели этот кусок моря из самолета, следующего по маршруту Москва-Лондон и вынужденного приземлиться в промежуточном пункте, а именно в аэропорту Копенгагена, чтобы подождать, пока аэропорт Хитроу освободится от осеннего тумана. Салатного цвета вода, так и сяк вклеенные в ровную поверхность макетики судов, потом того же цвета салатный луг на подлете к аэродрому и стая больших чаек над лугом.

Второй раз по этим водам мы плыли (моряки употребляют глагол «идти», ибо плавает известно что) на сухогрузе из Гамбурга через Кильский канал в Ленинград... Сбились с мысли, не можем сказать, при чем тут Промысел. Наверное, просто... Ну, да ладно, чего зря гадать...

Сохранилась легенда о прибытии парохода с репатриантами в Любек. Речь идет о двадцатых годах нашего приближающегося к концу столетия. На причале в небольшой толпе встречающих возник знакомый. Увидев среди вернувшихся из Англии семейство, он с ужасом зашептал:

— Зачем вы приехали? Уезжайте, пока не поздно!

Сомнения грызут нас: зачем о Промысле говорить, зачем анализировать события, связанные с возвращением в Советскую Россию, даже придавать какое-то значение тому далекому шторму, словно бы тот предостерегал: не возвращайтесь! Хорошенькое предостережение. Пароход уже в пути, не повернуть назад, и шторм способен лишь напугать до смерти или погубить. Но уж никак не изменить ситуацию.

Истинным предостережением скорее можно считать пожар в Лондоне. Об этом происшествии никакой легенды не сохранилось, мы сами реконструировали его по косвенным данным, слабому отсвету на краешке едва уцелевшего семейного предания о рутинной поездке в трамвае нашей бабушки с тетей Милей, ее младшей дочерью, за четыре года до того родившейся в Лондоне, по постреволюционной Москве.

Итак, мать и дочь едут куда-то в трамвае. И маленькая девочка что-то говорит с досадой своей маме. В вагоне никто не знает английского, чтобы понять реплику по нездешнему нарядной девочки-иностраники. Возможно, и моя бабушка не слышит сердитого щебетания дочери, углубленная в свои невеселые мысли, а если и

слышит, то не обращает внимания, а если и обращает внимание, то не берет в голову, выбрасывает из памяти и сердца, как мы всегда подсознательно стараемся поступать с чем-то неприятным.

Она смотрит задумчиво в окно, не замечая ни унылой улицы, ни мрачных прохожих, ни заколоченных парадных подъездов. Ее мысли и помыслы пребывают в других местах и временах.

Но в том-то и дело, что Провидение поместило в вагон милого человека, понимающего по-английски.

Теперь только гадать остается, когда произошла эта сцена — до путешествия в Сибирь или после. Если, скажем, до, то можно предположить, что бабушка с замиранием сердца представляла себе тот тайник, в котором было не только спасение, но и оправдание всех немыслимых мытарств. Если же путешествие к тому времени уже состоялось, то бабушкина задумчивость была уже совсем, совсем другого рода...

Глаза у девочки широко раскрыты — серые, перламутровые, с пестрой радужницей, точно перепелиная скорлупка.

— Почему ты не сгорела в Лондоне? — сердито воскликнула она.

— Миля, не выдумывай, пожалуйста, — проговорила бабушка, не поворачиваясь.

— Девочка, почему ты так говоришь? — спросил милый человек.

— Если бы она тогда сгорела в Лондоне, она бы не привезла нас сюда, — живо ответила тетя Миля, доброжелательно глядя на спрашивающего. Ей было приятно, что кто-то посторонний заговорил с ней на ее родном языке.

Вот оно: пожар в кошачьем ящике! Тогда бабушка вспомнила именно о Лондоне. Сгори она в том пожаре, ее маленькие дочери никогда не оказались бы здесь, а следовательно, и нас бы никогда не было на свете. То есть мы конечно же были, но только это были бы уже не мы и конечно же не здесь.

Тут и бабушка оторвалась, наконец, от окна и увидела милого человека с внешностью господина, барина — узкое пальто, маленькая шапка-ушанка, а может быть и аккуратный пирожок из мерлушки. Впрочем, гадать не стоит, тем более что теперь уже (фраза произносится шепотом, то есть без малейшего надрыва) и справиться не у кого.

На всякий случай заметим: бабушка потому смотрела в окно со столь пристальным вниманием, что трамвай ехал по Красной площади, вдоль кремлевской стены. Историки Москвы нас поправят. За что купили, за то и продаем. Разумеется, тогда никакого мавзолея и в помине не было, не говоря уже о государственном кладбище, столь неудачно разбитом здесь умными коммунистами.

Господин, улыбаясь, спросил бабушку:

— Вы говорите по-русски?

— Конечно! Я сибирячка, а вот девочка моя родилась в Лондоне. Она пока еще плохо знает русский, но скоро научится. И по-английски:

— Правда же, Миля?

Девочка раздула ноздри и промолчала, а господин горячо сказал:

— Ну, разумеется. Дети быстро схватывают. А как вы оказались...

Он не успел закончить вопроса. Возможно, бабушке лишь почудилось, что публика в вагоне вдруг опасно замолкла, притаилась. Бабушка сделала испуганное лицо и прошептала:

— Би квайт...*

— Ну, разумеется, — тут же согласился незнакомец.

Увлекая за собой Милю, бабушка протиснулась к выходу.

— Нам выходить.

Незнакомый господин умудрился первым выйти из вагона и помог молодой женщине с ребенком спуститься на землю.

Бабушка не доехала целую остановку (а может быть и две) до гостиницы «Балчуг», где семья временно проживала, но сочла за благо покинуть враждебный вагон. Незнакомец поступил так же по тем же соображениям. А может быть ему не хотелось обрывать на полуслове завязавшееся было знакомство с красивой женщиной и ее очаровательным ребенком, столь ярко и образно выражившим свое неприятие окружающей действительности.

И это тихое, умоляющее «би квайт...».

Переведем дух и заметим, что здесь прозвучала заявка на очень важную тему. Вспомните — незнакомцу не хотелось обрывать знакомство с молодой красивой женщиной. Однако продолжения не последовало. Внезапно возникнув, он столь же внезапно исчез, выполнив, однако, свою историческую роль, вызвав у маленькой Мили уже упомянутое восклицание: «Почему ты не сгорела в Лондоне!».

Красота. Была ли бабушка красивой, и что это вообще такое — красивая женщина или красивый мужчина? Об этом мы поразмыслим со временем. Сейчас же, не теряя наката, двинемся дальше и постараемся выяснить побудительные мотивы поступков бабушки и близких ей людей, в первую очередь дедушки, который в действительности был в этой истории главным персонажем. Во всяком случае, мы так считали до настоящего момен-

* Be quiet — здесь: тише (англ.).

та, когда вдруг логика произведения заставила нас в этом усомниться.

Кто же главное — дедушка или бабушка? Всегда же есть чье-то главенство. Кто-то подчиняет, и кто-то подчиняется. Легко ли, трудно ли, но все-таки подчиняется. Речь идет не об армейской дисциплине. Увы, бабушка была главной. «Увы» — потому что ее главенство не пошло семье на пользу. Впрочем... Посмотрим, что там дальше было. То есть не дальше, а прежде.

Легенд, связанных с дедушкой, не так много, как у бабушки. Хотя они и есть. Ну, вот, например, легенда, которая должна убедительно показать любовь дедушки к первому персонажу настоящего повествования, одному из многих его внуков и внучек.

Мы (первый персонаж) лежим в коляске, нам несколько месяцев отроду, наверное, два. Вокруг жаркий летний день. Солнце проверяет листья на прозрачность, но нет, они не прозрачны, хотя сквозь свежий подмосковный хлорофилл пропускают свет. На черном фоне пронизанные солнечными лучами листья светятся, как фосфорные.

Объяснить бы, откуда черный фон взялся, да нет ни желания, ни пространства. Был бы на нашем месте Гёте, великий знаток законов оптики, он бы подвел под эти субъективные ощущения научную базу. Да где он, Гёте?

Склонив молодое лицо с небольшим точеным носом, широко расставленными лучистыми глазами, высоким лбом, окаймленным золотисто-рыжими кудрями, дедушка внимательно всматривается в несусветного младенца с лицом старого китайца и решительно прогоняет мохнатую муху, которая ошалело бросается на ребенка с тем, чтобы через какое-то мгновение умчаться прочь и слиться с миром других мух, комаров, пчел, стрекоз, паучков, чешуек, палочек, крупинок, паутинок и прочего, и прочего, наполняющих собой бесконечный, как может показаться, пласт атмосферы, воздуха...

Дедушка смотрит на нас, охраняет от насекомых (больше никто не претендует) и тем самым выказывает любовь к своему внуку.

— Ах, как дедушка, царство ему небесное, тебя любил! (Это мамино восклицание.)

— А я его любил? — поинтересовались мы у мамы.

— Конечно. Еще как. Ты его узнавал и — смеялся...

И есть еще одна легенда, но скорее не дедушкина, а нашего отца. Чтобы дедушка не огорчался и его большое сердце не страдало, отец запретил домашним сообщать дедушке, что тот лишен пенсии, и каждый месяц давал бабушке определенную сум-

му, соответствующую этой пенсии. До самой своей скорой (увы) смерти дедушка так и не узнал, что над ним, как и над всеми его товарищами по партии, нависла угроза уничтожения.

Дедушку уничтожил очередной сердечный приступ, в то время как его более здоровые товарищи по партии были выведены из жизни другим образом...

В рассказе о маме, о двух ее сестрах и родителях, бабушке и дедушке, красота должна занять подобающее ей место, ибо только что упомянутые пять персонажей отвечали самым жестким требованиям этого понятия.

Бывает, мы не воспринимаем того или иного человека, мужчину или женщину, красивым, потому что его облик вызывает в нас протест, чувство неприязни.

— Ну нет, он (она) совсем не красивый (красивая), — пылко протестуем мы. — Скорее наоборот...

Но тут вдруг замолкаем, прикусываем язык: врожденное чувство справедливости заставляет нас осечься. Да, человек нам неприятен, даже противен — или чрезмерно черняв, или — по облику — слишком блудлив, или слишком толст или тонок. Да, в облике угадывается нечто иное, чем выражено фасадом. Да, фасад красив. Но всё же... Думаем, с нашими родственниками такое тоже могло произойти, за красивым фасадом кому-то почудилось уродство. Однако же справедливость не следует терять.

Прощепчим в скобках, что в отношении бабушки мы порой бывали несправедливы и, так сказать, по собственному опыту знаем, как подобная несправедливость имеет возможность застращаться в душу кому угодно. И мы готовы простить такую несправедливость. И готовы превозмочь ее. И заявить: «Наша бабушка красива!».

Промелькнувший в трамвайном эпизоде персонаж воспринял бабушку как безукоризненную красавицу с костяным лицом, ясными глазами, столь же перламутровыми, как и у младшей дочери, и с толстой коричневой, почти черной, косой ниже талии...

Не знаем, какого точно роста был дедушка. Очевидно (если это вводное словцо можно употребить в данном контексте), не очень высокого. Но и лилитом не был. А вот бабушка была маленького роста, и дочери ее были маленькие, с точеными фигурами, с прекрасными пропорциями, как у Дюймовочки, и так было до тех пор, пока они не растолстели.

Какие были еще легенды, связанные с дедушкой?

Жизнь его — для нас, во всяком случае — как бы скрыта дымовой завесой, которая время от времени чуть-чуть редеет и в

образовавшиеся окошки можно рассмотреть какие-то более или менее реальные очертания событий.

Детство и юность он провел в городе Люблине (Царство Польское) в доме владельца скорняжной мастерской, где шились меховые шапки. Здесь, в этой мастерской, он и работал мальчиком на побегушках, что-то вроде еврейского Алеши Пешкова. Неважненькое детство. Не удивительно, что бедный еврейский юноша подался в революцию, связался с бундовцами.

Сквозь очередное окошко различается мощный двор казармы царской армии в Люблине. Беготня, поиски, возможно, выстрелы. И вот уже трое злоумышленников в лапах полиции, из-за пазухи выпадают листовки и прокламации революционного содержания. Было ли что-то чрезвычайное в распространении революционных листовок? Нет, конечно же. Частенько такое случалось. Но для дедушки (он в числе схваченных) это жизнь, судьба.

После Октября открылись какие-то там архивы, и стало ясно, что один из трех арестованных бунтарей-бундовцев оказался стукачом. Он и навел полицию на казарму, где молодые люди занимались революционной деятельностью. Благодаря той скотине, дедушка и оба его товарища по партии (в том числе скотина) были осуждены и отправлены сначала в первопристольную на отсидку в Бутырки, а затем, через несколько лет, на каторгу в Сибирь.

Неизвестно, что со стукачом после разоблачения стало — легенды не сохранилось. Единственное, что доподлинно известно, так это то, что родственникам стукача, пока он якобы томился в одиночке, а потом гнил на сибирской каторге (на самом деле он в это время околачивался где-то в других местах), помогали революционеры и поэтому их жизнь не была такой ужасной.

Что же касается дедушки, то он, отбыв каторгу и перейдя на поселение, познакомился с бабушкой, молодые люди полюбили друг друга и поженились.

Упомянем город Пензу, куда в скромом времени беременная бабушка переехала из родного Тобольска к своей старшей сестре Кате. Там, в губернаторском доме, в назначенный срок появилась на свет Божий первая из трех ее дочерей.

Всё это, конечно, не более чем легенда. Нам, например, трудно представить, чтобы губернатор, такой важный чиновник царской администрации, взял в жены еврейскую девушку. Советский склад ума не принимает этого без особых объяснений. Например, таких. Он женился в молодости, пока еще не достиг столь больших чинов. (Возникает вопрос: женившись на еврейке, достиг ли бы он их?) Или же еврейская девушка Катя была достаточно богатой, чтобы заставить избранника закрыть глаза на ее проис-

хождение. А может быть, чем черт не шутит, у порядочных людей вообще не возникало ни малейших препятствий для того, чтобы сочетаться браком с любимым человеком. «Какие бы неожиданности ни скрывал в себе пятый пункт», — добавим от себя.

А между тем наш государственный преступник, отец новорожденной, отбыл за границу. Куда? Разумеется, в Париж.

Небольшой комментарий. Дедушка действительно был подмастерьем, мальчиком на побегушках, однако в революционную борьбу впал от чего угодно, но только не от нищеты и бесправия и уж тем более не как жертва эксплуатации. Хозяин процветающего дела, родной дедушкин дядя, по просьбе своего брата, дедушкиного отца, взялся «сделать из племянника человека», приобщить к профессии. А дедушкин отец после смерти жены (дедушкиной мамы) переехал в Париж. Там он вторично женился и теперь готов был принять непутевого сынишку после его революционных похождений.

Тут, пожалуй, к месту вспомнить современный анекдот про еврея, который собрался через государственную границу ныне покойного Советского Союза тайно проскользнуть на Запад. Еврей добрался до последней пяди земли, остался последний маленький шажок. Вдруг окрик советского пограничника:

— Стой! Кто идет?

И немедленный ответ:

— Уже никто никуда не идет!

Что же касается нашего дедушки, то не следует думать, будто бы он, обманув царских ищек, с наклеенными усами и в чужой одежде, куда-то там тайно пробирался. Его не окликали из предрассветной тьмы, а в польском городке Верхболово на австро-венгерской границе цивилизованно проверили самый настоящий паспорт, купленный для него покровителями, и пресколько выпустили из «тюрьмы народов».

«...Верхболово. Что ново здесь, то там не ново». (Из тогдашнего фольклора.)

У бабушки переход границы годом позже не был столь безмятежен. Она убегала не от государства, а от семьи, которая после отъезда дедушки вздохнула было с облегчением: пусть он там живет, нашу дочь и внучку в свои делишки не впутывает. Да не тут-то было: любовь! На австрийскую сторону из Царства Польского бабушку переводил в глухой ночной час старый поляк-проводник по ему одному ведомой тропинке. Главной трудностью была грудная девочка тетя Лена, которая громко плакала, нарушая хрупкую приграничную тишину.

Бабушка рассказывала, что проводник требовал уговорить младенца. «А то всё пропадет...» Ничего не пропало, и бабушка с

тетей Леной оказалась через какое-то время в объятиях любимого мужа в Париже на улице Риволи. Здесь перед войной (Первой) родилась средняя сестра, наша мама.

И снова — в прошлое. В какое? В далекое... Впрочем, далеких прошлых несколько. Какое из них? Пусть снова будет дедушкино далекое прошлое, хотя бы тот летний денек, когда он зашел за нашей мамой в музыкальную школу после уроков и по зеленым московским улицам и переулкам они отправились домой.

Какие у нас есть основания думать, что описываемый денек именно летний? Ведь летом школы не работают. Будем считать, что дело происходило в конце весны или в начале лета, когда уже достаточно зелени появляется в городе. Хотя, возможно, уже и осень наступила — теплая, солнечная, зеленая. В нашей московской континентальности и такое случается.

Когда они зашагали вдоль глухой стены, дедушка сказал, что здесь он несколько лет провел в одиночке.

— Где — здесь?

— В тюрьме.

— В какой тюрьме?

— За этой стеной. В Бутырках.

Вот как жизнь складывается. Дедушку запрятали сюда году в пятом или шестом, ну, может быть, в седьмом за революционную деятельность на территории Российской империи. Теперь двадцатые перевалили середину, и дедушка, промыкавшись, промаявшись, в столице новой страны, Советской России, с новой властью и совсем, совсем другим жизненным укладом, ведет свою дочь из музыкальной школы домой, где его ждет бабушка с двумя остальными дочерьми — младшей и старшей. Наша мама средняя.

Мама оторопела от ужаса, излучаемого глухой стеной, и это чувство готово поглотить девочку, парализовать, наполнив собой, своей омерзительной субстанцией, но нечто не позволяет ужасу сделать это, сдерживает, отгоняет, и это нечто — теплое, сильное излучение добра, исходящее от дедушки, в груди которого трепещет и нехорошо поворачивается больное сердце, и рука, крепко сжимающая детские пальчики, холодная, почти ледяная снова теплеет, оживает...

Всё горькое прошлое и настояще отступает, и дедушка (тогда еще не имевший внуков) радостно думает: «Я живу, вокруг тепло и зелено, рядом любимые».

Ну, вот, пожалуй, и всё, что можно рассказать о дедушке. Умер он за два месяца до начала войны (нашей войны), не сумев оправиться от обширного инфаркта. Оказалась он на Лубянке вместе со своими более здоровыми коллегами и политкаторжанами.

ми-бундовцами, он бы там отдал Богу душу, так что «славные» чекисты года три-четыре ему подарили.

— Здравствуйте, — тихо произносит босая женщина. Вот она равняется, взглядывает открыто и продолжает трудный подъем.

— Добрый день, — отвечают мы.

Да, она — реальность, а все то — сладкая музыка, прилетевшая из космоса.

Теперь — к Марине.

Как описать ее? Это подвластно лишь какому-нибудь великому мастеру. Яркое пятно среди зелени, пестрая коктебельская хламида, скрывающая сидящую по-восточному женщину с пушистой головой, как бы в густом парике, с нежным лицом и большими тревожными глазами, точно бы вобравшими в себя из пространства любовь и теперь изучающими ее.

Сидя на корточках возле водопроводного крана (вода течет обильно, еще не наступила настоящая жара и водохранилища не пересохли), Марина разделяет камбалу, которую ей же удалось выманить у осторожного браконьера. Идет подготовка к пиру. (О нем уже упоминалось. Помните мальчика Гришу?)

— Ну вот, снова я... Всё я... Только я. Ну почему, почему вечно я, я, я!!!

Она сердится, и к ней не подойти, хотя она и требует, чтобы к ней подходили и помогали.

Но вот пища приготовлена, мы сидим под старой сафорой за шатким столом, кто на шаткой скамейке, кто на шатких стульях. Овощи, зелень, грубые куски нежнейшей рыбы. Есть и выпивка, но, Боже мой, какая! Агонизирующее государство впало в очередной раз в борьбу с пьянством, да ничего не получилось, только виноградники повырубали и настроение людям изрядно попортили. Вместо легкого крымского вина или на худой конец традиционной водки приходится пить коньячный спирт, что тяжкой ношей ложится на наше пошатнувшееся здоровье.

Описываемый отрезок южного лета — холодный отрезок, в полный месяц над Святой горой холодный, и невидимое море дышит холодом, и редкие огоньки во тьме холодные. Всем теснящимся вокруг стола участникам пирушки — описанным и не описанным персонажам настоящего произведения — весело. А мальчик Гриша по прозвищу Хомяк грустный, как и вся окружающая природа. Он шепчет:

— Этого никогда больше не будет...

И глотает слезы.

ИСТОРИЯ НАДЕЖДЫ И РАЗОЧАРОВАНИЙ КОЧЕШКОВОЙ

Рассказ

Сам удивляясь и других удивляя, Тебеньков сберег в себе то, что иные в тех же годах и положении безвозвратно теряют: пылкий был человек. А еще Тебеньков — потому, наверное, что в юности долго присматривался: «Сделать бы жизнь с кого?» — и в возрасте зрелом сохранил в себе втуне сонмище талантов. Среди них — талант педагога.

Тебеньков учил Жизни. Именно — Жизни, именно — Ей, а не тем давно известным вещам — как, кому, зачем и сколько. Тебеньков брал за горло — иногда сам, иногда руками сподвижника Кынтикова, — и с трепетом (как бы не обмануться!) всматривался в лицо того, кто хватал воздух ртом, чьи глаза вылезали из орбит, кто пунцовел и обливался потом. Собственно, это был первый и последний урок. Остальное, если взятому за горло давали вздохнуть, становилось делом практики. Учившиеся у Тебенькова во всем ему доверяли, а если отступались, то Тебеньков их, как детей малых, поддерживал, слюни им вытирая, от грязи отряхивал. Но если они поступали так, словно не было первого урока, то рано или поздно их снова брали за горло. После этого не выживал никто.

И когда Кочешков, один из его бизнесменов, вдруг женился, Тебеньков получил возможность педагогический талант свой проявить. Со всей пылкостью, что характерно.

Внешне Тебеньков решение Кочешкова одобрил. Слегка по-журил — мол, что ж ты сам! я бы тебе сосватал такую профуру! что за спешка! ладно, ладно, не дуйся! будет верной женой! — а потом, отпустив Кочешкова, приказал подготовить подарок. Тебеньков не знал еще — какой? — знал лишь, что подарок будет грандиозным, ибо, щедро одаривая своего бизнесмена, он еще более возвеличится сам.

Дмитрий
СТАХОВ

— родился в 1954 году в Москве. Окончил психологический факультет МГУ. Автор романа «Пограничная история» («Золотой век», СПб., 1995) и нескольких повестей и рассказов, печатавшихся в периодике и в коллективных сборниках. Живет в Москве.

Вечерело. Тебеньков сидел в полумраке, размышая, что независимость сама по себе не так уж плоха. Если подопечный решает, куда вкладывать деньги или кого принимать на работу, то с этим можно вполне разобраться, эти вопросы вполне можно снять, подопечному кое-что подсказав или даже от него кое-чему научившись. Угроза возникает тогда, когда подопечный моет руки, даже сходив помочиться, а ты и похезавши рук не моешь; когда ты любишь телок рыжих, а подопечный — брюнеток. «Бойтесь различий глубинных!» — так думал Тебеньков, косяк отпивая глоток за глотком из стакана, зная при этом: человек научаем! Научаем! Не тому, не вовремя, слишком медленно, но опыт как-то в нем оседает, словно в браге мутная взвесь. Чтобы это понять, не обязательно было штудировать Павлова и фистулы направо-налево вживлять: на зоне, где Тебеньков университеты прошел, можно освоить и не такую науку.

Стемнело совсем. Распорядившись подбросить дровишек в камина, Тебеньков продолжал размышлять о своем бизнесмене. Тот имел два диплома, говорил на трех языках, щипчиками лобстеров ел, никого не убивал, никогда не сидел, даже свидетелем не привлекался: школа-институт-райком-горком-НТТМ-кооператив-своя фирма и — под крыло Тебенькова, которого смог урезонить, смог убедить, что мочить его вовсе не нужно, а если с ним начать хорошенъко работать, то все пойдет в прибыль. И, конечно, по всему Кочешкову было лучше платить толстомясому пахану с геморроем, что виноградная гроздь, могущему выбить должок, разобраться с конкурентом, везде договориться, любившему жареное на сале да тупую дочку, которую и за тебеньковские деньги не хотели брать учиться в Иель, и не платить государству, чему-то неясному, ничем не болеющему, никого не любящему и ни от чего защитить не способному. Таким образом, двойное дно и в бизнесе, и во всем было сутью Кочешкова, а над сутью своей люди не властны, ибо когда обретут они подобную власть, людьми в тот же миг быть перестанут.

Тебеньков нажал кнопку звонка. Вошел Кынтиков. Сверкали белки его глаз.

— Звал? — спросил хозяина Кынтиков.

— Нет... — прохрипел Тебеньков.

Кынтиков вышел.

Особые женщины есть в офисах наших. Они заметны не сразу, и не талантами и умениями, нет. Они проявляются в другом, вдруг, исподволь. Их стать, их повадки что повадки молодой луны, вставшей над кипарисами, прочертившей зыбкий след по

маслянистой поверхности моря, осветившей лица людей дрожащим светом, вливающей в кровь биение желаний. Их взгляд, поворот головы, изгиб шеи пленяют нежданно, пронизывают очарованием до самых глубинных жил, наполняя истомой, заставляя иных забыть биржевые котировки, других — дом в родном Нью-Джерси, третьих — собственное имя.

Среди кипарисов Кочешков и сблизился со своей будущей женой. Договоренность с Тебеньковым о продлении сотрудничества отмечал он на курорте в южной, прежде не то чтобы далекой, но ставшей вдруг очень близкой стране, куда выехал всей фирмой. Раньше он не замечал, что референтка одна так на луну-чаровницу похожа. Здесь же, на юге, праздная жизнь, две луны, одну пред собой, другую — на небе увидев, он обнял земную.

Для референтки жадные руки шефа не значили чего-то из ряда вон. Даже о прибавке к зарплате она не подумала той душной, потной, соусом к бараньему мясу пахнущей ночью. Референтка отвела Кочешкова к себе в номер, разделила, разделась сама, а утром его разбудила, налила стакан апельсинового джуса. Он вышел из ее номера, дабы из своего сделать пару звонков. И к ней не вернулся.

Обычный расклад, референтка другого не ожидала: весь день Кочешков на нее не обращал внимания, даже вечером, в ресторане, был спокоен и ровен. Знать бы ей, как желал Кочешков вновь скользить по лунной дорожке, вновь потеть и вновь обсыхать, сигарету куря, попивая легкий, приготовленный референткой коктейль. Знать бы ей, что собирался он вот-вот подойти, в танце ее закрутить, у метрдотеля в белых перчатках заказать для нее орхидею. Но за минуту, за секунду до срока, в ресторане отеля, среди смокингов и платьев вечерних, появился жирный мужик в бермудах и шлепках, в стираной майке, с толстой цепью желтого металла на шее, с Кынтиковым и двумя быками на пояснице за ним. Тебеньков! Сам! Приехал! Решил подкрепить свое слово! Кочешков в этот вечер к ней не подошел. Не подошел и на следующий день.

А потом они сели в самолет и полетели в февраль: Тебеньков с Кочешковым и Кынтиковым — в бизнес-классе, тебеньковские быки и фирма кочешковская — в хвосте самолета. Референтка ловила злорадные взгляды: «Помагросил и бросил! Плачешь? Утрысь!». Но утирать было нечего. Плакать она давно разучилась. Самолет ухнуя вниз, выровнялся, пошел на снижение. Они прилетели домой.

В жизни референтки уже был один генеральный директор, были два зама, несколько менеджеров, среди них — тройка старших, какой-то гаишник, сосед по подъезду, доцент института и приятели по студенческой группе, Сережа-любимый, вышедший за

пачкой сигарет и сгинувший навсегда, остальные же — без имен, без лиц, без занятий. И хотя это была только одна, пусть и важная, часть ее жизни, но и она, и все прочие несли разочарование. Она ничего иного не ждала и от Кочешкова, однако в понедельник Кочешков ее вызвал.

— Возьми с собой! — бросила ей на стол упаковку презервативов подруга, завистливая дрянь.

Она — даже не изменилась в лице, только повела плечиком, повела так, что подруга подумала: «Я потом пожалею!».

Кочешков стоял у окна, смотрел на бульвар. Там гуляли с собаками. Бомж замерзал на скамейке. Бонна вела детей на занятия по истории изящных искусств в музей за углом.

— Да! — разрешил войти Кочешков, продолжая смотреть на бульвар: бомж сполз в сугроб, задралась штанина, чай-то ротвейлер надкусил его сизую ногу, но бомж не проснулся.

— Вызывали? — спросила она.

— Ты замужем? — Кочешков коснулся бронзовой ручки окна.

— Нет!

— Завтра выйдешь за меня? — вопрос Кочешкова прозвучал как приказ.

— Во сколько? — она взяла блокнот на изготовку.

Кочешков — туманная тень на фоне серого московского неба, гений покупок-продаж, финансовый туз, пожинатель плодов и организатор побед — обернулся.

— Швейцарцы уедут в двенадцать. После трех!

— Да! — сказала она.

Кынтиков вот ревновал: он давно с кочешковской референтко спал и кормил ее сладко, как, впрочем, и многих других референток из фирм Тебеньковских. Это была его, кынтиковская часть дани из той, что снимал Тебеньков. Кынтиков так показывал всем, что если босс уйдет на покой или ухреначат его, только он сможет прийти на замену. Ибо не сила кулака, не мощь ребят-молотильщиков, не завязки на самом верху, не тугой кошелек в конечном счете всё решают на свете. Если всерьез разобраться, главный, самый главный вопрос: стоит — не стоит. Всё остальное — вторично. Так Кынтиков думал, но его стремление всем и каждому если не показать, то рассказать как у него, вонючего козла, стоит, в конце концов раздражало. На курорте, пока Кочешков с Тебеньковым обсуждали ночами дела, Кынтиков в номер к референтке заходил, показывал ей, и она его не гнала, потому, что, несмотря на ночь со своим боссом, боялась и понимала: что захочет Кынтиков, то ему лучше отдать, что он показывает, на это лучше смотреть и не дай бог ухмыльнуться:

референтка видела многое, а Кынтиков слишком уверовал в свою силу, мощь, красоту.

Но — свадьбу сыграли. Референтка сменила фамилию Утешева на фамилию мужа. Тебеньков подарил джип. Подруга уволялась. Настала весна.

Сурмак появился на вилле в Напуле. Вид с балкона был чудесный — скалы и море, закругленье залива, — на балконе стоял телескоп и в него было видно, как по каннскому променаду проползают козячки: каждая четвертая — миллионер, каждая седьмая — знаменитость, каждая двенадцатая — что-то навроде Тебенькова. Сурмак просил работы — до конца сентября, ему были нужны деньги на обратный билет, — но Кочешкова сразу и не поняла, что Сурмак — соотечественник! Это ей объяснила служанка-алжирка, ведшая переговоры с Сурмаком через решетку калитки.

Кочешкова рванула за Сурмаком. И — догнала:

— Эй-эй, подожди! — Кочешкова схватила Сурмака за рукав. — Что ж ты сразу не сказал?! Что умеешь делать? Ничего? Наплевать! Поживи, там что-нибудь придумаем! — она запыхалась, возвращаться надо было в гору. — Муж у меня бизнесмен...

Сурмак внимательно смотрел на нее. Его несколько раз проверяли ажаны — земляки служанки-алжирки не ко времени начали бомбы взрывать, а Сурмак был темен лицом и в движениях походил на магрибца. Однажды и его арестовывали, якобы — за попытку изнасилования уборщицы в отеле, не в отеле даже, скорее — в доме свиданий. Он всего лишь, проходя по коридору мимо, чуть задел уборщицу плечом. Перезрелую сукуну раздражал его акцент, то, что Сурмак был единственным постоянным жильцом, то, что не давал и пяти франков за смену белья и не водил к себе женщин. Тогда Сурмака, после долгих разборок, отпустили, один полицейский, карикатурно усатый, проводил до вокзала, посоветовал, пока не кончилась виза, податься на юг: может, повезет устроиться на сбор винограда, даже дал адрес, но юг был достигнут до сбора, денег не осталось ни гроша.

От взгляда Сурмака дыхание у Кочешковой перехватило еще сильнее. «Что-то будет!» — подумал Сурмак, приготовившись к худшему, но очень хотелось есть, алжирка, как оказалось, любила организовывать интрижки, Кочешков и не подумал спросить — кто этот новый садовник и нужен ли действительно он: для Кочешкова лето на Лазурном берегу и не было летом — на вилле, часто вместе с Тебеньковым, он появлялся наскоками, очень уставал, и все ему было не в жилу.

Ну, а жена его с Сурмаком много болтала: о современных средствах связи, булочках с корицей, шампунях, способах подачи угловых, переименовании московских улиц, компьютерных играх, удовольствии от катания на водном мотоцикле и от того, что тебя понимают, о красоте невозможного, книгах, цветах, запахах и вкусе поцелуя. Кроме того — о музыке, конечно, о ней! Сурмак был осторожен, даже слишком сначала, но потом осторожность оставил. Их любовь расцвела, если только есть в безумии страсти любовь. Правда, Кочешковой хотелось скандала, к Сурмаку она любила приходить незадолго до возвращения мужа и его покидала, когда муж уже шел от машины к дверям. И выходила к Кочешкову вся горя, вся в истоме, обнимала, к мужу прижималась и целовала. Взасос. Ей хотелось сожрать Кочешкова. Поглотить, переварить, выплюнув, вернее — при дефекации исторгнуть из себя только маленький ключик от женевского сейфа: номер она знала давно. Ключик, очертаниями напоминавший анк, Кочешков носил на шее. О ключике Кочешкова пару раз порывалась сказать Сурмаку, но запиналась на полуслове. Ее обладание ключиком предполагало кончину прежнего обладателя: Кочешков никогда ничего своего, кроме семени, отстега Тебенькову и денег гаишникам, не отдавал. Не потому запиналась, что боялась впутать Сурмака в смертоубийство, не потому, что Кочешкова почитала и была благодарна тому за заботу. Просто она сама еще не созрела. В то лето Кочешкова цвела.

В Москву Сурмак вернулся лишь поздней осенью, позвонил Кочешковой, они встретились, погуляли, выпили кофе. Сурмак был напряжен, неловок, грыз ногти, порывался что-то сказать, но в последний момент умолкал, додумывал какую-то очень важную мысль и смотрел на Кочешкову с усмешкой. Словно упрекал. Ей — наскучило, на своем «сеате-толедо» Кочешкова довезла Сурмака до метро: что было — то было, грусти и так здесь хватало, а от упреков она еще с детства бесилась.

Тебеньков знал об этой встрече. Он вообще знал всё, всё умел и всё крепко держал. Врачи предлагали ему операцию, но Тебеньков гордился своим перебитым носом, тем, что он не говорил, а гундосил. Он любил сморкаться, зажимая крылья носа пальцами с перстнями, любил стряхивать сопли и счищать их с перстней. Он хотел всего лишь одного — чтобы его бизнесмены уважали! — но кто уважать его будет, если какой-то вечный студент, катавшийся по Европе автостопом, жену бизнесмена беззастенчиво драл? Тебенькову казалось — дерут его самого.

И на этом фоне тебеньковский талант педагога стал скучоживаться, меркнуть под тяжелым прессом обиды. И оказалось — не

талант это вовсе, а выросшая из обид и унижений, которыми его пичкали еще тогда, когда был он не тузом — шестеркой, злость на весь мир.

Тебеньков поднялся. В камине трещали дрова. Тебеньков потянулся и громко выпустил газы. Он был готов разорвать Сурмака, сам, вот этими руками! Как разорвал многих и на свободе, и в зоне. Был готов сделать это за Кочешкова, которого простатит, а более простатита — стремление показать, что доверие будет оправдано, сделали почти равнодушным к прелестям молодой жены.

А не надо было вслед за Тебеньковым выбегать из бани и бухаться в холодный ручей! А не надо было в мокрых плавках кататься с Тебеньковым на яхте! Не надо было! Многочего! Да!

Тебеньков вдруг поймал себя на мысли, что не обида за своего бизнесмена ведет его, а обыкновенное желание ввести в свой гарем еще одну бабу. От этой мысли ему стало как-то неловко. Он даже поежился. У него были все-таки представления о различиях. Он взглянул на огонек лампадки: тот дрожал, бросая неверные отблески на икону.

Сурмаку лучше было навсегда оставаться в Напуле, однако кончилась виза и замучила эта, как ее, ностальгия. Он знал, кто такой Кочешков, знал, кто стоит над Кочешковым, знал, до чего его доведут свидания с женой тебеньковского бизнесмена, и к встрече с Кынтиковым был готов: тот лишь наводил на Сурмака свой ТТ в подъезде дома сурмаковской матери, а уже получил заряд фосгена.

Кынтиков слишком давно не встречался с готовым к нападению клиентом, готовым каждой клеточкой тела. Ожидание закаляет. В особенности, если ожидает бывший старший сержант морской пехоты, имеющий наготове спецсредство бывших органов госбезопасности, но неплохо закаленный и так.

Никто кроме Кынтикова подобного воздействия на кожу лица, глаза и слизистые оболочки выдержать не мог. Собственно за не имевшую себе равных выдержку Тебеньков Кынтикова и ценил. Кынтиковым можно было гасить взорванный и полыхающий «мерседес», останавливать, подложив на рельсы, тяжелогруженные товарные составы. Когда Кынтиков расправлял плечи, его мышечные ткани, суставы, хрящи издавали повергавший в уныние, лишавший воли к сопротивлению хруст. С виду Сурмак был невзрачен и слаб. Что, что в нем нашла Кочешкова? — этот вопрос мучил, кстати, не одного Кынтикова, но именно Кынтиков опрометчиво решил, что для такого говна, каким был, по его мнению, Сурмак, расправлять плечи слишком жирно.

С другой стороны, Кынтиков не умер возле лифта в подъезде, а, окутанный запахом прелого сена, впервые в жизни промахнулся: пуля из ТГ, оторвав погончик на сурмаковской куртке, пробила дверь квартиры номер тридцать четыре, полетела дальше по коридору, разбила выключатель между сортиром и ванной, вызвала короткое замыкание. В подъезде погас свет. На ощупь, исходя слюной и слезами, Кынтиков выбрался на свежий воздух. Ждавшие его в машине повинились, что убегавшего зигзагами Сурмака не догнали. Кынтиков их простил, дал усадить себя на заднее сиденье, приказал отъезжать.

— Интересный человек! — выдавил из себя Кынтиков. Кынтиковские поежились: даже им было просто страшно представить, какая мучительная смерть ожидала теперь Сурмака!

Сурмак же двигался по темному переулку — вниз и налево, дальше — по выметенному асфальту, под яркими фонарями, мимо витрин: квазипариж, псевдокёльн, абсолютная пустота неточной цитаты. Только одно его волновало: проболталась обманутому мужу Кочешкова или сказала специально, чтобы мужа позлить? Сурмак думал, что Кынтикова послал Кочешков. Конечно, пристатит может до всего довести, вплоть до желания всех осчастливить, но подсыпать убийц! Так думал Сурмак, но сам бы не раздумывая убил посягнувшего на святость семейного очага. Осознав, что в нем живут двойные стандарты, Сурмак, всю жизнь стремившийся к стандарту одному, шаг ускорил.

Он заплатил за вход в казино, в баре выпил немного водки. Здесь его французский вполне годился, когда он переходил на родной язык, помогал акцент. Сурмак поставил на двадцать три, на номер комнаты, из которой его забрали по подозрению в изнасиловании, выиграл, обменяв фишки, поймал на себе чей-то изучающий взгляд: длинноногая жадная рвань.

— Не желает ли месье...

Надо было где-то переночевать.

— Се бъен!

Урвани была вполне приличная квартира с огромным стаком на отделанном красным велюром помосте. Эшафот. Он долбил ее так, словно убивал Кынтикова, рвань вполне натурально стонала, металась по станку. Пытаясь от него ускользнуть. Сурмаку приходилось ее ловить, на станке фиксировать и додалбливать. Она освобождалась, и все повторялось вновь.

А утром Сурмак, сняв тачку, поехал к Кочешковой. Пора было вносить ясность. Пора было завязывать с двойными стандартами.

Один из кынтиковских дежурил возле шикарного кочешковского дома постоянно. Он сидел в видавшей виды «шестерке»,

под сурдинку слушал музычку, грыз орешки. Увидев Сурмака, Кынтиковский нажал кнопочку на сотовом телефоне.

— Да! — еще фосгенно-хрипло ответил Кынтиков, выслушав доклад, скомандовал: — Ждать меня!

Тебеньков вопросительно поднял бровь.

— Садовник, — ответил Кынтиков.

Тебеньков покачал головой.

Кынтиков поднялся.

— Скоро буду, — сказал он.

Тебеньков вновь покачал головой.

Кынтиков вышел.

Сурмак любил Кочешкову. Для него не было ночи с длинноногой жадной рванью. Не было объятий в Напуле. Любил словно в первый раз. Был очень нежен. Наверное, потому, что пришел не за этим, а пришел сказать, что на нее и ее мужа ему наплевать, что он сам по себе, что он свободен. Но Кочешкова взяла его руку, положила себе на грудь. Под ладонью Сурмака билось маленькое сердце. Ее кожа была горячая, взгляд — влажен. Сурмак подумал, что ему вовсе не плевать, что он отнюдь не свободен, что не надо было оставаться в Напуле, а стоило, захватив Кочешкову с собой, из Напуля продолжить дорогу на юг. Скажем — до Танжера. Он подумал еще, что продолжить дорогу на юг не поздно и сейчас. Скажем — до Ялты, где вроде проживала сестра.

В глубине квартиры, где-то, далеко-далеко, мелодично пропренькал звонок в дверь, очень странный звонок, без предварительного звонка по домофону. Сурмак приподнялся на локте: в процеженном шторами свете из окна загорелое тело Кочешковой почти сливалось с темно-сиреневыми простынями.

— Муж? — спросил Сурмак, ощущая отнюдь не страх, а прилив сил, энергии, крови.

— У него свой ключ! — Кочешкова выпорхнула из постели, накинула халат. — И потом — ему еще рано!..

— Не открывай! — попросил Сурмак, неожиданно смущаясь, накрываясь простыней.

— Это привезли платье. Мы сегодня должны быть на приеме.

Сурмак хотел поймать ее за полу халата, но Кочешкова уже вышла из спальни. И тут же вернулась:

— На всякий случай — спрячься! — она провела Сурмака в туалетную комнату сразу за спальней, сама, на ходу завязывая поясок, попыла открывать.

Посмотрев в глазок, она узнала Кынтикова. После замужества она уже Кынтикова не боялась, теперь он даже был ей симпати-

чен, казался забавным, похожим на вставшего на задние ноги плюшевого большеглазого пса. Она подумала, что это Кынтиков привез платье. А почему бы и нет? Он же всё время выполнял мелкие поручения!

Кынтиков вошел в квартиру. Если бы его слизистая не была сожжена, он мог бы ощутить неповторимый аромат, исходивший от Кочешковой, но и без обоняния всё было понятно: запах зrimо сочился, исходил от нее, окутывал, поглощал. Видеть запах любви, чувствовать, что только что эта дешевка любила и была любима, Кынтикову было совсем не приятно. Левой рукой он прижал Кочешкову к себе, плотно зажал ей рот, правой достал свой ТТ.

— Где? — давая Кочешковой нюхнуть запах металла и масла, ввинчивая дуло в кочешковскую тонкую ноздрю, хриплым шепотом спросил Кынтиков. — В спальне? Нет? Где? В шкафу? В каком? Всё равно найду! Говори! Если скажешь — не убью! Сам найду — отстрелю ему яйца!

Она поняла — Кынтиков всё равно найдет Сурмака. Оставалось только Кынтикову поверить: ведь если не верить вставшим на задние большеглазым плюшевым псам, то больше верить просто некому.

Чтобы за Кынтиковым успеть, Кочешковой пришлось мелко-мелко перебирать ногами, подпрыгивать. Она потеряла тапочки, ей не хватало воздуха, обессиленная, в спальне она указала глазами на дверь туалетной комнаты, Кынтиков повернул торчавший в замочной скважине ключ, дверь комнаты заперев, ключ в карман положил, а Кочешкову толкнул на постель. Она упала навзничь, поясок развязался, и халат распахнулся. Кынтиков спрятал ТТ и расправил плечи. Вся спальня наполнилась хрустом. Кочешкова смотрела на него снизу вверх как зачарованная.

— Ты — сука, бля! — сказал умевший как следует высказаться Кынтиков.

Он подошел к двери в туалетную комнату:

— Эй! Боец! Ты всё услышишь! — и начал расстегивать брючный ремень.

— Не надо! — слабым голосом попросила Кочешкова.

— Надо! — высвобождаясь, Кынтиков шагнул к постели, опустился, вошел в Кочешкову, замурлыкал, заныл.

Полные слез глаза Кочешковой были последним из увиденного Кынтиковым в жизни: сзади к постели подошел успевший одеться Сурмак, который и не думал отсиживаться в туалетной комнате, а насилие над Кочешковой наблюдал из-за оконной портьеры, и под основание кынтиковского черепа, глубоко, через

ромбовидную ямку — в продолговатый мозг, глубоко-глубоко проникло жало отвертки.

Чужие кровь и пенящаяся слюна залили ее высокую шею. Остекляневые глаза закатились под тяжелые надбровные дуги. Белый взгляд смерти. Лопающиеся кровяные пузырьки на кончике носа картошкой.

С отвращением пытались Кочешкова сбросить на пол забившегося в агонии Кынтикова, но не смогла. Сурмак ей помог. Кынтиков гулко упал на ворсистый ковер. Сурмак наклонился, вытащил отвертку из кынтиковской шеи, обтер вспыхах ненадетым носком. Кочешкова села на постели, глубоко вздохнула, и ее стошило. Когда она, утерев рот тыльной стороной руки, на Сурмака посмотрела, ей показалось, что Сурмака стало двое. Она смахнула слезы, но двоене осталось: ее муж, Кочешков, вернувшись домой, стоя в дверях спальни, с всё возрастающим удивлением переводил взгляд с тела Кынтикова на Сурмака, с Сурмака на свою жену.

— Он хотел меня изнасиловать, — указав на Кынтикова выговорила Кочешкова.

Что было совершеннейшей правдой.

— А он меня спас, — кивнула она на Сурмака, наконец-то решившего расстаться с отверткой и положившего ее на низкое плошевое кресло.

И это было правдой.

Кочешков, под грузом правды ощущивший слабость в коленях, сел в кресло.

— Швейцарцы приехали! — вынимая из-под себя отвертку, отшвыривая ее в угол и устраиваясь поудобнее, сказал Кочешков. — Я так с ними устал!

Что было правдой тоже.

Темный вечер, косой дождь со снегом стали их сообщниками. Кочешкова, запахивая легкую шубку, притолпывая сапожками, стояла возле, когда муж ее с Сурмаком грузили кынтиковский труп. Джип даже качнулся и немного просел. Тяжеленек был Кынтиков при жизни, смерть же, как известно, непостижимым образом увеличивает вес, хотя и должно быть иначе, мертвые должны быть легче живых, ибо в момент смерти живых покидает душа.

С немым вопросом Кочешкова посматривала на Сурмака и Кочешкова: кто из них вернется? кто? муж или любовник? не ужто — оба?

Темнота, пустота, плохая погода. Где-то пробили часы, трагическая, не чаровница, луна выскоцила из-за туч. Кочешкова вставила

в угол рта тонкую сигарету, щелкнула зажигалкой. На мгновение ее зрачки вспыхнули красным. Она глубоко затянулась. Вкус табака напомнил о том, что с утра она выпила только чашечку кофе. Сурмак и муж теперь стояли возле джипа в скорбном молчании: собирались с духом. Кочешкова выпустила дым и заметила на противоположной стороне улицы маленький автомобиль, в нем двух человек, чьи лица, бледные в лунном свете, словно — неживые, напоминали о смерти вернее, чем само ее соседство, чем присутствие ее рядом, чем недавнее прикосновение к ней. Двое из маленького автомобиля наблюдали за ней, за Кочешковой. Их глаза, черные и большие, смотрели на нее не мигая. Ей стало не по себе, она быстро взглянула на мужа и Сурмака, вполголоса обсуждавших — стоит ли копать могилу или лучше просто бросить Кынтикова в какой-нибудь овраг, где его тело засыпет вскорости снег, а найдут то, что от него останется, лишь весной. Сидевшие в маленькой машине заметили ее взгляд, и один из них поднес палец к губам. Кочешкова послушалась, растоптала сигарету каблуком, шикнула на мужчин: скоро вы там? долго еще будете резину тянуть? клопа ячить? Те встрепенулись, полезли в джип. Кочешкова подошла к машине, поцеловала мужа, потом, обойдя джип, поцеловала Сурмака. Ей нечего было бояться, она была связана с ними кровью. Кочешков тронул джип с места медленно, как катафалк.

Стоило джипу скрыться за поворотом, как маленькая машина развернулась, остановилась возле Кочешковой, один человек вышел из нее на тротуар и открыл для Кочешковой дверцу.

— Садитесь, пожалуйста! — сказал кынтиковский, сам оставаясь под снегом с дождем.

Сев в машину, Кочешкова попала в объятия густого, тягучего, мужского аромата. Там, за рулем, сидел Тебеньков. Его перебитый нос со свистом втягивал и выпускал воздух.

— Убили, значит, Санька? — спросил Тебеньков.

Кочешкова промолчала.

— Кто? — спросил Тебеньков.

Кочешкова промолчала вновь.

— Ладно! — Тебеньков воткнул скорость, и машина юзом пошла по дороге. — На вот, держи!

На ладонь Кочешковой легла продолговатая черная коробочка.

В коробочке шла серьезная, коробочкина жизнь. В ней что-то потрескивало, гудело, коробочка вибрировала, на ней попеременно вспыхивали две лампочки-кнопочки, красная и зеленая.

— Что это? — спросила Кочешкова.

— Когда скажу «Давай!» — нажмешь вот на зеленую, — не отвечая, по примеру Кочешковой, проинструктировал Тебеньков, — а потом, сразу — вот на красную. Понятно?

— Да...

Они догнали джип. Тебеньков сначала просто сел на огни, потом чуть отстал, потом приблизился вновь, потом отстал метров на пятьдесят и отставание свое увеличил. Улица шла через парк, было пустынно, тоскливо.

— Нажимай! — сказал Тебеньков.

— Нажала! — выполнив его приказ, сообщила Кочешкова.

— Теперь вторую!

— Нажала!

И трое ее мужчин, двое живых и один труп, сокрылись в огромной огненной вспышке: в джипе удачливого бизнесмена сработала бомба. Тебеньков всегда делал подарки с дальним прицелом и даже свадебный Кочешкову уже содержал в себе нечто, дремлющее до поры, но всенепременно ведущее к могиле.

— Ключ! — завопила ставшая вдовой Кочешкова. — Ключ от сейфа! Ключ!

— Дура! Что же ты не сказала! — Тебеньков, уже собравшийся уйти на боковую аллею, помчал навстречу огню. — Где?

— На шее!

Тебеньков выскочил, Кочешкова — за ним. Раскуроченный взрывом джип полыхал. Тебеньков стащил с полных плеч свой любимый куртейц, орудуя им как кошмой, смог открыть дверцу. Кочешков выпал на грязный асфальт словно куль, с влажным чмоканием. Тебеньков с Кочешковой склонились над ним: половины головы как не бывало, весь закрученный, грязный, весь обугленный. Мертвый. Кочешкова развязала узел галстука, Тебеньков разодрал ворот рубашки. Его скользкие руки никак не могли захватить тонкое золото ажурной цепочки. Наконец он смог цепочку рвануть, и тут же подъехали на трех машинах менты.

— Тю! — сказал один из них, освещая лицо Тебенькова светом большого фонаря. — Сам вышел на дело!

— Искусственное дыхание! Помощь пострадавшим! Проезжал мимо с подругой, увидел, решил... — заговорил-запричитал Тебеньков, но знавший его мент был далеко не промах: Тебенькову заломили руки, надели наручники, для проформы наподдали коленом, Тебеньков возмутился, и тогда его отмолтузили всласть.

Кочешкова, пока шло разбирательство по первым следам, под присмотром сурового сержанта сидела в маленькой машине и пила из термоса кофе. Ключ от сейфа был у нее. Сержант смотрел на Кочешкову так, словно в ней одной было сконцентрировано

всё то недобroе, что погубило Великую страну. Кочешкова, чувствуя сержантское настроение, поглядывала на него с выражением осознания вины, во взгляде ее была уверенность, что в дальнейшем всё исправится, всё забытое вернется, всё испорченное восстановится. Сержант постепенномягчал и начинал смущаться.

Где-то через полгода — Кочешковой можно было уже не спешить — она прилетела в Женеву. Такси из аэропорта привезло ее прямо в банк. Лайка перчаток была безупречна, поля шляпки отбрасывали нужную тень. На формальности ушло не более получаса. Сотрудники банка поили Кочешкову горьковатым кофе, куда-то звонили и быстро-быстро говорили по-французски. Наконец всё утряслось. Кочешкова спустилась в помещение индивидуальных сейфов. Сотрудники стыдливо потупились, когда она растегнула верхние пуговицы жакета и достала похожий на анк ключ.

Сейф покойного мужа был маленький. В сейфе лежал самый обыкновенный чемоданчик, портфель-«дипломат», советский, такой, с которым когда-то на работу от звонка до звонка в отраслевой, Оргтехпромпроект, институт ходили молодые специалисты. Щелкнули замки.

— Господи! — почти выкрикнула Кочешкова, чем заставила встрепенуться начавших было скучать сотрудников банка. Сотрудники направились к ней, но Кочешкова остановила их властным движением руки и закрыла чемоданчик. Замки щелкнули вновь.

Из банка Кочешкова распорядилась отвезти себя в отель. Портье поинтересовался — заказан ли номер, узнав, что нет, вежливо улыбнулся и развел руки в стороны — мол, на нет и суда нет. Кочешкова, глядя портье точно в середину лба, спросила, сколько стоит самый дорогой. Улыбка портье стала подобострастной, а разведенные в стороны руки так и остались разведенными до тех пор, пока Кочешкова не расплатилась по золотой кредитной карте за неделю вперед и не сунула сотню на чай.

В номере она раскидала как попало вещи, приняла душ. Краны были откручены до предела, вода, лупившая в упругое кочешковское тело, была совсем другой, чем та, что лупила всего лишь несколько часов назад, в Москве. Даже вода была женевской, с неповторимым, женевским вкусом и запахом. Кочешковой доставляло удовольствие заляпывать всё вокруг мыльной пеной, давить легкой туфлей колпачки шампуней, небрежно бросать на пол упаковки от крема, от свежих трусиков, вышедшие из упот-

ребления вешать на светильник. Ее распирала энергия, она была настолько переполнена всевозможными планами, вплоть до совершенно сумасбродных, вроде — купить остров, что на коже выступала мелкая, красноватая сыпь.

Она заказала ужин, подошла к зеркалу. Тело было стройным, в меру загорелым, пропорциональным. Ей нравилось ее собственное тело. Ей нравилось и выражение лица, вот только — глаза. В них играла, переливалась, блестела печаль.

Тренькнул телефон. Кочешкова скосила взгляд и подумала, что все-таки в такие хоромы аппарат могли бы поставить и подороже. Телефон тренькнул вновь. Кочешкова взяла трубку, прошла в спальню, легла на постель.

— Да, — произнесла она, пытаясь единым взором охватить потолочную лепнину: битва титанов с богами-олимпийцами, груди богинь, маленькие, торчливые пигги титанов. — Да...

Звонил портье. Он, заискивая, спрашивал — не ждет ли леди звонка? Кочешкова провела трубкой по ровному ворсу волос на лобке. Звонка? Ждет ли она? И да, и нет. Нет — потому, что ей никто звонить не должен, да — потому что она бы очень хотела, чтобы кто-то ей позвонил.

— Да, — ответила Кочешкова. — Yes, я жду звонка. I'm waiting for...

— Соединяю! — мурлыкнул портье.

В трубке что-то журчало, далекий сигнал прерывисто гукал. Кочешкова смотрела на пилку парящего над огромной кроватью титана, на дутые мускулы его длинноющих ног, на его безволосую грудь и думала — кто ей звонит, кто знает, что она здесь, в этом отеле?

— Алло! — нетерпеливо произнесла Кочешкова. — Кто это? Who is this?

— Здравствуй, радость моя! — услышала она в ответ. — С трудом тебя нашел!

— Радость? — как эхо повторила Кочешкова. — Что значит «нашел»?

— А то и значит! — сказали в трубке, и в ее номер, в самый дорогой номер одного из самых дорогих отелей прекрасной Женевы, вошел здоровенный мужик в мятых штанах и видавшем виды пиджаке, с вылезавшей из-под расстегнутой на верхние пуговицы рубашки цепью желтого металла. Тебеньков! Сам! С трубкой мобильного телефона.

— Ну, здравствуй! — тихо закрывая за собой дверь, сказал Тебеньков еще в трубку. — Где ты, моя киса? Плещешься в ванной?

— Нет, я в спальне, — сказала наивная Кочешкова. — Кто это, ... вашу мать!?

— Привет! — Тебеньков воздвигся в дверях спальни. — Не ждала, дочка? Не ждала!

Он, мягко ступая плоскостопными ногами по высокому ворсусу ковра, прошел от дверей к кровати, сложил мобильный телефон, сунул его в задний карман штанов. Кочешкова запахнула халат, слотнула ком в горле, поползла по кровати, уперлась головой в высокую, оббитую щелком спинку. Тебеньков бочком присел на краешек кровати и улыбнулся. Его улыбка была не менее страшна, чем звук напрягшейся мускулатуры покойного Кынтикова.

— Меня, милая, в детстве учили делиться, — сказал Тебеньков. — То, что я в детстве узнал, то для меня самое ценное. Всё остальное — говно! Правильно?

— Правильно, — кивнула Кочешкова.

— Вот, — Тебеньков взял Кочешкову за щиколотку и легонько сдавил. — Вот я и говорю! А ты, лапка, свалила и решила всё взять себе. Так, кроха, не ходят. За такие дела можно получить девять грамм. Или — восемнадцать! Ха-ха...

Говоря это, Тебеньков медленно поднимал ногу Кочешковой выше и выше. Когда ему стало неловко держать свою руку поднятой вверх, он чуть приподнялся и почти оторвал тело Кочешковой от кровати. Ее голова запрокинулась, руками она судорожно ловила опору, ее свободная нога выписывала немыслимые движения, словно живя от Кочешковой отдельно, лоно ее, увлажненное страхом, разъялось.

— Ты, цветик мой, взяла из банка деньги покойника. Понимаю! Но они принадлежат не тебе, а мне. Я ему позволил их заработать, я ему создал для этого условия, — Тебеньков еще чуть-чуть поднял Кочешкову, высунул длинный, пупырчатый, подвижный язык и пару раз прошелся им по заалевшему кочешковскому нутру.

— Так что, овечка, говори — где? — и тебе ничего не будет, а не скажешь — я тебя сожру, разорву, высосу! Поняла? — он еще раз прошелся языком по Кочешковой и отшвырнул ее от себя.

Судорожно двигая конечностями, Кочешкова упала на кровать, пружины подбросили ее кверху, она попыталась встать на ноги, но коварные пружины вновь толкнули ее и она упала с кровати на пол, по другую сторону от Тебенькова. Чемоданчик стоял под кроватью. Его замки тускло поблескивали. Далее, за чемоданчиком, уже на полоске света, располагались туфли Тебенькова. Голос его, ненавистная гнусатина вонючего пахана шла сверху, придавливалась, распластавалась, уничтожала.

— Ты себе и представить не можешь, цыпочка моя, что мне пришлось пережить, — говорил Тебеньков. — Какие унижения! Я им платил, я их кормил и поил, а они, стоило мне чуть сдаться назад, вдули мне по самое некуда, да еще провернули! Тут еще ты, трясогузочка, с твоими корольками! Мамой клянусь — то, что вынес я, не вынесет никто другой!

Кочешкова поднялась на ноги и посмотрела на Тебенькова как можно тверже.

— Я позову полицию! — сказала она.

— О! Не смеши, стрекоза! Какая полиция? Тебя вышлют, всё конфискуют, а дома тебя порежут на кусочки, как стерлядочку. Что ты! Полиция! Ну, где?

Тебеньков подошел к ней и взял ее за подбородок. Ему было стыдно: хотелось перепихнуться с этой прошмандовкой, хотелось до зубовного скрежета, в мятых штанах шевелился тот, кто последнее время всё реже и реже не то что просыпался, а и ворочался во сне.

— Под диваном, — сказала Кочешкова.

— Достань, — сказал Тебеньков.

Кочешкова нагнулась. Тебенькову надо было только это. Ловя момент, одной рукой он расстегнулся, другой — схватил Кочешкову за ягодицы.

— Нет! — сдавленно крикнула Кочешкова.

— Да! — ответил ей гнусаво Тебеньков. — Пополам поделим, дырочка-щелочка, пополам! Открывай!

Кочешкова выдвинула чемоданчик из-под кровати. Щелкнули замки. Чемоданчик раскрылся.

— Господи! — выдохнул заглянувший в чемоданчик Тебеньков. — Господи!

Кочешкова, стукаясь головой о край кровати, боковым зрением заметила за спиной Тебенькова какое-то движение. Там двигалось нечто в белом сюртуке, толкающее перед собой столик на колесиках.

— Ваш ужин, мадам! — сказало нечто.

— Что на ужин? — спросил Тебеньков.

— Форель, салат, фрукты, вино, сыр. И немного сладкого, — ответило нечто.

— Оставь!

Нечто откатило столик в угол.

— Постой! — Тебеньков застыл. — Постой! А ты что, по-русски понимаешь?

— А то! — нечто взяло со столика двузубую длинную вилку для рыбы, подошло к Тебенькову и всадило ему вилку в основание черепа.

Тебеньков умер мгновенно. Кочешкова перепрыгнула через кровать, одернула полы халата, закрыла грудь.

— Здравствуй, это я! — сказал Сурмак.

— Здравствуй... — Кочешкова с опаской подняла взгляд на Сурмака: тот выглядел жутко. — Как тебе удалось выжить? — спросила она.

— Сам не знаю, — Сурмак пожал плечами. — Везенье. Обгорел. Меня выбросило из машины взрывной волной.

— А сюда как попал?

— Я, понимаешь ли, нелегал. У меня французская виза, я через Альпы, там не проверяют, там можно проскочить...

— Я знаю, знаю — подтвердила Кочешкова.

Сурмак нагнулся к чемоданчику.

— Господи... — сдавленно проговорил он из-за края кровати.

Щелкнули замки. Сурмак распрямился. Его черная, в рубцах кleşnя сжимала ручку чемоданчика.

— Я знал, что ты здесь появиласься, — сказал он. — Я бы взял тебя с собой, но там, у тебя в гостиной, — Сурмак кивнул назад, — я уложил официанта. А теперь этот, — он наподдал носком кроссовки по телу Тебенькова. — Вдвоем уходить нам будет очень тяжело. Если можешь, не вызывай полицию хотя бы полчаса. Они тебе ничего не сделают. Вали на него, — Сурмак вновь пнул Тебенькова. — Говори — мафия! Договорились?

Кочешкова пожала плечами.

— Я снял виллу. Там же, в Напуле. До встречи! — Сурмак неловко шагнул в обход кровати, споткнулся, чуть не упал.

— Хотел тебя поцеловать, — сказал он, улыбаясь.

Лучше бы он этого не делал. Жуть что за маска появилась перед Кочешковой. Она даже вскрикнула, но Сурмак уже выбегал из ее номера.

Сурмаку Кочешкова верила. Если говорит — снял виллу, значит — снял. Но зачем он убил официанта? Ах, да, ему нужна была вилка, чтобы воткнуть ее в Тебенькова. А Тебенькова? Ах, да, он же спасал ее, Кочешкову. А зачем он забрал чемоданчик? Ну, конечно, — оставь он его, чемоданчик бы конфисковали: швейцарцы в самом деле не любят русскую мафию, тут же полный мафиозный букет. Как все выстраивалось! Вот только эти полчаса! Легко сказать — «не вызывай полицию!» — а чем потом объяснить такую задержку? Обморок! Она была в обмороке!

Кочешкова села в кресло, прикрыла глаза. У нее никогда не было обмороков. Надо было хоть как-то войти в роль.

Немногие, думанные прежде мысли закружились сами, закружили Кочешкову. Они цеплялись друг за друга и исчезали, словно в сливном отверстии раковины, за черным, разрастающимся пятном. С закрытыми глазами глядя на это пятно, Кочешкова готовилась вот-вот по-настоящему упасть в обморок, но тренькнула телефон.

Кочешкова открыла глаза, поискала трубку. Трубка валялась на полу, рядом с бездыханным Тебеньковым.

Кочешкова опасливо наклонилась, взяла трубку.

— Алло...

Шеф-повар заискивающе интересовался — довольна ли мадам ужином?

— Довольна, — рассеяно ответила Кочешкова. — Алло! Алло! Попросите официанта принести мне вилку для рыбы. Он почему-то забыл ее положить...

Она посмотрела на свои Chorard с бриллиантами и вдруг поняла: Сурмак ушел три минуты назад...

ОТ КАКОГО НАСЛЕДСТВА МЫ ОТКАЗЫВАЕМСЯ

Прошлое переносимо, только если ты
над ним возвышаешься, а не тупо ему ди-
вишься, сознавая свою беспомощность.

Томас Манн

Вопрос советского наследства, в самом широком смысле этого понятия, остается, к сожалению, вполне практическим вопросом: до такой степени недавнее прошлое держит настоящее. Перемены начала 90-х — в чем-то безусловно, революционные — создали иллюзию близкого прорыва, качественного скачка в совершенно иную эпоху. Сейчас, увы, ясно, что прорыва еще придется подождать. Тем важнее мысленно задержаться на вчерашнем-позавчераши, пристальнее взглядеться в те слои «реки истории», которые французские «новые историки» называют медленно-текущими (*histoire de longue durée*). Эти глубинные слои образует психология народа, точнее, ее подвижная часть — верования, обычаи, нравы. Отсюда исходит могучая «логика замедления» исторического процесса (в зависимости от обстоятельств способная дать негативный или позитивный эффект), вступающая в противоречие со «свободой ускорения» верхнего слоя.

На глубинном уровне советское прошлое до сих пор остается почти не изученным. Прояснить его — дело будущего. Наверное, редкий человек в XXI веке затоскует о том, что ему не привелось жить в советское время, трагическое и страшное с одной стороны, смешное и жалкое с другой; но для профессионального историка это будет интереснейший «материал» — по той причине, что это трудный, головоломный «материал». Путаница такая, что некоторым поколениям придется с нею разбираться и еще

Юрий КАГРАМАНОВ — родился в 1934 году в г. Баку. Окончил исторический факультет МГУ. Автор книг и статей по западной и русской культуре и философии, публиковавшихся в журналах «Вопросы философии», «Иностранная литература», «Новый мир» и др. Постоянный автор «Континента». Живет в Москве.

кое-что останется. Лжи непочатый край, но еще больше, значительно больше — самообмана.

Фундаментальные исследования, опирающиеся на массу обработанного материала, какие-то новые методики и т.д. многое перевернут в нынешних наших представлениях о советском прошлом. Вместе с тем будущие историки столкнутся с трудностью, нам (старшим поколениям, во всяком случае) неведомой: от них потребуется «вчувствование» в эпоху, уже более или менее удаленную во времени. История — это всегда знание о людях. Следовательно — экзистенциальное знание. Чтобы понять людей, которыми он «занимается», историк обязан поставить себя на их место, как бы ни были чужды для него обстоятельства их существования. В этом отношении поколения людей, переживших советскую эпоху, имеют естественное преимущество: мы «знаем» ее кожей, ею, так сказать, ободранной, хотя она уже отошла от нас в обоих смыслах этого слова. Уже «растворилась в воздухе». Вчерашние

Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...

И уже образовалась некоторая дистанция между ею и нами, позволяющая судить о ней со стороны. Недостаток же объективного знания отчасти восполняется интуицией. Историк обязан быть интуитивистом, то есть немножко художником, даже в том случае, когда исследуемое им время хорошо ему известно в частностях: интуиция позволяет представить общую картину, всегда зыбкую, текучую, как некое подвижное целое, она позволяет выделить в этой картине основные фигуры и направления движения.

Что подсказывает нам интуиция? Прежде всего то, что минувшая эпоха — многовидна и многолика. Пафос преодоления прошлого — в с е г о советского прошлого, начиная с 1917 года, — нисколько не менее своевременный сейчас, чем десятилетие назад, не должен, однако, мешать лучшему ее пониманию. А значит, р а з л и ч е н и ю действовавших в ней энергий и сил.

1. Как у коммунистов украли имя

Простая пятерица чувств убеждает: советский период истории разделяется на два, достаточно глубоко отличных друг от друга периода. Первый из них, революционный, протянулся до конца 20-х годов. Около 1930 года произошел решительный перелом, завершившийся где-то в 36—38-м. Начался второй период, который, за отсутствием у него собственного имени, я назвал бы постреволюционным. А пожалуй, — и посткоммунистическим.

Всмотримся: габитус, физиognомика в первом и во втором случае совершенно разные.

Начать с того, что «рука миллионопалая», державшая страну в кулаке на протяжении почти трех четвертей столетия, — это не одна и та же рука. К числу величайших недоразумений нашего века следует отнести убеждение, что существовала некая партия Ленина—Сталина, следовавшая изначально предуказанным путем «Побед и Одолений» (как сказал бы Салтыков-Щедрин), нигде не сворачивая в сторону, разве что задерживаясь иногда на привалах ради более точной корректировки курса и для извержения из недр своих всех усомнившихся и лукавствующих. Это убеждение, ставшее частью мифа, сложившегося в 30-х годах, разделили и продолжают разделять коммунисты (то есть именующие себя таковыми) и их противники. Хотя несоответствие фактам здесь совершенно явное. И если уж пользоваться метафорой пути, придется перерезать его каким-то длинным и темным туннелем: однажды войдя в этот туннель, партия вышла из него — под теми же знаменами, с той же песней — и пошла... совсем в другую сторону.

Вряд ли будет таким уж сильным преувеличением сказать, что существовали в в партии, в в советских режимах; как ни значительны моменты преемственности, их связывающие, еще значительнее — моменты разрыва. Некоторые из них видны «невооруженным глазом»: ведь даже «личный состав» партийно-государственного аппарата во втором случае оказался существенно иным. — Люди, занимавшие верхние эшелоны власти, поменялись почти целиком; тем же немногим, которые усидели, пришлось, в меру возможностей, поменять выражения лиц.

Почему медленно рассеивается указанное заблуждение? Наверное потому, что никто не считает себя *заинтересованным* в том, чтобы быстрее с ним покончить, — за исключением разве что троцкистов. Но их жалкая кучка, и их никто не слышит. Нежелание называющих себя коммунистами лишиться привычного родословия вполне понятно. Но и антикоммунисты не видят особого резона в том, чтобы развести тех, кто когда-либо выступал под красным флагом. Хотя резон как раз есть — и не только в плане объективной оценки давних исторических событий, но и в плане практическо-политическом: по сути, сталинцы укради чужое имя и, значит, нынешние их наследники (а КПРФ и почти все прочие компартии — это, конечно, наследники сталинцев) пользуются, как своим, однажды уврованным.

Последними коммунистами без кавычек были, наверное, те троцкисты, числом около тысячи, которых расстреляли в тундре близ Воркуты весной 1938 года (эпизод, описанный в «Архипелаге ГУЛАГ» и других книгах¹). Во всяком случае, это был по следний акт коммунистической революции. Другим последним коммунистам отказали даже в минимальной театрализации, которой так дорожила революционная традиция: их расстреливали поодиночке в подвалах, сведя таким образом

¹ Сами себя они называли обычно ленинцами, а не троцкистами. И сам Троцкий отрицал существование троцкизма, отличного от ленинизма.

истребление политических противников к чисто технической операции. Здесь же черты исторического действия были налицо: залипая солнцем тундра, щедрые пулеметные очереди, люди, падающие в снег с криками «Да здравствует Ленин!» и «Да здравствует Троцкий!» Смерть, как пишет Солженицын, пришла к ним «в солнечно-снежных ризах».

Это отнюдь не была какая-то внутренняя «разборка». Это был конфликт двух, совершенно разных политических линий. А на более глубоком уровне — двух религиозных стихий, друг другу враждебных: на пути коммунистического сектантства (лукавого ответвления от христианского древа) встало державное неоязычество. Кто более «матери-истории» антипатичен? Очень нелегкий вопрос.

Сейчас, когда коммунистическая идея давно мертва, мы можем и должны непредвзято судить о тех, кто «жертвою пали в борьбе роковой». Нельзя многим из них отказать в героизме и своеобразном подвижничестве, что было следствием их религиозной, в широком смысле слова, одержимости. Конечно, я говорю о лучших из них, всегда составлявших меньшинство в большевистских рядах. Основную часть записавшихся в партию, особенно в 17 году и позже, составили, наверное, те «хамунисты», что при первой возможности кинулись «грабить награбленное». Но — «большевиков надо судить по их лучшим образцам, а не по всяким подонкам», как писал Федотов в 1933 году². Ошибка искренних коммунистов была в том, что чистый мираж они приняли за облачный столп. Что ж, за ошибки вообще приходится расплачиваться, а за такую ошибку, да с такими последствиями, можно ли было расплатиться чем-то иным, кроме как своими жизнями?

Что касается «коммунистов» сталинского извода, то единственное, что можно было бы, кажется, поставить им в заслугу, — это разве истребление коммунистов. Но за это их как-то не хочется нахваливать. Читая, например, описания того же эпизода в воркутинской тундре, я испытывал сложные чувства. Расстреливаемые коммунисты были, как-никак, «люди идеи» (я, опять-таки, говорю сейчас о лучших из них), а противостояли им, как правило, тупые орудия власти (хотя и здесь были свои фанатики), притом власти, хотя и хитрой, но одновременно дурной, не умевшей назвать самое себя и проявившей способность лишь к элементарному мимезису (подражанию) в отношении поверженного противника. Если в Гражданку с расстреливаемых снимали сапоги, то теперь «сняли» — имя.

Отсутствие имени — это, конечно, не «мелочь». Не зря в народе говорят: с именем Иван, а без имени болван. «Именем и словами создан и держится мир... Именем и словами живут народы, сдвигаются с места миллионы людей, подвигаются к жертве и победе глухие народные массы» (Лосев. Философия имени)³. «Коммунисты» сталинского извода — я сейчас имею в виду правящую верхушку — обманули народ, взяв себе имя

² Федотов Г.П. Тяжба о России: Париж, 1982. С. 71.

³ Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 139.

тех, кого они зарыли в землю. Более того, в какой-то степени они, вероятно, обманули и самих себя: хитрый разум истории, как называл его Гегель, на сей раз, кажется, перехитрил и тех, кого он избрал на время своими агентами. Я говорю «вероятно» и «кажется» потому, что психология тогдашней правящей верхушки, не умевшей артикулировать главное в себе (как и вокруг себя) теперь уже с большим трудом поддается реконструкции; есть в ней некие темные углы, которые скорее всего так и останутся загадкой за семью печатями.

Чужое имя, взятое в качестве псевдонима, тоже к чему обязывало. Опять же не зря говорят: назвавшись груздем, полезай в кузов. Назвавшие себя «коммунистами» обязаны были если не лезть в соответствующий кузов, то, по крайней мере, делать вид, что они всячески к этому стремятся. Сохранив коммунистическое обличье, сталинский режим не мог быть тем, чем он хотел быть своею «задней мыслью»; обличье «давило» на содержание. В свою очередь обличье, испытывая мощное давление изнутри себя, не могло оставаться тем же, каким оно было в 20-е годы; на протяжении 30-х и первой половины 40-х оно претерпело весьма существенные трансформации. Этот мутуализм, назовем его так, вероятно, станет главной проблемой для будущих историков; им предстоит огромная работа: кропотливо отделять ткани, оставшиеся от революционного периода, от тканей, которые можно посчитать органическими для последующей эпохи.

В наши дни указанный мутуализм сохраняется в сознании, как пережиток, обреченный исчезнуть вместе со старшими поколениями. Примечательно, что нынешние деятели КПРФ уже и сами тяготятся псевдонимом (сужу по книге Г. Зюганова «Верю в Россию»). Не за горами трансформация большинства нынешних «коммунистов» в «чистых» державников или социал-демократов с давным уклоном, которые возьмут себе какое-то другое имя.

2. Гири на семимильных сапогах

Перелом, готовившийся на протяжении 20-х годов и завершившийся в 30-х, в политическом плане — открытый Термидор (и одновременно Восемнадцатое брюмера). Нельзя сказать, чтобы для партийной верхушки он был совершенно неожиданным: образованные большевики всё время «держали в уме» опыт «великой» французской революции и не могли не помнить, чем закончилась якобинская диктатура. Тень Термидора постоянно возникала перед ними, начиная с 21-го года. Но откуда падала тень, с какой стороны? Для большевиков опасность Термидора была равнозначна опасности «буржуазного перерождения» (как во Франции). Мы теперь знаем, что эта опасность ждала своего часа, который должен был наступить, ой, как нескоро. Между тем, у ворот уже стоял совсем другой Ганнибал, всем своим видом нисколько на «буржуя» не похожий.

Ошибка большевиков явилась следствием их экономического догматизма: они были убеждены, что ход истории определяет борьба классов, различаю-

щихся по их отношению к средствам производства, способу получения своей доли общественного богатства и т.д. От этого западного «подарка» — я имею в виду экспономизм» — в свое время явившегося «последним словом» наук об обществе, мы до сих пор еще окончательно не избавились; собственно марксизм мало-помалу изживается, но доклад о примате экономики настолько «втеснился» в головы бывших советских людей, что его, наверное, следовало бы выбивать оттуда каким-то колом. Заметим, что на Западе, при всей нынешней его практической озабоченности экономическими вопросами, науки об обществе давно уже развернулись в сторону культурантропологии, возвращающей в центр внимания живых людей, их душевный строй, обычаи, нравы, — то, что в прежние, «наивные» времена непосредственными наблюдателями «трудов и дней» человеческих расценивалось как самое-самое важное.

В плане культуры становится очевидной нелепость марксистской схемы, отводящей рабочему классу роль революционного авангарда, ведущего за собою крестьянство и интеллигентскую «прослойку» по пути в «светлое будущее». Наверное, потомки будут сильно озадачены, пытаясь уразуметь, как можно было принять этих усталых людей с серыми лицами, покрытыми копотью и маслом, за авангард, способный научить другие общественные слои и группы тому, «как надо жить». На роли спасаемых они безусловно подходили; но на роли спасателей?..

Даже в Европе рабочий класс не конституировался как самостоятельная культурная величина; в этом смысле он не идет ни в какое сравнение с крестьянством. А в России, где рабочий класс был еще относительно малочисленным (а к 21-му году и совсем почти исчез), он скорее оставался в положении «разведотряда», выдвинутого крестьянством на территорию непонятного ему города. Вчерашний крестьянин, обываясь в городских условиях, набирался полезных знаний, но и терял многое из того, что вынес из деревни; и должно быть, больше все-таки терял, чем приобретал. В городе копилась в нем некоторая искушенность, но вместе с нею и порча; современники знали: в рабочих кварталах похабные частушки звучат много чаще, чем революционные песни. Во всяком случае, реальный пролетарий был весьма далек от геометрически «правильного» пролетария, существовавшего в головах марксистских теоретиков, а в 30-е годы мистифицированного массовой культурой — и на много лет вперед (я и сейчас в звуках заводских труб — в каких-нибудь радиопередачах или старых фильмах — слышу что-то, некие мистические звуки; и мне уже трудно представить, что когда-то ими просто созывали людей на работу).

Не рабочий класс, а крестьянство решало судьбу Русской революции. Между тем, крестьяне не только неготовы были строить «новую жизнь» по большевистским рецептам, — они толком и понять-то не могли, что это, собственно, такое. Большевики ощущали их тяжеленными гирями, привязанными к их семимильным сапогам. «Мужицкая основа нашей культуры — вернее бы сказать бескультурности, — с раздражением писал Троцкий (в 1923 году), — обнаруживает всё свое пассивное могущество». И дальше —

о собирательном мужике: «После шатаний в разные стороны Ванька-встанька норовит плотно усесться на свой свинцовый зад»⁴. Но Троцкий, как и другие правоверные большевики, считал, что неповоротливость крестьянства играет в руку буржуазии, то есть откровенно термидорианской, открыто противостоящей большевикам силе; ему не приходило в голову (до поры, до времени), что она может вызвать принципиальные трансформации в и у т р и самого коммунистического движения.

Уже в годы Гражданской войны и еще больше в 20-е годы в партию валом повалили выходцы из крестьянства, в результате чего «старая гвардия» в ее составе превратилась в численно незначительное меньшинство. В культурном отношении это были транзитивы, как их называют социологи, — переходные типы, которые принесли с собою великое смятение умов, овладевшее российским крестьянством на сломе времен. Просто усесться на свой «свинцовый зад», чего так опасался Троцкий, было уже невозможно. Прежняя — сермяжная, овчинная, богомольная — деревня, от века стоявшая, кончалась на глазах: город завертел ее вертуном, заставил вникать в какие-то новые, нерусские по звучанию слова, принаршиваться к «чудным» порядкам.

Заметим, что процесс **транскультурации**, перехода из мира крестьянской культуры, космологически завершенного, чувственно-предметного, ориентированного на устное слово, в мир культуры городской, «закодированной», опосредующей чувственные данные письмом и печатью, повсюду в Европе был достаточно болезненным. Но в России он был слишком резким еще до революции, а после нее резким катастрофически, усугубленным коммунистическим прожектерством, и потому болезненным вдвойне.

Пореволюционный мужик мог смотреть косо на «тетку Коммуну», о большевике говорил, что у него «крапивный лист заместо языка», но жить прежней, «несусловной» жизнью уже не мог. А уж тому, который, с деревней расставшись, ушел в город, приходилось мозгами трясти на каждом шагу. Выброшенный из родной стихии в незнакомую ему среду, утративший свою внутреннюю округлость, неуместную в мире острых углов, он напоминал пьяного на льду, с благодарностью цеплявшегося за первого встретившегося ему поводыря. Примерно таков был культурный тип, которому предстояло сказать решающее слово на следующем этапе российской истории. Большевистская верхушка допустила роковую для себя ошибку, полагая, что этот тип и дальше будет оставаться в роли ведомого и проблема заключается лишь в том, чтобы тащить его за собою, дотягивая его до своего уровня. Сложилась она слишком поздно — когда основными рычагами власти уже овладел «звероватый народ, с удивительным винегретом из передового просвещения в голове» (Ольга Форш).

Наблюдательный Н.В. Устялов писал в начале 30-х: живем на вулкане, парадоксально напоминающем болото.

⁴ Троцкий Л. Литература и революция. М., 1991. С. 24, 66.

3. Лед и пламень

Присмотримся к тому, чем встречал город выходцев из деревни.

В атмосфере города на протяжении 20-х годов достаточно четко различаются два слоя, которые условно можно назвать верхним и нижним. В верхнем, разреженном слое безраздельно властвует коммунистическая идея — своеобразное крайнее выражение европейского прометеизма, стремления переделать мир, исходя из «принципов разума». Ярче других большевистских вождей, ярче самого Ленина этот прометеизм выразил Троцкий — хотя бы потому, что он чаще других выступал по вопросам культуры (я не отношу к числу вождей Луначарского). И, наверное, в нем полнее, рече отпечатались характерные черты большевистской верхушки — высокомерное всезнайство, убежденный футуризм (в широком смысле слова), стопроцентная уверенность в своих силах. По-своему Троцкий великолепен: в нем нет угождения аудитории, подавливания себя под нее (что есть, например, у «любимца партии» Бухарина); он всегда «на высоте», всегда «вешает»: будем сдвигать горы — как фигурально, так и буквально (Христос «только обещал», а мы осуществим), заставим течь реки куда захотим, поднимем средний человеческий тип до уровня Аристотеля и Гёте и т.д., и т.п.⁵

Чем обернется просвещенческое «царство разума» в большевистском варианте, можно было догадаться, исходя уже из того, к т о брался провести его в жизнь. Даже интеллигентский цвет партии составили люди, как правило, не получившие систематического университетского образования, «экстерны» (на этот факт обратил внимание Федотов); но и они обречены были на скорое исчезновение. В основном же кадры партийных руководителей составили недоучившиеся семинаристы и выпускники церковно-приходских и прочих начальных школ; а низшие звенья зачастую формировались из людей, едва успевших пройти курсы ликбеза. Бываловы с портфелями (персонаж «Волги-Волги») осваивались в роли Вольтеров!

Абсолютная нереальность коммунистического «проекта», наверное, рече обозначилась бы, если бы он не был окрашен чувством, не поддерживался бы верой. Коммунистическое чувство — довольно сложный «продукт», «выделившийся» из христианского чувства как в силу некоторых недоразумений исторического характера, так и по вине самой Церкви, не слишком-то отвечавшей своему назначению в части религиозного регулирования обыденной жизни. Пресловутая ее «симфония» с государством не давала ей возможности осудить те элементы зла, которые были в действиях власть имущих, а слишком тесная связь с богатыми мешала

⁵ Впервые познакомившись — за последние годы — с некоторыми книгами Троцкого, я понял, что он всегда оставался «с нами» (хотя в то же время не было человека, более ненавидимого и более презираемого, чем он). Пафос «коммунистического строительства», искусственно поддерживавшийся до самой «перестройки», многим обязан лично ему.

заботиться о «сирых и убогих» в той мере, в какой этого требует евангельский дух. О. Сергий Булгаков указал и на другой важный момент: русское православие стало слишком национальным, в результате чего подавленное христианское чувство универсализма претворилось в «пролетарский интернационализм»; из «несть ни эллина, ни иудея» выросло, как писал автор «Чевенгур», желание интернационала, «то есть дальних, туземных и инородных людей, дабы объединиться с ними, чтобы вся земная разноцветная жизнь росла в одном кусте». Сам Платонов был несомненным коммунистом чувства, раньше многих других разглядевшим абсурдность «проекта».

Сила большевизма была в пламенной вере партийного ядра. Эта вера бросалась в глаза при сравнении с тепло-хладной верой, обычной для тех, кто оставался в Церкви. Здесь мы имеем дело с явлением, повторяющимся в истории: секта, отколовшаяся от той или иной Церкви, нередко демонстрирует более интенсивную веру, доходящую до изуверства (и сегодня можно найти немало тому примеров — хотя бы и в скромном масштабе — из жизни различных сект). Христианство — это огонь, но это и правила обращения с огнем, если позволено так сказать. Вырываясь из-под охранительной власти догматов, равно как и живого опыта Церкви, огонь сектантства, бывает, вспыхивает ярко, распространяется стремительно, чтобы, исчерпав свои возможности, в относительно короткий (по историческим меркам) срок угаснуть.

Вера обладает свойством заражать или, по меньшей мере, производить впечатление. Большевики сумели произвести впечатление на российское общество: и крестьянство, и мещанство, и интеллигенция в основной своей части как бы полу признали за ними право на лидерство. Хотя подтягивать «красные псалмы» не торопились: некоторая психологическая изоляция большевиков, судя по всему, сохранилась на протяжении 20-х годов.

Пока наверху звучали тимпаны и возносились гласы трубные, в нижних, «плотных слоях» житейского моря тон задавала бытовая «философия жизни». Это умонастроение — в значительной мере сложившееся стихийно, хотя кое-чем действительно обязанное собственно философии жизни и в свою очередь питавшее ее — можно вообще считать наиболее характерным для XX столетия (в Европе и Америке), особенно для его начала и конца; при этом в России 20-х годов оно имело ряд особенностей.

Но прежде чем говорить об особенностях, обратим внимание на другое: в основных своих чертах бытовая «философия жизни» сложилась еще в предреволюционные годы, а 20-е просто подхватили эстафету и «побежали» с нею дальше. Причина ее появления на свет стало растущее обмирщение сознания, не в последнюю очередь связанное с усложнением жизненного опыта. Было ощущение усиливающегося расхождения между религиозным знанием и реальным опытом, между «жизнью» и Богом.

Не хочет жизни Бог, —
Иль жизнь не хочет Бога?

— вопрошал в этой связи Ф. Сологуб. Бог «не давал ответа»; а «жизнь», между тем, «освобождалась» — от того, что в ы ш е, д а л ь ш е, с и л ь н ы е е е. Всё, что нельзя ощупать, буквально или хотя бы figurально, — фантомы, подсказывала «философия жизни»; реальны только непосредственные переживания, только им можно доверять. И не стоит терзать себя вопросом, что хорошо, а что плохо. «Жизнь» — «бабища дебелая и румяная», ее можно презирать, но можно и радоваться ей, такой, какова она есть. В самом ярком (в предреволюционные годы) выражении «философии жизни», арцыбашевском «Санине», его герой поучает сестру: «Человек гадок по природе... Не жди от него ничего хорошего, и тогда то дурное, что он будет делать, не будет причинять тебе горя...» Это, назовем ее так, оборонительная часть «философии жизни». А вот наступательная. Тот же Санин: «Тело просит радости». М о е тело просит радости. А уж если мои желания кому-то причинят горе, не моя забота.

«Жизнь» определенно «не хотела» Бога, но равным образом отвергала она любые теории и те общие понятия, из которых они исходили. Долой общие понятия, «мешающие жить»! Да здравствует «жизнь», всегда равная себе, опьянявшая собою, поюща о себе и одновременно пожирающая саму себя.

Вот эта «философия жизни» легко перешагнула порог 17-го года и расцвела пышным, источающим терпкие ароматы цветом в раннесоветскую эпоху, о чем свидетельствует в первую очередь литература. Едва ли не в с я подсоветская литература 20-х годов так или иначе отдала дань «философии жизни». Заметим, однако, что сама «философия жизни» претерпела в этот период некоторые трансформации.

У предреволюционных писателей мы еще находим некоторую застороженность: не без колебаний устремляются они по тому пути, который сами же наметили. Людмила в сологубовском «Мелком бесе», преследуемая видениями нагих юношей (по замыслу автора она олицетворяет собою «жизнь» в ее позитивном аспекте), помнит, однако, о Распятом, и не просто помнит, но и любит Его (как помнит о Нем и любит Его сам автор в многочисленных стихотворениях). Санин «смелее», но и он, если судить по его поступкам, совсем не такой «отчаянный», каким выглядит на словах. И дело даже не в том, что Санин не атеист. Он действительно верит в некоего Бога — однажды создавшего мир и потом «сложившего руки на груди» и просто наблюдающего за естественным течением дел. Но вера в т а к о г о Бога нисколько не мешает однажды прийти к выводу, что в этом мире «всё позволено». Между тем, трудно представить, чтобы Санин мог совершить что-то уж очень гадкое. Сам он не сумел бы объяснить — почему; вряд ли сумел бы объяснить это и его автор. Душа дореволюционного человека обжита христианством, хотя он может этого и «не замечать»; его могут манить разные интересные видения, но он еще не в силах представить, что значит жить без Христа (даже мы еще не до конца представляем: об этом писал Романо Гвардии в замечательной книге «Конец нового времени»). Порою ему кажется

ся, что только «скучные» запреты мешают ему пробиться к «жизни». Сологуб:

Мы — плененные звери,
Голосим, как умеем.
Глухо заперты двери,
Мы открыть их не смеем.

Кто-то не смел, а кто-то посмел: двери решительно толкнули — и они отверзлись. «Человек-зверь» вышел на свободу, и литература встретила его если не аплодисментами, то, во всяком случае, «пониманием» и хотя бы частичным сочувствием. Нечто подобное имело место и в Европе после первой мировой войны, но у нас этот феномен получил более резкое выражение, что естественно: революция явила еще более сильным потрясением, чем мировая война.

Можно задаться вопросом, в какой мере литература отразила явление «человека-зверя», и в какой — сама поставила его на ноги. Определенное озверение российского населения в период революции и Гражданской войны — известный факт; литература и искусство дали ему «оформление», «довели до кондиции». Но произведенный ими эффект надо, по-видимому, искать не только *post*, но и *ante factum*. Творческая интеллигенция — это ведь не «прослойка», не «губошлепы» (как называл ее Троцкий), это подлинно творческая сила в обществе, способная проявить себя как в позитивном, так и в негативном смысле (если позволено говорить о творчестве в негативном смысле). Ее дело — лепка душ; через нее интеллигенция оказывает мощное воздействие на ход истории. Шпенглер писал, что история есть обретшая форму душевность, и в данном случае с ним можно только согласиться. Эволюция душевности, ее трансформации — в основе советской истории, как и любой иной.

Писатели — они же и читатели; большинство писателей 20-х годов многое успело прочесть, включая, наверное, самого Ницше. И их писательское зрение так или иначе было скорректировано предреволюционной «философией жизни». И вот мы наблюдаем интересную картину: мотив опьянения «жизнью», который ретроспективно, применительно к «отжившим классам», рассматривается теперь (то есть в 20-е годы) как признак декаданса, будучи выпущенным на широкие российские просторы приветствуется «звоном щита» (в произведениях Вс. Иванова, Сейфуллиной, Неверова и многих других). На место экстатической утонченности (пить все яды, какие есть в «жизни», сгорать в ее огне!) приходит экстатическая разнозданность, распоясанность, дающая выход элементарным животным инстинктам, тому, что есть в человеке «от леса и зверя». «У них» это было проявление старости, «у нас», наоборот, — молодости, избыточного здоровья.

Какими эпитетами писатели 20-х годов снабжают своих героев чаще всего? Пожалуй, вот этими двумя: «веселый» и «злой». Они более всего отвечают их, как мы скажем сегодня, экзистенциальной ситуации. Весе-

лые они от непривычного чувства свободы, от того, что стало позволено многое, на чем прежде была печать запрета. Злые — не в последнюю очередь оттого, что на участке сердца, не связанным с непосредственными ощущениями, но отзывающимся на вопрос «а что потом?», стало пусто, как в барокамере, из которой выкачен воздух. «Бог сдох» (Сейфулина). И с Ним вместе улетучилось чувство, что человек есть нечто большее того, что он есть. Осталось существо, заключенное в «кожаный мешок», скорее дрянное и вызывающее недоверие, чем наоборот; чаще всего оно обращает на себя внимание именно отталкивающими своими чертами, не только внутренними, но и внешними — въедливо фиксируемыми (в эстетическом плане «философия жизни», расставшись с «дышавшими туманами» символистами, решительно повернулась к натурализму). То же и в кино: экран 20-х и начала 30-х годов заполняют какие-то раскоряки с лицами грубыми, наспех сработанными, зачастую подчеркнуто скучастыми («азиаты мы»). Литература, кроме того, обладает техническими возможностями (так же, как изобразительное искусство) показать человека, «взорванного революцией», исчезнувшего, как некое целое, и оставившего «после себя» лишь отдельные черты характера и отдельные, как бы плавающие в воздухе атрибуты — носы, уши, очки и т.п.

Коренное свойство «философии жизни» — внутренний холод. Оледенение души мы наблюдаем уже у Санина, внешне еще сохраняющего старорежимную «ласковость». Литература 20-х освобождается от сантиментов, в ней много иронии, чувственности, сухого блеска и очень мало — сочувствия к ближнему, традиционного для русской литературы; взгляд писателя — острый, цепкий, ищащий в человеке дефекты и легко их находящий.

При всем их глубоком отличии, между коммунистической идеологией и «философией жизни» были определенные созвучия.

Например, и та, и другая фактически были едины в своем неприятии «старого мира». Этот мотив отчетливо звучит уже в романе Арцыбашева. В. Воровский не то чтобы совсем уж зря, но явно преждевременно гремел против Санина (в статье «Базаров и Санин. Два нигилизма»): до поры до времени он был союзником большевиков, а не противником их. Разве не мечтает он о том, чтобы «все униженные и обездоленные взялись за ум и одним ударом опрокинули невозможнотяжелый и несправедливый порядок вещей...»? Правда, тяжелым и несправедливым существующий порядок видится ему с точки зрения, отличной от большевистской: его тяготит мораль. И тут нельзя не признать, что в его взглядах на мораль объективно была некоторая доля истины (как вообще присутствуют в интуициях «философии жизни» некоторые частичные истины). В той мере, в какой она теряла религиозную соль, мораль становится преснятиной. Толстой и Чехов заметили это раньше Сологуба и Арцыбашева.

Но вот порядок вещей, казавшийся невозможнотяжелым, опрокинут, и — удивительное дело! — за редкими, наверное, даже редчайшими исключениями, никто из подсоветских писателей 20-х годов не может

сказать о нем ни одного хорошего слова. Едва чье-то перо — пусть это даже самое талантливое, самое «неангажированное» перо — касается старорежимных «господ», так из-под него непременно выходит какая-нибудь карикатура. Искренность «письма» в подобных случаях обычно не вызывает сомнений; так что придавать чрезмерное значение «давлению обстоятельств» не имеет смысла. Не таким уж оно было сильным в те годы. Вон Булгаков отказывался карикатуризировать прошлое — и писал так, как хотел (правда, соответствующие его вещи не очень-то «проходили», но надо учитывать, что Булгаков с симпатией портретировал не просто старорежимных, но б е л ы х, а это все-таки несколько другой коленкор).

Далее, концепция «человека-зверя», характерная для «философии жизни», в р е м е н н о оказалась более или менее приемлемой для большевиков. Для них ведь люди представляли ценность не сами по себе, а как «человеческий материал» для построения «нового мира»; что материал этот с изъяном, так это ничего — поначалу годится и такой. В принципе большевики, конечно, моралисты и культуртрегеры, но вопросы морали и культуры они подчиняли задачам классовой борьбы в настоящем и коммунистического строительства в будущем. Плохо, когда человек звереет, но важнее (с их точки зрения) другое — к т о звереет против к о г о . Озверение народных масс, поскольку оно имело место, — это будто бы результат многовековой их эксплуатации, естественный ответ на зверскость «господ». Выйдет из народа «тяжелая кровь» — останется здоровая основа, с которой можно будет работать. И писатели клонили к чему-то, на первый взгляд, очень похожему. У Сейфуллиной в «Четырех главах» женский персонаж размышляет о другом женском персонаже: «Удивительное сочетание чистоты и цинизма... Это у нее от простонарода. Наше». Вот эта «простонародная цельность», усматриваемая за гримасами «человека-зверя», подкупала даже такого большевика, как А. Воронский (более многих других марксистских критиков пропитанного «старой культурой»): он готов был согласиться с тем, что «звериные» герои новой литературы — люди «здравые духовно и физически».

Замечу, что такое, чисто социальное объяснение «звериности» масс решительно не выдерживает критики. Представление, что «чаша народного гнева» наполнившись до краев, должна была пролиться — в той или иной мере разделенное не только большевиками, но и «неангажированной» интеллигенцией, — относится к числу мифических.

Униженные и оскорбленные, к несчастью, есть всегда; и что позволяет считать, что в 1917-м их было больше, чем, скажем, за сотню лет до того? Уверен, что как раз наоборот, раньше их было больше. Утверждение же, что чаша полнилась в продолжение веков и, следовательно, «народ» мстил не только за себя, но и за ушедшие из жизни поколения, тоже в значительной степени миф. Возможно, такая вещь, как сословная или классовая память, объективно существует, и всё же «простые люди» — не летописцы, они гораздо больше живут настоящим, чем памятью о прошлом. На деле главной причиной озверения (повторю: поскольку таковое имело место) явилась

болезненная ломка мировоззрения или, точнее, мироощущения (в первую очередь это относится к крестьянству). А самым критическим ее моментом стало повреждение той части души, которая «легче воздуха» и которая позволяла видеть вещи мира сего как бы прозрачными; и не давала копиться «тяжелой крови». Это, разумеется, никоим образом не означает, что с несправедливостями — теми, что действительно имели место, — не следовало бороться; вот только какими методами?

«Философию жизни» сближала с позицией большевиков также и восприимчивость в отношении некоторых сторон американского опыта. Большевики не скрывали своей увлеченности Америкой; Бухарин прямо говорил: «нам нужен марксизм плюс американализм». Что нравилось большевикам у американцев? Наивный культ «здорового тела» (уместно вспомнить, что сказал по данному поводу Честертон: тело должно быть не королем, а придворным шутом), презрение к утонченному в культурном смысле слою, энтузиастический техницизм. (Одновременно, конечно, многое не нравилось и прежде ~~всего~~ капитализм в социально-экономическом плане и «мещанство» в бытовом.) Своей витальностью, энергетизмом Америка производила впечатление и на почитателей самозаконной «жизни» (недаром к собственно философии жизни относят и такие, характерно американские философские системы, как прагматизм У. Джемса и инструментализм Дж. Дьюи). С конца XVIII века Америку называли «опытным полем» Европы. И разве не становилась теперь «опытным полем», хоть и на свой лад, также и Россия?

«Но все-таки есть еще дома, сапоги, папиросы», — писал Замятин в 1922 году, как бы удивляясь тому, что остается еще в российской действительности что-то определенное, устойчивое. Ибо общее впечатление было такое, что всё-всё стронулось с места и устремилось в неведомое будущее, светлое или не очень — это уж кто как на это смотрел. Не помнящие родства Ваньки и Маньки (Ванечки и Манечки остались в проклятом прошлом), заполонившие, как принято говорить, авансцену истории, строили «новую жизнь», начав, казалось бы, «с чистого листа» — почти как американские «пилигримы» за триста лет до того.

И всё же схождения между коммунистической идеологией и «философией жизни» были временными, а расхождения, наоборот, принципиальными. Большевики считали себя творцами «новой жизни», тогда как творческая интеллигенция, поспешавшая, говоря словами зощенковского персонажа, «вровень с действительностью», понимала дело так, что «жизнь» воспроизводит сама себя «без посторонней помощи», откуда бы та ни исходила. Это она («жизнь») вытолкнула наверх большевиков, ergo они заслуживают или прямой поддержки (точка зрения «попутчиков»), или хотя бы терпимого к себе отношения. Однако намерение большевиков подвергнуть «жизнь» целому ряду операций не могла не вызывать «на уровне действительности» скептической реакции — довольно откровенной в одних случаях, спрятанной в других. Реальные, живые люди, каких можно было встретить на каждом шагу, не позволяли разделить комму-

нистический «идеализм». Люди друг другу «стервы, а не братья», говорит один из героев Вс. Иванова, рабочий-машинист; далеко ли уйдешь с таким стервозным «материалом»?

Недаром большевики так или иначе отмежевывались практически от всех писателей, имевших в те годы широкую известность; даже Маяковского принимали с большими оговорками. Своим идеалом большевики видели аскетический тип с «железными» понятиями «в башке» и с мускулами, не тронутыми чувственностью, а писатели и работники искусств были чаще всего «рыхлыми», «сырыми» в психологическом отношении людьми, чьи произведения способны были остыть энтузиазм строителей коммунизма.

Коммунистический пламень и лед «философии жизни» не могли долго уживаться друг с другом. Одна из сторон обречена была проиграть.

Теперь мы знаем, что проиграли обе.

«У каждого десятилетия есть своя равнодействующая и есть артист, исполняющий арию большинства», — писала Ольга Форш в 1930 году («Сумасшедший корабль»). В следующей декаде «ария большинства» станет совершенно другой (ее подтянет и скептическая дотоле Ольга Форш).

4. Как «душили в объятиях» коммунистическую идею

30-е годы обычно считают временем оформления тоталитаризма, подготовленного предыдущим десятилетием. Но с неменьшим основанием можно уличить 30-е годы в измене тоталитарной мечте, лелеемой 20-ми. В чем состояла мечта? Партия Ленина—Троцкого, точнее, ее руководящее ядро вместе с работниками культуры лефовского типа (понимавшими искусство как непосредственное жизнестроение) переделывают заново в сию жизнь общества, сверху донизу, тем самым передельвая и самого человека. Такого рода претензия, не могущая быть реализованной в принципе, становится совершенно нелепой, если перенести ее на недоучек, оказавшихся на вершине власти в 30-е годы. Тут уже явно не по наживе еда и не по Сеньке шапка.

Впервые прочитав, много лет назад, «1984» Дж. Оруэлла, я испытал горькую радость узнавания «родного», но одновременно почувствовал и разницу между картиной, изображенной в романе, и советскими реальностями. Режим «Старшего Брата» как будто кем-то откуда-то «спущен»; нигде, собственно, не видно оснований, на которых он зиждется. Все-таки в романе есть сильный элемент фантастики, «предупреждения»; «наш» тоталитарный режим — гораздо более «земляной» (эпитет, которым Гоголь наградил своего Вия).

Процессы, начавшиеся в России в 1917-м и в основном завершившиеся в 30-х годах, можно уподобить тектоническим сдвигам. Революция взорвала исторически сложившуюся структуру, а дальше всё пошло-поехало само. Шпенглер писал, что в истории есть личностные эпохи и есть

анонимные. Советская (во всяком случае, до того, как в 60-х годах «городу и миру» стали известны имена Солженицына и Сахарова) — ярко выраженная анонимная эпоха. Положим, Ленин и Троцкий были личностями, но их роль оказалась чисто разрушительная: они сделали подымчивыми пласти, которые их же потом и задавили. Никакая личность не произвела сколько-нибудь существенного воздействия (и, может быть, не могла произвести в принципе) на дальнейшее их движение. Всё развивалось стихийно: один пласт наезжал на другой, оба сминали третий, сталкиваясь с четвёртым, крошились, где-то вдруг возникали неожиданные поднятия, где-то, наоборот, опускания, целые кряжи уходили под землю, — всюду производя скрежет и стон, за всю российскую, да пожалуй, и мировую историю дотоле неслыханные.

20-е годы прошли в атмосфере фантастики, в которую по-своему «вписывался» самонадеянный большевистский волонтеризм. 30-е продемонстрировали силу земного тяготения. Тоталитарная мечта не растаяла в воздухе, но «приземлилась» таким образом, что оказалась грубо извращенной и «обедненной». Тоталитаризм 30-х предельно жёсток и жесток, но это тоталитаризм режима, властных структур; он не распространяется на культурный процесс или, точнее, распространяется на него лишь отчасти. Не потому, что режим не хочет подмять под себя культуру, но потому, что не может сделать этого. Его Направляющая Рука, тяжелая и шершавая, вездесуща — в области культуры, как и в любой иной, — она губит всё, что находит нужным губить, «поправляет» всё, что находит нужным «поправить», но она не может ничего «вылепить» сама (а ведь именно в этом заключалась тоталитарная мечта 20-х), и с этим ей остается только смириться (илиллюстрацией к сказанному могут послужить известные слова Сталина о том, что ему неоткуда взять других писателей, кроме тех, что есть).

Культурный процесс 30-х годов — это в значительной мере органический процесс; по своей сути это была реакция на беспочвенность 20-х. Его можно назвать реакцией также и в химическом или, если угодно, алхимическом смысле слова, ибо в нем так или иначе приняли участие многие продукты культуры 20-х.

Впервые после революции достаточно внятно напомнила о себе Россия, привыкшая видеть себя в зеркале Пушкина и Толстого (конечно, за вычетом наиболее зрелой духовно, наиболее принципиальной формации, уничтоженной физически или обречённой на немоту), — или только-только открывшая их для себя, Россия сельского «лада» и городской культуры быта, да наконец и просто здравого смысла. Эта Россия долго присматривалась к навязавшемуся ей «суженому», которому — если воспользоваться образом одного из романов Клычкова — «железный черт» привертел в душу какую-то не то шестерню, не то гайку. Будто ждала, что унесет его очередная лихоманка и появится на его месте кто-то другой. Но другой не появлялся, и тогда она сказала себе, как говорили чеховские персонажи: «надо жить».

Не есть ли культура 30-х годов попытка «задушить в объятиях» «суженого» с большевистскими метриками?

Мы знаем, что одновременно шло «удушение в объятиях» коммунистической идеи на уровне самой власти, в недрах властных структур, куда давно уже прокралась и прочно там обосновалась другая Россия — стародавняя Россия Аракчеева и Малюты Скуратова, «взявшая на вооружение» новейшую технологию властевования и подавления инакомыслящих. В 20-е годы коммунистическая идея — это еще руководство к действию, инструкция, ноу-хау, объяснение, «как собрать». В 30-х коммунизм всё больше становится — на уровне подсознания, если не на уровне сознания — миражем в пустыне: сколько к нему не идешь, он всё остается впереди.

Но вернемся к культуре. Если, с одной стороны, она попыталась как-то поладить с коммунистической идеей, то с другой — решительно отвергла «философию жизни». Органика русской культуры не могла смириться с ее внутренним холодом, с ее экстатической чувственностью и злой въедливостью. В эстетическом плане произошел поворот от натурализма к символизму в широком смысле слова, то есть к эстетической ситуации, которую, вообще говоря, следует считать нормальной для человеческого общества. Человек, по известному определению, — символическое животное; ему свойственно «одевать» вещи, а не «раздевать» их. Стремление «раздевать» вещи с целью пробиться к их якобы сути есть род истерии, явный признак кризисной ситуации. На самом деле суть вещей состоит как раз в их многозначности, а отнюдь не в их материальном веществе. Даже солнце и луна голенными — «неприличны», лишь в ореоле своих значений они становятся желанными для человека.

При том вряд ли имеет смысл говорить о становлении в 30-х годах какого-то нового художественного направления. Таковое обычно рождается на высотах культуры; в данном же случае речь идет о возникновении новой массовой культуры (крупные художники, за теми редкими исключениеми, когда они работали «в стол», вынуждены были так или иначе приспособливаться к ее требованиям). Ее украсили некоторыми глубокомысленными «измами» — но таков уж был начальственный заказ. Советский начальник 30-х годов прост, как лук из грядки, но без «измов» обойтись не может: назвавшись наследником тех, кто обещал построить на земле «царство разума», он вынужден делать, когда этого от него ждут, «умное» лицо.

Взглянув на дело с иной точки зрения, «ближе к жизни», мы находим в массовой культуре 30-х годов фундамент новообразованного мифа. Если с художественной стороны она сильно уступает, даже в лучших своих образцах, многим «кустарным» достижениям 20-х (эта тема требует, впрочем, отдельного разговора), то со стороны мифологического фундамента она, напротив, выступает как «предмет первой необходимости», ибо создает общезначимую систему смыслов, единственно возможную в тех условиях. В этом отношении, как и в других существенных отношениях,

30-е годы являются «осевым временем» для всего постреволюционного шестидесятилетия.

Оптимистический порыв 30-х годов — героическая попытка слобитьсь с навязавшимся невесты откуда «суженым» (в котором «старая» Россия разглядела, между прочим, и странно-близкие себе черты) — в значительной степени был искренним. Молодой, по историческим меркам, национальный организм был полон жизненных сил и искал им применения на том пути, какой перед ним открылся, — в уверенности или, по крайней мере, в надежде, что жизнь начинается новая, небывалая и вместе с тем «нормальная» по всем истинно человеческим понятиям.

В произведениях литературы и искусства 30-х годов вещи «оживают», окутываясь дымкой значений, гораздо более красноречивых, чем простое вещества; и человек вновь видит человека сквозь некий флер (выделки «старой» русской и мировой культуры), открывающий взору много больше того, что можно увидеть «голыми глазами» (воспользуюсь выражением Заболоцкого). Появляется музыкальность в восприятии мира, которой так остро не хватало со временем революции. Заново начинают цениться некоторое благообразие и некоторое целомудрие (противопоставленное как большевистскому аскетизму, так и чувственности «философии жизни»). Возвращаются вечнозеленые темы любви и дружбы; вновь входят в силу полузабытые понятия, такие, как доброта, нежность. Ореолом окружается семья («буржуазный институт», по распространенным в 20-х годах представлениям), внутрисемейная любовь, связывающая мужа и жену, родителей и детей. «Недомерки» (как не грех их было назвать в предыдущее десятилетие) вновь становятся детьми, деточками; более того, «ребенок-король» (Гюго) занимает особое место в культуре 30-х годов — недаром получают такое развитие литература и кинематограф для детей. Мечтательность, точнее, возвышенная мечтательность становится общим свойством детских и взрослых персонажей, возводящих мысленный взор как бы горе и заново открываяющих для себя звезды — не красные, а те, что в небе...

Впрочем, и красные звезды, утрачивая свои навигаторские функции («кормчих звезд») и как бы растиавая в загустевшем воздухе, становятся элементом поэзии.

Музыкальность эпохи ярко сказалась в собственно музыкальной сфере — прорывом песенной стихии. Появилось очень много хороших, даже замечательных песен, в которых слышится подлинная эвфония (благозвучие), каков бы ни был сопровождающий их текст. 30-е годы в этом смысле будто наверстывали упущенное предыдущими, безмузыкальными годами. Гражданка, например, только теперь была мифически прочувствована и «запела» о себе полным голосом; почти все известные песни о Гражданской войне были сложены именно в 30-е годы (пока шла война, в стане красных воинов обычно пели старые песни, такие, как «По долинам и по взгорьям» или «Оружьем на солнце сверкая», положенные на новый текст). Гоголь

писал, что русская песня идет «мимо жизни». Песня 30-х годов тоже, конечно, шла «мимо жизни» — серой коммунально-барабанной жизни, часто безобразной (на позднейший проясненный взгляд) даже в кинематографическом, то есть уже мифическом своем выражении. Но, как и старая русская песня, она давала сердцу некоторое открепление от чересчур «свинцовых» реальностей — что позволяло принимать их такими, каковы они есть. (Со многим из того, что было в массовой культуре 30-х годов, сегодня легко расставаться — смеясь, а вот песню жалко).

Нельзя отрицать, что стремление превратить страну в одну большую Коммуну порою заключало в себе нечто наивно-трогательное и русскому сердцу странно-близкое. Когда в «Дикой собаке Динго» Фраермана обнимались двое влюбленных и к ним подходил и обнимал их третий, друг (что должно означать примерно следующее: замечательно, что вы любите друг друга, но помните, что и мы все тоже любим и хотим, чтобы вы любили нас), это впечатляло. Подобным же образом поэтизация внутрисемейной любви всегда сопровождалась напоминанием, что существует «большая семья» (коллектив, весь народ, конечно, за вычетом врагов), где тоже все любят друг друга.

Отталкивает в этом колLECTивизме (в произведениях литературы и кино) его головное, регулятивное, приказное, по сути, начало. И так всюду: застывшие аксиомы идеологии, приспособленные к требованиям сохранившей прежнюю окраску власти, не дают пробиться в глубину мира и в недра человеческого сердца. А уж русскому-то каково с этим смириться! («Вглядывание в первооснову и бездуху бытия» И. Ильин назвал одним из коренных свойств русского гения.) И вся маскультура 30-х годов останется попыткой совмещения органического с механическим, поющей души — с гаечно-шестереночной «нагрузкой». Из-за этой роковой связи выходило: чем больше души — тем больше лени.

Но за коммунистической доктриной, продолжившей свое призрачное существование, чем дальше, тем больше проступает психология державности. И в этом тоже есть благообразная сторона. Военные, которые стали вызывать всеобщий восторг, — это уже не хамоватые братаны времен Гражданки, напротив, собранные, корректные красноармейцы и командиры (напомню, что я говорю об образах литературы и кино), во многом «старорежимные» (их «старорежимность» станет еще заметнее в годы войны, когда они сменят петлицы на погоны и будут называться по-старому — солдатами и офицерами). Чем ближе к войне, тем больше выделяется, в ряду других персонажей, командир со шпагами или кубиками в петлицах, с «добрими и сильными руками» и великолепной портупеей, кумир всех мальчишек, да и девчонок тоже. И прочие герои 30-х годов, полярники, морские капитаны, геологи, ученые, — «слуги государства» в первую очередь. В бытовом плане это люди, в общем, вполне «традиционной» морали, но весь их образ мыслей завязан на державности. Всё, что решит вождь, для них — закон, не подлежащий обсуждению; самая мысль о том, что можно усомниться в правильности его решений, показалась бы им кощунственной.

Это царство кесаря, окончательно и бесповоротно подменившего собою Бога. Подавляющее большинство его подданных, которых не коснулся царственный гнев, пребывает в «счастливом» неведении относительно того, что происходит на его «оборотной стороне».

Кто-то из наших киноведов, кажется, покойный Ю. Ханютин писал, что герой фильмов 30-х годов, будь то Чапаев, профессор Полежаев («Депутат Балтики») или даже Петр I, — это, если иметь в виду его основные черты, один и тот же герой. И что сделан он как бы «из одного куска». С первым утверждением можно только согласиться; и перенести его на всю массовую культуру 30-х годов. Миф, по формулировке Лосева, есть форма бытия личности, с которой отождествляют себя, хотя бы частично, все и каждый; иначе говоря, это взгляд на мир с точки зрения одного, как бы собирательного человека.

А вот другое наблюдение, насчет «одного куска», мне представляется поверхностным. Как раз наоборот — герой 30-х годов поражает своей «частичностью», «половинчатостью». Ибо он появился на свет в результате трагического раздвоения, расщепления духовно-душевного тела нации: между умом (и здоровой непосредственностью, культурой в ее утонченных проявлениях) — и народным опытом; дворянской косточкой (не костью, а именно косточкой, неким наработанным качеством — включающим, например, понятие личной чести — активно усваиваемым в предреволюционные годы выходцами из других сословий) — и этническим «резервом», «свежей кровью». Трещина между ними пролегла еще до революции, но революция и гражданская война вбили в нее такой страшный клин, что произведенный им раскол по сию пору не преодолен. И те, чьими руками был вбит клин, кто так старался «для народа», в конечном счете оказались по другую сторону разверзшейся щели. Более или менее интеллигентные большевики, возглавлявшие партию, были сочтены «чересчур умными» и пущены в расход или, в лучшем случае, отгеснены от аппарата власти.

Смена парадигм, как мы сегодня скажем, наиболее откровенно проявила себя на уровне художественных образов. Создатели известной кинотрилогии о Максиме (работа над которой началась в 1931 году) рассказывали, что ее героя они поначалу создавали под актера Э. Гарина, представляя его себе худощавым юношей с острым носом, «умным взглядом» и «непокорной копной волос». Мы знаем, что в итоге главную роль сыграл Б. Чирков, по-своему обаятельный, но на изначальную задумку совсем-совсем не похожий. Другой певец пришел «в долину», другой «артист, исполняющий арию большинства» (вспомним выражение Ольги Форш)!

Каким-то шестым чувством герой 30-х годов или, точнее, его основной прототип сам, вероятно, ощущал свою неполноту. Раскрестяненный крестьянин, занявший положение «хозяина жизни» и вообразивший, что он сам- большой, в то же время не мог не воспринимать окружающий мир

как слишком сложный для уразумения. Отсюда его защитные реакции, часто болезненно-резкие. Отсюда его «стратегия» в плане культуры, напоминающая мне скифскую «круговину» (цепь повозок, поставленных в круг, для обороны от противника). За пределами ее осталось всё враждебно-непонятное (враждебное, потому что непонятное), всё «высоколобое» и утонченно-культурное⁶. («Марксизм-ленинизм», который сам был «высоколобого» происхождения, продолжил свое существование лишь в чисто прикладном, инструментальном смысле: это было оружие, посредством которого специально назначенные люди отбивались от наседавших отовсюду идеино-теоретических врагов.)

Этот новый виток антиинтеллигентских настроений завился как раз в то время, когда значительная часть творческой интеллигенции, до того екелтическая и в меру возможности дистанцировавшаяся от власти предержащей, была увлечена общенациональным *élan vital* (жизненным порывом) и стала сотрудничать с властью не за страх, а за совесть. Такому повороту способствовало и то обстоятельство, что власть всё больше приобретала «народное» лицо (в культурном отношении новые начальники мало чем отличались от «простых людей»); а интеллигенция далеко еще не изжила свое традиционное народничество. В 20-х годах о большевиках можно было говорить «они» и «эти»; но когда весь народ, «от Ивана до Фомы», запел, как тогда казалось, одну песню, как тут было оставаться в стороне? Куда подались швец и жнец, туда и на дуде игрец поспешил. Высочайшего уровня актеры, талантливые режиссеры, писатели и т.д. позабочились о том, чтобы внести в массовую культуру 30-х годов по возможности больше культуры, больше вкуса и профессионального мастерства. Они умели передать красоту героических поступков, мелодичность «чувств добрых» и еще многое, многое другое. В то же время, с большей или меньшей искренностью — скорее с большей, чем меньшей, — они наводили прикрасы на «железное» нутро эпохи и выдавали за достоинства откровенные ее слабости. Так, набычившийся взгляд «заказчиков» в сторону «большого мира» актеры благородного облика преображали в нечто, сияющее праведностью и неумолимой твердостью.

⁶ То обстоятельство, что в культурном обиходе сохранялись и даже широко распространялись произведения русской и мировой классики, не должно вводить в заблуждение на сей счет: их воздействие было в значительной мере нейтрализовано мифом, предельно упрощавшим «послания», которые они в себе несли. Всё утонченное или сложное в литературе и искусстве вызывало отторжение даже в том случае, когда оно «нагружалось» вполне приемлемыми политическими декларациями. О чем уж тут говорить, если даже «лучший, талантливейший поэт нашей, советской эпохи» выведен в кинофильме «Весна» (1946; это, правда, более поздний период, но в интересующем нас отношении не менее показательный) законченным «шизиком»? Зная, как делалось в СССР кино, особенно такого уровня, невозможно допустить, чтобы это была случайная оплошность.

А те, у кого «морда интеллигентная — глядеть противно», послушно играли врагов — белогвардейцев, шпионов, да и просто иностранцев, изображение которых становится в 30-х годах непременно карикатурным даже независимо от того, «отрицательные» это персонажи или «положительные».

Требования заматеревших в своей простецкости «заказчиков», естественно, ограничивали возможности исполнителей, а зачастую просто перечеркивали их. Оттого, между прочим, в литературе и искусстве 30-х годов столько китча; особенно в рекреационной, развлекательной части. Кино-комедии, например, и сегодня заставляющие «неровно дышать» людей старших поколений, представляют собою безвкусную смесь американского с нижегородским, мюзикольного — с фольклорным (такова в значительной своей части и музыка талантливейшего Дунаевского).

Вообще если разъять массовую культуру (миф) 30-х годов аналитическим скальпелем, поразит не только разнообразие, но зачастую и принципиальная несовместимость тех компонентов, тех начал, что вошли в ее состав. Вероятно, эти начала, оказавшись в столь тесном соседстве, должны были чувствовать себя примерно так же, как поклонники гоголевской Солохи, угодившие в один мешок. Но такова энергия мифа (энергия коллективного воображения) — она обладает способностью связывать воедино разнородный материал, придавать исторически случайному подбору «данных» некоторую цельность. Эта цельность объективно необходима, чтобы личность, каждая в отдельности, умела «найти себя». Фотографии юношей и девушек 40—50-х годов (выросших в мифе) обычно свидетельствуют о душевном равновесии, соответствующем некоторому гомеостазу в мире культуры. Другой вопрос, насколько такой гомеостаз был прочен.

Как ни грустно это констатировать, но страх до известной степени оказывает конструктивное воздействие на формирование личности. Я говорю сейчас не о страхе Божием, сложным образом формирующем душу «из глубины ее» (*de profundis*), но об элементарно-житейском страхе перед наказанием за совершенные преступные действия и даже просто неблаговидные поступки. После разнузданности, а нередко и озверения, причинами коих явилась революция, *д о л ж н о* было наступить время закона и порядка — ужесточенного порядка и неукоснительно действующего закона. Признаки того и другого нормальный обыватель мог только приветствовать. А что закон и порядок отличало некоторое, мягко говоря, своеобразие (а тем более, что в определенном своем аспекте они представляли собою, по сути, систематизированное зверство) — этого неискушенный взгляд не улавливал. Заметно было, правда, что слишком много стало вокруг энкаведистов, — но ведь и врагов всякого рода, как говорили, тьма тьмущая.

Подавляющее большинство граждан, которым посчастливилось жить в «чистом обществе» (Солженицын), не имело никакого представления о

том, что происходит на теневой его стороне, тщательно оберегаемой от постороннего взгляда. И если прорывались из новообразованных «пропастей земли» кое-какие диссонансы, они немедленно отторгались психологически, как не соответствующие усвоенной картине мира. Что же касается тех немногих, кто побывал там и вырвался на свободу, то они не торопились делиться впечатлениями даже со своими близкими; так что опыт их оставался их личным опытом, не получая, как говорится, общественного звучания.

Это общество напоминает химеру: голова львина, хвост драконий — как совместить? Очевидно, что такое морфологическое несоответствие (будущим историкам оно еще доставит немало головной боли) не могло сохраняться сколько-нибудь длительное время.

5. Есть «материал» для Екклесиаста

Постреволюционная система обманывала всех, между прочим, и своей мнимой прочностью. Теперь-то задним умом понимаешь, что все ее духовные ресурсы давным-давно были выработаны и последние десятилетия она держалась только силою условностей. Условности, к которым привязаны обычаи, привычки, — это, конечно, тоже кое-что (инерция играет большую роль в истории), но слишком долго за них держаться нельзя — не выдерживают.

Некоторая цельность мировоззрения, в котором жил «советский народ», начиная с 30-х годов, была слишком непрочной уже потому, что невозможно было отянуть «встречу» «чистого» общества с «нечистым» — двух «геологически» разведенных пластов пореволюционной истории. Едва успевшая укрепиться за два десятилетия чувствительность претерпела непоправимый удар, когда взорам открылись «отверженные селенья» (Данте) со всеми своими ужасами. Миф не мог вобрать в себя эти ужасы, попытавшись как-то их сгладить (жалкие попытки такого рода ни к чему не привели); поэтому он их отторгнул. Оттесненная в область подсознательного (я не говорю об интеллигентских кухнях, где всё, становившееся известным, доводилось до сознания), весть о «великом терроре» исподволь продолжила свою позитивно-разрушительную работу. В толще народной, как ее принято называть, всегда теплилось чувство, что нельзя прожить на земле, по слову Твардовского,

...без правды сущей,
Правды, прямо в душу бьющей
Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

И что нельзя принимать за правду — кривду. Поколение, вступающее в жизнь, как обычно, экзистенциально более чуткое, быстрее других проникалось ощущением царящей в обществе кривды; в начале 60-х годов молодежь стремительно утрачивала веру в «светлый путь» и в прозорли-

вость начальства⁷. Но в общем и целом это был кумулятивный процесс; «запутавшаяся в столетях» (Пильняк) Россия трезвела медленно, но неуклонно, что сделало возможным неожиданно быстрый и легкий (относительно, конечно) разрыв с прошлым в конце 80-х — начале 90-х годов.

Но вообразим — как ни трудно сейчас это сделать, — что «отверженных селений» не существовало бы. И в этом случае мифологический подъем 30-х годов очень скоро должен был смениться упадком духа. Гаично-шестереночная часть неотвратимо тянула книзу. Не мог взор надолго отуманиться, уливаясь многозначностью вещей, когда за ними не светилась Тайна. Не могли быть сколько-нибудь прочными моральные представления, когда за ними не стоял Бог.

Далее, — процесс самодвижения культуры неизбежно ломал рамки, в которые она была заключена. В 20—30-х годах энергия культуры тратилась на первичную обработку приобщенных к ней масс: их надо было научить читать и мыть руки перед едой (примерно так формулировал задачи советского культуртргерства Бухарин). Но затем она естественным образом переключилась на решение задач качественного характера; и тут она столкнулась с пределами, которые были ей поставлены. Вообще говоря, миф д о л ж е н ставить определенные пределы «разбеганию» культуры (в рамках мифомышления, например, позволительно говорить о солнце, что оно «всходит» и «заходит» — вопреки открытиям Ньютона); но при этом должно быть найдено некоторое равновесие между центробежными и центростремительными силами культуры — это вопрос меры, такта, художественного чутья. Скифская «круговина», в которой приказано было оставаться отечественной культуре, явно была для нее тесна. И потому нежизнеспособна. Не удивительно, что творческая интеллигенция, заслуживающая этого имени, так скоро стала рваться из нее прочь.

30-е годы отмечены радостным возбуждением, какое бывает при переезде в новый дом (грозный энкаведист, правда, стоял в дверях, но не слишком портил общую картину, тем более, что люди, как правило, и замечали-то его скорее боковым зрением). Стоило, однако, немного пообожиться на новом месте, как оказалось: всё слишком топорное, наспех сколоченное, непрочное. Долго чинили, пытались исправить, то тут, то там, на что ушли десятилетия, пока не стало ясно, что вся конструкция никуда не годится.

Из-за своей чудовищной претенциозности минувшая эпоха (включая сюда революционный и постреволюционный периоды) выглядит сейчас более, чем какая-либо другая, исполненной тщеты, пустой суеты. Пышношумящая смоковница не принесла обещанных плодов; или, иначе, принесла плоды сплошь порченные. «Всё, что было создано за эти полвека

⁷ Подобные вещи становятся заметными «вдруг». Подражая Герtrуде Стайн, однажды сказавшей, что в декабре 1912 года Европа стала другой, я тоже скажу: весной 1963-го наша молодежь стала другой.

(после 1917 года. — Ю.К.) на этой безблагодатной почве под этим несвободным небом, всё в той или иной степени порочно...» — я цитирую М. Бахтина, между прочим, совсем не чуждого философии жизни и, может быть, даже самого яркого ее представителя в России⁸.

Отличный «материал» для Екклесиаста.

Напомню, однако, что тоска Екклесиаста, если можно так сказать, продуктивна: она «освобождает место» для того, что не проходит. И то, что не проходит, должно отвратить нас от съезнова раскрывающей нам свои объятия «философии жизни», тем более, что она предстает нам в гораздо более пессимистическом варианте, чем в 20-е годы (в эстетическом плане она сопровождается возвращением натурализма, значительно более гадкого, вонючего).

Что касается проходящего, то и тут первостепенная задача состоит сейчас в «расчистке места». Мы живем среди останков постреволюционного мифа, мало-помалу начиная отдавать себе отчет в том, сколь они разнородны, а порою и объективно несовместимы. Вчерашняя их слитность — воображательный произвол, типичный «брюколаж» (bricolage, или комбинирование посредством воображения разнородных фактических данных, есть, согласно Леви-Стросу, основное орудие мифомышления). Раз уж этот Шалтай-Болтай, постреволюционный миф, свалился со стены, его не только невозможно собрать заново (о чем еще мечтают «коммунистические» перестарки) — даже умозрительно представить его, как нечто целостное, становится всё труднее.

Нас окружают груды мусора — отживших представлений, идеологем, всего того, что алхимики называли «мертвой головой», *саркофагом* (не знаю, откуда пошло это название, знаю лишь, что оно относилось к остаткам предыдущих опытов, не годящихся для опытов последующих). Работать с наследством, оставшимся от советской эпохи, — значит определять, что безнадежно мертвое, а что еще может и должно пойти в культурный «тигель».

6. «Вставная» быль со своей развязкой

Можно, однако, переменить угол зрения на происходящее — выяснить в постреволюционной нашей истории «встроенную» в нее историю восхождения и укрепления общественного слоя, обычно именуемого номенклатурой. Подобно тому, как роман-панорама содержит в себе иногда вставную новеллу, так и наша общая быль содержит «вставную» быль со своей интригой и со своей особенной развязкой. А взглянуть на нее глазами самой номенклатуры: не быль, а сказка со «счастливым концом». Это для нас, подавляющего большинства населения, от вчерашнего многообещающего бытия остались лишь дым, пепел и разбитые черепки вместо червонцев;

⁸ Цит. по: Бочаров С.Г. Об одном разговоре и вокруг него. — НЛО, 1993. № 2. С. 71—72.

для них оно «выпало в осадок» натуральными червонцами, да в таком количестве, что и свинка-золотая щетинка не могла бы их нанести.

Длительное время советское общество представляло собою загадочную картинку, различить на которой правящий слой было не так-то просто. Номенклатура пряталась за «народом», и это тем легче было ей сделать, что сама она действительно вышла из «народной» (преимущественно крестьянской) толщи. В культурном отношении советские начальники, особенно в 30-е годы, мало чем отличались от тех пастухов и доярок, которых они сажали в президиумы всякого рода собраний. В свою очередь пастухи и доярки (и не только те, которых сажали в президиумы), ощущая культурную близость с новой элитой (выплюненем глазурь, покрывшую это слово в нынешнем обиходе, оставил его социологический смысл), укреплялись в уверенности, что «власть наша»⁹.

Парадоксальным образом сама номенклатура до поры до времени «не различала» себя, по крайней мере на сознательном уровне. Иначе говоря, мы имели правящий слой с удивительно неразвитым самосознанием. Это, конечно, не значит, что номенклатура не отделяла себя от народа — очень даже отделяла, но инстинктивно, «задней мыслью». Советский начальник был для мужика «свой брат» и, наоборот, мужик был для советского начальника «свой брат», но именно поэтому с ним (мужиком, естественно) можно было не церемониться. Его можно было с легким сердцем (легкостью своей обязанного общей атмосфере обесцененности человеческой жизни и специально «передовым идеям», учившим видеть в человечестве «материала») пустить в расход, как и в тех случаях, когда дело касалось культурных «чужаков».

Вообще «задние мысли» — это такая вещь, которую историческая наука (западная, разумеется) лишь в последние десятилетия перестала пренебрегать, когда сделалось очевидно, что сознательная часть исторического процесса не объясняет его в должной мере. Уж к советской

⁹ Замечу, что недооценка роли, какую вообще играют в обществе элиты, до недавнего времени была свойственна и западному сознанию. Хотя еще в конце XIX — начале XX века В. Парето и вслед за ним Г. Моска многое прояснили в этом отношении. Созданная ими теория была направлена главным образом против марксизма с его экономическим детерминизмом: Парето и Моска показали, что политика «огибает» экономику, что правящая элита — совсем не обязательно та, что владеет средствами производства. Но подчеркивание роли правящей элиты (как, впрочем, и других элит) вступало в некоторое противоречие и с идеалами либеральной демократии; отчего теория элит оставалась как бы на периферии общественного сознания. Лишь в 60—70-х годах получила широкое признание демо-элитарная концепция (одними, такими, как Р. Арон, принятая скорее с удовлетворением, другими, такими, как Ч.Р. Миллс, с сожалением), согласно которой в демократическом обществе элиты объективно занимают командное положение, хотя их власть ограничивается и контролируется «снизу».

истории это относится, наверное, больше, чем к любой другой. Сила бес— и полусознательных мотивов поведения среди выступивших на авансцену истории масс обратила на себя внимание еще в годы первой русской революции. Е. Трубецкой писал в статье «Два зверя» (1907): «...П.Б. Струве объяснял особенности русской революции своеобразным сочетанием интеллигентских идей с элементарными народными инстинктами. В действительности это сочетание свелось к простой капитуляции идей перед инстинктами; отсюда — полное их вырождение и упрощение¹⁰. Мы вправе сказать, что в этих словах дан черновой набросок картины, которая окончательно сложится значительно позднее, в 30-е годы.

Самая доходчивая из идей, овладевших массами, состояла в том, что богатые — гады, которых надо давить и давить; роли праведников, согласно с этим мыслительным ходом, отводились беднякам. А так как в подавляющей своей части массы были крестьянскими, то речь шла главным образом о деревенской бедноте. Для нее настал час, о котором говорят, что он не долг временем, а дорог улучкой. Впрочем, не так уж был он и короток, этот час: вспомним, что на протяжении 20—30-х годов путь наверх был открыт только для людей с «правильным», то есть бедняцким, поскольку дело касалось крестьян (а в основном дело касалось именно их), происхождением. В результате столь длительной селекции, проведенной по идеологическому признаку, мы получили, наверное, единственный в истории правящий слой, ядро которого составила деревенская голь (и что следовало бы начертать на его гербе, если бы таковой у него был — разбитое корыто?). Я не хочу сказать, что такой родословной следовало бы стыдиться: как и на любом другом уровне, среди «маломочных» были очень разные люди. Но и гордиться, наверное, тоже особенно нечем: хорошо известно, сколь много было среди них «шантрапы», что куражилась по дворам или спала под забором; в революцию эта рваная рать брала горлобм, оттеснив тех, кто всю жизнь добывал хлеб горбом.

Вчерашняя голь, выбившаяся в люди, обживала «пространство» коммунистической власти изнутри, усваивая «азбуку коммунизма», в той мере, в какой она была способна ее вместить, и одновременно сообразовывая ее с инстинктивным пониманием складывающегося положения вещей. Сама по себе идеология коммунизма — чрезмерно головная, интеллигигибельная, и как раз вследствие этого «под нею» открывалось раздолье для бессознательного и инстинктивного. В полуумраке иррационального противоборства взятому в полон уму стихийно складывался свой определенный порядок; остроглазый Оруэлл подметил данное обстоятельство в романе «1984»: «У члена партии должны быть не только правильные взгляды, но и правильные инстинкты».

Среди них был на своем месте древний рогатый инстинкт власти и обладания. Еще Франк заметил (в статье 1923 года «Из размышлений о русской революции»), что за мужицкой ненавистью к «барину» скрыва-

¹⁰ Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 1994. С. 309.

лось желание самому стать «барином», причем не только в материальном, но и в духовном отношении. Коммунистический «идеализм» ограничивал это желание определенными рамками. Войдя в силу, номенклатура позаботилась о том, чтобы выпотрошить коммунистический идеал (наподобие того, как был выпотрошен помещенный в мавзолей труп Ленина), оставив от него только обличье. Но и обличье, как я уже говорил, оказывало определенное и порою весьма существенное давление на содержательную сторону жизни. Тем не менее, и в таких условиях в 30-е и еще больше в 40-е годы стало очень даже заметно, как «забарничала» (ходило когда-то на Руси такое словечко) номенклатура¹¹.

Было бы интересно проследить, как именно рогатый давал о себе знать в плане культуры. И как он при этом умел прятаться за коммунистические идеологемы. Например, мотив отречения от «старого мира» в 30-е годы продолжал звучать, пожалуй, с не меньшей настойчивостью, чем в 20-е, что явно противоречило резко усилившемуся ощущению культурной преемственности¹²: но дело в том, что теперь за ним угадывается вполне прозаический интерес «заказывающей музыку» номенклатуры: «старый мир» — тот, где командовали другие, а нынче командуем мы и прежних хозяев знать не знаем. Отсюда характерное развоение в отношении того, что в 20-е годы называли дворянской культурой: великие писатели, художники, полководцы и т.д., не дожившие, к сожалению (для нас и еще больше для них самих), до советского времени, «принадлежат народу», а вот класс, их выдвинувший (от которого их на самом деле никак нельзя отделить) — проклятые крепостники, отправленные в небытие волною народного гнева.

Историю называют «кладбищем аристократий». Русское соответствующее кладбище — самое печальное. Нигде, вероятно, не было (по крайней мере, в Европе) такого разрыва между правящими элитами, как у нас. Советская массовая культура, особенно в ранний период, пыталась создать впечатление, что старая элита, костяк которой составляло дворянство, «созрела» для могилы (в этом отношении она подхватила эстафету 20-х годов: старорежимные «господа» — непременно выморочные типы, пьяницы, развратники, циники). На самом деле порча — конечно, не

¹¹ Первые исследователи номенклатуры А. Авторханов и М. Джилас, еще находясь под марксистским гипнозом, определяли ее место в обществе исключительно через отношение к средствам производства: номенклатура была в их глазах «новым классом», ставшим коллективным собственником. М. Восленский правильно указал на то, что важнее экономических отношений — «общественные структуры»; номенклатура, с его точки зрения, — прежде всего политическая сила. Но и Восленский очень мало внимания уделил культурно-историческому и психологическому наполнению этого понятия.

¹² Наблюдая из Парижа за развитием советской массовой культуры, Г. Адамович готов был признать за ней определенные достоинства, связывающие ее с «вечным», и вместе недоумевал, почему она так настаивает на разрыве с прошлым.

столь аляповатая, иногда, напротив, сигнализирующая о себе по-своему тонкими ароматами — лишь местами затронула дворянство; основной его состав сохранял качества, необходимые для правящей элиты, более того, передавал их выходцам из других сословий, главным образом из крестьянства, за счет которых происходило постепенное, «мягкое» обновление элит, приток в их состав «свежей крови». (Поведение многих, а возможно и большинства дворян после 1917 года свидетельствует о не утраченной жизнестойкости этого сословия; бывшая дворянка в «Доме на набережной» Трифонова имела известные основания утверждать: «Говорят, будто русское дворянство выродилось... а я вам скажу обратное: наша кровь самая прочная, потому что мы вынесли всё»).

Как раз номенклатура очень скоро обнаружила свою незащищенность перед вирусом культурного и морального упадка. Да и как могло быть иначе? Только силой верховной власти и действенностью идеологии удерживалась она в некоторой, умеренно аскетичной форме. Но власть ощутимо помягчала с течением времени, а идеологией всё активнее овладевали черви — вероятно, «наверху» это заприметили еще раньше, чем «внизу». Внутреннего же стержня, который мог бы предотвратить скольжение вниз, у этой породы людей, как правило, или вовсе не было, или он был слабым. До поры до времени скольжение еще сдерживалось невосприимчивостью или недостаточной восприимчивостью к изощренно испорченному, демонстрируемому, например, западными фильмами (на Западе пошла в рост «культура упадка»); для тех бугаев, какими оставались в массе своей советские степенства, скажем, 50-х годов, это была еще диковина. Но следующее поколение, рано успевшее обрасти жирком, оказалось в данном отношении сообразительнее, так что в непосредственно до-«перестройчный» период нравы номенклатуры зачастую не так уж сильно отличались от нравов римских банд при последних языческих цезарях.

Зарубежье, вместе с тем, напоминало о нормальной, по человеческим меркам, вещи: о том, что инстинкт власти и обладания находит иные пути, более традиционные и приносящие большее удовлетворение; и что обладание, в частности, позволяет вести более широкий образ жизни, естественный для богатых. Данное обстоятельство должно было сыграть немалую роль в годы «перестройки», когда номенклатура впервые за всю свою историю очутилась на труднейшем для нее распутье: каждый из открывшихся впереди путей грозил ей определенными опасностями. Вероятно, рогатый крепыш побудил ее в конечном счете сделать выбор в пользу, казалось бы, раз и навсегда проклятого капитализма¹³. «Священ-

¹³ Психологически такая возможность существовала, по-видимому, уже в 20-е годы. Наблюдательный А. Воронский писал: «Из нашей молодежи могут выйти и выходят уже прекрасные строители социалистического будущего, но из нее при крахе революции могут формироваться и кадры новой буржуазии на американский образец». (Воронский А. Избранные статьи о литературе. М., 1982. С. 338).

ное» право частной собственности привлекало тем сильнее, что теперь оно было в интересах номенклатуры: «счастливым образом» советская власть просуществовала столь длительное время, что трудно стало говорить о реституции собственности, отнятой в 1917 году.

Взглянуть на положение дел с точки зрения самой номенклатуры: чем не сказка? Пришел день, Иван-крестьянский сын (из «маломочных») ударился оземь — обернулся комиссаром, борцом за «счастье мирового пролетариата». В другой раз ударился оземь Иван-крестьянский сын — обернулся «слугою государства», твердо знающим, как вести себя с царем и как с псацем. В третий раз ударился оземь Иван-крестьянский сын — обернулся «буржуем», что деньги кует, сидючи в палатах каменных. И задавшим по поводу этого третьего, вроде бы последнего превращения пир на весь мир. Мы на том пиру сидим, мед-вино пьем, по усам течет, в рот не попадает.

Грядет суд истории (высокая инстанция, хоть и не высшая), который, будем надеяться, оценит по достоинству деяния номенклатуры за всё время ее существования. Состав обвинения будет наисерьезнейшим. Если революционный период — царство Ошибки («великой» — роковой), то последующий период, за который номенклатура несет полную ответственность, — это, по большому счету, царство Глупости. Пишу с прописной буквы, памятуя об опыте персонификации сего понятия, оставленном великим Эразмом. Только эразмовская Глупость веселая и хмельная, а наша «царица» была — хмурая, надутая, степенная¹⁴.

Это, разумеется, не значит, что на Руси не стало вдруг исправно работающих голов. Им находилось место и в рамках властующей системы — но только на ее периферии, там, где они выполняли чисто служебные функции. Вышло по пословице: разошелся ум по закоулкам (в том числе и по «закоулкам» властующей системы), а в середке ничего не осталось.

Да и могло ли быть иначе? Большевики на свой особенный лад хотели осуществить просвещенческую мечту — возвести на трон Разум. В ответ на это «живая жизнь» проявила естественное для нее упрямство и посадила на трон Глупость.

Весь постреволюционный период — сплошной, как сказал бы Лесков, музей бетизов (глупостей). Какой бы аспект политики, проводимой правящей верхушкой, ни взять, непременно бросятся в глаза ослиные уши. Культурный кругозор роковым образом обрекал ее на большие или меньшие проявления ослиности во всех сферах деятельности. Я не знаю, принимала ли номенклатура за чистую монету взятое у большевиков представление о партии, ядром которой она стала, как об авангарде чело-

¹⁴ Игорь Иванович Виноградов возразил мне в этом месте, что я слишком упираю на глупость номенклатуры и недооцениваю ее хитрость. Но я думаю, что сознательной хитрости с ее стороны было не так уж много; скорее здесь сказалось «хитрое неразумие» истории, если позволительно вывернуть наизнанку формулу Гегеля.

вечества. На сознательном уровне, может быть, и принимала; поначалу, во всяком случае. Нутром, однако, она должна была испытывать натуральный страх перед непонятным ей «большим миром». Этот страх побуждал «нотаблей» советского призыва крепко держаться друг за друга, сбившись в стадо, чьи болезненно-оборонительные реакции легко переходили (тут еще и большевистская школа сказалась) в болезненно-агрессивные.

Держава, ставшая главной заботой номенклатуры, была для нее защитным панцирем, который при первой возможности превращался в Panzerkraft, бронированный кулак для наступательного удара. Чисто интуитивно она пыталась воспроизвести порядки старой империи, как она их понимала; а понимала она их примерно так же, как судил о картине известный «критик» из притчи — «не свыше сапога». Во внешнеполитическом плане, например, от прежних имперских устремлений остались одни только хватательные инстинкты, еще усугубленные остаточным зудом «мировой революции». Нехитрую формулу постреволюционной державности можно вывести, слегка переиначив классический двучлен: «Держать и не пущать!»

Эта держава не могла обойтись без врагов; и она сама создавала их себе — на свою голову. Единственным реальным врагом была для нас фашистская Германия со своими союзниками; но политика правящих кругов по отношению к ним отмечена грандиозными конфузами. И победа в конечном счете была одержана не столько благодаря, сколько вопреки «мудрому руководству»¹⁵. В послевоенные годы правящие круги повели дело к совершенно абсурдному — уникальному по масштабам и по бессмыслиности — военному противостоянию чуть ли не со всем миром сразу. Противостоянию, стоявшему фантастических средств и вконец разорившему страну.

Все пороки номенклатуры (в ее молодые годы) воплотил ее кумир — Сталин. К сожалению, и сегодня многие склонны преувеличивать его «заслуги». Я говорю не о поклонниках Сталина, свято верующих в его «величие и гениальность», а о трезвых, в общем-то, людях, считающих, что он был «крупным политиком». Но крупный политик — тот, кому

¹⁵ Великой Отечественной войны, стоявшей неимоверных жертв, не должно было быть, во всяком случае как Великой и Отечественной. Если бы режим имел более человеческое лицо, если бы у него было больше ума, он не отталкивал бы своих естественных союзников, и тогда Германии с самого начала пришлось бы вести войну (если бы вообще она осмелилась ее начать) на два фронта, и само собою разумеется, ход ее был бы совершенно иным. Колossalные просчеты были и в собственно военной области; вполне возможно, что все разоблачения Виктора Суворова на сей счет достаточно близки к истине. Прибавим к этому, что и самый фашизм появился на свет не без «нашего» участия. Вряд ли Гитлер и Муссолини сумели бы проложить себе тот путь, который они проложили, если бы не имели перед глазами большевистского примера.

видны горизонты, а Сталин умел видеть лишь немногим дальше собственного носа. Троцкий писал: «Он проницателен на небольших расстояниях. Исторически он близорук»¹⁶. Косоглазый (исторически) в данном случае точно «вычислил» близорукого.

Любой сколько-нибудь серьезный историк знает, что когда речь идет о каких-то макроявлениях, связь причин и следствий в истории растягивается на десятилетия и даже на столетия. Но люди склонны укорачивать связь причин и следствий: если было «при» Сталине что-то позитивное — прежде всего это, конечно, победа над Германией — значит, в том заслуга Сталина. На самом деле победа над Германией практически целиком была достигнута усилиями «малых сих» — «человеческого материала», еще сохранявшего многие качества, выработанные на протяжении веков. Сталин швырялся им направо и налево, не ведая о его настоящем происхождении и не задумываясь над тем, надолго ли его хватит. В «оптике» вождя только физические величины имели вес, всё прочее было марево, не стоявшее внимания. «Сколько дивизий у римского папы?» — весь он, как на ладони, в этом, якобы шуточном вопросе. И вот, благодаря такому его образу мыслей, у нас сейчас вряд ли съется хотя бы одна стопроцентно боеспособная дивизия.

Даже фантастические гекатомбы, совершившиеся вроде бы по мановению его полузысохшей руки, не делают его «крутым», хотя бы и в самом негативном смысле. Такая уж ему выпала роль: сидя в своем кабинете, подписывать бумажки, обрекающие на смерть миллионы людей.

Волею номенклатуры на Россию сел «мелкий бес». Один из дореволюционных критиков (Б. Бояновский) довольно неожиданно, но и не без оснований, усмотрел черты Передонова... в Иване Грозном. Тем более узнаваем в этом образе Сталин. Его легко представить осаждаемым всевозможными страхами и бормочущим детские чурания, какие-нибудь «чур-чурашки, буки-таракашки». Единственное, в чем нельзя ему отказать, так это в некоторой чуткости: он вовремя ощутил (ноздрей почуял, как сказал бы Солженицын), кого номенклатура хотела бы видеть над собой — владыку азиатского типа, недосягаемо вознесенного над смертными¹⁷; он долго осваивал эту роль и в конце концов освоил неплохо (и было бы любопытно проследить, этап за этапом, как в среде амикошонствующих товарищей вызревал — наверное, даже к собственному тайному изумлению — новоявленный «владыка ассирийский»).

¹⁶ Троцкий Л. Портреты революционеров. М., 1991. С. 59.

¹⁷ Лишите Сталина окружающего его пафоса дистанции, и от него останется мокре место. Попробуйте вообразить, к примеру, что он принял бы предложение Пастернака, сделанное в известном телефонном разговоре, — встретиться, чтобы поговорить «о жизни, о смерти, о судьбе» (кажется, так). И что разговор протекал бы «свободно и раскованно» (наподобие того, как беседовали Наполеон и Гёте). Сталин сразу лопнул бы, как мыльный пузырь.

Парадокс: был культ личности, а самой личности — по большому счету — не было. Была лишь шишка на ровном месте, «персонификация бюрократии» (Троцкий).

«Сапожный» взгляд на империю предопределил ее скорый крах. Инстинктивно номенклатура должна была почувствовать его приближение задолго до того, как он наступил; иначе чем объяснить рост в этой среде мафиозного сознания? Западные советологи уже в 70-е годы подметили: в номенклатурной среде существует *krugovaya rogika*, весьма напоминающая мафиозные нравы и трудносовместимая с государственничеством¹⁸. Это тоже был знак, что догорела свечка до полочки.

С точки зрения ее собственных интересов номенклатура славно закончила советский период: в *pendant* к ограблению «верхов» 1917 года в начале 90-х было проведено ограбление «низов». Утучнившись таким образом, она как бы сама себя передала в наследство «новой России». Хотя что с нею, «новой Россией» то есть, — ограбленной материально и духовно, разваливающейся вдоль и поперек — делать дальше, вчерашние советские начальники, судя по всему, представляют себе очень смутно.

На том суде истории, будет, однако, что сказать и адвокатуре. Основная линия защиты будет, наверное, такая: ответственность за все деяния (равно как и недеяния) номенклатуры несут большевики. Это они объективно привели ее к власти; номенклатура же просто не могла прыгнуть выше самой себя. Незадачливые ученики волшебников, взявшись сдвигать горы, вытолкнули наверх социальные элементы, совершенно не подготовленные к тому, чтобы возглавить страну в критический момент истории. Так много ли можно с них спросить?

Найдется, наверное, что сказать и в пользу номенклатуры. Были, наверное, такие обстоятельства, когда она вела себя хоть и не лучшим, но и не самым худшим образом. Не берусь говорить об этом подробнее: требуется обстоятельный разбор «дела». Во всяком случае, решительность, с какою на пороге 90-х годов было покончено с догмами идеологии, безусловно, должно быть поставлено ей — точнее, определенной ее части — в заслугу. У людей, стоявших в тот момент у власти, хватило здравого смысла на то, чтобы круто повернуть руль государственного корабля, который в противном случае еще десятилетие-другое мог следовать прежним гибельным курсом. Хотя мотивы, подвигнувшие их на этот шаг, были разными, чувство ответственности за страну, смею думать, занимало среди них не самое малое место.

Даже последующая трансформация значительной части бывших номенклатурщиков в зубастых капиталистов объективно заключает в себе некоторый позитивный момент, ибо напоминает о низовой правде мира сего, которую нельзя истребить, а можно лишь ввести в определенные рамки. «Живая жизнь» по-своему права, когда она противостоит мертвым

¹⁸ См. *Klugman J. The New Soviet Elite. New York. 1989.*

схемам; а уж если облик ее становится особенно отталкивающим, то тут спасти положение может только верховная правда.

История номенклатуры должна положить конец идеализации бедных, к которой был так привержен XIX век. В Евангелии нет идеализации бедных, там есть предупреждение богатым: их ситуация затрудняет для них получение «билета» в Царство Божие. Христианин должен стремиться к тому, чтобы елико возможно быть свободным от вещей; идеалом является для него добровольная бедность. «Бедняки силою обстоятельств» могут носить в себе больше чертей, чем богатые. А уж те бедняки, что стали таковыми лишь по причине собственной нерадивости, заслуживают скорее осуждения, чем сочувствия. В народе всегда почитали юродивых, а о нерадивых говорили: богатство перед Богом грех, а бедность перед людьми.

С другой стороны, нынешняя черствость, нынешнее презрение к бедным, демонстрируемые как раз людьми самого худого корня, конечно, совершенно нетерпимы. Особенно важно оградить от подобной черствости детей¹⁹. Не говорю уже о том, что чересчур бедных просто не должно быть. То есть не должно быть крайностей в распределении материальных благ, похоже, с легким сердцем принимаемых нынешней элитой и особенно режущих глаз сейчас, когда что-то еще остается от прежней иллюзии всеобщего взаимного товарищества.

Каков будет вердикт, вынесенный высоким судом, мы не можем знать хотя бы уже потому, что история номенклатуры не закончена. Хотя и близится к завершению: ядро старого правящего слоя постепенно растворяется в массе пришельцев со стороны²⁰. Пока что среди них более других бросаются в глаза криминальные элементы, вливавшиеся с того ее боку, что слабее в нравственном отношении. Но с другого ее боку старую элиту обогащают способные в том или ином отношении люди, вроде бы наделенные чувством ответственности, без которого не может быть правящей элиты, заслуживающей этого имени. Хочется думать, что и старые кадры не целиком этого чувства лишены. Солженицын: «Да кто умней — не может не понимать, что одно самоустройство — ничего не решает:

¹⁹ Смотрел недавно одну телепередачу: дети не могли ответить на вопрос, кто такая Козетта («Гаврош» и «Козетта» — два отрывка из «Отверженных», которые советские школьники «проходили» в младших классах). По-моему, это не пустяк. «Жест» Жана Вальжана, принимающего ведро из рук Козетты, — один из самых пронзительных «жестов» в мировой литературе. Советские школьники, не учившие Закона Божьего, воспитывались, между прочим, и на таких «текстах». Кому понадобилось изыматать этот отрывок из школьной программы?

²⁰ В. Парето и Г. Москва в один голос сказали бы, что происходит циркуляция элит, причем первый имел бы в виду, что старая элита обогащается за счет новых людей, а вторая — что в обществе возникают новые силы, создающие новые элиты, в дополнение к старым. И оба были бы правы.

займи ты хоть самую лучшую каюту — а если корабль тонет всё равно?»
«На изломах»).

Остается надежда, что история номенклатуры завершится не самым худшим образом. В конце концов, не боги горшки обжигают. Быть может, как раз обилие неудавшихся «горшков» побудит «горшечников» показать, что они еще на что-то способны. Из той правящей среды, какая есть, может и должна выйти когорта реформаторов, которая поведет дело гораздо более умело, чем это было до сих пор. И может быть, во главе ее явится, наконец-то, сильная личность — не «рукой» сильная, а умом и характером, — которой так бесконечно долго нам не хватало.

О. Сер吉й Булгаков писал в 1922 году: Россия — «вовсе не дряхлый и состарившийся больной... она полна сил и еще молода, и если она погибнет теперь, это будет преждевременная и неестественная, ранняя смерть пьяницы, самоубийцы, блудника, не умевшего вовремя остановиться и покаяться...»²¹

Неужели эти слова устарели за семьдесят пять лет?

²¹ Булгаков С. У стен Херсониса. М., 1993. С. 152.

Кирилл ПОДРАБИНЕК
Александр ГОДЛЕВСКИЙ

ПРАВОСУДИЕ В РОССИИ?

Два российских гражданина решили поставить эксперимент над российским правосудием. Цель концептуальная: выяснить, могут ли граждане законным образом защититься от беззакония властей? Кто-то скажет: а то они и без эксперимента не знают ответа — юридический механизм тут не работает. Но, во-первых, и очевидные положения бывает полезно доказать. Во-вторых, важно не только знать, что механизм не работает, но и как он не работает. Тогда появляется возможность понять, почему не работает, давая надежду на выяснение вопроса «как исправить».

Вот почему эксперимент было задумано провести «в чистом виде», стараясь исследовать на прочность наиболее важные детали, т.е. юридические нормативы и их сопряжение с реальной жизнью. Следовательно, необходимо было соблюсти некоторые условия. Беззаконие должно было быть масштабным, широко известным. Оно не должно было касаться экспериментаторов напрямую, непосредственно, чтобы избежать поправки на узкочисленные интересы. Беззаконие должно было исходить от центральной власти, чтобы не мешали вторичные эффекты, присущие беззаконию властей местных. Наконец, механизм надо было испытывать в столице, чтобы избежать поправки на экзотику местной юстиции.

Кирилл
ПОДРАБИНЕК

— родился в 1952 г. в Москве. Участник правозащитного движения, с 1977 по 1983 гг. — политзаключенный. Автор многих статей на общественно-политические и правозащитные темы, публиковавшихся в Самиздате и за рубежом. В последние годы печатается в «Экспресс-хронике» и центральной прессе. Живет в г. Электросталь, работает в котельной.

Александр
ГОДЛЕВСКИЙ

— родился в 1960 г. в г. Ногинске (Московская область). Юрист по образованию, занимался правозащитной деятельностью с коммунистических времен, преследовался по политическим мотивам. Публиковал в периодике статьи на юридические темы. Живет в Ногинске.

Итак:

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РФ

от Годлевского А.А., 142400, Моск. обл., г. Ногинск, ул. 1-я Ново-Торбеевская, 18; Подрабинека К.П., 144005, Моск. обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, 20-а, кв. 119.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В декабре 1994 г. российские вооруженные силы начали боевые действия на территории Чечни. При этом целенаправленным артиллерийским и ракетно-бомбовым ударам подвергались жилые кварталы г. Грозного и другие населенные пункты. В результате чего имеются многочисленные жертвы среди мирного населения.

В соответствии со ст. 5 Закона РФ «Об обороне» отдавать приказы Вооруженным Силам РФ на ведение военных действий правомочен только Верховный Главнокомандующий — Президент РФ. Ст. 10 указанного закона устанавливает, что Вооруженные силы РФ предназначены для отражения агрессии и нанесения агрессору поражения, а также для выполнения задач в соответствии с международными обязательствами РФ. Привлечение частей, подразделений и других формирований Вооруженных Сил к выполнению задач, не связанных с их предназначением, допускается только на основании закона. Какие-либо законы, предусматривающие возможность применения Вооруженных Сил РФ для разрешения внутренних конфликтов, в действующем законодательстве отсутствуют.

Целенаправленные действия против мирного населения продолжались в течении длительного времени и широко освещались в средствах массовой информации. Президент РФ знал об этом и был обязан немедленно принять меры к пресечению и предотвращению таких действий. Однако реальных мер им принято не было, что доказывает наличие в его действиях прямого умысла на целенаправленное ведение военных действий против мирного населения.

Тем самым действия Президента РФ, отдавшего приказ на ведение военных действий в Чечне, являются превышением власти, направленным на массовые убийства мирного населения способами, представляющими опасность для жизни многих людей. Неприятие Президентом РФ немедленных мер к пресечению и предотвращению таких способов ведения военных действий является злоупотреблением властью, повлекшим тяжкие последствия. Указанные деяния содержат признаки, образующие составы преступлений, предусмотренные ст.ст. 102 пп. «д», «з», 170 ч. 2, 171 ч. 2 УК РСФСР.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 108—110, 112 УПК

ПРОСИМ:

воздушить уголовное дело по признакам ст.ст. 102 пп. «д», «з», 170 ч.2, 171 ч.2 УК РСФСР по фактам отдания Президентом РФ Ельциным Б.Н.

приказа о ведении военных действий в Чечне и неприятия мер к защите мирного населения.

Содержание ст. 180 УК РСФСР, предусматривающей уголовную ответственность за заведомо ложный донос, нам известно.

21 июня 1995 г.

* * *

В предусмотренный ст. 109 УПК срок 3 суток (в исключительных случаях — 10 суток) никакого решения по заявлению принято не было. Что вообще характерно для поведения прокуроров. Если ответ приходит, то не в срок. Причем это обычно некая писулька, в то время как ст.ст. 112, 113 УПК прямо обязывают прокурора вынести мотивированное постановление о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела (по установленной форме). Чтобы подхлестнуть Генпрокуратуру, мы обратились к Генеральному прокурору с просьбой о привлечении к уголовной ответственности по ст. 170 УК должностных лиц Генпрокуратуры, заволокивших принятие решения. Ответа на это заявление мы не дождались. Зато получили ответ на предыдущее. Почти через два месяца нас любезно известили:

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10.08.95 г. № 15/5-6483-95

Ваше заявление о привлечении к уголовной ответственности должностных лиц рассмотрено.

31.07.95 г. Конституционным судом России принятые высшими органами власти Российской Федерации решения в связи с событиями в Чеченской Республике признаны соответствующими положениям Конституции Российской Федерации.

При таких обстоятельствах оснований для применения уголовно-процессуального закона не имеется.

*Начальник отдела управления по надзору
за расследованием преступлений
В.Д. НОВОСАДОВ*

Типичный пример отписки! Причем сразу понятно стало долгое молчание Генпрокуратуры: там ждали решения Конституционного Суда. Далось же оно им! Постановлением КС РФ от 31 июля 1995 г. признан соответствующим Конституции только Указ Президента от 9 декабря 1994 г. № 2166 «О мерах по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта». Но в нем не содержится приказа Вооруженным Силам на ведение военных действий! Вообще такой приказ в официально опубликованных актах Президента отсутствует, и сведений о том, как такой приказ отдавался, не имеется. Если же его вовсе не было, получается забавно: войска сражаются без приказа Верховного Главнокомандующего. Что, естественно, законности всему проис-

ходящему не добавляет. К тому же, Конституционный Суд пока еще не умудрился признать конституционным непринятие мер к защите мирного населения, попросту говоря — соучастие в массовых убийствах.

Впрочем, мы и не расчитывали на возбуждение уголовного дела прокуратурой. Может быть суд поведет себя достойней, покажет свою независимость? Риторический вопрос ... И всё же — почему бы не воспользоваться своим конституционным правом на обращение в суд?

1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

2. Решения или действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд ... (ст. 46 Конституции РФ)

Тем более, что существует и Закон РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».

Итак:

ТВЕРСКОЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ (РАЙОННЫЙ) НАРОДНЫЙ СУД г. МОСКВЫ

от Годлевского А.А., 142400, Моск.обл., г. Ногинск,ул. 1-я Ново-Торбеевская, 18; Подрабинека К.П., 144005, Моск.обл., г. Электросталь,ул. Жулябина, 20-а, кв.119.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН: Генеральная прокуратура РФ, 103864, Москва, ул. Пушкинская, 15-а.

ЖАЛОБА

26.06.95 г. в Генеральную прокуратуру РФ поступило наше заявление о преступлении, в котором ставился вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ст.ст. 102 пп. «д», «з», 170 ч. 2, 171 ч. 2 УК по фактам отдания Президентом РФ Ельциным Б.Н. приказа Вооруженным Силам РФ о ведении военных действий в Чечне и неприятия мер к защите мирного населения.

В нашем заявлении указаны деяния, содержащие признаки, образующие составы преступлений, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР. В соответствии со ст. 112 УПК Генеральная прокуратура РФ была обязана возбудить уголовное дело по заявлению и произвести необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела. Ст. 91 Конституции РФ, устанавливающая неприкосновенность Президента РФ, не является препятствием к возбуждению дела, т.к. в заявлении содержалось требование только о возбуждении уголовного дела по фактам деяний Президента РФ. Вопрос о привлечении его к уголовной ответственности не ставился. Порядок отрешения Президента РФ от должности регламентирован ст. 93 Конституции РФ.

В сроки, установленные ст. 109 УПК, уголовное дело по нашему заявлению возбуждено не было, в результате чего Генеральной прокуратурой РФ нарушены наши охраняемые законом права.

Обстоятельства, лежащие в основании настоящей жалобы, могут быть подтверждены материалами проверки нашего заявления.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 239-7 ГПК РСФСР

П Р О С И М :

обязать Генеральную прокуратуру РФ в установленном законом порядке возбудить уголовное дело по признакам ст.ст. 102 пп. «д», «з», 170 ч. 2, 171 ч. 2 УК РСФСР по фактам отдания Президентом РФ Ельциным Б.Н. приказа Вооруженным Силам РФ на ведение военных действий в Чечне и неприятия мер к защите мирного населения.

В соответствии со ст.64 ГПК просим истребовать из Генеральной прокуратуры РФ материалы проверки нашего заявления, поступившего 26.06.95 г.

Приложение: 1. Марки госпошлины. 2. Копия настоящей жалобы на 1-м листе. 17 августа 1995 г.

* * *

В установленные ст. 99 ГПК сроки суд никаких мер по рассмотрению жалобы не принял. В связи с чем мы направили Генеральному прокурору РФ заявление о привлечении к уголовной ответственности судей по ст. 170 УК за фактический отказ в правосудии. Ответа на это заявление мы тоже не дождались, зато наконец получили из суда

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 19.09.95 г.

Народный судья Тверского районного народного суда г.Москвы Сергеева О.В., рассмотрев жалобу Годлевского А.А., Подрабинека К.П. на действия Генпрокуратуры РФ, установила, что данное заявление не может быть принято к судебному разбирательству по следующим обстоятельствам: не подлежат рассмотрению в суде жалобы на действия следственных и прокурорских органов, т.к. Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» предусмотрен иной порядок обжалования.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ст.129 ГПК определил отказать: в принятии заявления, разъяснив, что для разрешения требований следует обратиться в порядке подчиненности.

Народный судья СЕРГЕЕВА О.В.

Тогда в кассационную инстанцию, Мосгорсуд, нами 27.09.95 г. была направлена частная жалоба на определение, в которой, в частности, указывалось следующее:

Названное определение подлежит отмене по следующим основаниям. В соответствии со ст.ст. 1,3 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» могут быть обжалованы в суд любые действия (решения) государственных органов и долж-

ностных лиц, кроме действий (решений), проверка которых отнесена законодательством к исключительной компетенции Конституционного Суда РФ, либо в отношении которых предусмотрен иной порядок судебного обжалования. Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 постановления от 21.12.93 г. № 10 «О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан» разъяснил, что не могут быть обжалованы в суд в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», только те действия прокурора и следователя, в отношении которых уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством, законодательством об административных правонарушениях установлен иной порядок судебного обжалования.

Иной судебный порядок обжалования действий органов следствия и прокуратуры при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении действующим законодательством не установлен. В нарушение требований ст.ст. 129, 224 ГПК в определении отсутствует ссылка на норму закона, которая бы устанавливала такой порядок.

На основании изложенного, в соответствии с п. 2 ст. 317 ГПК

П Р О С И М :

отменить определение от 19.09.95 г. и направить дело в суд первой инстанции для рассмотрения по существу.

Заявление о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 177 УК в отношении судьи Сергеевой О.В. по факту вынесения заведомо неправосудного определения от 19.09.95 г. направлено нами Генеральному прокурору РФ для принятия действий в соответствии с п.3 ст.16 Закона «О статусе судей РФ».

* * *

Генпрокурор на заявление о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Сергеевой не ответил. А 02.11.95 г. в Мосгорсуде состоялось заседание Судебной коллегии по гражданским делам (председательствующая Миронова А.И., члены Борисова, Жбанова), в результате чего на свет появилось определение, мотивированную часть которого приводим:

Отказывая в приеме жалобы, судья правильно указала в определении, что жалобы на действия следственных и прокурорских органов не могут быть рассмотрены на основании Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», т.к. вопросы возбуждения уголовного дела разрешаются в порядке, предусмотренном УПК РСФСР.

В соответствии со ст. 91 Конституции РФ Президент РФ обладает неприкосновенностью.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 317 ГПК, судебная коллегия определила:

определение Тверского суда от 19.09.95 г. оставить без изменения, частную жалобу Годлевского А.А., Подрабинека К.П. — без удовлетворения.

Ну что тут скажешь! Вот ведь с каким упорством судебные инстанции не обращают внимания ни на Конституцию, ни на законы, ни на приводимые доводы. Чего тут больше, злонамеренности или невежества, пусть решает читатель. Авторы к согласию по этому вопросу не пришли. Но заглавие статьи все же следовало бы изменить на: «Правосудие? В России!»

Разумеется, нами было отправлено следующее заявление.

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РФ

копия: Председателю Мосгорсуда

от Годлевского А.А., 142400, Моск.обл., г. Ногинск, ул. 1-я Ново-Торбееевская, 18; Подрабинека К.П., 144005, Моск. обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, 20-а, кв. 119.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Мосгорсуда от 02.11.95 г. оставлена без удовлетворения наша частная жалоба на определение Тверского нарсуда от 19.09.95 г. (дело № 33-6180/95).

Названное определение Мосгорсуда является неправосудным. Определением судьи Тверского межмуниципального народного суда г. Москвы Сергеевой О.В. от 19.09.95 г. нам отказано в принятии жалобы на действия Генеральной прокуратуры РФ при рассмотрении нашего заявления о преступлении, в котором ставился вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ст.ст. 102 пп. «д», «з», 170 ч. 2, 171 ч. 2 УК РСФСР по фактам отдания Президентом РФ Ельциным Б.Н. приказа Вооруженным Силам РФ о ведении военных действий в Чечне и неприятия мер к защите мирного населения. Отказ по п. 1 ст. 129 ГПК мотивирован тем, что жалобы на действия следственных и прокурорских органов не подлежат рассмотрению в суде, т.к. Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» предусмотрен иной порядок обжалования, и для их разрешения следует обратится в порядке подчиненности.

В нашей частной жалобе были указаны следующие основания, ведущие к отмене определения Тверского нарсуда.

В соответствии со ст.ст. 1, 3 Закона РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» могут быть обжалованы в суд любые действия (решения) государственных органов и должностных лиц, кроме действий (решений), проверка которых отнесена законодательством к исключительной компетенции Конституционного Суда РФ, либо в отношении которых предусмотрен иной порядок судебн-

ного обжалования. Пленум Верховного Суда РФ в п. 2 постановления от 21.12.93 г. № 10 «О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан» разъяснил, что не могут быть обжалованы в суд в порядке, предусмотренном Законом РФ «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан», только те действия прокурора и следователя, в отношении которых уголовно-процессуальным, гражданским процессуальным законодательством, законодательством об административных правонарушениях установлен иной порядок судебного обжалования.

Иной судебный порядок обжалования действий органов следствия и прокуратуры при рассмотрении заявлений и сообщений о преступлении действующим законодательством не установлен. В нарушение требований ст.ст. 129, 224 ГПК в определении отсутствует ссылка на норму закона, которая бы устанавливала такой порядок. Обжалование в порядке подчиненности вообще не является судебным порядком.

При таких обстоятельствах Судебная коллегия Мосгорсуда была обязана определение Тверского нарсуда отменить, а дело направить в суд первой инстанции для рассмотрения по существу. Однако она не сделала этого, в результате чего мы были лишены права на обжалование в суд действий государственных органов, гарантированного Законом РФ «Об обжаловании ...» и ст. 46 Конституции РФ.

В нарушении требований ст. 311 ГПК в определении Мосгорсуда не приведены мотивы, по которым доводы частной жалобы признаны неправильными. В частности, не указано, какой именно иной порядок судебного обжалования установлен для действий прокуратуры при принятии решений по заявлениям о преступлении, и отсутствует ссылка на норму закона, которая бы устанавливала такой порядок.

Кассационная инстанция неправомочна разрешать вопрос об обоснованности нашей жалобы на действия Генпрокуратуры, а только была обязана разрешить вопрос о подведомственности жалобы суду.

Судьи Мосгорсуда знали требования закона, осознавали, что выносимое ими определение неправосудно, но вынесли его, что свидетельствует о наличии в их действиях прямого умысла на вынесение заведомо неправосудного определения с целью лишить граждан права на правосудие. Об этом свидетельствует и немотивированность определения.

Указанные действия судей содержат признаки, образующие состав преступления, предусмотренный ст. 177 РСФСР УК.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 108—110, 112 УПК и п. 3 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей РФ»

ПРОСИМ:

возбудить уголовное дело по признакам ст. 177 УК в отношении судей Мосгорсуда по факту вынесения заведомо неправосудного определения от 02.11.95 г.

Содержание ст. 180 УК РСФСР, устанавливающей уголовную ответственность за заведомо ложный донос, нам известно.

14 ноября 1995 г.

* * *

Зам. председателя Мосгорсуда Приверзенцев С.Н., очевидно притворяясь незаметившим, что ему послали лишь копию, ответил в том духе, что возбудить дело может только Генпрокурор. А то мы без него не знали! Ну а Генпрокурор, по обыкновению, отмалчивается. Поскольку такое его поведение нам изрядно надоело, пришлось потребовать от него возбудить уголовное дело против самого себя:

ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ РФ

от Годлевского А.А., 142400, Моск.обл., г. Ногинск, ул. 1-я Ново-Торбеевская, 18; Подрабинека К.П., 144005, Моск. обл., г. Электросталь, ул. Жулябина, 20-а, кв. 119.

ЗАЯВЛЕНИЕ

17.11.95 г. в Генеральную прокуратуру РФ поступило наше заявление о преступлении, в котором ставился вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 177 УК РСФСР в отношении судей Мосгорсуда по факту вынесения заведомо неправосудного определения от 02.11.95 г. по нашей жалобе на действия Генеральной прокуратуры РФ при рассмотрении нашего заявления о возбуждении уголовного дела по признакам ст.ст. 102 пп. «д», «з», 170 ч. 2, 171 ч. 2 УК РСФСР по фактам отдания Президентом РФ Ельциным Б.Н. приказа Вооруженным Силам РФ о ведении военных действий в Чечне и неприятия мер к защите мирного населения.

П. 3 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей РФ» устанавливает, что уголовное дело в отношении судей может быть возбуждено только Генеральным прокурором РФ или лицом, исполняющим его обязанности.

В нашем заявлении указаны деяния, содержащие признаки, образующие состав преступления, предусмотренного ст. 177 УК РСФСР. В соответствии со ст. 112 УПК Генеральный прокурор РФ был обязан принять установленные п. 3 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей РФ» меры к возбуждению уголовного дела по заявлению. Однако по истечении сроков, предусмотренных ст. 109 УПК, таких мер в установленном порядке принято не было. Мотивированное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не вынесено. В результате указанных нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства Генеральным прокурором РФ причинен существенный вред нашим охраняемым законом правам и интересам.

Указанное деяние Генерального прокурора РФ содержит признаки, образующие состав преступления, предусмотренный ст. 170 УК РСФСР.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 108—110, 112 УПК

ПРОСИ:

воздушить уголовное дело по признакам ст. 170 УК РСФСР в отношении Генерального прокурора РФ Скуратова по факту грубого нарушения закона при рассмотрении нашего заявления, поступившего в Генпрокуратуру 17.11.95 г.

Содержание ст. 180 УК РСФСР, предусматривающей уголовную ответственность за заведомо ложный донос, нам известно.

18 декабря 1995 г.

Ответа мы, естественно, не дождались до сих пор. На этом эпопея получила логическое завершение. Можно строчить жалобы, испытывать бумаги, но важно вовремя остановиться. Эксперимент окончен. Реализовать конституционные права, добиться хотя бы гласного судебного разбирательства дела по существу нам не удалось. Но отрицательный результат — тоже результат. Надо заметить, что советск..., прости, российская юстиция над всеми нами тоже ставит затяжной эксперимент. Каков может быть результат? Тут уместно вспомнить Томаса Джефферсона:

«Когда долгий ряд злоупотреблений и попыток узурпации власти, преследующих неизменно одну и ту же цель, свидетельствуют о намерении подчинить народ неограниченному деспотизму, то его право и долг свергнуть такое правительство».

(Декларация независимости, принятая 4 июля 1776 г.)

Да вот беда, свержение правительства в России до сих пор беззаконий не уменьшало. Но это уже другая тема.

Р.С. Все-таки тяжба, видимо, продолжится. Исчерпав все национальные средства, мы намерены перенести дело в международные инстанции, о чем расскажем читателям «Континента» позднее.

«НОВЫЙ ВЕК»: НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Борис Пастернак

Кажется, чаще всего на семинарах по истории религии раздается нынче словечко «как бы». Студенты его просто обожают, не пренебрегают им и аз грешный.

Слово это используется в двух смыслах. Любой религиозный феномен «как бы» существует, мы не можем настаивать на его истинности, но можем принять его условно и в таком качестве пожонглировать им в ходе наших рассуждений. Речь идет не о вере или неверии. Эта оппозиция выносится за скобки и позволяет нам оставаться на едином поле, где и происходит наша совместная игра. Иногда она бывает интересной. Немудрящая эта забава имеет и ученое название — феноменологическая редукция, эпохé.

Второе «как бы» — это способ говорения о вещах невидимых, лежащих за пределом человеческого разумения. О них не скажешь прямо, ибо язык человеческий не способен передать их мерцающую глубину. Так употребляет это слово апостол Павел: «как бы сквозь тусклое стекло». Сравнение помогает, когда не хватает слов, чтобы выразить невыразимое. Нетрудно догадаться, что такое «как бы» встречается на наших семинарских посиделках гораздо реже.

Но одно дело — разговор о религии, а другое — она сама. Действительно, как можно выстроить что-нибудь прочное в милой условности игрового пространства? На сцене положено возводить декорации. Не этим ли занимается многомиллионное (!) религиозное движение «New Age» — «Новый век»? Впрочем, один из его идеологов — экстрасенс и визионер

Борис
ФАЛИКОВ

— родился в 1947 г. на Сахалине. Закончил факультет иностранных языков Саратовского пединститута и аспирантуру Института США и Канады РАН. Кандидат исторических наук, преподает историю религии в РГГУ. Автор монографии и около 30 статей по истории религии. Живет в Москве.

Дэвид Спэнглер (род. в 1945 г.) предлагает и другую метафору: «...“Новый век” больше похож на блошиный рынок или сельскую ярмарку — разномастные и непохожие друг на друга будки разбросаны по лугу, а некоторые прячутся уже в деревьях ближнего леса... Ярмарка — место игры и открытий. Она полна живости, безудержности, разноголосицы, только успевай глядеть и подхватывать. Кругом шуты и трюкачи, фокусники и шаманы, знахари и мистики и, конечно, ловкачи, которые норовят поскорее всучить тебе товар и смыться куда подальше. Разнообразие ярмарки может ошеломить, но может и помочь найти новые связи между старыми истинами и обрести неожиданные прозрения и откровения».

Метафора, может быть и хороша, но вот для научного описания «Новый век» представляет исключительную сложность — у него нет ни единого центра, ни фиксированного членства (сведения о многомиллионном составе основаны на числе тех, кто покупает «нововековскую» литературу), ни единых лидеров.

Зато есть примерный список товаров и услуг, рекламируемых на веселой ярмарке. Женская духовность, «гипотеза Гайи», новая физика, экстрасенсорное восприятие, медитация, неязычество и колдовство, кельтское и эзотерическое христианство, восточные единоборства, духовность американских индейцев, контакты с НЛО, спиритизм, китайская Книга перемен, гуманистическая и трансперсональная психология, диетология, травничество, иглоукалывание, коммуны, альтернативные источники энергии, новая биология, измененные состояния сознания, опыт клинической смерти, переселение душ, еврейская каббала, шаманизм, астрология, священные танцы, гомеопатия, гадание по рукам, йога, экофеминизм и просто экологизм... При желании список можно было бы и продолжить.

Что ж, голландский культуролог Йохан Хейзинга в знаменитом своем труде «*Homo Ludens*» («Человек играющий») приучил нас к мысли, что игра может давать и вполне серьезные плоды. Правда, добрая половина из перечисленного не имеет ничего общего с тем, что мы привыкли относить к сфере религиозного, но Спэнглер и не настаивает, что «Новый век» — религия. Нет, каждый волен оставаться в лоне своей, вновь обретенной или унаследованной веры. «Духовная ярмарка» — это пролог, психологическое вступление в метафизическую драму бытия, в которой и осуществляется чаемое обновление космоса — наступление нового эона — «Века Водолея».

Итак, психологическая игра с символами подводит нас к тому пределу, за которым молчание? «Как бы» феноменологии достигает «как бы» апофатики и тактично замирает на пороге Тайны?

Как бы не так! В жизни не встречал людей, более далеких от апофатического косноязычия, чем «нововековцы». Все, что происходит в мире невидимом, известно им до малейших деталей, эсхатологические сроки оговариваются с неумолимой точностью маркетингового анализа.

Воспользуемся же плодами этой разговорчивости. Но прежде немного истории.

Старый «Новый век»

Страстным ожиданием «новых неба и земли» пронизано все раннее христианство. Новому вину нужны новые мечи, они и созидаются в неведомых глубинах. Со временем тайное станет явным, во славе придет Спаситель, и чаемые перемены осуществляются. Вот только когда? О сроках гадать бессмысленно, но так уж устроена душа человеческая, что даже полностью вручая себя воле Божьей, тщится разгадать тайну будущих времен.

В Средние века эсхатологические упования нарастают, и вновь рождаются пророчества о том, как и когда наступит желаемое преображение. Самое известное из них принадлежит Джоаккино да Фьоре (ок. 1132 — 1201). Калабрийский монах предрекает: близится к концу вторая эпоха — Бога — Сына (первая — Бога — Отца завершилась с явлением Иисуса). В ее недрах зреет третья — Святого Духа. С ее наступлением царство утренней зари и роз сменится царством полуденного сияния и лилий, где править будет чистая любовь, а в лоно Церкви вольются эллины и иудеи, и из Петровой станет она Иоанновой.

Одни пророчества сменяются другими, самые нетерпеливые из чающих покидают церковные стены, полагая, что только им и известны истинные сроки. Так мечты о тысячелетнем царстве любви — миллениум — ведут к сознанию собственной исключительности. Новые религии растиут, как грибы, и у каждой про запас своя картинка счастливого будущего.

Но христианство лишь один из источников, питающих миллениаристское сознание. Второй — оккультизм. Правда, «изом» он стал весьма поздно, где-то в начале прошлого века, но как тип религиозности засвидетельствован уже в гностических и герметических текстах, которые по древности почти не уступают христианству, а претендуют на неизмеримо большую. Если в христианстве эсхатологические упования срываются в «эсхатологическое строительство» лишь тогда, когда нетерпение подтачивает веру во всемогущество Господне, то оккультисты не очень и рассчитывают на вмешательство сверху, предпочитая созидать «новый зон» мощным усилием снизу. Поэтому неудивительно, что в Новое время они так легко и естественно вошли в союз с нарождающейся европейской наукой. Пафос был общий — созидание будущего. Да и образы будущего на первых порах не слишком разнились. Кроме того, сложность задачи предполагала высокую квалификацию, а стало быть элитный отбор. Так возникло первое тайное общество — розенкрайцеров, в котором христианский миллениаризм был пропущен через призму протестантской рациональности и, соединившись с оккультным тайнозведением и рациональностью научной, дал поразительно стойкий результат. Это было тем более удивительно, что, как полагают некоторые историки, и общества-то, как такового не было. Просто собрались несколько мечтательных и энергичных людей и учинили *ludibrium* — «благочестивый розыгрыш».

Запустили в сознание европейской интеллигенции оккультный проект преображения мира, выдав его за свершившийся факт. Надежда была на то, что по мере прорастания зерно даст пышные всходы и мир действительно преобразится. Всходы взошли — тайные общества XVIII и XIX столетий, да и мир преобразился, правда, не совсем так, как замышляли розенкрайцеры.

В конце прошлого столетия оккультную атаку на будущее возглавила наша знаменитая соотечественница Елена Петровна Блаватская. В ходе боевых действий она совершила поистине гениальный маневр, заменив подуставший христианский милленизм свежими силами с Востока — индуизмом и буддизмом. Замечу, что первый шаг в этом направлении сделал, как ни странно, идеиный враг розенкрайцеров Генрих Нейгауз, который еще в 1618 г. высказал предположение, что найти их не могут потому, что они скрываются в Индии. Вступив в союз с теософиею Блаватской, индуизм и буддизм в миссионерском порыве двинулись на Запад и стали питательной почвой для многих «нововековских» идей. Говорят, что впервые пророчество о грядущем «Новом веке» Водолея встречается именно у Елены Петровны, но мне его найти не удалось. Хотя духом «нововековским» повеяло со многих страниц.

Российский век Серебряный — еще одна репетиция «Нового века». Христианские эсхатологические чаяния так плотно переплелись с оккультным штурмом небес в «новом религиозном сознании», что на расплетение этого узла предстоит еще потратить немало усилий. Надо сказать, что первыми к этой трудной задаче приступили сами носители нового сознания. Заочная полемика Н.Бердяева с Рудольфом Штейнером и очная с самым знаменитым учеником антропософского доктора в России — Андреем Белым до сих пор не потеряла своей актуальности.

Тем временем «Новый век» окончательно пробивается на поверхность европейского сознания, и происходит это в Англии, где в 1907 г. Элфред Орейдж (1873 — 1934) назвал так свой литературный журнал. Деньги на издание дал Бернард Шоу. И тут случилась странная история. Основав журнал, Орейдж — теософ со стажем, охладевает к своим оккультным интересам и в течение десятка лет занимается добротной литературной критикой. Журнал становится популярным, в нем печатаются Элиот и Паунд, но от судьбы не уйти. Орейдж увлекается учением Дмитрия Митриновича, сербского мистика, имевшего большой успех в оккультных салонах Лондона, и печатает в журнале его статьи о духовных аспектах европейской политики. В них впервые встречается идея «открытого заговора», которую через полвека с удовольствием подхватят «нововековцы» американские. Речь идет о союзе европейских мистиков, способном повлиять на европейских политиков и удержать их от опрометчивых шагов.

Со временем Орейдж охладел к Митриновичу, но вскоре нашел ему замену. Это был Георгий Иванович Гурджиев (1866?—1949), «учитель мудрости» с Кавказа, только что бежавший из революционной России. Внешне серб и кавказец весьма напоминали друг друга — бритая голова,

пронзительные черные глаза. Именно так впечатлительные европейцы представляли себе архетипический облик таинственного «восточного учителя». Жизнь следовала за идеалом. Знакомство произошло в Стамбуле, где Орейдж представлял интересы британской разведки. Гурджиев, по слухам, тоже шпионил, но в чью пользу, так и осталось невыясненным. Митринович же тем временем принял под крыло популяризатора буддизма англичанина Элана Уотса (1915—1973), который сыграл весьма важную роль в становлении «Нового века» в современном смысле этого термина по обе стороны Атлантики.

Столь тесное сплетение судеб предшественников «Нового века» сами они были склонны объяснить оккультными причинами, мы же отметим лишь, что круг людей с подобными взглядами был в ту пору весьма невелик, а люди это были очень активные, так что не встретиться друг с другом им было довольно сложно.

Однако список предшественников будет неполным без Элис Бейли (1880—1949), американской теософки, тоже, кстати, британского происхождения. По подсчетам специалистов, в каждой из ее четырнадцати шестисотстраничных книг, где она вслед за Блаватской выступает конфиденткой тибетского махатмы Джавала Кхула, можно найти до шестидесяти упоминаний «Нового века». Ну как тут не впасть в мистику чисел.

«Рассвет века Водолея»

По мнению одного из самых пристальных наблюдателей новой религиозности американского историка Гордона Мелтона, начало «Нового века» как отдельного духовного движения можно датировать началом 60-х годов. К этому времени в Англии возросло число независимых теософских объединений (так называемых «групп Света»), которые исходили из того, что астрологический прогноз о наступлении «Века Водолея» начал сбываться.

Астрология полагает, что каждые две тысячи сто шестьдесят лет весеннее равноденствие смещается на один знак Зодиака и начинается новый космический век. Прежний был веком Рыбы, нынешний будет веком Водолея. В нем и произойдет желанное преображение мира и человечества. Вот только на точной дате астрологи сойтись не могут, и она колеблется от 1904 до 2160 г. Последняя дата была высчитана членами оккультного ордена «Золотой рассвет», основанного в Англии в 1888 г. В орден входили столь разнообразные люди, как знаменитый «черный маг» Алистер Краули (1875—1947) и будущий лауреат Нобелевской премии поэт Уильям Йейтс (1856—1939).

Но «группы Света» не собирались ждать так долго и тем более сидеть сложа руки. Мысля себя каналами духовного света, они стали распространять его не только в Англии, но и в Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африке. Однако наибольший успех стяжание Света получило в энергичной Америке. Этому способствовало и одно неожи-

данное обстоятельство. В 1965 г. президент Джонсон отменил закон, ограничивающий иммиграцию из Азии. Замирение воинственных вьетнамцев привело к увеличению потока беженцев, который нуждался в законном оформлении. Среди новых иммигрантов оказалось немало восточных гуру, которые начали активно обучать американцев различным индусским и буддийским психотехникам. Свет, как ему и положено, забрезжил с Востока.

Наложившись на астрологическое пророчество, новый синтез восточных религий и западного оккультизма, сформулированный на языке современной науки (по преимуществу психологии и новой физики), приобрел невиданный прежде размах. Этому немало способствовал и повышенный градус социальной активности молодежи. Активность эта, в силу ряда обстоятельств, легко вылилась в нетрадиционные формы. Дополнительными источниками энергии стали экологическое и феминистское движения. Над страной вставал «рассвет века Водолея». В 1967 г. об этом распевала уже вся молодая Америка. Песенка была из бродвейского суперхита «Волосы».

«Все былое былина стало...»

«Все былое былина стало, и то, что было очень мало, — и мы теперь должны начать». Так по-русски в начале века писал великий Рильке. Видимо, приближение к тайне чужого языка рождает острое предчувствие новизны. Новый язык — новое бытие. Произнося мантры на чужом языке, мы осознаем себя новыми существами. Рильке был поэт и сам сложил себе мантру. Молодые американцы, купившие билет в «Индию духа», вначале предпочитали пользоваться чужими, но вскоре активно принялись за составление своих. Одним из первых в этом преуспел Ричард Элперт (род. в 1931 г.), который в поисках мистического опыта экспериментировал с галлюциногенами затем ненадолго отлучился в Индию и вернулся оттуда уже Рам Дасом. Профессиональный психолог (в пору своих экспериментов с ЛСД он был одним из самых молодых профессоров Гарварда) Элперт—Дас сумел препарировать индуизм и буддизм в духе гуманистической психологии и к началу семидесятых стал одним из первых «представителей Нового века» на общенациональном уровне.

В восточных религиях Рам Дас акцентировал момент активизма (здесь почва для него уже была подготовлена неоиндуизмом и необуддизмом). На сакральный вопрос — зачем медитировать? — Рам Дас отвечает вполне традиционно: «Чтобы жить в настоящем. Пребывать в гармонии с миром. Пробудиться». Но затем добавляет — медитативные моменты в человеческой жизни должны постоянно возрастать, пока вся она целиком не станет «медитацией в действии». Термин, судя по всему, заимствован у неоиндуистского гуру Бхагвана Шри Раджниша (Ошо) (1931—1990). Так через преображение сознания произойдет и преображение мира.

Западную же психологию Рам Дас призывает отказаться от укрепления «этого». Психотехники, направленные только на снятие неприятных ощущений, достижение удовольствия и обретение силы — не дают духовного освобождения, но, напротив, закабаляют. Здесь он близок к тому, что тибетский лама Чогьям Трунгпа (1939—1987) называл борьбой с «духовным материализмом».

«Нововековцы» всех стран, соединяйтесь...

В 1980 г. одна из активисток движения, Мэрилин Фергюсон, выпустила книгу, которая стала не только классикой «Нового века», но и попала в список национальных бестселлеров. Может быть, последнее случилось потому, что в ту пору по Америке гуляло много всяких теорий и теориек международных и местных заговоров (поводов для паранойи было хоть отбавляй), и книжка под броским названием «Заговор Водолея» попала в точку. Правда, речь в ней шла о «заговоре открытом» (семена, посеванные Митриновичем более полувека назад, дали всходы), и таким образом она развенчивала идею заговора *reg se*, но вряд ли у широкой публики хватило терпения в этом разобраться, больно уж книжка была толста. Наверное, с тех пор идея об «оккультном заговоре» и начала тиражироваться на страницах фундаменталистских брошюрок, обличающих «Новый век». Вот, и сами признаются, что заговорщики...

Книга, между тем, ясно намечала общественно-политические приоритеты формирующегося движения. Фергюсон писала: «Впервые в истории человечество обрело контроль над переменами — понимание того, как происходит трансформация. Мы живем в *перемене перемен* (курсив автора), во времени, в котором мы можем сознательно объединиться с природой для быстрой переделки себя и наших распадающихся институтов. Парадигма Заговора Водолея видит человечество укорененным в природе. Она создает условия для автономного индивида в децентрализованном обществе. Она видит в нас хозяев наших ресурсов как внешних, так и внутренних. Она говорит, что мы *не* жертвы, не пешки и не ограничены условиями и условиями. Наследники эволюции, мы способны к воображению, изобретательности и опыту, о которых раньше лишь догадывались».

Магическая формула была произнесена: мы знаем, как меняется мир, и отныне будем сами руководить этим процессом.

У российского читателя формула эта может вызвать неприятные (или, напротив, приятные) воспоминания. У нас авангард всего прогрессивного человечества 70 лет руководил, следя неумолимой логике социальных законов. Но на этой идее познания и овладения законами развития сходство и заканчивается — под похожей оболочкой скрывается разная смысловая наполненность. «Нововековцы» не признавали никакой мессианской избранности, колlettivизма, централизма и примата материи над сознанием. Ровно наоборот, они ратовали за демократизм (заговор открытый), индивидуализм, децентрализацию и власть сознания над

косной материей. Отсюда отсутствие лидеров, единого центра и фиксированного членства. Социальная трансформация должна была осуществляться через создание неиерархичных свободных сообществ (networks), связанных между собой только общим (хотя и бесконечно разнообразным) набором средств преображения сознания. Примерный список этих средств приводился в начале статьи, где речь шла о «сельской ярмарке» духовных товаров широкого потребления.

В каком же направлении должно было преобразиться сознание? Из антропоцентричного оно должно было стать космоцентричным, из аналитического синтетическим, из национального мистическим, из патриархального феминистским, из знающего мудрым, из линейного спиральным, из сектантского экуменическим, из дуалистического («то или это») диалектическим («и то, и то»), из сентиментального благоговеющим, из эскалистского ангажированным, из европоцентричного полицентрическим. Это только часть списка.

Кроме проекта социально-политических перемен, в книге Фергюсон подробно разрабатывалась и еще одна ключевая «нововековская» тема — парапаунаучная. Современная наука заканчивала свою картезианско-ньютоновскую механистическую фазу и выходила в новое измерение, где обнаруживала поразительное сходство с прозрениями древних религий. Квантовая теория находила соответствие в буддийском учение о потоке мгновенных импульсов (дхарм), современная космология (теория «Большого взрыва») резонировала с индусской космогонией, молекула ДНК указывала на божественный проект творения человека.

Но обнаружение всех этих сходств и параллелей служило не материалом для новых гипотез, а сырьем для строительства нового мифа. Этим парапаунаука и отличается от науки.

Лики Великой Богини

Как явствовало из книги Фергюсон, новая парадигма предполагала избавление от всех иерархических структур, включая и патриархальную. Преображеному сознанию открывался не только мужской, но и женский образ божества. Мужское и женское («ян» и «инь» даоской космогонии) на равных сплетались в своем космическом танце. Но «инь» на данном историческом этапе доминировало, мстя за столетия неправедных унижений. Сходство с феминистской идеологией было очевидным, причем с той ее частью, которая отказалась от иудео-христианской традиции (деконструкция патриархальных структур Библии не могла быть достаточно радикальной) и обратилась к языческому наследию всех времен и народов. Лики Великой Богини едва успевали сменять друг друга: Аштарта, Диана, Мелузина, Лакшми, Кали, Дурга, Мать-сыра земля... Главным в язычестве была объявлена имманентность женского божества миру в пику безудержной запредельности божества мужского, что полностью совпадало с «нововековской» идеей сакрализации космоса.

Столь очевидная идеяная близость не замедлила принести свои плоды. «Новый век» и неоязычество сплелись в столь тесный симбиоз, что различить их практически невозможно. Этому способствует и децентрализованный характер обоих движений. Кроме того, их объединяют общие оккультные корни. Как выяснили исследователи, большинство неоязыческих групп в европейских странах и США имеют довольно мало общего с реальными языческими верованиями и в большей мере являются искусственными реконструкциями, возникшими сравнительно недавно в оккультно-теософской среде. К примеру, самое известное неоязыческое движение «Викка», которое восходит к кельтским корням, во многом плод пылкого воображения английского оккультиста Джеральда Гарднера (1884—1964). Созданный им синтез опирается не только (и не столько) на кельтское наследие, сколько на магические ритуалы, свидетелем которых он был в Азии, да на книжки оккультных популяризаторов прошлого столетия. Но это не помешало Гарднеру утверждать, что ритуалы практиковала некая английская колдунья, завещавшая ему это наследие Великой Богини.

В целом «Новый век» больше женская, нежели мужская затея. В недавнем романе Джона Апдайка «Эс» — ироничном пародии американской классики, «Алой буквы» Готорна, — индийский гуру на поверхку оказывается еврейским мальчиком из Бостона (вспоминается Элперт — Рам Дас), а строительство города будущего в Аризонской пустыне с нечеловеческой (и в конечном итоге разрушительной) энергией осуществляют теснящиеся вокруг него женщины. Самую активную, немку по национальности, звать Дурга. Здесь, на мой взгляд, писатель несколько стустил краски, так как слишком буквально следовал правде жизни. Некоторые из сподвижниц самого именитого из «нововековских» гуру, Шри Раджниша, были родом из Германии. Именно они и внесли в строительство священного города Раджнишпуром в шт. Орегон элементы концентрационного лагеря. Но в общем, писатель-реалист не погрешил против истины. По имеющейся статистике, число женщин в «Новом веке» примерно в два раза превышает число мужчин, и они являются активным организующим началом. Правда, мнение их о себе несколько отличается от апдайковского. Отвечая на вопросы социологов, они утверждают, что движение помогает им освободиться от навязываемых обществом традиционных ролей (романист пишет о том же) и пробуждает в них такие исконные свойства женской души, как интуиция, открытость, эмоциональность, забота о близких, природе и мире в целом.

«Надо быть в бреду по меньшей мере, чтобы дать согласье быть землей»

Не меньше, чем с феминизмом, «Новый век» резонирует и с экологическим движением, особенно с религиозным его крылом. Мистика Земли, зачастую изложенная на языке современной биологии, в равной мере влечет представителей обоих движений. Здесь, впрочем, как и в случае с

феминизмом, провести разделительную грань крайне сложно. Особо вдохновляет «нововековцев» так называемая «гипотеза Гайи». В начале семидесятых годов британский биолог (снова англичане!) Джеймс Лавлок, консультировавший одну из лабораторий НАСА в Калифорнии, пришел к выводу, что Земля — саморегулирующаяся биологическая система. В пользу этого предположения свидетельствовал ряд открытий, каковые (да простят меня биологи-профессионалы) я сейчас и попытаюсь изложить.

Во-первых, количество метана и кислорода в атмосфере остается примерно постоянным сотни миллионов лет, хотя эти элементы, взаимодействуя, разрушают друг друга. Во-вторых, планета сохраняет более или менее постоянную температуру поверхности, несмотря на то, что солнце сейчас сияет на 25% жарче, чем три с половиной миллиарда лет назад, когда здесь впервые появилась жизнь. И так далее... Короче, гомеостаз, как говорится, налицо.

Когда Лавлок сообщил о своих находках писателю Уильяму Голдингу, тот предложил, чтобы саморегулирующаяся, а значит живая планета, отныне именовалась именем греческой богини Земли — Гайи (Геи). Магия имени, как это нередко случается, вызвала к жизни чудный миф, который по мере становления сбрасывал с себя научный антураж. Теперь Гайя — это страдающая мать, чьи неблагодарные дети пожирают ее заживо, как раковая опухоль. Открываются три возможности. Первая — летальный исход. Вторая — чудесное излечение, когда мать избавится от опухоли (то есть от нас с вами) и заживет сама по себе в «дивном одиночестве». И, наконец, человечество станет планетарной нервной системой, приведя себя в гармонию с Матерью-землей.

Со свойственным им историческим оптимизмом «нововековцы» полагают, что третий вариант вполне возможен. Технология уже превратила мир в «глобальную деревню». Чем Интернет не нервная система? Земля уже любуется на себя через око телекамер космических кораблей и, как всякая женщина, невольно прихорашивается. Но кроме обычных технологий существуют еще и своеобычные. Как древние подвигали Землю к обновлению, совершая различные ритуалы на праздниках плодородия, так и нынешние маги и волхвы способны слить свои вибрации с дыханием планеты, пока оно еще не стало предсмертным хрипом...

«Гармоническое слияние» Хосе Аргеллеса

Оккультная составляющая «Нового века» имеет массу проявлений — от откровенно идиотических («магия по-голливудски») до весьма изысканных. Остановимся на одном из последних.

В 1987 г. преподаватель истории искусства Колорадского университета Хосе Аргеллес объявил о великом космическом событии. Исследуя цивилизацию Майя, он пришел к выводу, что древние индейцы были истинными детьми галактики. Они были соединены с коллективным планетным

разумом и с Хунаб Ку — центром галактики, передающим лучи энергии. Таким образом, испускающие вибрации эфирные тела индейцев были тем каналом, через который осуществлялась космическая связь Земли и космоса. Изучая календарь Майя, Аргеллес подсчитал, что в 2012 г. планета войдет в «фазу галактической синхронизации», но, будучи не готова к ней, сгинет в космическом катаклизме. Однако у человечества оставался шанс, считал он. В ночь с 16 на 17 августа 1987 г. Земля должна была пройти через «смену частоты резонанса» тех самых вибраций, что осуществляли космическую связь. На это, полагал Аргеллес, указывал не только календарь Майя, но и знаменательное астрологическое явление — «Парад планет», а также пророчества индейцев из племен Гопи и Чероки. Если бы в эту судьбоносную ночь человечество, уподобившись древним Майя, сумело увеличить частоту вибраций, Земля оказалась бы спасена. «Мы на расстоянии 26 лет от главной галактической синхронизации, — писал Аргеллес, — или мы переключаем скорость прямо сейчас, или теряем наш шанс».

Основываясь на своих выкладках, Аргеллес предлагал провести в эту ночь мощный коллективный выброс «позитивной энергии», в котором должно было участвовать не менее 144 тыс. человек. Как видим, в расчет бралось и Откровение св. Иоанна Богослова, где упомянуто именно это число праведников, «искупленных от земли». В долгий срок вселенское мероприятие, получившее название «Гармоническое слияние», состоялось. Участники собрались в тех точках земли, где проходит «эфирная геомагнитная сеть», — на горе Шаста в Калифорнии, на «Черных холмах» в Южной Дакоте, на горе Фудзи в Японии и, конечно, в районе египетских пирамид. Те, у кого не хватило денег на паломничество, просто выехали на природу недалеко от дома. Всю ночь напролет они танцевали священные танцы, произносили мантры, занимались йогой (в том числе и тантрической) и церемониальной магией. Особой популярностью пользовался обряд захоронения кристаллов, который должен был помочь Земле отрегулировать частоту вибраций.

По мнению организаторов, успех предприятия должен был принести плоды уже в следующие пять лет. «Когда ударяет свет, тьма обороняется» — экономические, политические и социальные катаклизмы должны были доказать, что свет ударил как следует. Когда 19 октября 1987 г. цены на акции на нью-йоркской фондовой бирже начали падать, Аргеллес торжествовал. Но вскоре курс выправился.

Размах «Гармонического слияния» произвел, тем не менее, должное впечатление на Америку. «Новый век» стал «национальной новостью» и попал на страницы «Ньюсвик» и «Таймс». Но впечатление оказалось не совсем благоприятное. Страна не созрела до столь головокружительных полетов оккультной фантазии. Как показали опросы начала девяностых, половина населения относилась к «Новому веку» отрицательно. Мнения второй половины разделились от «пусть себе сходят с ума» до «может быть, в этом что-то есть». И хотя последних в масштабах страны оказалось не

так уж мало, среди идеологов движения возникли реформаторские позывы: пора было отделять зерна от плевел.

Список Спэнглера

Раньше других, еще в середине 80-х, то есть до «Гармонического слияния», это понял уже упоминавшийся в начале статьи Дэвид Спэнглер. В своей книге «Рождение священного» он выделил четыре уровня «Нового века». Первый уровень «коммерческий», который использует ярлык «Новый век» как рыночную приманку для торговли диетической пищей или популярными психотехниками. Второй — «чарующий». Он-то как раз и известен более всего широкой публике и СМИ и «населен странными экзотическими существами, наставниками, адептами, инопланетянами. Это прибежище магических сил и оккультных тайн, заговоров и тайных учений». Третий уровень описан М. Фергюсон и сосредоточен на смене парадигмы — новых формах управления, политики, бизнеса, образования, точных наук, религии и психологии. И, наконец, на четвертом уровне происходит ресакрализация обыденной жизни, «пробуждение сознания, которое празднует божественность обыденного и таким образом вдыхает жизнь в священную цивилизацию».

Пафос разведения движения «Новый век» по уровням в общем понятен. Отделить вещи тонкие от вещей грубых и тем спасти их от опошлени — общечеловеческая потребность. Хоть Набоков и утверждал, что слово «пошлость» в английском языке отсутствует, но эстетическая брезгливость вполне присуща и нашим англоязычным братьям. Однако не вступает ли это в конфликт с одной из главных идей «Нового века» — тотальным эгалитаризмом и отрицанием любой формы иерархичности?

Первой с проблемой демократизации оккультных идей столкнулась теософия. Тогда победила демократия. Побеждает она и сейчас. Так что же возмущаются голливудскими дивами, которые, ничтоже сумняшееся, обзывают себя живыми богинями? В каком-то смысле они и есть богини массовой культуры. Так Андрей Белый в свое время возмущался «антропософскими тетками», кишащими вокруг Доктора. Но оказалось, что они-то и есть антропософия, а он просто большой русский писатель...

Но что же все-таки лежит в основе этого многоликого и многослойного «Нового века»? Мне кажется, что понять это можно, только сопоставив его с ближайшей родственницей — теософией. На семейном родстве настаивает и Спэнглер: «Теософское движение — истинная мать «Нового века» и продолжает играть огромную роль в его становлении».

Дочки-матери

А не является ли дочь точной копией матери? Описывая предысторию «Нового века», я и сам не заметил, как плавно перетек в него из теософских глубин. Но разница все-таки есть. Напомню три главных цели теософии:

(1) Создание всемирного братства людей без различия расы, вероисповедания, пола, касты или цвета кожи.

(2) Поощрение штудий в области сравнительного религиеведения, философии и науки.

(3) Исследование доселе неистолкованных законов природы и сил, скрытых в человеке.

«Новый век» тоже имеет своим адресатом все человечество. Но речь идет уже не о создании «братства» (здесь у теософов еще слышится отголосок прошлого — «братство вольных каменщиков»), а о единстве формально не связанных между собой единомышленников. С одной стороны, замах покруче, «попланетарней», а с другой — ни к чему не обязывает. Верите в смену парадигмы? Вроде, да. Прекрасно, вы наш. Теософы лишь начали освобождаться от оккультной секретности (вернувшись перед смертью в Лондон, Блаватская все же учредила эзотерическую секцию). «Заговор Водолея» открыт нараспашку, и это касается не только ортодоксии, но и метафизической подоплеки. Можно сказать, таким образом, что «Новый век» — это одновременно и вершина и конец оккультизма. Лингвистически (occultus — тайный) термин теряет смысл.

Формулируя свою вторую цель, теософы интеллигентно намекали, что они стремятся к синтезу религии, философии и науки. «Новому веку» намеки ни к чему. Сейчас подобных синтезов набралось уже столько, что возникает противоположная проблема — чрезмерности выбора. Общество всеобщего потребления распространило свои законы и на духовную сферу. Но «нововековцы» нашли остроумный выход из положения — они вообще отказались от выбора. Идея, в общем, простая: в наше плоралистическое время нельзя ограничиваться чем-то одним (даже одним синтезом), чем больше синтезов — тем больше шансов добраться до истины (истин?).

И, наконец, третье. То, что теософы жеманно называли «силами, скрытыми в человеке», сейчас именуется или просто «магия», или сложно — кучей всяких терминов, перед которыми такие слова, как телекинез или телепатия, детский лепет. Теперь по этому поводу мало кто мучается сомнениями. Согласно опросу Гэллапа, в 1992 г. в магию верили чуть меньше половины всех членов крупнейших американских протестантских деноминаций. Добавлю, что по российским исследованиям 1993—1996 гг. результаты примерно те же — и у нас подобные верования легко уживаются с христианскими. Так что дело тут не в слабости православия, а в универсальном явлении. Как сказал один протестантский богослов, «затмение Бога случилось не столько вследствие агностицизма и светского гуманизма, сколько в результате веры во все подряд».

На научном фронте тоже все в порядке. Американская парапсихологическая ассоциация допущена в ряды Американской академии распространения научных знаний. Наши парапсихологи предпочитают создавать академии собственные. Поэтому там, где теософы робко исследовали, «Новый век» призывает, не задумываясь, практиковать. И число практи-

кующих растет с каждым годом. Кончилось время кружковой замкнутости, теперь любой может вступить в контакт с космическим разумом и передать от него набор очаровательных трюизмов. Иногда их хватает не на одну книгу. Изменился и внешний вид «контактеров» — теперь это молодые ухоженные преуспевающие люди (женщины, как правило, хороши собой, тип «Блаватской — Минцовой», похоже, вымер). С некоторой даже ностальгией смотришь теперь на искаженные высокой «люцифери-ческой» мукой вызова Неведомому лица теософов на пожелтевших дагер-ротипах столетней давности.

Путешествие дилетантов

Итак, на социокультурном уровне речь идет не столько о качественных изменениях, сколько об усилении тенденций, доведении их до логического конца. А что же уровень богословский?

В теософском синтезе Блаватской содержались попытки ответить на несколько очень серьезных проблем, встающих перед современным религиозным сознанием. Правда, попытки были дилетантские, но проблемы были настолько серьезны, что это не могло не отбросить спасительного света на сами попытки. К тому же не стоит забывать, что слово «дилетантизм» происходит от *«diletto»*, что по-итальянски значит «наслаждение». В увлеченности предметом Блаватской и впрямь не откажешь.

Одной из таких проблем было соотношение духа и материи. Блаватскую в равной мере не устраивало как презрительное отношение к духу современного ей позитивизма, так и пренебрежение материей в западном христианстве конца прошлого века. С православным решением проблемы (теосис — обожение плоти и материи в целом) она, видимо, была незнакома, хотя и любила признаваться в верности родной православной вере. Путь, который она избрала, коренился в герметической традиции, хотя, вероятнее всего, был подхвачен ею из каббалы в интерпретации одного из столпов французского оккультизма прошлого столетия Элифаса Леви (1810—1875). Речь идет о космогонической идее эманации — исхождения духа из своего Источника, когда он постепенно оплотняется в материю, а затем на пике материальности начинает возвращаться назад. Таким образом, дуализм духа и материи иллюзорен. Блаватская поместила эту схему в рамку истории. Получилось — высшая точка материализации духа приходится на «век девятнадцатый, железный», тогда же начинается и одухотворение материи. Процессу эволюции было придано духовное измерение.

«Новый век» решает эту проблему несколько иначе. Источником новой метафизики служит не столько герметизм и каббала, сколько новая физика. Это ведет к смене терминологии; в частности, дух теперь предпочитают именовать сознанием. Основным понятием становится «вibrationная энергия». Вибрируют как материя, так и сознание. Вселенная, таким образом, — это некое единое энергийное поле, и поскольку энергия сознания обладает способностью к самоорганизации, она может органи-

зовать и энергию материальную. Вначале так оно и было, но затем некое космическое событие (Большой взрыв?) нарушило это единство. Повторный процесс упорядочивания материи сознанием и называется эволюцией. Теперь, однако, человеку открываются новые технологии управления сознанием (многие из которых — просто хорошо забытые старые техники достижения экстаза), и он способен взять процесс эволюции в свои руки.

Это подводит нас к следующей проблеме — антропологической. Теософия также считала, что для человечества настала пора взять процесс дальнейшего развития в свои руки. Существа, способные на такое, были и раньше (те самые махатмы с гималайских отрогов), но это была горстка избранных, пришла пора расширить магический круг. Потенция возрастания заложена в человека изначально, ибо он духовная монада, покинувшая свой источник и погружающаяся в пучину материальности через череду перевоплощений. Теперь настало время выныривать из этих глубин, попутно одухотворяя и накопленную материальность. Здесь, правда, мнения теософов разделились. Логика перевоплощений вступила в противоречие с логикой обожения плоти. Лишь немногие настаивали на преображении плоти, тогда как большинство все же предпочитало путешествовать без багажа, избрав древний гностический вариант пренебрежения плотью.

В своих антропологических изысканиях «нововековцы» в большей мере, чем теософы, склоняются в пользу преображения своей материальности, или, как они предпочитают выражаться, ее «трансформации». Этому посвящены труды Майкла Мерфи, основавшего в 1962 г. Эсслинский институт в Калифорнии, который стал одним из идейных центров «Нового века». Коль энергийный континуум связывает все со всем, то почему бы не попробовать, меняя частоту вибраций, одухотворить свое собственное тело? Нетерпение подталкивает, зачем откладывать все это в отдаленную эсхатологическую перспективу? Бессмертие достигается здесь и сейчас. Ясно, что речь идет не об обожении плоти, а об ее обожествлении. Вообще для «Нового века» характерен культ тела. Диеты, массажи, «мистицизм горячей ванны» и т.д. Ублажают себя и сторонники перевоплощений, утверждая, что таким образом они укрепляют свое сознание (континуум работает и с другого конца) для дальнейших странствий. Нетерпение, кстати, владеет и ими. Но оно иного рода. А если вдобавок еще и замешено на страхе надвигающегося конца света, то жди беды. Может возникнуть и идея коллективного самоубийства. И вот выгорает дотла шале в Швейцарии — это новоявленные «храмовники» из «Храма солнца» возвращаются на свою духовную родину — Сириус. А в солнечной Калифорнии, выпив смертельный коктейль из фенобарбитала с водкой, компьютерные программисты из «Небесных врат» спешат на НЛО, который, по их сведениям, прячется в хвосте кометы Хейла-Боппа.

Из сказанного уже вырисовываются историософские контуры обоих учений. Теософия постулировала некое исходное состояние мира, когда

он весь в потенциальном виде пребывал в своем Источнике. Затем начался процесс ~~развития~~ и на каком-то этапе космогония перешла в историю. Теперь история вновь возвращается в исходное состояние, но обретенный исторический опыт не напрасен. Сверхсущества будущего будут жить на новой Земле, но не в духовной нерасчлененности, а в преображенной протяженности сверхистории.

«Новый век» также намекает на исходное идеальное состояние мира. О нем напоминают духовные высоты древнего шаманизма, вневременная мудрость североамериканских индейцев и галактические прозрения мезоамериканских цивилизаций (вспомним оккультную апологию культуры Майя у Аргеллеса). Наступление новой парадигмы — это диалектический виток, который на более высоком уровне повторяет исторические истоки. Зерна прошлого оплодотворяют будущее.

Есть ли место в этой картине мира Богу?

Нет, утверждает Блаватская, по крайней мере, в библейском его варианте: «Теософы отвергают идею личного или сверхкосмического и антропоморфного Бога, который лишь гигантская тень человека, причем, не в лучшем его виде. Бог богословия, говорим мы, — это узел противоречий и логическая несуразность. Поэтому мы не желаем иметь с ним дел».

Звучит по-фейербаховски, но надо помнить, что, очеловечивая Бога, Блаватская, в отличие от немецкого материалиста, обожествляла (в прямом смысле) человека. Если это и был гуманизм, то в ренессансном его варианте. Бог имманентен — он пребывает внутри космоса и человека. Правда, позднейшие теософы попытались несколько смягчить эту радикальную позицию, видимо, подустав от упреков в пантеизме.

Зато «Новый век» подобными упреками не смутишь. М. Фергюсон даже с некоторым вызовом пишет о «древней ереси Бога внутри», в которой «Бог дан нам в опыте как поток, целостность, бесконечный калейдоскоп жизни и смерти, Первоначина, основа бытия ... сознание проявляющее себя как лила, игра вселенной ... организующая матрица ... которая оживляет материю». Имманентизм усиливается. Разве что некоторые христианские богословы, симпатизирующие «Новому веку», предлагают все же не забывать о трансцендентном аспекте Бога, вводя для этого модный термин «панентеизм». Но о них позднее.

Нет трансцендентного Бога, нет и нормативной морали. Теософов это только радовало. Они полагали, что такая мораль пестует в человеке чувство греховности и подавляет в нем творческий порыв. В теургизме Серебряного века были сходные мотивы.

«Новый век» имеет к сознанию греховности более современные претензии, пропущенные через горнило психоанализа. Страх греха ведет к подавлению желаний, а это прямой путь к неврозу.

Однако это не значит, что теософы и «нововековцы» проповедуют имморализм.

Теософы, опираясь на восточные религии, пытались вывести мораль из духовного роста. Просветленность — это не только мудрость, но и

сострадание. Другой ход — общая божественная природа людей не может не породить у них чувства общечеловеческого единства. Вредя другому, ты вредишь себе. «Нововековцы» разделяют эти посылки, но предпочитают не рассуждать о морали, полагая, что она должна возникнуть спонтанно в результате использования различных методов трансформации сознания, особенно в контексте общинной жизни. Поэтому «нововековские» семинары часто проводятся в условиях коммунального проживания желательно где-нибудь поближе к природе.

Нет Творца, нет и надежды на Его милосердие. Но мир устроен разумно, а значит справедливо. Справедливость должна распространяться и за пределы видимого мира. Не может быть, чтобы человек отдувался за неверно прожитую жизнь целую вечность. У него должен быть еще один шанс — и еще, много шансов. Пребывая в потустороннем мире в интервале между воплощениями, душа не должна терять времени даром, она должна осмыслять опыт прожитой жизни, чтобы новая оказалась лучше старой. А в новой жизни желательно вспомнить опыт старой, чтобы не совершать прежних ошибок. Примерно так рассуждали теософы. Отсюда их неуемное любопытство к прошлым жизням (они ведь и ближе к баснословным временам «древней мудрости») и к потустороннему миру. Трудно сказать, чего здесь больше. Просвещенческого рационализма, спроектированного в область иррационального? Романтического пассеизма, который смягчал неумолимую поступь прогресса?

«Нововековцы» больше живут настоящим, которое стремительно превращается в будущее. «Будь здесь сейчас». «Древняя мудрость» лишь доказывает глубину научных интуиций, которые ежесекундно меняют мир. Достоверность мира невидимого — гарантия выживания «я», в какой бы форме это ни происходило — перевоплощений ли, пребывания ли где-нибудь на Сириусе. Оттого так важен опыт клинической смерти, исследованный Р. Муди, а вслед за ним целой когортой психологов и врачей. Это более серьезное доказательство бессмертия, чем вызывание духов. Прошлыми жизнями пусть занимается психоаналитик, может быть, это поможет развязать невротические узлы. Заглянуть бы в жизни будущие, чтобы расширить опыт настоящего. Ключевое слово здесь — опыт.

«Новый век» и христианство

Даже краткий эскиз богословия «Нового века» дает представление об основных расхождениях его с христианством.

Расхождения эти и не скрываются. Особенно достается современному протестантизму. Прежде всего его упрекают за непомерное усиление трансцендентности Бога. В результате Творец практически покинул этот мир, оставил его людскому произволу. Десакрализация космоса привела к обезбоживанию материи и культу грубой материальности. Экологический кризис — неминуемая расплата за «расколдовывание мира». Техническая цивилизация, подобно мифическому Ураборосу, пожирает себя с

хвоста. Более радикальные критики идут еще дальше, возводя генезис виновницы этих бед — «старой» науки к «христианскому рационализму».

В этом случае роль магии в становлении «ньютоновской парадигмы», о которой те же критики любят порассуждать по другим поводам, начисто исчезает у них из поля зрения.

Трансцендентность Творца ведет не только к его разрыву с космосом, но и с человеком. Человек вступает в субъектно-объектные отношения как с миром, так и с самим собой. Дух отчуждается от мира, душа человека отчуждается от его тела. Начинается подавление тела, превращение его в бездушный инструмент холодного ума. Стало быть, следует его одушевлять, лелея и холять.

Вот только где проходит грань между законной реабилитацией тела и поклонением перед ним? Культ тела, как мы хорошо помним, присутствовал в самых бездушных идеологиях двадцатого века.

Весьма сильно достается христианству и за догмат первородного греха. Постоянное педалирование человеческой падости, считают «нововековцы», погрузило западного индивида в пучину бесплодной моральной рефлексии. Комплекс неполноценности — законное дитя грехопадения. Избавиться от него можно, лишь вспомнив об имманентности божества, о его постоянном присутствии в глубинах человеческого сознания. Окрыленное воспоминанием сознание сбросит путы греха и трансформирует вначале себя, а затем и окружающий мир.

Но не пытались ли европейское человечество, вдохновленное платоническим припомнением-анамнесисом, осуществить однажды проект подобной трансформации? Наверное, прежде чем браться за вторую попытку, было бы неплохо разобраться в последствиях первой, ренессансной...

Еще один упрек, постоянно бросаемый христианству, также связан с забвением им божественной имманентности. Забыв о «Боге внутри», христианство потеряло мистическое измерение. Утрачены способы прямого богообщения, духовные техники. Полнота ритуала, как шагреневая кожа, усохла в пустой обряд. Признавая обоснованность подобной критики, трудно все же удержаться от ряда замечаний. Во-первых, претензия эта несколько устарела. Она скорее обращена к недавнему христианскому прошлому, когда в XIX веке дух позитивизма действительно подсушил мистические истоки христианства. Но сейчас возврат к ним наблюдается повсеместно. Это не только литургическое возрождение и интерес к монашеским приемам «духовного делания» в православии и католицизме, но и мощное евангелическое движение в протестантизме, где на первом плане как раз мистический опыт обращения. А во-вторых, «нововековская» сосредоточенность на достижении мистического опыта любым путем (включая психodelический) зачастую превращается в еще один способ «словить кайф», на этот раз «духовный».

Вместе с тем, критикуя современное христианство, «Новый век» с придыханием напоминает о христианстве ином — истинном, эзотерическом. Традиция придыхания восходит к теософии, которая после антиклен-

рикализма Блаватской перешла усилиями ее наследницы А.Безант (1847—1933) к поискам «эзотерического христианства». Впоследствии поиск этот осуществлялся в антропософии. Но превращаясь в один из вариантов «древней мудрости», где Иисус становился одним из «гур» наряду с Буддой и Кришной, христианство быстро утрачивало свою сущность. Об этом писалось достаточно много и убедительно русскими религиозными мыслителями — Н. Бердяевым, С. Булгаковым и другими.

Поиск эзотерического христианства в «нововековской» среде носит более продуманный характер. Речь в конечном счете идет о присутствии в раннем христианстве некоего устного учительного предания (о нем упоминают некоторые отцы Церкви), которое позднее вылилось в мистику «фаворского света». Как верно замечает в одной из последних книг на эту тему американский исследователь Робин Эмис, эзотерическое в данном случае обозначает не тайное, но сокровенное. Сокровенность опыта веры в том, что он открыт для всех, но реализуется не каждым. Естественно, что существуют и разные традиции его реализации.

С этим трудно согласиться. Но далее в книге происходит смешение собственно христианских и гностических источников, мелькают обычные в такого рода текстах имена Гурджиева, его ученика П.Д. Успенского и менее известное имя русского эзотерика Бориса Муравьева, умершего в Швейцарии.

Христианство и «Новый век»

Христианских авторов, пишущих о «Новом веке», можно разделить на три типа.

Первый встречается по преимуществу в евангелической и фундаменталистской среде. Ему чужды любые сомнения. «Новый век» — это оккультный заговор, цель которого покорение мира. Далее рассуждения авторов зависят от глубины их мистического прозрения. Либо в центре заговора самолично стоит сатана, либо его антропоморфные клевреты. Во втором случае — «Новый век» — это оккультное крыло мондиализма. Международная (еврейская) финансовая олигархия не брезгует для своих черных целей и черной магией. Правда, в последнее время среди евангелистов всё чаще раздаются голоса, ставящие такой подход под сомнение. Британский евангелист Ирвинг Хексхэм, преподающий ныне в одном из американских университетов, пишет о том, что «изгнание бесов» — не лучший способ разобраться в современной духовной ситуации, сложность которой не исчерпывается одним «Новым веком». По грустному наблюдению профессора, его братья по вере среди студентов начинают учиться хорошо лишь после того, как эту веру теряют. Ум, испорченный слишком легкими ответами на сложные вопросы, не способен к развитию. Увы, мой опыт преподавания свидетельствует о том же. Да и апологетика, возводимая на жертве интеллекта, хрупкое сооружение.

Второй тип авторов-христиан во многом противоположен первому. Чаще всего он встречается среди католических и протестантских либералов. Причем, вторые будут «полиберальнее» первых. Во всяком случае, один из самых плодовитых авторов этого направления доминиканец Мэтью Фокс перешел в протестантизм после того, как подвергся критике из Ватикана в 1988 г. «Новый век», считает Фокс, это одно из проявлений новой планетарной духовности, которая неумолимо зреет в сознании человечества. Во многом она искажена массовой культурой, но это неизбежно. Не стоит закрывать глаза на глупость, это лишь лучше помогает разглядеть ростки нового. Христианские церкви должны не отвергать новую духовность с порога, а пересмотреть в ее свете собственное наследие. Этим бывший доминиканец и занимается в своих многочисленных книгах.

Прежде всего, христианству не следует впадать в грех ностальгии. Идолопоклонство перед прошлым должно смениться устремленностью в эсхатологическое будущее. Вместе с тем, христианство обязано возродить свое богатое мистическое наследие. Чтобы осуществить это, надо от примитивного современного теизма вернуться к более глубокому панентеизму (когда мир мыслится пребывающим в Боге, но Бог не растворяется в мире, как это происходит в пантеизме). Следует отказаться от антропоцентризма, который выглядит нелепо в свете новейших научных открытий. Элементы, из которых состоят наши тела, возникли миллиарды лет назад от вспышки Суперновой. Нельзя ограничиваться историей спасения, начавшейся с первородного греха. «Духовность творения» возвышается над «духовностью спасения». Поэтому и в христологии следует сделать шаг от Христа исторического к «Христу космическому», без которого невозможна ресакрализация космоса. Выход к мистическим истокам христианства излечит современное богословие от «левополушарности» — рационалистической односторонности. Он поможет осуществить и лингвистическую реформу, священные танцы древнего христианства напомнят о его космическом измерении. И, наконец, экуменическое движение должно выйти на новый глубинный уровень. Ведь известно, что мистики разных конфессий и даже религий понимают друг друга лучше, чем сухие богословы и тем более церковные политики.

У Фокса хорошее перо, пишет он просто (иногда чересчур) и увлекательно. Он обречен на успех у читающей американской публики, его книги с яркой символикой «Космического Христа» теснятся на полках главных книжных магазинов. Однако у европейского читателя он, возможно, вызовет ощущение уже виденного. Эхо доносится через век — и из Германии, и из России. Видимо, в споре Бердяева со Штайнером все еще не поставлена точка. Однако мне представляется, что доводы Бердяева об опасности подмены Христа космо- и социоцентризмом звучат убедительно и по сей день. Особенно в свете опыта заканчивающегося столетия, когда затмение божественного лика не раз приводило к обезличиванию человека.

И, наконец, имеется третий тип христианских авторов, пишущих о «Новом веке». В основном это католики, разрабатывающие богословское наследие французского палеонтолога и мистика Тейяра де Шардена (1881—1955). Фокс тоже ссылается на Тейяра, но как-то мимоходом. Как и Фокс, они пишут о том, что «Новый век» — свидетельство глубинных перемен в религиозном сознании, но в отличие от него не склонны к отожествлению своих взглядов с «нововековскими». Духу синтеза они противопоставляют дух диалога. Их рассуждения об «обожении плоти», «спасении твари», «духовном делании» и «космичности литургии» могли бы вызвать интерес у православных богословов.

Homo Iudens и «Новый век»

В 1993 году престижный британский журнал «Религия» целиком посвятил один из своих номеров теме «Нового века» в контексте постмодернистства. Ученые авторы (в основном социологи религии) пытались разобраться, с чем же все-таки больше связан «Новый век» — с современностью или постсовременностью. Под первой понималось новоевропейское мышление в целом, под второй — то таинственное нечто, о наступлении которого уже почти полвека пророчествуют французские «новые философы».

Один из авторов, Дэвид Лайон, утверждал: «Новый век» — это «символический ресурс» постсовременности. Он говорит о смене эпох и отрекается от старых «проектов» просвещения, романтизма и даже модернизма. Он разрывается со старой теорией познания, увлекается игрой со знаками и пронизан духом потребления. Он космополитичен, антииерархичен, маргинален и децентрализован. Короче, вполне может быть описан на языке Фуко, Деррида и иже с ними. Вместе с тем, он ищет новую онтологию и новую субъективность, компенсируя тем самым радикализм разрыва постсовременности с просто современностью.

Другой автор, Линда Вудхед, вносила ряд уточнений и, в частности, разводила понятия постсовременности и постмодернизма как философского дискурса на эту тему. С последним у «Нового века» мало общего. Постмодернизм принципиально отказывается от «проектов», а у «Нового века» их несколько — феминистский, паранаучный и т.д. «Новый век» постулирует наличие реального «Я», а не уничтожает его с помощью постмодернистской деконструкции. Следовательно, у него (прав Дэвид Лайон) есть и онтология, для постмодернизма вещь неприемлемая.

Но если у «Нового века» мало общего с постмодернизмом, то с постсовременностью как фазой культуры позднего капитализма, считает Вудхед, его кое-что объединяет. Это и игра с образами и знаками различных религий без сердечного к ним прикосновения, и потребительский подход к «покупке» религиозного опыта. «Новый век» действительно космополитичен и децентрализован (хотя вряд ли можно жестко увязать эти признаки с постсовременностью). Но все же настойчивый поиск

«подлинной жизни» указывает на определенное разочарование «нововековцев» потребительской культурой постсовременности и скорее связан с уходящей (?) современностью.

Добавлю, что и другой характерный признак «Нового века» — поиск «истинного пути», не имеет с постсовременностью ничего общего.

Это и наводит меня на одну достаточно простую мысль, которая, как мне кажется, таится в недрах высокоученого разговора. Даже на своем излете современная религиозность не способна вырваться из основополагающего мифа и возвращается вместо этого к его истокам, пытаясь вновь осмыслить его бездонную глубину. От архаического возвращения «во время оно», так замечательно описанного историком религии Мирчей Элиаде (1907—1986), это отличается тем, что круг «вечного возвращения» неотвратимо разорван воплощением Бога в историю, и ритуальное повторение архетипических жестов уже неотделимо от исторического делания.

Ну а тех, кто забавляется игрой со знаками, хватало во все времена, потому что для того, чтобы насытить их током жизни и превратить в символы, нужно столь недюжинное усилие духа, что оно вряд ли возможно без благодатной помощи. Так что водораздел между забавой и игрой «до полной гибели всерьез» (да и игра ли это?) проходит не между «Новым» и старыми веками, а между жизнью в духе и духовной леностью.

ИЗ ЦИКЛА ЭССЕ «РАБОТА ЛЮБВИ»

Приобретения и потери

Всякое приобретение — потеря; или, по меньшей мере, — забота, как избежать потери и постоянная угроза потери. А всякая потеря, если вынести ее, становится приобретением. Иов заговорил с Богом только после трех своих потерь, и полный Богом, он стал больше самого себя, прежнего.

Есть два мифа, один печальный, другой утешительный. Оба они лгут. Первый миф — о золотом веке (а потом серебряном, медном и, наконец, о нынешнем железном веке). В золотом веке оставляют своих стариков и больных на съедение зверям, а лишних детей убивают. Следы этих обычая сохранились до наших дней в цивилизациях Дальнего Востока.

Второй, утешительный миф — прогресс. Сегодня лучше, чем в темные века; завтра будет еще лучше. Трудно сказать, что будет завтра; может быть, ничего не будет. Но мир становится сложнее и сложнее, и человек теряется в дебрях цивилизации. Чем больше новых частностей, тем труднее уловить дух целого (а только в причастности целому коренится смысл жизни). Развитие постепенно разрушает приемы возвращения к простоте и цельности, разрушает символы целого, повисшие в пространстве, где нет ни одного факта.

Человечество прошло через несколько великих кризисов. Первым был кризис устного слова. Изобретение письменности создало таблицы, свитки, книги, которые можно было изучать, анализировать, сравнивать, толковать без непосредственной передачи мудрости из глаз в глаза, из уст в уста. Логика комментаторов стала почвой для логики философских систем, отбросивших предание. Несколько веков философского развития, — не зависевшего одно от другого, в Элладе, Индии, Китае, — кончились одним и тем же тупиком. Любой принцип можно развернуть в систему, но ни одна система не имела преимуществ перед другой. Споры

Григорий
ПОМЕРАНЦ

— родился в 1918 году в Вильне (ныне Вильнюс). Окончил ИФЛИ. Участник Великой Отечественной войны. Автор книг «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972), «Сны Земли» (Париж, 1985), «Открытость бездне. Встречи с Достоевским» (М., 1990), «Собирание себя» (М., 1993), «Выход из транса» (М., 1995). Живет в Москве.

философов кончились сомнением во всех принципах и упадком нравов, не находящих больше опоры в единых символах. Племенные религии повисли в пустоте. Выходом оказалось новое откровение, сперва устное, но быстро нашедшее свою плоть в новой книге, Главной Книге, Книге Книг, вокруг которой был выстроен духовный мир средних веков. Он уже книжный, но рукописный. Книг немного; Фома Аквинский благодарил Бога, что не встретил ни одной, которую не мог понять.

Книгопечатанье создало объем книжности, недоступный даже гению. Новое возникало и распространялось в стремительном темпе. Сперва это вызывало ликование, а кончилось чувством заброшенности и запутанности в потоках информации. Наш современник, Альфред Шнитке, чувствует новое как демоническую силу. Человек теряется в новом, непривычном, и дьяволу здесь легче подшутить. Чем больше средств достичь цели, тем труднее определить свою цель. Понятие смысла жизни отделилось от жизни и стало недоступным.

Достоевский писал, что жизнь надо полюбить прежде, чем смысл ее (сформулированный в каких-то отвлеченных словах). Ребенок не сможет объяснить смысл своей жизни, но его жизнь полна смысла. Взрослые могут хорошо рассуждать о смысле жизни, но это не значит, что их жизнь действительно имеет смысл. Скорее — «скучная история» чеховского профессора. Школа учит говорить о смысле жизни, но жизнь школьника гораздо менее осмысlena, чем жизнь ребенка. Смысл начинает переноситься вперед, после окончания школы, университета. Но приобретение профессии дает гораздо больше обязанностей, чем прав, больше забот, чем радостей, больше узости, чем широты.

Путь человека повторяет путь человечества: всё больше информации, всё меньше мудрости. Ребенок хочет в школу. Ему кажется, что очень интересно ходить с ранцем, пеналом, тетрадями. Но эти игрушки быстро надоедают. Школа отымает радость игры — и дает вышколенность. Говорят, что воробей — это соловей, окончивший консерваторию. Рисунки маленьких детей гораздо интереснее, чем рисунки школьников. Я сам малышиком не плохо рисовал, мне даже наняли учительницу рисования, но школа быстро вытравила во мне этот талант и взамен наделила скучой. Чем больше книг, чем больше знаний, тем больше скучи, едва книга отложена в сторону.

Есть сказка о рассеянном мальчике, вечно забывавшем, куда он дел куртку, чулки и т.п. Менаше (так звали мальчика) составил список, где что положил, и закончил строкой: «я на кровати». Утром Менаше всё собрал по списку, но кровать была пуста. Где же я? Помню картинку в детской книжке: мальчик в недоумении перед пустой кроватью. По-моему, эта сказка очень хорошо описывает, как мы теряем себя в своих интеллектуальных приобретениях.

Ученье — вход в лабиринт знаний и в лабиринт общества, где нет никаких предписанных ролей. Надо выбрать свою роль или создать ее заново. Этого мученья не было в добре старое время. Тогда всё было ясно. «Наших бьют!» Значит, беги и бей ненавистных. Моя страна, права она

или нет, говорят англичане. Так творилось много зла, но было и добро: не было мук свободы. Фортинbras не колеблется, нужно ли выполнять законы чести. Колеблется и мучается Гамлет. Он приобрел свободу — и потерял уверенность в себе. Толстой увидел в сомнениях путь от предписанной решительности к обдуманной решительности. Но обдуманная решительность — скорее цель, чем положительное приобретение. Всё время надо думать и заново решать. Это не твердая почва предписанного поведения, а только процесс, вечная незавершенность. Большинство людей к ней до сих пор не привыкло и не знаю, привыкнет ли. Жизнь обгоняет способность ориентироваться в жизни.

Общество предписанных ролей хорошо ладилось с религией предписанных символов. А обдуманная решительность житейского выбора не ладится с догмами, — разве что толковать догмы как иконы, как образы, не имеющие прямого логического смысла. Из всех средневековых религий ближе подошел к решению загадки буддизм дзэн, требующий от своих adeptов великой веры, великого рвения — и великого сомнения (во всех словах и предметах веры, во всех символах, чтобы буква не загораживала дух). Начало христианства было восстанием духа против буквы, но очень быстро сложилась новая жесткая буква и новое законничество.

Это было необходимостью для народной религии. Дзэн никогда народной религией не был, и неизвестно, сможет ли принцип великого сомнения стать общим правилом в ближайшие сотни и тысячи лет. Потому что обдуманная решительность и вера сквозь постоянные сомнения — тяжелый груз. Не всякий его подымет. И будущее здесь вряд ли может в корне изменить дело. Даже если развитие не пойдет — как оно идет сейчас — в сторону массы видеотов, мыслящих роликами и клипами.

Весной 1935 года нам предложили сочинение на тему «Кем быть». Предполагался выбор профессии, одной из предписанных ролей в обществе строителей социализма. Я с иронией перечислил профессии, увлекавшие меня в раннем детстве (извозчика, а потом солдата) и кончил словами: «я хочу быть самим собой». Это был бунт, это был буржуазный индивидуализм. Задним числом признаю: возмущенный учитель отчасти был прав: я испытал серьезное влияние «эготизма» Стендэля. Но по сути я был мальчиком Менаше, искавшим себя утром на пустой кровати.

Я искал себя в Гамлете, в стендэлевском Люсьеене Левене, потом в героях Достоевского (ближе других мне был Кириллов, с его «памятью смертной»). И в музыке — та же память смертная: «Миледи смерть, мы просим вас за дверью обождать...». «О верно смерть одна, как берег моря суеты...». При этом к смерти у меня не было никаких склонностей; но жизнь без мысли о смерти была мелкой, неполной — даже в самых ярких эротических образах, надолго застrevавших в уме.

Трудно жить в обществе без предписанных ролей. Где даже роль мужчины и женщины не совсем твердо предписана. Несмотря на анатомию, физиологию и гормоны. Симона де Бовуар права: женщиной не рождаются, ею скорее становятся. И мужчиной тоже. Роллан в «Очарованной душе»

пишет, что Марк не совсем понимал, чего ему хочется: прикоснуться к женщине или быть женщиной, почувствовать ее тело изнутри его самого. У девочек желание быть мужчиной еще чаще. Женщина рассказывала мне, что тело ее, почти мальчишеское до одиннадцати лет, стало внушать ей отвращение, когда начались неотвратимые сдвиги. Она пытаясь почти ничего не есть, чтобы сохранить мальчишескую худобу, но ничего не помогало. Потом восображение ее стало двойственным, перенося то в плоть мужчины, совершающего подвиги, то в плоть женщины, покоряющей мужчин своей красотой. Только годам к шестнадцати женственное вполне победило.

Бисексуальность — не патология; скорее *норма становления* — в обществе, где роли выбирают; опираясь на свою бисексуальность, развивая ее, японские артисты играют женщин, а в европейском театре есть особое амплуа — travesti, актрис на роли мальчишек. Некоторые актрисы играли даже Гамлета. Писатели превосходно умеют войти в женские чувства (Чехов восхищался, как замечательно это делал Толстой). В норме способность чувствовать другого, как себя, ведет к семье, где женщина чувствует мужчину и мужчина — женщину и Другой становится частью самого себя. Но возможен эмоциональный вывих, задержавшееся мальчишеское восприятие только мужского как прекрасного и презрения к женской полноте форм; возможны подобные вывихи у женщин — отвращение к мужской грубости, отвращение к своей пассивной роли при близости, желание сыграть активную, мужскую роль еще лучше мужчины; а у мужчин — отсутствие воли к активности, радость от пассивной роли в отношениях с любимым человеком. Наконец, возможен травматический опыт неудачи при попытке исполнить то, что предписано, и след на всю жизнь от этой травмы (у П.И. Чайковского, у Софии Парнок). Мне напомнила обо всем этом «Тетрадь Петры» во втором номере «Знамени» (1997). Стихи Петра Красноперова настолько выстраданы, что заражают и заставляют продумать чужой опыт как свой.

Я не стою за то, чтобы узаконить такие страсти. Если порядок природы создан Богом и носит на себе Его отпечаток, то можно требовать, по крайней мере, усилия следовать вселенскому порядку. В разделении на два пола есть духовный смысл, есть задача полюбить Другого, совершенно другого, как самого себя и в этой любви к Другому получить образ любви к Богу, совершенно иному, чем люди. В Индии подобная мысль хорошо разработана в некоторых формах бхакти, до полного уподобления религиозного чувства и половой страсти. Ни одна высокая религия не использует в качестве эротической метафоры однополую любовь, а любовь мужчины и женщины — и в Библии, и в разных толках индуизма, в суфийской лирике. Что же делать эротическимdaltonикам?

Кришнамурти различал путь святости и путь мудрости. Он никогда не объяснял, что это такое, но насколько я могу понять, путь святости — это примерно то, что один из русских святителей назвал романом с Богом, а Пушкин описал в своем «Бедном рыцаре», во втором варианте, где про-

фанация стерта: «С той поры, сгорев душою, он на женщин не смотрел...». Путь мудрости не отвергает страсти, но сдерживает ее до решающего выбора любви, захватившей сердце, принимая ее сразу же как служение и как долг, и отвергает прихоти, капризы. На этом пути мужчина для женщины и женщина для мужчины становятся образом и подобием Бога, а прикосновение друг к другу — причастием.

Другая ассоциация, возникающая при мысли о пути мудрости, это индийская лестница трех возрастных ступеней: бракмачарья (целомудренного ученичества), грихастья (семейной жизни) и варнапраства: вырастив взрослых сыновей, брахман, даже при живой жене, оставляет семью и уходит в лес, искать бессмертия (об этом в Майтри-упанишаде). Впрочем, третья ступень даже в традиционной Индии не всегда достигалась, а в обществе без предписанных ролей может иметь смысл скорее как метафора, без «реализации метафоры», как при бегстве Толстого. Просто «пора о душе подумать».

Всё это в неразвернутой форме промелькнуло в моем сознании, когда я услышал от молодого человека, просившего моего совета, что его волнует не женское, а мужское тело. Я сказал, что если он сможет, то лучше избрать путь одиночества.

На что я опирался? Это трудно объяснить. Я вижу открытое море без ясных ориентиров, куда плыть. Мой компас — сознание иерархии собственных духовных уровней. Я выбираю роль, выбираю путь на самой большой, доступной мне, глубине, и в часы оставленности духом глубины выполняю свою роль усилием воли. Здесь нет фальши. Когда говорят, что он или она играют роль, предполагается исполнение чужой роли, артистический обман (или сознательный обман). Этого нет, когда играешь свою роль, самого себя, свою собственную глубину, не придуманную, а в иные часы совершенно реальную. Без такой установки на глубину, в которой Я не только я, выходит не путь святости и не путь мудрости, а путь своеволия. Беру нарочно крупный пример: Юлия Цезаря. Когда он праздновал триумф, солдаты, следя за триумфальной колесницей, распевали частушки: «Вот едет лысый развратник; берегитесь, римские матроны... Вот едет жена всех своих друзей и муж всех римских матрон...». Это тот путь, по которому, кажется, следует современный Запад, увлекшись освобождением от всех предписанных ролей. Есть некое предписание, которое не должно нарушаться: глубина духа повелевает поверхностью души. Это неписаное, но великое правило нарушено мысльями постмодернизма, поставившими глубокое и мелкое на один уровень.

Я понимаю тех, кто испугался своеволия и бросился назад, к строгим предписаниям религии, даже явно нелепым, как запрет регулировать рождаемость. Этот пример стоит разъяснить. Запрет имел смысл, когда жена обязана была родить своему индийскому мужу по меньшей мере шестерых детей. Опыт говорил, что из шестерых четверо умрут, из двух оставшихся один ребенок может быть девочкой и остается один сын,

чтобы совершить поминальные жертвы. Такой же смысл имеет осуждение Онана, изливавшего свое семя на землю. Он обманывал Бога, велевшего родственнику умершего мужа возлежать с вдовой, чтобы продлить род покойного (обычай, описанный в книге «Руфь»). Христианство оставило в забвении книгу «Руфь», но включило в свои запреты осуждение Онана — хотя это две части одного целого, одной заботы о потомстве, бесчисленном, как песок морской. При нынешнем взрывном росте населения древний запрет явно вреден, но его боятся тронуть, чтобы не повалилось всё здание заповедей и запретов.

Видимо, надо мысленно отделить основное здание от пристроек, прилепившихся к храму. Но где четкий рубеж между тем, что можно и что нельзя «деконструировать»? Это задача философии, которая придет на развалинах, оставленных «деконструктивизмом». Пока такого ясного рубежа нет. Освободившись от предписанных ролей, мы потеряли чувство собственной правоты.

Права молния любви, соединяющая человека с истиной или двух людей — в общем чувстве. Но молния не длится годами. Нужна работа любви, как выразился Рильке, превращение пути, по которому прошла молния, в надежный провод. Ненадежные провода легко рвутся. И тогда «одиночество хлещет реками» (стихотворение Рильке «Одиночество» несколько раз хорошо переведено на русский язык; видимо, чувство разрыва близости очень многими пережито; несравненно чаще, чем любовь к Беатриче).

Дети торопятся стать взрослыми, не представляя себе, какое это хлопотливое дело. Они мечтают жить по своей воле, без предписаний папы и мамы. Они не понимают, что предписывать себе самому — постоянный духовный труд, постоянная забота.

Сколько мучений доставляет начало половой зрелости! Сколько в нем оскорбительного, физиологически грязного, как прискорбно лишение свободы детского воображения, порабощенность эротическими образами! Как немыслимо соединить эти грубые образы с присутствием живой женщины, с общением мальчиков и девочек в школе! Счастливы те, кого захватила сердечная влюбленность и соединила душу с телом и очеловечила бурю гормонов; но если влюбленность задерживается? Как пережить эту борьбу ума с чреслами, в обход сердца?

А иногда, особенно у девочек, созревшее сердечное чувство противится «взрослой» любви, хочет на всю жизнь остаться с нежными поцелуями, как выросший ребенок — со своими игрушками. Этот страх очень обоснован. Только немногие пары не сталкиваются с искушением близости, когда плоть причастия заслоняет его суть. Большинство теряет больше, чем приобрели. Некоторые теряют даже человеческий облик, открывают в себе (или в своем партнере) «зевоту тигра» (что-то подобное писала Цветаева Бахраху). Оставляю открытым вопрос, кто дальше от Бога: пара, живущая в содомском грехе и в любви, или супруги, создавшие себе и своим близким семейный ад. Мне кажется, что иерархия тяжести

грехов, установленная преданием, может быть пересмотрена — не отказываясь от понятий иерархии и греха.

Потеря девства — одна из самых тяжелых жизненных потерь. Я перенес ее сперва как пролог к драме, а потом уже как саму драму. Пролог был довольно смешным. Вернувшись в началу учебного года в Москву, мы начали какие-то забавы с Люсей, соседкой по квартире. Вдруг я заметил, что у Люси за лето образовались притухlostи вокруг сосков. Я очень огорчился. Люся в свои одиннадцать с половиной лет начала выходить из детства, становиться тетей. Она этого еще не заметила, но я понимал, что у тетенек и дяденек свои игры, в которых я, в свои десять лет, ничего не смыслил и для которых был не нужен. Я потерял подружку своих игр. Это не было трагедией, но мир стал холоднее. Дети — единый народ, а дяди и тети — два разных народа с какими-то очень сложными и болезненными отношениями (папа и мама непрерывно ссорились). Жизнь намекнула мне, что в этих сложных отношениях придется разбираться. А я был не готов.

Настоящей драмой был отъезд мамы в Киев. Я не просил маму оставаться. Я был сознательным мальчиком и понимал, что ее призвание актрисы требовало уехать вместе со студией «Фрайкунст», влитой в Киевский государственный еврейский театр. Но до этого я жил в каком-то симбиозе с мамой, словно мне было не двенадцать, а семь или даже пять лет. И вдруг этот симбиоз оборвался. Вдруг оказалось, что я очень одинок. С одним бедствием совпало другое: мои сверстники как раз тогда (с 5-го класса) сдвинулись в сторону повышенной шумной развязности, а я не находил себе места и обособлялся, уходил в себя. Одинокий в школе, одинокий дома (отец все вечера пересчитывал свои бухгалтерские ведомости). Это было очень трудно. Но, кажется, именно в одиноком отрочестве я начал учиться самостоятельно принимать решения, самостоятельно выбирать свою жизненную роль.

Вторым кризисом была потеря метафизической почвы под ногами, сознание себя песчинкой в бесконечности и невозможность с этим согласиться. Впервые это ударило в шестнадцать лет. Потом, по второму кругу, в двадцать. Чувство бесконечности пространства и времени рядом, прямо за стеной комнаты, где я сидел, с этих пор постоянно беспокоило меня и толкало мыслить.

Много позже я дружил с Петром Григорьевичем Григоренко, и как-то я подумал: он мыслит, чтобы действовать, а я действую, ставлю над собой эксперимент, чтобы лучше понять. И поняв что-то, чувствуя себя удовлетворенным. А потом еще больше удовлетворенным, когда удавалось перенести свое понимание в текст.

Понимание своего амплуа можно считать ограниченностью, но всякое дарование неизбежно ограничивает, дает силам одно определенное направление, без этого человек останется бесплодной смоковницей. Так же как артист должен сознать свое амплуа, набор ролей, которые может хорошо сыграть, и не пытаться играть не свое. Амплуа бывает узким, бывает очень широким, но парадокс в том, что Смокуновский, играя Моцарта или

Скупого рыцаря, больше раскрывается, больше верен себе, чем в частной жизни, когда он обедает или договаривается о гонораре. Быть самим собой — это роль, набор ролей, это *своя* дверь к целостности бытия. Потеря метафизической почвы под ногами была моей дверью в философию.

Третьей большой потерей было изгнание из гражданского общества. Такой смысл имела в 1946 году формулировка: «исключен за антипартийные заявления». Я потерял себя как советский человек и нашел себя как человек антисоветский. Эта потеря и это приобретение сделали для меня легкой четвертую потерю: тюремное заключение, лагерное заключение, утрату внешней свободы, приобретение свободы внутренней.

С внутренней свободой я легко перенес пятую потерю — потерю надежд на возвращение к профессии ученого-филолога, избранной в юности. Я принял свое положение люмпен-пролетария умственного труда и нашел в нем новые возможности для расширения *своей* области мысли и формирование своего, неакадемического стиля мышления (один из друзей назвал его матахудожественным).

Наконец, как-то незаметно, среди всех своих потерь, я потерял что-то, мешавшее мне любить, и очень поздно, в тридцать пять лет, открыл в себе юность чувства — странно, не вовремя, но очень глубоко. Совпадение поздней юности с неюношеским опытом мысли помогло мне избежать ошибок, которые губят раннюю любовь, и делать то, что Рильке назвал работой любви: тема, которая слишком велика, чтобы сказать о ней мимоходом.

И наконец, когда я преодолел все пороги, когда счастье стало полным и совершенным, — наше единое тело разрубила смерть. Я два месяца чувствовал себя разрубленным вдоль позвоночника и левую сторону — похороненной вместе с Ирой. Небо в моих глазах падало на землю. Я тысячу раз готов был поменяться с Ирой, чтобы она жила, хотя бы без меня. Я не согласился бы на ее смерть ради самой великой цели во вселенной. Но когда я вынес свою потерю, мне открылась вера Иова, и я почувствовал силу смотреть Богу в глаза и видеть Его сквозь ужас пещинки, летящей в пропасть.

Бог рассыпает свои подарки и свои удары, думая о нас ненашим умом. Нам остается радоваться каждому неожиданному подарку и собирать силы, чтобы приобретением стала сама скорбь.

Возможна ли чистая совесть?

Что такое чистая совесть? Можно ли жить и действовать, сохранив чистоту совести? Или прав Швейцер, и чистая совесть — уловка дьявола?

Когда мы говорим: «Моя совесть чиста!»? Как раз тогда, когда дела идут плохо, не по совести, но ты думаешь, что от тебя ничего не зависело и ничего не можешь сделать. В этом возгласе есть нечто вроде алиби: не я убил. Меня при этом не было.

Совесть может быть чиста там, где речь идет вообще не о совести, а о строго сформулированном праве: я уплатил за квартиру, за электричество, за газ, уплатил арендную плату... И то — если другие жильцы, другие арендаторы бойкотируют, отказываются платить, простой вопрос сразу становится сложным. А во всяком запутанном деле нельзя оставаться чистым. Иван Карамазов уехал в Чермашню и оказался соучастником Смердякова. А если бы не уехал? Вот случай, о котором я недавно прочел: сын вычеркнул отца, фабриканта, из списка на высылку в Сибирь. Семья осталась в Литве — и погибла вместе с другими евреями в 1941 году (в ссылке — могли бы уцелеть).

Чиста ли совесть у пенсионеров, клянущих Гайдара и Ельцина? Что пенсионеры думали в 56-м году, когда давили Венгрию, в 68-м, когда давили чехов? Одобряли и поддерживали. Между тем, я убежден: если бы реформы начались на тридцать лет раньше, когда не всё насквозь прогнило, многих нынешних провалов удалось бы избежать...

Чиста ли совесть у демократов, у того же Гайдара? Он уверен, что чиста: его правильную теорию просто не дали правильно выполнить. А кто доказал, что русский человек, после 70 лет советской власти, — будет действовать по правилам, установленным в Америке?

Чиста ли совесть у диссидентов, просто отказывавшихся думать, что делать в случае победы, какую проводить политику? Выйдя из тюрем и лагерей, они ничего не могли предложить и постепенно успокоились на том, что это не их дело. Лариса Богораз признавала это своей виной.

Чиста ли совесть у солдата, выполнившего приказ? В 1944 году я совершил вхождение в свою военную форму, приказ был для меня законом. Приказ разрешал рукоприкладство. И во время ночной смены позиций я ткнул в бок солдата, загремевшего снаряжением. Солдат, годившийся мне в отцы, выговорил свою обиду и пристыдили меня; до сих пор помню свой стыд. А потом стыд, что не помогли восставшей Варшаве. Мы без приказа стали сматывать палатки, как вдруг неожиданно: ставить палатки на место! И потом по радио: помочь Варшаве нельзя. По стратегическим причинам. Целый день офицеры, встречаясь глазами, отворачивались, стыдно было. На другой день привыкли: не наше дело — высокая политика. И я привык. Не стал додумывать мысль до конца. Хотя умел это делать и в 38-м, 39-м году не боялся, как овца. Связал страх оставаться одному против всех (все ложь главнокомандующего проглотили). Пока я был один — мыслил, а укоренившись в стае, в почве, в народе — лаю по-собачьи, блею по-овечьи.

Я образ и подобие Бога, и я наследник зверей, оставил след в моих генах. Апостол Павел плакал об этом. Он не знал про гены, писал другими словами: в членах моих нахожу желание греха, плоть моя противится Божьему слову. В духе сознание Целого Вселенной, сознание капли, тождественной океану, — и во плоти сознание умного животного, ищущего, как обойти, обогнать другого, съесть другого.

Пушкин писал: «Не продается вдохновенье, Но можно рукопись продать». А что, если мысль о продаже вмешивается в само вдохновение?

И повернет перо так, чтобы выгоднее продать? Я пишущий человек, я это знаю.

Выгоды могут быть разные, очень иногда тонкие: желание славы, желание посмертной награды. Думать о достойном ответе на Страшном суде — одно, а рассчитывать на награду — совершенно другое. Отец Сергий подгнил от любования своей святостью. И Силуану было сказано: «Держи ум свой во аде и не отчаивайся!».

Есть общий смысл в христианском принципе «я хуже всех» и в буддийской теории иллюзорности «я», «анатта». Разные философские высказывания, но направленность у них одна: преодолеть обособленность «я», выйти из двойственности. Но преодоленная двойственность всплывает заново. Поиск выгоды неотделим от жизни. Целостность не может до конца поглотить частный интерес. Отсюда нешуточный ответ александрийского сапожника святому Антонию: «все спасутся, один я буду гореть в аду». И понимание Антония, что этот ответ выше всех его подвигов. Вот первый раскол: целостность и частный интерес.

Второй раскол — внутри разума, созидающего Целое, внутри долга. Существует такое понятие — коллизия законов. Один закон велит, другой запрещает. Но так и с заповедями. Приведу сразу пример. Об этом было в газетах. Диссидент Болонкин получил срок — три года. Он не был сломлен, и в лагере ему пришли еще три года. За это время сын Болонкина подрос и стал заводить плохие знакомства. Письма в лагерь проходя сквозь цензуру, и гебешники знают, что у кого болит. Болонкину опять предложили выбор: или он покается по телевизору, или третий срок. Чувства отца столкнулись с гражданским долгом. Болонкин согласился, на него надели приличный пиджак, а брюки остались лагерные, их под столом не видно, и все нужные слова попали на голубой экран. Среди моих друзей было много диссидентов, никто Болонкина не осуждал. Осуждали Дудко, Красина, Якира: струсили. А здесь долг столкнулся с долгом.

Безусловная верность одному долгу оборачивается топтаньем других долгов. Есть история 48 ронинов (то есть безработных самураев, вассалов, оставшихся без сюзерена). Это подлинный случай, но он был пересказан Бакиным, так что это и факт, и классическая японская литература XVIII в. Некий даймё (высокородный дворянин) вступил в конфликт с важным чиновником бакуфу (правительства) и был им погублен. Вельможа знал, что ему будут мстить, и нанял сильную стражу. Пришлось ждать несколько лет. Чтобы как-то прожить, многие ронины, оставшиеся без средств, продали своих жен в публичные дома. Наконец, подозрительность вельможи была усыпана, и он распустил часть стражи. Тогда ронины напали на его замок и выполнили то, что считали долгом чести. Потом они явились с повинной. Бакуфу вынесло приговор: всем 48 ронинам сделать себе хаакири. И 48 ронинов разрезали себе животы.

Это экзотика, но ничуть не меньшей была жестокость русских революционеров. Меня учили в школе, что Разметнов проявил недопустимую слабость, пожалев семью раскулаченного (это из «Поднятой целины» Шо-

ложова). И дело здесь не в идеях революции, в идеях язычества, Востока. История христианства тоже полна подобными примерами. Пуритане, строгие исполнители религиозного закона, славились своей жестокостью к чужому греху. На совести католичества — поход против альбигойцев, Варфоломеевская ночь. На совести православия — канонизированная царица Ирина, по повелению которой было перебито сто тысяч иконоборцев (то есть христиан, верных заповеди «не сотвори себе кумира», нарушенной вселенской Церковью — и католической, и православной).

Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело. А совершенное отсутствие рвения, духовная и нравственная вялость — тоже от дьявола. Обе крайности — от него. И безусловная верность одной идеи, одному долгу — и отказ от всяких идей, от всякого чувства долга, беспечность современных сибаритов, ищущих одних только наслаждений.

Долг — это не просто заповедь. Это мучительная задача, как примирить *разные* принципы. Когда началась война в Чечне, я долго молчал. Мне хотелось понять всех: и чеченцев, и русское население Чечни, и молчаливое большинство русского народа, скованное страхом за распад державы. Я стал писать, когда все участники конфликта заговорили во мне на равных правах, когда сложился внутренний диалог принципов. Я не верил в правду одного принципа. Я верил в правду диалога, кружения вокруг пустого центра, пустого места для примирения принципов, потерявших жестокость, ставших текучими.

В поздние советские годы я балансировал между тремя принципами: гражданским долгом, профессиональным долгом и долгом семьи-нина. Я постоянно спотыкался, постоянно чем-то жертвовал, и совесть моя всегда была нечиста. Я легко решился протестовать против высылки Сахарова — но не решился, как Сахаров, протестовать против войны в Афганистане. Мне казалось, что для такого хода не было в руках подходящей карты — всемирной известности. Я протестовал против оккупации Праги в философском эссе, спустя несколько месяцев, в прозрачных, но не совсем открытых словах. Я передал «Акафист пошлости» для публикации за рубежом, когда понял, что кроме меня некому выступить, всем заткнули рты, и сделал это не без расчета (на первый раз «предупредят»; меня действительно вызвали, промыли мозги и предупредили о применении какой-то статьи, кажется, 190-1). Выслушав «предупреждение», я обещал на будущее отказаться от прямых политических протестов, но сказал, что публикацию за рубежом моих статей литературного и философского характера санкционирую. Некоторые друзья считали, что я держался слишком откровенно, другие — что всякие обещания им — слабость. Я сознавал, что кажусь дураком в глазах одних и слабаком — в глазах других.

Сейчас мне не грозит тюрьма, но однозначных принципов у меня и сегодня нет. Я понимаю доводы и за, и против смертной казни. Против — ближе моему сердцу, но даже в Израиле, где нет смертной казни, Эйхмана все-таки повесили. Я помню случай, когда стрелял (правда поверх голов), чтобы остановить бегство и уложить солдат в цепь. Мог бы стрельнуть и

по ногам, если бы меня не послушались, и в голову, при полном мятеже. Я допускаю, что при нынешнем размахе преступности вполне возможна «шоковая терапия». Я убежден, что в Сумгаите надо было стрелять на поражение и не допустить погрома, что возможны другие подобные случаи. Я склоняюсь к презумпции отказа от смертной казни, от стрельбы по толпе и т.п. — но презумпция не мешает осуждать преступника, если вина его доказана, и презумпция прав личности не может мешать чрезвычайным мерам в чрезвычайной обстановке. Я сознаю, что *всякое практическое решение не безупречно*, всякое действие может вызвать лавину зла, и действующий человек идет на великий риск. Но бездействие, сплошь и рядом, — еще большее зло.

Во всяком столкновении с другим я вспоминаю Сартра: «Другой отнимает у меня мое пространство. Существование Другого — недопустимый скандал». Я признаюсь, что иногда сам так чувствую. Я знаю, что раздражение — знак моего внутреннего неблагополучия, что оно говорит о недостатке любви, но не сразу, не быстро, не мгновенно вспоминаю любовь, не сразу топлю раздражение в любви. И не с каждым человеком мне легко вспомнить про Бога (который любовь) и взглянуть на Другого Его глазами (в которых нет других). Перед всеми другими я виноват, что почувствовал их, как Другого. И каждый раз это вина перед Богом.

Без этой чуткости к своей вине добре дело, начатое нами, легко становится источником отчуждения от Другого и зла, повернутого на Другого. Таким добрым делом была свобода прессы, радио, телевидения, — и вдруг мы заметили, что свобода СМИ стала властью СМИ, свобода нации стала угнетением другой нации, свобода науки стала разрушением цельности культуры; и всякое частное добро где-то есть зло.

Зло — порождение жизни. Жизнь всегда — отдельная, и утверждая себя, она душит и поедает другие жизни. Даже деревья — загораживая солнце. Еще больше — животные и птицы. И больше других — человек. Но человек — не только живое существо; он еще существо духовное, образ и подобие Бога, и сознание себя как образа Бога восстает против законов жизни, отменить которые до конца — не может. И всё же ноет в груди, как совесть. Кажется, никто не понимал это лучше Тютчева:

И от земли до крайних звезд
Всё безответен и поныне
Глас вопиющего в пустыне,
Души отчаянный протест.

Власть слов, идей возникает во имя духа — и загораживает Дух, как икона загораживала Рильке от Бога. Это постоянный вопрос, стоящий перед цивилизацией, нагромоздившей очень много слов. И время от времени разгорается борьба с омертвевшим, дурно пахнущим словом. Время от времени можно назвать то, что чувствуешь, совестишься его назвать. «Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи...» И

всё же наш долг — произнести слово. Долг, противостоящий другому долгу — молчания.

Солженицыну казалось, что всё зло — от нарушения каких-то правил. Примерно так думал и Лев Толстой. Но есть еще благодать — чувство, когда закон добра становится законом зла, когда лекарство начинает давать противопоказания. Это чувство нигде не записано. Его постоянно ищешь и всё время чувствуешь неточность, грубость своего понимания. Это чувство внушило мне мысль, что стиль полемики важнее предмета полемики, важнее правоты в споре. Ибо правота никогда не бывает совершенной и никогда нет такого ясного и твердого добра, что против его оппонента хороши все средства. Отстаивая добро, мы постоянно грешим против добра. Даже тогда, когда в формальном, правовом плане мы чисты, — кто знает все последствия своих действий? И наконец мы всегда грешим неисполнением первой заповеди: возлюбить Бога всем сердцем, каждым помышлением своим. Прав Швейцер: чистая совесть — уловка дьявола...

Но поэт опытно знает состояние чистой совести:

Чистая совесть — дыханье простора,
Чистое веянье духа, в котором
Бог развернулся сплошною дорогой.
Чистая совесть — согласие с Богом.
Чистая совесть — согласье с мирами,
К нам доносящими дальнее пламя,
С каждой звездой и душою зеркальной,
Той, что звездою была изначально.

Моя совесть не может быть чистой. Но совесть чиста, когда исчезло *мое*, исчезло это, со всеми его проблемами и грехами. Это состояние утраты Я и полноты присутствия Бога. Только состояние. Но оно есть.

О Господи, меня ведь нет.
Расплылись все черты.
Всё было суетой сует,
Остался только Ты.
Остались на исходе дня
Вод тихих зеркала.
О Господи, прости меня
За то, что я была.
За то, что тратила запас
Вселенской тишины.
Прости меня за каждый час,
Что мы разделены.

(Оба стихотворения Зинаиды Миркиной)

Москва, 16 марта. Коктебель, май 1997

Валерий МИЛЬДОН

ВСЯ РОССИЯ — НАШ САД

(о провидческих мотивах творчества А.П. Чехова)

На смерть Чехова А. Белый откликнулся небольшой статьей, где есть слова: «Чехов не объяснял: с м о т р е л и в и д е л»¹.

Фактически повторено признание самого Чехова из письма А.С. Суворину: «Вы браните меня за объективность, называя ее равнодушием к добру и злу, отсутствием идеалов, идей и проч. Вы хотите, чтобы я, изображая конокрадов, говорил бы: кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело показать только, какие они есть. [...] Конечно, было бы приятно сочетать художество с проповедью, но для меня лично это чрезвычайно трудно. Ведь чтобы изобразить конокрадов в 700 строках, я всё время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе, иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплываются...»².

Прежде всего изображать, а не становиться на чью-либо сторону. Мало найдется среди русских классиков тех, кто, подобно Чехову, взял бы эту формулу правилом. В этом отношении он — уникальная фигура русской литературы — не проповедник, не моралист, но художник. Можно приблизиться к нему в изобразительной объективности, сравняться, — трудно превзойти.

Валерий
МИЛЬДОН

— родился в 1939 году. Окончил МГПИ им. Ленина, историко-филологический факультет. Работает во ВГИКе, доктор филологических наук, профессор. Автор книг «Открылась бездна. Образы места и времени в классической русской драме» (1992), «Бесконечность мгновения. О национальном в художественном сознании» (1992), «Чехов сегодня и вчера («другой человек»)» (1996) и десятков статей по вопросам русской и западной литературы и эстетики. Живет в Москве.

¹ Белый А. Критика. Эстетика. Теория символизма. В двух томах. М., «Искусство», 1994. Т. 1. С. 322. Разрядка автора. Во всех случаях, кроме оговоренных, разрядка моя.

² Чехов А.П. Собр. соч. в двенадцати томах. ГИХЛ, 1960. Т. 11. С. 411. Дальнейшие сноски в тексте.

Этот существенный признак его необыкновенного дара отмечали все чуткие критики. «...Чехов более, чем какой-нибудь другой русский писатель, показывает мне и в а с, и м е н я, — а с е б я открывает ... лишь в той мере, в какой каждый из нас может проверить его личным опытом»³. «Чехов чувствовал за н а с, и это м ы грезили, или каялись, или величались в словах Чехова. А почему мы-то такие, не Чехову же и отвечать...»⁴

Он и не отвечал, причины — не его дело, они всего-навсего часть реальности, тогда как художник занят ею целиком.

Если всё же подыскать Чехову аналогию в нашей словесности, идет на ум Пушкин. С ним Чехова сближает *радость творчества* — нечастый, наряду с объективностью художественной, признак русской литературы. Скорби, негодования, протesta, сострадания — предостаточно, мало радости. Еще бы, ее испытываешь от непреднамеренно удавшегося результата, которого и сам не ждешь, — почти невозможное условие для тех, кто заранее скорбит, сострадает и пр.; кто принял чью-то сторону; для кого художественное творчество — замаскированная публицистика: защита, осуждение, проповедь.

Вопреки тому, что многократно говорилось и писалось о Чехове (пессимист, певец сумерек, беспокойная совесть и т.д.), он, вместе с Пушкиным, самый радостный русский писатель. Ему нравилось *изображать*, он получал от этого удовольствие, кажется, мало зависимое от того, что он изображал. Жизнь может быть хорошей, плохой, какой угодно — таково зрение публициста. Для художника Божий мир изначально благ, потому что всё можно изобразить.

Радостью этого благообразия (в котором предостаточно темных сторон, тоже подлежащих изображению) полнится творчество Чехова. И если этого не признают, то по въевшейся русской привычке искать в творчестве прежде всего направления, идей, без которых оно якобы мало чего стоит.

Нет, если ты небес избранник,
Свой дар, божественный посланник,
Во благо нам употребляй,
Сердца сбратьев исправляй.

(Пушкин. «Поэт и толпа», 1828)

Оптика толпы пушкинского стихотворения устроена так, что она не замечает: творчество уже есть благо, само по себе и в себе. Нужно лишь почувствовать, тогда как императив «исправляй сердца!» способен уничтожить благо, парализовать творчество. Я люблю кого-то, не спрашивая — почему? зачем? Мое чувство больше логики, «тут нутром, тут чревом любишь». Даже ответить я на вопросы, «предмет» не исчерпается — «почему», «зачем» только часть его, едва ли существенная. Так и с творчеством.

³ Анненский И. Избранное. М., «Правда», 1987. С. 280. Разрядка автора.

⁴ Там же. С. 281.

В письме к брату Александру Чехов поделился: «Пьесу («Иванов». — В.М.) я написал нечаянно, после одного разговора с Коршем (владелец драматического театра в Москве. — В.М.). Лег спать, надумал тему и написал. Потрачено на нее 2 недели или, вернее, 10 дней...» (11, 152).

«Знаете, как я пишу свои маленькие рассказы?.. Вот, — передавал В.Г. Короленко одну из бесед с Чеховым. — Он оглянулся на глаза вещь, — это оказалась пепельница, — поставил ее передо мною и сказал: «Хотите — завтра будет рассказ... Заглавие «Пепельница». И глаза его засверкали весельем»⁵.

Уже после его смерти А.С. Суворин сообщил, как Чехов признавался ему, «что один из своих рассказов написал в купальне, лежа на полу, карандашом, положил в конверт и бросил в почтовый ящик»⁶.

Писатель И.Л. Щеглов, гостивший в Мелехове, передает: «...Разговор завязался о писании вообще, и я напомнил Чехову о его рассказе «Поцелуй», который он шутя написал на моих глазах в номере петербургской гостиницы»⁷.

Радостной игры творческих сил, удовольствия объективным изображением всего вокруг, доброго и злого, недооценила в Чехове критика.

«Помилуйте, что это такое? — ораторствовал... один мой приятель, статистик, — ведь ни одной идеи Чехов не проводит? Полное отсутствие общественного содержания... [...]»

Около того времени (1892. — В.М.), помню, как раз появились известные фельетоны о Чехове... Н.К. Михайловского в «Русских ведомостях», и они еще более упрочили и усилили это... отношение к одному из лучших... содержательных и глубоких писателей»⁸.

Михайловский, между прочим, характеризовал талант Чехова следующими выражениями:

«В том безразличии и безучастии, с которым г. Чехов направляет свой превосходный художественный аппарат на ласточку и самоубийцу, на муху и на слона...». «...Если бы он расстался со своим безразличием и безучастием, русская литература имела бы в его лице не только большой талант, а и большого писателя»⁹.

Прошло семьдесят лет, как Пушкин написал стихотворение «Поэт и толпа», а взгляд «толпы» господствует, и ничто не свидетельствует о возможных переменах. «Безразличие и безучастие! Михайловский, в сущности, призвал Чехова «исправлять сердца соратников». Что было бы, послушайся один совета другого, легко угадать: русская литература и большого писателя не получила бы и, не исключено, потеряла бы талант,

⁵ «Чехов в воспоминаниях современников». ГИХЛ, 1960. С. 139.

⁶ «А.П. Чехов. Литературный быт и творчество по мемуарным материалам». Сост. Вал. Фейдер. Л., 1928. С. 50.

⁷ Там же. С. 286.

⁸ Там же. С. 218.

⁹ Там же. С. 216—217.

сила которого состояла в художественной объективности, близоруко определенной критиком как «безразличие».

Эту, похоже, извечную ситуацию удачно изобразил В. Розанов: «Когда Чехов написал «Мужиков», то произвел переполох в печати... Не знали, как отнестись к ним. Хвалить? Порицать? Мужики были так явно несимпатичны, между тем как печать уже несколько десятилетий была соединена с мужиками «симпатией». «Мужики», впрочем, повторяли то, что было о них сказано в странной «Власти тьмы» Толстого; но у Толстого это было сказано как бы для «христианского примера», а у Чехова бе з «п р и м е р а» с к а з а н о, а так, просто, что вот «есть». Это «есть» ужасно жгло сердца и оскорбляло интеллигенцию тем, что она не знала, как к этому отнестись. «Любить» явно можно только симпатичное, а тут? [...] Чехов писал рукой не беллетриста, а медика»¹⁰.

Медика, который даже не ставит диагноза, лишь отчетливо фиксируя признаки, в соответствии с чем и следует определять отношение к феномену: болезнь врожденная, инфекционная и пр.

Один этот рассказ — а близких ему «медицинским духом» Чехов написал предостаточно — служит превосходным комментарием суждений о призванности русского народа, его мессианских задачах в мире и т.п., если, разумеется, безмерные и не знающие конца страдания людей не считать знаками исторической предназначенности к какой-то иной доле. Действительно, вряд ли в истории, по крайней мере, последних трехсот лет същется народ с такой страдальческой судьбой. Этот-то народ и был изображен Чеховым с художественной объективностью, не исчерпавшей своего содержания по сей день.

Словно отвечая упрекам Н.К. Михайловского и родственной ему по взглядам критике, С.Л. Франк писал в статье «Этика нигилизма» (1909): «Кто любит истинную красоту, того подозревают в равнодушии к народному благу и осуждают за забвение насущных нужд ради призрачных интересов и забав роскоши; но кто любит Бога, того считают врагом народа. [...] Тут обнаруживается внутренне неизбежное, метафизическое столкновение двух мировоззрений, мироощущений — исконная и не-примиримая борьба между... настроением, пытающимся сблизить человеческую жизнь со сверхчеловеческим и абсолютным началом, найти для него верную и универсальную опору, — и настроением нигилистическим, стремящимся увековечить и абсолютизировать одно лишь «человеческое, слишком человеческое»¹¹.

Да, Чехов равнодушен, но в том смысле, в каком всегда равнодушен художник — божественный творец, для которого *всё равно* в качестве предмета изображения, — вот почему к нему относится это высокоторжественное «любит Бога». Вот почему его читали и читают, о нем писали и

¹⁰ Розанов В.В. Сочинения. М., «Советская Россия», 1990. С. 418.

¹¹ Вехи. Сб. статей о русской интеллигенции. Репринт. М., 1990. С. 154—155.

пишут, и так будет продолжаться до тех пор, пока вообще не атрофируется вкус к книге (засдно сказать, сочинения Чехова — надежная гарантия, что этого не произойдет никогда). Всякое новое поколение будет открывать в творчестве Чехова тайну собственной жизни — объективное художественное изображение заключает в себе некое слово, самой действительностью еще не высказанное, а потому это изображение провиденциально.

Как-то он сообщает А.С. Суворину: «В разговорах с пишущей братией я всегда настаиваю на том, что не дело художника решать узкоспециальные вопросы. [...] Для специальных вопросов существуют у нас специалисты; их дело судить о судьбах капитала, о вреде пьянства, [...] художник же должен судить только о том, что понимает. [...] Художник наблюдает, выбирает, компонует — уже одни эти действия предполагают в своем начале вопрос. [...] Требуя от художника сознательного отношения к работе, Вы правы, но Вы смешиваете два понятия: решение вопроса и правильная постановка вопроса. Только второе обязательно для художника» (11, 274—275).

Тем не менее следует усвоить (по крайней мере задуматься над этим): картины русской жизни, нарисованные Чеховым, не совпадают ни с одним теоретическим суждением по поводу ее прошлого, настоящего, будущего. Эти картины оказываются всегда на шаг впереди самых невеселых или оптимистических прогнозов, ибо писатель воссоздает неоспоримую реальность, тогда как любой прогноз всего лишь вероятен.

«Никогда не занимавшийся ни социальной, ни этической проповедью, чеховский гений тем не менее обнаружил больше чернейшей реальности голодной, забитой, рабской, злой крестьянской России, чем множество других писателей, таких, как, например, Горький... Я пойду дальше и скажу, что люди, предпочитающие Чехову Достоевского или Горького, никогда не будут в состоянии постичь сущность русской жизни и, что гораздо важнее, сущность мировой литературы»¹².

«Сущность русской жизни» — так видится сейчас то, что написал Чехов, не становясь, повторяю, ни на чью сторону, не примыкая ни к одному из идеиных лагерей своего времени, — редчайшее обстоятельство в нашей земле, где групповая принадлежность всегда казалась необходимым элементом существования художника. Вероятно, нигде с такой страстью, с таким убеждением и самозабвенной яростью, как в России, литературная среда не делилась по идеинным признакам, имеющим, замечу, для самого художественного творчества значение лишь материала, не лучше и не хуже прочих материалов. Только творчество есть доподлинный критерий творчества — эта банальнейшая истина не определяла в России места художника в обществе, — вот по какой причине (среди, разумеется, других) сами художники находили обоснование своему участию в общественной жизни.

¹² Набоков В.В. Из лекций по русской литературе. — «Театр», 1991, № 1. С. 76.

На этом культурно-историческом фоне, в этой среде Чехов кажется чрезвычайным явлением объективного художника. Однажды он писал по поводу «дела Дрейфуса»: «Пусть Дрейфус виноват — и Золя все-таки прав, так как дело писателя не обвинять, не преследовать, а вступаться даже за виноватых, раз они уже осуждены и несут наказание. Скажут: а политика, интересы государства? Но большие писатели и художники должны заниматься политикой лишь настолько, поскольку нужно обороняться от нее. Обвинителей, прокуроров, жандармов и без них много» (12, 193).

Таково, оказывается, «безучастие» художника — не допускать вмешательства политики в творчество, значащее для людей, во всяком случае, не меньше политики, а потому каждый занимайся своим. Поэт не может быть больше или меньше поэта, если он поэт, и перестает им быть, когда нарушает эту меру в ту или иную сторону. Он «безучастен» лишь для поверхностного взгляда, приученного «участвовать» в раз и навсегда затверженных формах. Истина — подлинный объект творчества — открыта «равнодушному» созерцанию, свободному от всех страстей, кроме одной — страсти изображать. Изображая, художник участвует.

Такое бескорыстное участие составляло существо творческой натуры Чехова, от природы лишенного публицистического пафоса (редкая черта русского художника), и объясняет заодно, почему люди разных идейных ориентиров *одинаково* неодобрительно воспринимали Чехова. О Михайловском шла речь. Человек совсем иных взглядов, Л. Толстой, по свидетельству очевидца, заметил, прочитав «Мужиков»: «...Это грех перед народом. Он не знает народа»¹³.

Повстречав Чехова в Париже в 1898 г., Суворин сообщает: «Он мне рассказывал, что Короленко убедил его баллотироваться в члены Союза писателей, сказав, что это одна формальность. Оказалось, что среди этого Союза несколько членов, которые говорили, что Чехова следовало забаллотировать за «Мужиков», где он представил мужиков не в том виде, как следует по радикальному принципу»¹⁴.

Толстой, полагавший крестьянскую жизнь идеалом существования, осудил рассказ с позиций консервативных — «не знает народа», хотя работа в Мелехове земским врачом исключает толстовскую оценку. Несколько же членов Союза писателей, радикалов, по замечанию Суворина, осудили чеховскую вещь из-за несоответствия тогдашнему публицистическому образу «простого народа». Еще бы, народ всегда прав, он хранитель истины, вечных основ и пр., а Чехов о нем этакое.

Между тем «этакое» было результатом художественной беспристрастности, благодаря которой писатель воссоздал Россию не в мнениях той или другой партии, а во всем ее объеме: с правыми и левыми, либералами и консерваторами, вынужденными и безвинными. Этим, предполагаю, и объясняется, отчего Набоков, несомненно внимательный читатель Чехо-

¹³ Цит. по: Чехов А.П. Собр. соч. Т. 8. С. 528.

¹⁴ Суворин А. Дневник. М., «Новости», 1992. С. 214.

ва, решил, что именно Чехов, а не кто-то другой, способен многим открыть глаза на «сущность русской жизни».

Собственно, в этом и состоит пророчество Чехова — в изобразительной силе: описанная им Россия, исторически далекая от нас (не за горами столетие со дня смерти писателя), в действительности никуда не делась, она с нами, в нас; но равно справедливо, что и мы в ней — в той, которую изобразил Чехов. И то ли по себе, нынешним, догадываемся мы о ней, тогдашней; то ли она, тогдашняя, увиденная глазами писателя, пророчествует нам наше сегодняшнее житье-бытье.

Герои Чехова любят потолковать о будущем, и коль скоро они отделены от нас столетием, можно допустить, хотя бы в виде мыслительного эксперимента: наша жизнь и есть то самое будущее. И что же? Всё, что чеховские персонажи адресовали будущему, можем адресовать и мы, не меняя ни слова, разве что без прежних пафоса и надежды. Остается впечатление, что за эти сто лет ничего не изменилось, хотя внешние перемены громадны. Вероятно, в этом и состоит одно из генеральных свойств таланта Чехова: он захватывает такие структуры человеческих взаимоотношений, которые не зависят ни от истории, ни от политических или экономических обстоятельств — ни от чего, кроме самого человека, не имеющего, однако, об этом ни малейшего представления.

Вершинин в «Трех сестрах» надеется: «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной» (9, 545). Ему вторит Петя Трофимов: «Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Всё, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным...» (9, 633). Один из последних рассказов, «Невеста», заканчивается: «...Впереди ей рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее» (8, 501).

В самом деле, сколько будущего! Невольно возникает мысль: персонажи так страстно толкуют о нем, что безумышленно исторгают себя из настоящего, не занимаются им, перестают видеть вблизи, доверившись самым первичным ощущениям. Текущая жизнь и впрямь никуда не годится — об этом всё творчество Чехова, но не потому ли и не годится, что каждодневным, рутинным, незаметным никто не занят? Всем недосуг, пускай по разным причинам: одни озабочены будущим, другие тоскуют по прошлому. До настоящего не доходят руки, хотя, повторяю, этому имеется слишком поводов. Лопахин остро почувствовал: «Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера [...] и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей» (9, 633).

Оказывается, настоящим не заняты потому, что знают ему цену, объявленную тем же Лопахиным: «Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая...» (9, 630). Выход, конечно, один: «О, скорее бы всё это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастная жизнь» (9, 650).

На это уповают многие герои Чехова и даже пробуют обосновать свои упования математической прогрессией: «Допустим, — рассуждает Верши-

нин, — что среди ста тысяч населения этого города, конечно, отсталого и грубого, таких, как вы, только три. [...] После вас явится уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока, наконец, такие, как вы, не станут большинством» (9, 545).

Увы, долго ждать, да и средство небезупречное — лучше сразу попасть в будущее либо не вылезать из прошлого: не может же быть, чтобы когда-то *не было* хорошо или *не будет*.

С прозорливостью объективного художника Чехов обнаружил: как бы ни отличались русские друг от друга взглядами на былое и грядущее, сближает их чаще всего решительная неприязнь к настоящему, свидетельствующая, кстати, о здоровом онтологическом инстинкте — стихийном убеждении, что жизнь и не может быть никакою иной; что таково устройство человека. Что же до будущего и прошлого, они всего-навсего логические метафоры этого инстинктивного убеждения, которое одно с лихвой могло бы оправдать столетия мрака и тоски.

Правда, есть и другой вариант: будущее и прошлое — соломинка, за которую хватаются по неискоренимому защитному рефлексу. Изумительна в этой связи короткая сцена из «Трех сестер»:

Ч е б у т ы к и н (роняет часы, которые разбиваются). Вдребезги!

Пауза: все огорчены и сконфужены.

К у л ы г и н (подбирая осколки). Разбить такую дорогую вещь — ах, Иван Романович [...]

И р и н а. Это часы покойной мамы.

Ч е б у т ы к и н. Может быть... Мамы так мамы... (9, 576).

Вдребезги разбились не часы — само время. Оно разлетелось, рассеялось по безбрежным просторам, а потому все сроки, все надежды, двести-триста лет или миллион — бессмысленны.

Чуть позже эти настроения, зашифрованные, я полагаю, в двух репликах Чебутыкина, «расшифровал» А. Белый в стихотворении с характерным названием «Отчаяние» (сборник «Пепел» — тоже названыще!):

Довольно, не жди, не надейся —
Рассейся, мой бедный народ!
В пространство пади и разбейся
За годом мучительный год!

Неожиданный парафраз сцены из «Трех сестер» — разбивается время, исчезает, рассеивается. Осталось пространство, *место* — на него, как будто, надеется поэт, однако вот финальные строки:

Туда, — где смертей и болезней
Лихая прошла колея, —
Исчезни в пространстве, исчезни,
Россия, Россия моя!¹⁵

¹⁵ Белый А. Собр. соч. Стихотворения и поэмы. М., «Республика», 1994. С. 116.

На время никаких надежд, но и пространство обнадеживает лишь как место, где можно исчезнуть, — по крайней мере, знаешь, что тебя ждет. С таким знанием не на что опереться — вот, предположительно, смысл обыденной реплики Чебутыкина: «Мама так мама...». Какая мама, если нет и не будет жизни.

Одно из художественных пророчеств Чехова заключается в том, что он посулил безнадежность времени — как раз по этой причине его герои устремлены в грядущее или не хотят расставаться с былым. В рассказе «На пути» один из персонажей говорит: «Русская жизнь представляет из себя непрерывный ряд верований и увлечений, а неверия и отрицания она еще, ежели желаете знать, и не нюхала. Если русский человек не верит в Бога, то это значит, что он верует во что-нибудь другое» (4, 512).

С. Булгаков комментирует эти слова: «В произведениях Чехова ярко отразилось это искание веры, тоска по высшему смыслу жизни, мятущееся беспокойство русской души и ее больная совесть»¹⁶.

Разумеется. Но не меньше возможно и другое толкование. Больная совесть? Какие же веру и смысл найдешь с больной совестью? Сперва надо выздороветь — этого-то, кажется, и не хотят, потому что не считают себя больными. Тогда чем объяснить «мятущееся беспокойство» о прошлом, о будущем, лишь бы не иметь дела с настоящим?

Петя Трофимов, кажется, почувствовал: «У нас в России работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигентии, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. [...] Все серьезны, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушки, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим» (9, 638).

Отводят глаза прошлым и будущим ради сохранения выдуманных представлений о народной жизни, не желают замечать ее реальных картин, беспристрастно нарисованных рукою художника. Какой там «высший смысл жизни», если всё это для отвода глаз!

Вера и увлечение? Пусть так, однако они имеют цену, пройдя испытание неверием и отрицанием, которые тоже ценные, если отталкиваются от глубокой веры. Куда ни кинь, всюду клин — вот какую психологическую ситуацию изображает Чехов.

Просится вопрос: как же быть? Напомню слова И. Анненского: «Не Чехову отвечать». Ответить — значит дать решение, выбрать, взять чью-то сторону. Целям воспитательным, пропагандистским или каким угодно, одним словом, — идеологическим это соответствовало бы. Но не целям художественным, которых добивался Чехов.

Нет общих ответов, универсальных решений, поскольку человек — существо индивидуальное. Общий ответ прячет незнание, коллективное

¹⁶ Булгаков С. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., «Наука», 1993. С. 137.

спасение (вроде прекрасного будущего) — эвфемизм всеобщей погибели, один из архетипов массовой психологии: на миру и смерть красна. Это и есть «тайное тайных», а не больная совесть и поиск высшего смысла. Впрочем, и поиск, и совесть, но ведь у Чехова отнюдь не об этом, не только (не столько) об этом. Вспомним-ка «Мужиков», «В овраге», «Мою жизнь», «Вишневый сад». С. Булгаков не взял этого в расчет.

Однажды Чехов так выразился: «Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочтании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба, много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучивший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и Богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, — напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая» (11, 317—318).

Биографы давно доказали, что здесь писатель подразумевает себя. Подобное обстоятельство, о ком бы ни шла речь, слишком значительно само по себе, ибо это предстоит испытать каждому, поскольку человеческая жизнь никому из нас не гарантирована одним только рождением. Мы все вступаем в жизнь рабами, даже если вынести за скобки понятия тот явный социальный смысл рабства, о котором писал Чехов. «Рабство», остающееся в скобках, подразумевает, что человек, его свободный дух порабощены материальными силами, и в преодолении их состоит то, что именуется духом, и лишь почувствовав себя независимым от них, человек может осознавать себя человеком.

Вместе с тем для Чехова рабство — это и «коллективное спасение», «смерть на миру», боязнь индивидуального существования, творческой свободы. Последняя в «Черном монахе» рассматривается персонажами как болезнь, отступление от нормы, ради которой любящая жена отправляет Коврина в больницу. Что ж, он вылечивается, становится как все, но это и сводит его в могилу.

Лечить нужно «общие решения», избавляться от бессильной веры в «свальное» спасение, пропитываться отрицанием всего, что мешает человеку сделаться тем, чем он призван своею природою, — самим собой. Человек живет не во времени, не в истории, не в отечестве, не в человечестве. Он живет в жизни, населенной другими людьми, и лишь его отличия от них могут сблизить его с ними. Общее же отталкивает, служит причиной всяческих несчастий — от личных до всенародных.

В небольшом рассказе «Муж» выражена, я думаю, одна из сторон этой проблематики.

Кавалерийский полк остановился в уездном городе. Всеобщее возбуждение, подъем, радостное смятение среди женщин. Разумеется, бал. Местный чиновник, раздраженный нарушением долгопривычного порядка жизни, с неудовольствием смотрит на свою танцующую жену:

«— Глядеть противно! — бормотал он. — Скоро уже сорок лет, ни кожи, ни рожи, а тоже, поди ты, напудрилась, завилась, корсет надела! Кокетничает, жеманничает и воображает, что это у нее хорошо выходит... Ах, скажите, как вы прекрасны!» (4, 274).

Чиновник глубокомысленно проговаривается и, не подозревая угаданной им истины, называет то, что происходит в душе его жены, в душах женщин города и всего мира. Они хотят быть прекрасными — единственное женское средство вырваться из мира, непригодного для людей. «Анна Павловна, бледная, трепещущая, согнув томно стан и закатывая глаза, старалась сделать вид, что она едва касается земли, и, по-видимому, ей самой казалось, что она не на земле, не в уездном клубе, а где-то далеко-далеко — на облаках! Не одно только лицо, но уже всё тело выражало блаженство...» (4, 274)

«Казалось, что она не на земле» — это и есть чувство, которым человек сопротивляется ужасам жизни, обступившим его. Они тем ужаснее, что существуют в самом что ни на есть затрапезном облике привычной каждодневности. Чехов был мастер воссоздавать удушающую людей обыденность, которая, попав на страницы его книг, только оттуда по-настоящему ужасала нас, не столь внимательных к ней в нашем текущем существовании.

Страшная обыденность с такою глубиной взята Чеховым-художником, что приобретает характер какого-то мифологического архетипа. Бытовая детализация этого мифа уходит столь глубоко, что кажется, будто наша собственная, современная жизнь есть попросту осуществление той программы, которую набросал Чехов, воссоздав наиобыденнейший мир с таким запасом, что человечеству расти и расти, жить и жить, а его текущий обиход всё будет соответствовать чеховским картинам.

От этой архетипической предназначенности, от неумолимой судьбы, напророченной мифом, бежит супруга акцизного чиновника, спасаясь танцем с безымянным кавалерийским офицером. Ей нужно было почувствовать себя живущей — и только.

«Акцизному стало невыносимо, ему захотелось насмеяться над этим блаженством, дать почувствовать Анне Павловне, что она забылась, что жизнь вовсе не так прекрасна, как ей теперь кажется в упоении...

— Погоди, я покажу тебе, как блаженно улыбаться! — бормотал он. — Ты не институтка, не девочка. Старая рожа должна понимать, что она рожа!» (4, 274—275)

Чеховский персонаж всего-то и хочет, чтобы его жена не выходила на свет жизни из тьмы обыденности. Нарушение правил этого общего (подчеркиваю) существования плохо не само по себе, а потому, что неоспоримо обнаруживает никчемность каждодневного, о чём герой сам догадывается, но ему не нужны подтверждения. Иначе выяснится, что он никуда не годен, и его брань, низости — всего лишь самозащита.

«Выйдя из клуба, супруги до самого дома шли молча. Акцизный шел сзади жены и, глядя на ее согнувшуюся, убитую горем и униженную

фигурку, припомнил блаженство, которое так раздражало его в клубе, и сознание, что блаженства уже нет, наполняло его душу победным чувством. Он был рад и доволен, и в то же время ему недоставало чего-то и хотелось вернуться в клуб и сделать так, чтобы всем стало скучно и горько и чтобы все почувствовали, как ничтожна, плоска эта жизнь [...], когда знаешь, что проснешься завтра утром, — и опять ничего, кроме водки и кроме карт! О, как это ужасно!» (4, 276)

Тут надо подчеркивать каждое слово, ибо все они значат. Во-первых, желание сделать скучно всем. Подобное авторское наблюдение, которое многие читатели могли бы подтвердить сходными примерами личного опыта, свидетельствует, что имеет дело с национальной чертой, на сей раз взятой в отрицательном смысле, ибо есть и положительный: пусть всем будет хорошо. Обращаю внимание на обязательность «всем», хотя очевидно, что некий принцип, хорош он или дурен, не может иметь всеобщего распространения.

Отчего акцизный хотел, чтобы *всем* было скучно? Оттого, пишет автор, что отчаялся в жизни, от ужаса: проснешься завтра, и опять ничего, кроме водки. Пусть же *всё* пропадает, не так страшно тебе одному жить в безнадежном мире, когда знаешь, что все так.

Чувство чиновника оказывается искаженным чувством человечности, продолжением (вот где глубина Чехова) настроений его жены, «отрицательным» восторгом. Ему тоже хотелось прочь, вон с земли, на облака, да он не знал, как, в нем жил только смутный порыв, но не было ни сил, ни страсти осуществить. Чиновник знал, что несчастен, что это его жребий, отбивался, но чувствовал, что обречен, и тогда бессознательно ухватился за «смерть на миру»: пусть все будут обречены — легче перенести собственную обреченность. Кратчайший восторг жены вдруг приоткрыл чиновнику, что жизнь, с невозможностью которой он помирисился, возможна, и тогда он сам поспешил уничтожить эту вожделенную жизнь, не чувствуя себя способным к ней. Он согласился с тем, что перестал быть человеком, и ему больно, когда рядом появляется человеческое переживание — память о погибшей мечте. Он уничтожает человеческое, потому что страдает от бесчеловечности, — такова искаженная логика этого существования.

У Чехова немало подобных образцов.

В рассказе «Воры» фельдшер, очутившись в избе вместе с ворами и конокрадами, наблюдает их, и на сердце ему падает тоска. «И он жалел: зачем он фельдшер, а не простой мужик? Зачем на нем пиджак и цепочка с позолоченным ключиком, а не синяя рубаха с веревочным поясом? Тогда б он мог смело петь, плясать, пить, обхватывать обеими руками Любку, как это делал Мерик...»; «К чему на этом свете доктора, фельдшера, купцы, писаря, мужики, а не просто вольные люди? Есть же вольные птицы, вольные звери, вольный Мерик, и никого они не боятся и никто им не нужен! [...] Ах, вскочить бы на лошадь, не спрашивая, чья она, носиться бы чертом вперегонку с ветром по полям, лесам и оврагам, любить бы девушек, смеяться над всеми плодьми. [...] Кто говорит, что гулять грех? —

спрашивал он себя с досадой. — А вот, которые говорят это, те никогда не жили на воле, как Мерик или Калашников, и не любили Любки; они всю свою жизнь побирались, жили без всякого удовольствия» (6, 343, 349).

Вот оно, надо жить с удовольствием. Вор, нарушитель гнусного порядка, кажется свободным только потому, что ненавидит условия жизни, в которой живешь без удовольствия, безрадостно влачишь и так недолгое существование. С вором этот порядок ничего не может поделать — пронеслось в душе фельдшера. Он завидует Мерику, живущему *по-своему*, а не по-общему, из которого фельдшер Ергунов хочет бежать, да не знает как.

Многие и многие персонажи Чехова бегут. Мужчины и женщины, старые и молодые, дети и взрослые, крестьяне, горожане. Куда бегут, неведомо им самим. Рассказ «Мальчики» передает этот дух бегства. Два десятилетних гимназиста собираются в Америку — страну их воображения, где есть индейцы и слоны. Для одного из них, Чечевицына, эта выдумка реальнее того, что его окружает; она, мечта, и есть его реальность, его жизнь. Другой же, Володя, легко мирится с потерей мечты ради близкого, данного, полученного им готовым. То-то рассказ начинается словами: «Володя приехал!». Он уже у себя, он *здесь*, и никуда бежать не надо. В десять лет он законченный член общества «как все».

«Как все» является онтологической драмой ряда чеховских героев. Одному из них («Учитель словесности») замечательно повезло: он любит, любим не только невестой и ее родителями, но коллегами в гимназии, учениками. Он женится, и его счастье всходит, кажется, на новую ступень, и одновременно он чувствует в себе непонятное неудовольствие. Однажды он проигрался в клубе. «Шел дождь, было темно и грязно, Никитин чувствовал на душе неприятный осадок и никак не мог понять, отчего это...» (7, 399)

Он стал думать и внезапно додумался до того, что его жизнь не удалась. «Он думал о том, что кроме мягкого лампадного света, улыбающегося тихому семейному счастью, кроме этого мирка, в котором так спокойно и сладко живется ему и вот этому коту, есть ведь еще другой мир... И ему страшно, до тоски вдруг захотелось в этот другой мир. [...] Ему захотелось чего-нибудь такого, что захватило бы его до забвения самого себя, до равнодушия к личному счастью, ощущения которого так однообразны» (7, 401)

О самой неудавшейся жизни ни слова, но нужны ли слова, чтобы заподозрить неудачу? Не всё ли сказано: «До тоски захотелось в другой мир»? «До тоски» и есть самое сильное, окончательное признание, какое возможно, причем тоска эта как бы двойная: и от прежней, опостылевшей жизни — «счастья» и от невыразимого сознания-ощущения, что никуда от этого «счастья» не денешься, что другой мир не про тебя. И первая тоска много усиливается второй.

«Мартовское солнце светило ярко, и сквозь оконные стекла падали на стол горячие лучи. [...] Начиналась весна, такая же чудесная, как и в

прошлом году, и обещала те же радости... Но Никитин [...] писал в своем дневнике: «Где я, Боже мой?! Меня окружает пошлость и пошлость. Скучные, ничтожные люди, горшочки со сметаной, кувшины с молоком, тараканы, глупые женщины. Бежать отсюда, бежать сегодня же, иначе сойду с ума!» (7, 403).

«Бежать сегодня же» — одно из господствующих настроений чеховского творчества. Настроение это не имеет ясных очертаний, может принимать разные виды: Америка, Москва (у трех сестер; а вот Гурову в Москве не сидится), — безоговорочно одно — не устраивает *место*. Неизвестно, повторяю, куда тянет, зато все осознают, откуда — *отсюда*, из этого места, как бы его ни называть: земля, человечество, дом, Россия, родина. М. Волошин заметил о «Трех сстрахах»: «Вся пьеса только и построена на этой тоске по иному времени и по иному месту...»¹⁷.

Эти слова распространяются на многих персонажей писателя. Чем же не устраивает место?

В «Черном монахе» призрак объясняет Коврину: «Ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками Божиими. Ты служишь вечной правде. [...] Вас, людей, ожидает великая, блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществляется это будущее».

Коврин с недоверием спрашивает: если «ты призрак, галлюцинация, значит, я психически болен, ненормален?

— Хотя бы и так. [...] Друг мой, здоровы и нормальны только заурядные, стадные люди. [...] Если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо» (7, 304—305).

В этом всё дело: человек становится человеком, а не рождается, он должен приложить к этому руку, и становление зависит от страсти вырваться за ряд, от стремления бежать кошмарно-унылого «как все». Оно только кажется настоящим, от которого отсчитывают прошлое и будущее; на самом деле оно бездна, куда проваливаются все сроки и меры. Нужно иметь нечеловеческие силы, чтобы не свалиться в нее заодно со всеми, не рассеяться и не исчезнуть, — вот о чем толковал монах Коврину.

Примечательно, что появлению монаха всегда предшествовал черный *высокий* столб. Этот *размер* неоднократно повторяется у Чехова. Лопахин восклицает: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...» (9, 634).

«Мы в существо, и если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет, человечество выродится, и от гения не останется и следа» («Дом с мезонином», 8, 101).

¹⁷ Чехов и его время. М., «Наука», 1977. С. 203.

Чтобы не выродиться, нужно стать великими, превзойти норму, разрушить давящее равенство однообразия. Неожиданный отклик эти настроения получат спустя пятьдесят лет в «Письмах о русской культуре» Г.П. Федотова, писавшего в 1938 г. о России: «Страна, всерьез сделавшая марксизм единственной основой воспитания, превращается в «собачью пещеру», где могут выживать только и з к и е р о с т о м»¹⁸.

Не те ли это «низкие ростом», о которых предупреждал Чехов устами Лопахина: должны быть великими, иначе перестанем быть людьми? Не о них ли как массовом несчастье беседовал монах с Ковриным? Наконец, не из среды ли таковых, не из собачьей ли пещеры бегут чеховские герои, словно предвидя (еще одно возможное художественное предсказание писателя), что близится царство, которому, точно, не будет конца?

Едва ли дело в марксизме, к тому же всерьез он, разумеется, не был усвоен. На его месте могла быть любая идеология, потому что содержание второстепенно, главное однородность, какой бы та ни была. Вот, кстати, почему с такой безболезненностью, почти незаметно громадная страна, якобы всерьез сделавшая марксизм основой воспитания, рассталась с ним чуть не в три дня. Не в нем, не в нем дело, как и не в большевизме — всего-навсего поздней (или очередной) исторической разновидности того, что с такою страшною силою изобразил Чехов, — вечного жребия человека как такового и, будь тут возможны количества, вдвое вечного для человека русского — жребия однородности.

Здесь не отделаться «больной совестью», поисками высшего смысла — С. Булгаков (бывший марксист, кстати), несомненно, идеализировал, приукрасил положение. Высшего смысла ищет всякий человек, это не этнический, но антропологический признак, он-то и составляет генеральную черту чеховского провиденциализма: покуда есть люди, они всегда будут искать чего-то высшего самих себя. В муках такого поиска человек может сделаться человеком, и у него нет иного средства, кроме муки, иначе он так и останется фрагментом бесконечного органического материала. «Господи, ты дал нам... леса... поля... горизонты...»

Благодать оказывается с червоточиной — все надежды на природу, на леса и поля. Человек *должен быть*, а его нет. Что, к примеру, произошло с героями «Черного монаха»? «Вся, вся наша жизнь ушла в сад, — сетует Таня, — мне даже ничего никогда не снится, кроме яблок и груш» (7, 291).

Вот именно, и с Ковриным она поступила, как с деревом, крона которого нарушила рассчитанный садовый порядок.

Что ж, леса, поля, горизонты — только и жить яблокам и грушам. Этого мало — «вся Россия наш сад». Близко этому настроение героя из рассказа «Архиерей»: «...Она уже не помнила, что он архиерей, и целовала его, как ребенка, очень близкого, родного.

¹⁸ Федотов Г.П. Судьба и грехи России. Избранные статьи. Т. 2. СПб., «София», 1992. С. 192.

— Павлуша, голубчик... родной мой! Сыночек мой! Отчего ты такой стал? Павлуша, отвечаю же мне!»

«А он уже не мог выговорить ни слова, ничего не понимал, и представлялось ему, что он, уже простой, обыкновенный человек, идет по полю, быстро, весело поступивая палочкой, а над ним широкое небо, залитое солнцем, и он свободен теперь, как птица, может идти, куда угодно!» (8, 465).

«Идет по полю», «широкое небо», солнце, «свободен, как птица», кажется, должен быть великаном, а рассказ оканчивается берущей за душу смертью.

Из необъятного выбора, пригрезившегося персонажу, — «можешь идти куда угодно», остается лишь единственный, увы, всеобщий путь. Только там благо, где нет человеческого, — в мире природном. Выходит, человеку хорошо, когда нет людей, никого нет (свободен, как птица), но в этом случае и его нет, а тогда зачем это ему? Если ж есть люди, вопрос прежний: «зачем»?

Оказывается, речь идет о том, что любое положение человека безвыходно. Впрочем, нет, одна единственная ситуация, кажется, ему по душе — когда он расстается со всем этим и находит, к полной для себя неожиданности, решение всего, что мучило его: у Марфы («Горе»), у Коврина («Черный монах») радостная улыбка перед смертью, которая, наконец, ответила на все вопросы. Но как раз потому остается на душе тяжелая печаль — вот отчего, надо думать, профессор («Скучная история») не знает, что ответить на вопрос «как жить?». И разве один он?

В этом смысловом контексте фраза Пети Трофимова из последней драмы Чехова может рассматриваться своего рода художественным интегралом чеховского творчества. «Вся Россия наш сад». С одной стороны, уже упоминавшийся благородный смысл: цветущий мир, краше которого ничего нет; мир всей твоей (героев, читателя) жизни — детство, отрочество, любящие мать и отец, дружная семья, праздники, волнующие сердце тайны, первая влюбленность. С другой стороны, вегетация, все давящая, от нее нет спасения даже во сне, не знаешь, что делать, чтобы вырваться, и тем сильнее хочется бежать, чем острее осознаешь бессмысличество бегства — родина, как-никак, *вся Россия*. И когда Лопахин предлагает сад вырубить, разделить на участки и продавать дачникам, это и кощунство (еще бы, прекраснее ничего нет на свете — и под топор), но и выход: уничтожив сад, выручить людей. Покуда Россия сад, торжествует стихийная органическая сила, чистая природа, для которой человек — растительная разновидность, до тех пор не будет жизни. Однако неизвестно, будет ли она, если последовать совету Лопахина — вырубить и расчистить. В первом случае есть твердый ответ, хотя и безрадостный; во втором нет ответа — едва ли не еще безрадостнее.

Не случайно последняя вещь Чехова заканчивается под стук топора (дозвали-таки Русь!), вырубающего сад («всю Россию»), и страшными словами Фирса: «Жизнь-то прошла, словно и не жил».

Это не только о Фирсе, это о Раневской, Гаеве (прошлом); об Ане (будущем). О настоящем говорил Лопахин. Образность Чехова такова, что, будучи созданной из материала того исторического времени, продолжает и продолжает с тех пор неумолимо воплощаться в текущей каждодневности. Эту особенность чеховского творчества проницательно отметил А. Белый: «...Откровения художника переплескиваются за пределы искусства в жизнь»¹⁹. «Его символы... вросли в жизнь, б е з о с т а т к а в о-
плотились в реальном»²⁰.

Нужно прибавить: в реальном, которое и посейчас остается таким, каким его некогда увидел Чехов, — достаточное, если так, основание, чтобы говорить о его художественных пророчествах.

¹⁹ Белый А. Указ. соч. С. 321.

²⁰ Там же. С 322.

ЗОНА Ш.

(Опыт литературной фантасмагории)

История мировой литературы знает ряд случаев, в принципе не поддающихсянятной логической дешифровке и реконструкции. Таково, например, авторство некоторых текстов Святого Писания, загадка Шекспира, атрибутика «Слова о полку Игореве» или многовековая традиция литературного псевдонима. Это особая, «паралогическая» зона литературной действительности, требующая такого же неординарного, альтернативного, «внезвклидового» осмысления.

Предлагаемая статья является попыткой именно такого рода. Она посвящена личности по фамилии Шолохов.

Авторство «Тихого Дона» — одна из самых интригующих загадок XX века. Как только негласный запрет на критическое слово о Шолохове был снят, в печать хлынул поток разоблачительных антишолоховских публикаций. «Тихий Дон» перечитан сегодня с лупой в руках, из архивного небытия извлечен пласт интереснейшей довоенной и даже дореволюционной информации, сопоставляются факты, документы, тексты, спорщики сражаются друг с другом уже с помощью компьютеров¹, отысканы и свидетельствуют даже садовники Шолохова² — таков размах разгоревшейся дискуссии.

Валерий
СЕРДЮЧЕНКО

— родился в 1937 году в Киеве. Окончил Вильнюсский университет. Преподает во Львовском государственном университете. Автор многих статей по русской классической и современной литературе. Печатался в «Новом мире», «Неве», «Октябре», «Вопросах литературы». Живет во Львове.

¹ См., например, открытое письмо начальника сектора математического обеспечения ЭВМ Вычислительного центра Лесотехнической Академии им. С.М. Кирова Е.В. Вергеля норвежским ученым во главе с Г. Хьютсо, предпринявшим компьютерный анализ текста «Тихого Дона» («Вопросы литературы», февраль 1991).

² О показаниях садовника, «15 лет работавшего в доме Михаила Александровича», упоминает Рой Медведев («Вопросы литературы», № 8, 1989. С. 151).

Однако, введя в оборот массу неизвестных ранее материалов, «новые шолоховеды» запутались уже на собственных основаниях. Их доводы и аргументы взаимно обесценивают друг друга: никакая точка зрения не предстает предпочтительной, и загадка Шолохова лишь набирает в загадочности.

От иных разысканий о Шолохове явственно попахивает серой. Например, некто Л. Колодный недавно потряс общественность заявлением о том, что черновики «Тихого Дона» существуют и таким образом Шолохов — это Шолохов. Но тут же таинственное оборачивается вдвойне таинственным: «Если бы я был уверен, что в известную мне дверь, за которой находятся рукописи первых двух книг «Тихого Дона», в наше тревожное время не поступят непрошеные гости, то я, конечно, сообщил бы читателям и другую интересующую их информацию относительно московского архива, которую пока вынужден опустить»³.

Итак, черновики «Тихого Дона» существуют, но не могут быть обнародованы: их обладатель опасается неприятных последствий⁴.

Автор публикации сражает своим сообщением обширный корпус антишолоховских материалов, инициированных книгой «Стремя «Тихого Дона» (загадка романа)», изданной в Париже в 1974 году. Кому принадлежит эта книга? Анониму Д. Почему анониму? Уж не по той ли причине, по которой обладатель рукописи Л. Колодный предпочитает держать ее в тайнике, в подполье⁵.

Запомним это слово, «подполье». Оно станет ключевым в наших дальнейших умозаключениях.

³ Колодный Л. Рукописи «Тихого Дона». — «Вопросы литературы», вып. 1, 1993. С. 300.

⁴ Эта тема роковой опасности, возникающей вокруг каждого, кто слишком близко соприкасается с «тайной Шолохова», звучит и у Роя Медведева: «...В феврале 1975 года в моей московской квартире был устроен обыск, значительная часть моего архива была изъята. Для меня было очевидно — и по характеру обыска, и по предупреждению Московской прокуратуры, — что именно работа над книгой о Шолохове была причиной интенсивного давления властей» («Вопросы литературы», № 8, 1989. С. 149).

Любители детективного литературоведения по достоинству оценят и пассаж некоего Бар Селлы Зеева, звучащий, как доклад по инстанции: «Сообщаем: истинный автор романа «Тихий Дон» нами установлен. Вот некоторые сведения о нем: донской казак по происхождению, учился в Московском Императорском университете, автор двух (кроме «Тихого Дона») книг, расстрелян красными в январе 1920 года в городе Ростове-на-Дону» (Бар Селла З., «Тихий Дон» против Шолохова». — «Даугава», № 12. С. 82). Однако даже укрывшись в Израиле с его могущественной контрразведкой «Массад», этот разоблачитель с именем библейского пророка почему-то предпочитает умолчать фамилию подлинного автора «Тихого Дона».

⁵ Сейчас тайна анонима раскрыта. Якобы раскрыта. В интригующей детективной манере Н. Струве во «Взгляде из Парижа» сообщил через 16 лет со дня опубликования книги, что ее автором является жена Б. Томашевского Ирина Николаевна, по первому мужу Андреева («Литературная газета», 2 мая, 1990 г.).

Следующая особенность околошолоховского пространства — его перенасыщенность всевозможными копиями и ссылками на «из неопубликованного»:

...«Воспроизводится по оригиналу письма, хранящемуся в частной коллекции. У автора имеется фотокопия»⁶.

...«Из неопубликованного письма М.А. Шолохова к А.М. Горькому, 6 июля 1931 г., стан. Вешенская. Цитируется по копии письма, предоставленной нам И.Г. Лежневым»⁷.

А вот своеобразный рекорд «copy-right style», практикуемый в нашем шолоховедении: «Цитирую по копии, предоставленной П.К. Луговым. Письмо М.А. Шолохова к П.А. Луговому от 13.05.1933 г. публиковалось в выдержках в очерке К. Приймы «Шолохов в Вешках» («Советский Казахстан», 1955, № 5), статье Н. Мара «У берегов Тихого Дона» («Литературная газета», 17 марта 1962 г.). По непонятным соображениям К. Прийма умолчал о том, что текст письма предоставил ему П.К. Луговой. Он сочинил версию о якобы найденном им в Вешенской у какой-то старухи архиве П.К. Лугового, в котором будто бы и было обнаружено письмо М.А. Шолохова»⁸.

Уф... Трудно не запутаться в этой фантасмагории ссылок, копий, копий с копий, копий с неопубликованного, с неопубликованного и ненаписанного. Версии, тайники, старухи. Как-будто исследователи Шолохова разыгрывают им самим недоступные козыри, вводят в заблуждение других и самих себя, искренне веря при этом в безусловную научную достоверность своих архивно-эпистолярных разысканий.

То же и с рукописями «Тихого Дона». Здесь возникает мотив бомбы. Она появляется сжигающей точкой в белесом небе над Вешенской и, управляемая лукавой волей Шолохова, с математической точностью попадает в его писательский архив. Вопрос об авторстве снят и снят гениально. Никаких черновиков не только к «Тихому Дону», но и к «Донским рассказам», и к «Поднятой целине» нет и быть не может.

Но особенности «зоны Шолохова» таковы, что в ней всё возможно. Разбомбленный архив, как феникс из пепла, вновь возникает в писаниях его исследователей. Он разбомблен, но не полностью⁹. Он вообще не разбомблен, но утерян растяпами из НКВД: «Весь мой архив, а в том числе рукопись романа «Поднятая целина» — всё пропало в годы войны. Рукопись «Донских рассказов», «Тихого Дона», «Поднятой целины», переписка со Сталиным, Горьким и другие ценные материалы мною были сданы в местный архив. Надеялся, что сберегут, а вышло — сдал им, как

⁶ Мезенцев М. Судьба романа. — «Вопросы литературы», февраль 1991. С. 44.

⁷ Гура В.В. Жизнь и творчество М.А. Шолохова. М., 1960. С. 61.

⁸ Якименко Л. Творчество М.А. Шолохова. М., 1977. С. 167.

⁹ Так, например, утверждает А. Хватов, ссылаясь на шурина Шолохова И.П. Громославского. — См.: Хватов А. Художественный мир Шолохова. М., 1970. С. 300.

в пропасть кинул. Непостижимо, как они утратили этот архив... Рукопись *второй книги «Поднятая целина»* утрачена со всем архивом (выделено нами. — В.С.)¹⁰.

Но не верьте этому. Ничего не разбомблено и не утрачено. Во всяком случае, черновики первой половины *«Тихого Дона»* целы и сберегаются на конспиративной столичной квартире, ведомой Л. Колодному.

Еще загадочней выглядит биография Шолохова. Например, где он находился в годы войны? Что он делал в Англии, Болгарии, Германии, Голландии, Дании, Норвегии, Польше, США, Франции, Швеции, Японии? Кто организовал в начале 60-х годов его встречу с внучкой Леонида Андреева, причастного к «голоушевской» версии авторства *«Тихого Дона»*¹¹? Не можем удержаться от соблазна, чтобы не уточнить, что впоследствии именно О. Карлайл-Андреева становится западной литературной резиденткой А. Солженицына, автора разгромного антишолоховского предисловия к *«Стремени «Тихого Дона»*¹².

И так далее, и всё загадочнее, противоречивее, фантасмагоричнее. Как если бы рядом с Шолоховым работал мощночастотный генератор, подавляющий или искажающий любую информацию о нем.

Отвлечемся, однако, от этих интригующих несообразностей и вспомним, из-за чего, собственно, возникла волна антишолоховских выступлений в 70—80-е годы. Вот именно — из-за разительного несоответствия автора *«Тихого Дона»* — образу того Шолохова, каким он являл себя литературному миру послевоенных десятилетий. Создатель величайшего шедевра XX века — и реакционер, черносотенец, требовавший революционной расправы над оппозиционными режиму писателями. Донской Гомер — и автор бездарных очерков о борьбе за мир. Непревзойденный мастер слова — и косноязычный запойный пьяница, городивший с трибун партийных и писательских съездов такую околесицу, что морщились даже его кремлевские покровители. Не будет преувеличением сказать, что в

¹⁰ Эта версия более радикальна, поскольку «аннигилирует» вообще всё, что могло принадлежать довоенной руке Шолохова и даже руке его высокопоставленных корреспондентов. Остается, правда, невыясненным, сам Шолохов или К. Прийма откорректировал первоначальную и с нашей точки зрения более талантливую версию о бомбовом ударе по архиву. При чем здесь К. Прийма? При том, что именно ему поведал (якобы поведал) Шолохов, разумеется же устно, изложенную версию (см.: Прийма К. Шолохов в Вешках. *«Советский Казахстан»*, 1995, № 5).

¹¹ Об этой встрече О. Карлайл-Андреева рассказала в талантливом очерке «Вы дома», опубликованном в *«Вопросах литературы»*, май 1990 г.

¹² Еще одна пикантная подробность, обнаруженная нами в обширной, растянувшейся на несколько книжек «ВЛ» публикации О. Карлайл-Андреевой о переправке рукописей А. Солженицына на Запад: интервьюерка Шолохова и резидентка Солженицына вхова, оказывается, в высшие политические круги Америки (см. описание ее визита к семейству Кеннеди). Невольно приходит на память блестательная литературно-политическая авантюристка Мария Будберг-Закревская — и мы почему-то не думаем, что такое сравнение будет госпоже Ольге неприятным.

либеральных литературных кругах Шолохова *ненавидели*, и как только ситуация позволила, на его голову обрушились мстительные громы.

Отказав Шолохову в авторстве «Тихого Дона», его недоброжелатели оказались, однако, перед кругом новых вопросов. Как тогда быть с «Донскими рассказами», «Поднятой целиной», «Они сражались за Родину», «Судьбой человека»?

Более-менее единодушно было решено в том смысле, что с «Тихим Доном» они совершенно несопоставимы и заслуживают интереса лишь как беллетристические поделки большевизанствующего литератора.

Так ли это? Достаточно сравнить «Донские рассказы» с «Конармиией» И. Бабеля, чтобы убедиться, что они этого сравнения не проигрывают, по крайней мере по отсутствию в них налета эстетизма, «художничества», неуловимо присутствующего даже в самых жестоких сюжетах «Конармии». Пафос новелл И. Бабеля — все-таки литературный пафос, в то время как действительность «Донских рассказов» внутренне сопряжена с прекрасным и яростным «внелитературным» миром «Тихого Дона». И, между прочим, совсем не большевистская правда торжествует в таких донских рассказах, как «Семейный человек», «Чужая кровь», «Обида», «Ветер».

О «Поднятой целине». А. Солженицын оценивает ее так: «...Вперемежку с последними частями «Тихого Дона» начала выходить «Поднятая целина» — и простым художественным чутьем, безо всякой поиска, воспринимается: это не тот уровень, не та ткань, не то восприятие мира»¹³.

При всем уважении к маститому читателю рискнем все-таки утверждать, что его читательское чутье слишком политизировано, чтобы безусловно ему довериться. «Поднятая целина» — лучшее произведение о крестьянской действительности 30-х годов¹⁴. Это самый жизнеспособный образец социалистического реализма. Один из безупречно выполненных социальных заказов эпохи. Имеет кто-нибудь что-либо возразить против этого?

Возражения имеются, но они лежат в иной, морализаторской плоскости: роман «Поднятая целина» плох потому, что Шолохов политический злодей, гений же и злодейство вещи несовместимые; он ниже всякой критики именно потому, что он выше всякой критики как произведение социалистического реализма; роман бездарен, поскольку он воспевает советскую власть и т.д.¹⁵.

¹³ Цит. по: «Вопросы литературы», сентябрь—октябрь 1991. С. 39.

¹⁴ «Дай-то, как говорится, Бог большинству нынешних знатоков советской деревни такого знания предмета и такого уровня письма...». Это утверждает не какой-нибудь партийный борзописец, а покойный редактор «Континента» В. Максимов («Континент», № 65).

¹⁵ В последнее время появились и иные, нетрадиционные трактовки романа. Так, В. Литвинов в статье «Уроки «Поднятой целины»» («Вопросы литературы», сентябрь—октябрь 1991) обнажил массу негативных черт в поведении Давыдова со компанией и сделал вывод о намного более противоречивой позиции автора «Поднятой целины» по отношению к изображаемому, чем то представлялось ее твердокаменным партийным комментаторам. Еще более интересной выгля-

Мастерской рукой написаны и «Они сражались за Родину», и «Судьба человека». Не будем отрицать этого в угоду политической минуте. Не будем отрицать и того, что они написаны одной и той же, пусть постепенно слабеющей рукой. В них есть единство авторского почерка, «знака», единство ощущения человека и его мира — и никакие компьютеры, ни Солженицын не заставят автора этих строк согласиться с обратным. Руководствуясь «простым художественным ощущением», на чем настаивает А. Солженицын, автор считает, что если «Тихий Дон» гениальное, то «Поднятая целина» очень талантливое, а «Они сражались за Родину» и «Судьба человека» просто талантливые произведения.

Но тогда... Тогда невероятная эта история делается вдвойне невероятной и разрешить ее с помощью здравой логики становится вообще невозможным. Здесь необходим какой-то альтернативный, «неэвклидовский» угол зрения на проблему, и мы намерены предложить собственную, вполне сумасшедшую версию, рассчитанную, впрочем, на соответствующего редактора и читателя.

Исходная суть нашей гипотезы состоит в том, что человек по имени Шолохов никогда не написал ни единой художественной строчки. Не было писателя по имени Шолохов. Было нечто другое.

А именно: редкостная, превосходящая всякое литературоведческое и не только литературоведческое воображение авантюра, условно обозначенная нами как «гений и бес». Ревнителей здравого смысла просят из аудитории удалиться.

Представьте себе ломпенизированного деревенского парня, почти мальчишку с генетическим ощущением своей исключительности. Он физически тщедушен, застенчив, неуклюж, а вместе с тем не по возрасту проницателен, восприимчив и дьявольски честолюбив. Нравственные рецепторы изначально подавлены у него инстинктом самоутверждения, его мечты — мечты завоевателя, чемпиона, «первого». Кругом неслыханные перемены и биографические шансы, нужно только правильно выбрать. Он прекрасно усвоил призывы и лозунги большевистских газеток о том, что терять таким, как он, нечего, приобрести же они могут весь мир.

дит попытка И. Коноваловой увидеть в декорациях просоветского социалистического романа последовательно антибольшевистскую и антиколхозную эпопею. Экстравагантность подобного прочтения обеспечена, нужно признать, весьма убедительной аргументацией и во всяком случае выгодно отличается от школьарского разоблачительства. (См.: Коновалова И. Михаил Шолохов как зеркало русской коллективизации. — «Огонек», 1990, № 25.) С этой трактовкой корреспондирует мнение уже упоминавшегося В. Максимова: в романе рассказана беспощадная правда, «до какой (я на этом не настаиваю) не поднимался ни один ее современный летописец. И кто знает, может статься, не в социальных максимах Давыдова и Нагульного, а в размышлениях Половцева по-настоящему выражена авторская позиция тех лет?» (Максимов В. Человек и его книга. — «Континент», № 65.) Мы бы в этом предположении заменили ортодоксального Половцева на философского Ляльевского. Но об этом несколько ниже.

Покинув родительский дом, а, может быть, и изгнанный оттуда, он превращается в этакого донского Валета, блуждает по городкам и весям превращенного в революционный ад казачьего Юга, грабит награбленное в составе красноармейских продотрядов¹⁶, пока, наконец, судьба не сводит его с неким П.Я. Громославским. Этот Громославский — темная личность. Он успел посидеть в тюрьме уже при советской власти, и отнюдь не за политическое, а за уголовное преступление¹⁷. То ли бывший станичный атаман, то ли станичный писарь, то ли корреспондент «Донских ведомостей», проводивший в последний путь самого Ф. Крюкова¹⁸, а в целом криминальный тип с уклоном в весьма своеобразно понимаемую литературную — и не только литературную — деятельность. Новоявленные дружки, старый и молодой, находят общий язык друг с другом с полуслова. Оба они отчаянные прожектеры, оба безнравственны, но именно поэто-му хорошо понимают, что революция — это и х время, и х шанс, тут в мгновение ока можно стать миллионщиком, полководцем, наркотом, отцом небесным. Скажут, это из Достоевского и к Шолохову во всяком случае не имеет никакого отношения — а почему, собственно? Жизнь сложнее литературоведения и наших кабинетно-гуманистических представлений о ней, а Наполеоны чаще рождаются именно в хижинах, а не в дворцах. В мирное время они там и остаются, но социальная смута на то и смута, чтобы выбрасывать на поверхность донный слой маргиналов, авантюристов, этических мутантов.

И тут — внимание! — на сцене появляется третий. Мы с некоторым трепетом приступаем к описанию этого главного персонажа нашего сюжета — так же и потому, что придется окончательно оставить территорию филологической учености и углубиться в сюрреалистические лабиринты жизни.

Итак, предположим: однажды ночью на пороге громославского дома появляется некто гениальный и полубезумный одновременно. Он одержим всевозможными гоголевскими неврозами, у него очередной психический кризис, его терзают метафизические ужасы и демоны всего мира, но прежде всего агрофобия, страх открытого пространства, где царит

¹⁶ На склоне лет Шолохов решил уточнить этот легендарный эпизод из своей «Автобиографии» следующим образом: «На этой земле семнадцатилетним юношей я командовал продотрядом в двести семьдесят (! — В.С.) человек». Зачем ему это понадобилось? А неизвестно. Но скорее всего, чтобы мимоходом перепроверить свои представления о размерах человеческой глупости и в очередной раз убедиться, что они беспредельны: восторженные летописцы немедленно занесли эту фразу в шолоховедческие анналы (В. Осипов. Дополнение к трем биографиям, М., 1977. С. 43; А. Навозов. Шолохов в «Правде», М., 1985).

¹⁷ Государственный архив Ростовской области. Шахтинский филиал, ф. 766, оп. 1, д. 208, л. 28.

¹⁸ Мы намеренно не комментируем эти версии, потому что каждая из них начинается с излюбленного в шолоховедении — «есть свидетельства».

разрушение и смерть. Он умоляет оторопевшего хозяина спрятать, скрыть его в подполье, подвале, подземелье. Спрятать — и как можно реже о нем вспоминать.

Подвал у Громославского имеется. Не подвал, а настоящая гробница с каменными сводами. Там-то добровольный узник и поселяется. Через некоторое время он требует перо и бумагу. Почему бы и нет, тем более, что он расплатился за тайник такой суммой, которая сделала Громославского крезом. К тому же этот ненормальный — вроде писатель; странный, однако, писатель. Почитаешь — пустомеля, а занятно: самое то, что творится сейчас на Дону.

Дальше — серия затемнений. Но можно предположить, что неугомонного Громославского вместе с его будущим зятем осеняет грандиозная затея. Они решают стать писателями! Большевистскую грамоту они научились читать между строк. В том числе и про то, что писателей сейчас набирают из рабочих и крестьян. Писательство — дело великое. Например, Льва Толстого даже цари боялись. Неужели ты, Мишка, не сможешь, как тот, в подполье? С твоей-то анкетой, чево там?

Так Шолохов, щедро финансированный тестем, впервые появляется в Москве. На первых порах всё складывается, как предполагалось. Безусые столичные литкомиссары только что не носят его на руках. Как же, из беднейшей крестьянской семьи, гонитель казачьих банд, гаврош донской революции. Немедленно в редакцию, в литстудию, твори, выдумывай, пробуй!

Увы, через некоторое время Шолохов с отчаянием обнаруживает, что он не может складно связать на бумаге двух слов. И научиться этому, оказывается (чертов тесть!), невозможно. Промаявшись в Москве около года и изобразив за это время три жалких фельетона, которые за ради его рабоче-крестьянского происхождения тиснули в «Комсомольской молодежи», наш завоеватель бесславно возвращается восьсяси.

Будущий тесть в ярости. Не может такого быть, чтобы его Мишка не пробился в большевистские генералы! Срочно оформляется брак 17-летнего юнца с перезрелой 25-летней невестой, и вот Шолохов с молодой снова в Москве. Снова бесплодные блуждания по редакциям, недавние дружки косоротятся, жить негде, биржа для безработных... Очередное позорное возвращение в пенаты.

Подпольный гений разражается всё это время отрывками великолепной прозы. Это в конце концов начинает понимать даже Шолохов. И ведь как просто: рыбалка, Петьки с Таньками, мат-перемат, дед Гришака плется с база, а читаешь — зареветь хочется.

«А про наших, про красных можешь?». О, подпольный гений может всё. Дрожа от надменного возбуждения, он в считанные дни создает целую грозь поразительных по силе рассказов. Шолохов одним пальцем, без интервалов и абзацев перепечатывает их на той самой знаменитой машинке, и вот уже престарелый А. Серафимович поздравляет советскую литературу с рождением нового рабоче-крестьянского таланта.

Что дальше? Изнурительные бдения за столом убеждают Шолохова лишь в том, что он бездарен, бездарен, катастрофически бездарен. Так, как этот, под полом, писать он не может и вообще никак не может. Но внизу растут кипы рукописей. Судя по чадным заявлениям нашего гипотетического узника, он принялся за «Войну и мир» двадцатого века. Авторство, слава, деньги для него звук пустой. Он тайнописец, слепой Гомер, повелитель слова — с него достаточно.

Шолохов решается. Первая, затем вторая книги «Тихого Дона» уходят в московские редакции. Буря восторженных откликов, автора требуют немедленно на сцену, пред очи литературных вождей, в партийные хоромы РАППа.

...Но почему он так неуклюж, этот донской творец? Почему так скучны, беспомощны его речи? Что за нелепая кривая ухмылка, бегающие глаза, взгляды исподлобья? Почему он так позорно путается в собственных героях, собственной биографии и куда он всё время исчезает?

Сады советской словесности — не лирические тургеневские усадьбы, здесь рубят с плеча. Единодушно обласканный Шолохов в считанные месяцы становится литературным изгоем. И особенно неистовствуют ростовские дружки, не пробившиеся во столицы. Вокруг Шолохова заявляется клубок зависти, подозрений, сплетен, и всё это материализуется в статье «Эпопея под вопросом» («На подъеме», 1929, № 1), где Шолохов открыто назван литературным вором, а затем следует новый удар: кто он такой, неизвестно, но такую вещь маг написать только белогвардеец¹⁹.

Переполошившиеся редакторы задерживают публикацию третьей книги «Тихого Дона». Разгорелся скандал. Делом заинтересовывается сам Сталин. От кого он мог бы получить объективную информацию на этот счет? Пожалуй, только от Горького. Так вот, отправить Шолохова на литературно-психологическое освидетельствование в Сорренто.

Шолохов понимает, что началась настоящая игра. Никакая это не творческая командировка к патриарху пролетарской литературы. Он уже потерся в коридорах власти, он знает их нравы, их методы увещевания. Горький наверняка его раскусит, это не лопухи из РАППа. Как избежать позора? А вот как: из Союза выехать, а до Горького не доехать. Причины? Э, Бог не выдаст, свинья не съест. Додумаем по дороге.

Просидев две недели в Берлине и не выдумав ничего путного, Шолохов внезапно исчезает оттуда, чтобы объявиться в своей вешенской цитадели, отдаленной от Москвы тысячами километров, бездорожьем и отсутствием телеграфной связи.

Но Сталин ничего не забывает.

Мы вполне допускаем, что число читателей, принявшихся за чтение этой статьи, к настоящему времени уменьшилось наполовину. Что же, статья не для них и писана. Но те, кто сориентирован, так сказать, на дух,

¹⁹ Прокофьев К. Творцы чистой литературы. — «Большевистская смена». 8 сентября 1929 г.

а не букву нашей версии, признают по крайней мере, что она покамест ни на йоту не отступила от того документированного минимума, которым располагает шолоховедение.

Попытаемся смоделировать первую встречу и первый разговор Шолохова со Сталиным.

Итак, вот они друг против друга, величайший властелин и величайший авантюрист двадцатого века. Сталин в большом затруднении. Недавно он начал строительство культурного фасада своей империи. Это должна быть великая культура. Способен ли РАПП создать такую культуру? Нет, РАПП такой культуры создать не способен. Он способен лишь скомпрометировать первое в мире рабоче-крестьянское государство перед глазами просвещенного человечества. Все эти Либединские, Фадеевы, Фурмановы — это литература, писанная большевиками, о большевиках и для большевиков. Нужны же Толстые. Одного такого Толстого он, Сталин, уже вернул России. Был граф Толстой, стал наш, советский писатель, т о в а р и щ Алексей Толстой. Возвращается Горький. Обласкан Булгаков. Будет возвращен Куприн. Но они рождены не революцией. Важно же доказать, что может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов советская земля рождать.

Теперь, этот Шолохов. «Тихий Дон» — великое произведение. Кто написал это произведение? Простой трудовой казак. Разве это не доказательство главного — гуманистической жизнеспособности нового строя? Упустить это доказательство — поставить под сомнение судьбу культурной революции в СССР.

— Товарищ Шолохов, почему вы не выполнили указания Политбюро?

— Да вот, товарищ Сталин, правительство Муссолини две недели тянуло с визой. А у нас началась коллективизация, и не сиделось в Берлине. Хотелось немедленно включиться в то, что делается сейчас дома, на Дону, одним словом²⁰.

Полагаем, двух-трех ответов подобного уровня было достаточно Сталину, чтобы понять, с кем он имеет дело. Но джинн выпущен из бутылки. Слава о Шолохове несется по всему миру. Что же, он, Сталин, заставит его доиграть эту роль до конца. Помните, у Пушкина:

Уж если ты, бродяга безымянный,
Мог ослепить чудесно два народа,
Так должен же по крайней мере ты
Достоин быть успеха своего
И свой обман отважный обеспечить
Упорною, глубокой, вечной тайной.

²⁰ Цитируем почти дословно по многочисленным записям этого исторического и почти гениального по бесстрашной беспардонности объяснения Шолоховым своего бегства из Берлина.

И ему, Шолохову, в этом помогут. Отныне его имя будет защищено всей мощью тайной полиции государства. Вокруг него будет создана зона такой непроницаемой плотности, что и сам Шолохов, даже если бы захотел, преодолеть ее никогда не сможет.

— Товарищ Шолохов. Сила большевиков заключается в том, что они умеют каждого поставить на то место, где он может принести наибольшую пользу. Думаю, вам не следует заниматься практической организацией колхозов. Думаю, колхозник вы никудышный. Но ведь вы писатель... писатель? Очень хорошо. Партия поручает вам создать художественную эпопею о колхозном строительстве в СССР. Сталин почему-то уверен, что вы его не подведете.

И Шолохов с колотящимся сердцем возвращается в гостиницу. В таких и переплетах он еще не участвовал. Он попал в эпицентр могучих и загадочных кремлевских коловорощений, высший смысл которых ему покамест непонятен, но ясны по крайней мере размеры грандиозного комплекта, в котором он обречен отныне участвовать.

Не думаем, однако, что только страх владел Шолоховым в то время...

Что же нафантализированный нами гений? Он пребывает в усовершенствованной темнице новопостроенного шолоховского дома.

Шолохов уже научился разбираться в лабиринтах психики своего узника. Во-первых, он страдает тем, что Зигмунд Фрейд назвал бы «комплексом пещеры». Физическое общение с миром ему невыносимо. Однако этот полусумасшедший представляет происходящее там, наверху, получше его самого, Шолохова! Он пожирает груды книг, газет, журналов, доставляемых хозяином изо всех библиотек и книжных хранилищ области. Часами выслушивает косноязычно-ядреные рассказы Шолохова обо всем на свете, а потом превращает это в страницы такой дивной прозы, что Шолохов скрежещет зубами от зависти, диктуя их машинистке, скорее всего супруге («Работать ты будешь только у меня!»²¹). Почему, ну почему он сам так не увидел, не уловил, не почувствовал?

«Комплекс пещеры» — не единственная фобия Х. В нем живет сразу несколько переплетенных между собою существ, и одно из них хорошо знакомо Шолохову. Это демон честолюбия. Написать колхозный роман? О, этой новой литературной челяди и не снилось, какой роман можно создать на этом материале. Он покажет «им», что такое социалистический реализм, выполненный пером гения. «С кровью и потом» — вот как он назовет эту колхозную шексприаду, и пусть снимут шляпы критики всего мира.

Шляпы всего мира действительно были сняты. Новый роман начал победное шествие по свету. Величайший социальный эксперимент получил, так сказать, гуманистическую прописку в сознании не только отечественного, но и мирового читателя. Зачем лукавить: сегодняшние упражнения об ужасах колхозификации на несколько порядков ниже «Под-

²¹ См.: Котовский В.Л. Шолоховская строка, Р/н/Д, 1988. С. 167.

нятой целины», спрятавшей под благонадежным названием более сложную, «с потом и кровью» расказанную правду. Если иным антишоховцам угодно прочитывать «Поднятую целину» лишь как литературный документ сталинской политики, мы призываем признать только, что это гениальный документ жестокой и великой политики, а не конъюнктурная соцреалистическая поделка.

Наложница классового врага и жена коммуниста становится одновременно любовницей его товарища по партии — возможно ли такое в произведении социалистического реализма? Нет; но именно эта ситуация описана в «Поднятой целине». Приблизимся, еще приблизимся к тексту, и в нем откроется некоторый тайнописный «масонский» пласт, диффузно переплетенный с большевистской правдой. (См. И. Коновалову.)

Кстати, обратил ли читатель внимание на мотив «подполья», неуловимо присутствующий в романе? В тайнике, в некоем межстенном пространстве умирает голодной смертью, но одновременно от любви к своему заточителю, матери Островнова. В таком же секретном тартаре пребывают на протяжении всего романа Половцев и Лятыевский. Их нет, но они есть. Они за семью замками, но они знают все²².

А вот, например, описание гомосексуального бреда Островнова. Читатель, разумеется, не помнит ничего подобного, но откроем вторую главу второй книги — и кто же предлагает Островнову, хозяину дома и тайника, стать его возлюбленным? Да обитатель этого тайника, Вацлав Августович Лятыевский!

Ах, это опять из Достоевского. Вот именно, вот именно, дорогой читатель. Из Достоевского, а не из оранжерейно-кабинетного филологического опыта...

И что интересно, все эти инфернальные эпизоды находятся во второй, вышедшей через двадцать лет и особенно изруганной книге «Поднятой целины».

Вернемся, однако, к реальным персонажам нашего сюжета. Предположим ситуацию, в которой все трое — Сталин, Шохов и подпольный гений — оказываются равно зависящими друг от друга. Ситуацией, как всегда, владеет Сталин. Она достаточно рискованна, но для Сталина периферийна. Он назначил Шохова автором «Поднятой целины» и «Тихого Дона», он сделал его депутатом, лауреатом, миллионером, академиком, неприкосновенным советским гением — об остальном должен заботиться сам Шохов.

И Шохов заботится. К сожалению, иногда его заносит. Он имеет всё — и ничего не умеет. Он бесплоден, безыгнен, внутренне пуст. Дотошные шоховеды установили даже его абсолютное равнодушие к

²² Между прочим: «тайник» и «подполье» — поразительно высокочастотные лексические единицы в шоховской (?) прозе. Соответствующие примеры и доказательства потребовали бы слишком много печатного места, остается поэтому просить читателя поверить автору на слово.

поэзии земледельческого труда²³. А вместе с тем он невероятно динамичен, цепок, беспредельно самодобив и пытается все-таки стать этаким вешенским Давыдовым, переступив тем самым пределы, раз и навсегда указанные ему железной волею вождя. Тут, как неожиданно хорошо сказано одним из шолоховских защитников, в очередной раз «серезное литературоведение... обрывается, дальше — фантасмагория»²⁴. Шолохов якобы посыпает в Кремль телеграмму о колхозных перегибах на Дону, потрясенный Сталин якобы приказывает прекратить безобразие; из Москвы в Вешенскую мчатся тридцать пять тысяч курьеров, Шолохова пытаются арестовать, подписанты встречаются под забором Россельмаша, возникает какой-то, которому «прострелили ногу в годы гражданской войны», кто-то, то ли сам Шолохов, ночует в подмосковных лесах...

Этот эпизод в различных модификациях присутствует почти у каждого из шолоховских биографов. Дыма без огня не бывает; скорее всего Шолохов действительно попытался заварить какую-то кашу в областных масштабах, за что получил взбучку от Сталина и с тех пор уже никогда не посягал на административно-политическое кормило.

Война. Шолохов в звании полковника оказывается на фронте. На фронте? Информация о фронтовой жизни Шолохова практически равна нулю. Предел достоверности — «В начале июля 1941 года Шолохова уже можно было видеть в окопах недалеко от Смоленска»²⁵. Мы намеренно опускаем дальнейшую цитату на эту тему, иначе пришлось бы исписать целые страницы почти фольклорной чушью, недостойной имени Шолохова и его самого. О, в его личном мужестве можно не сомневаться. В боевой обстановке Шолохов чувствовал себя, уж конечно же, намного увереннее, чем за писательским столом. Но он оказался отклоchenным от питающего его источника. В результате — четыре (!) беспомощных корреспонденции в «Правде» и «Красной Звезде» за все годы войны. И это на фоне мощной военно-патриотической публицистики А. Толстого, Л. Леонова, К. Симонова, И. Эренбурга!

После войны Шолохов объясняет это удручающее безмолвие с присущей ему поразительной беспечностью: «По характеру не могу я скоро писать. Никакой я не газетчик... У меня потребность изобразить явление

²³ Так, во всяком случае, утверждает Рой Медведев: «...Никогда не работал на земле, не пахал, не сеял, не косил сено, не собирал урожай, не ухаживал за скотом и конями. Да и позднее, став известным писателем, Шолохов не пристрастился ни к садоводству, ни к огородничеству. Многие из его посетителей и друзей писали о пристрастии Шолохова к рыбной ловле и охоте, но никто не видел его за возделыванием собственного сада и огорода. Значительная часть его окружённой высоким забором усадьбы в Вешенской просто заасфальтирована» («Вопросы литературы», 1989, № 8. С. 61).

²⁴ Бирюков Ф. Федор Крюков и Михаил Шолохов. — «Вопросы литературы», февраль 1991. С. 61.

²⁵ Хватов А. Художественный мир Шолохова. М., 1970. С. 287.

в более широких связях — написать так, чтобы написанное вызвало в читателе и думу»²⁶.

Но ведь непреложен тот факт, что с 1943 года в тех же «Красной звезде» и «Правде» громадными газетными подвалами начали печататься «Они сражались за Родину».

Но ведь столь же непреложным историческим фактом является то, что Обдоные почти два года являло собою как бы ничейное пространство, в борьбе за которое изнемогали две величайшие армии мира. Советские, немецкие, итальянские, румынские войска наступали, отступали, разрушая всё вокруг, и по этой ничейной территории бродили тысячи потерявших себя местных жителей.

Давайте допустим, одним из них был Х. Война выгнала его на поверхность, его полубезумный зрак запечатлевал происходящее, которое вновь было кромешным, как двадцать лет тому назад. Когда Шолохов, наконец, попал в станицу, он узнал в оборванце, жавшемся к стенам его разрушенного дома, своего соавтора. Мы почему-то думаем, что они оба показались в эту минуту друг другу спасителями.

И всё вернулось на круги своя. Написав Шолохову «Судьбу человека»²⁷ и не дописав «Они сражались за Родину», бествестный гений исчерпал себя, стал одним из многих. Постепенно он превратился в беспомощного, «просто сумасшедшего» старца и, очевидно, в конце 40-х — начале 50-х годов скончался.

Но Шолохов продолжал жить. Случай, десница вождя, его собственная бесовская карма забросили его на такие орбиты, с которых он уже не мог спуститься. Тайные указы сталинской империи ковались на века, и исполняли их не дилетанты. Шолохов перешел из сталинской эпохи в хрущевскую неразменной золотой монетой, священной коровой советского искусства. Но если провидческий Сталин запрещал, то эмпирический Хрущев поощрял выходы Шолохова на публику. Не обладая художественным чутьем Сталина, ни его изощренным культурно-политическим мыш-

²⁶ Цит. по: Лежнев И. Путь Шолохова. М., 1958. С. 383. Этот И. Лежнев — любопытная фигура из шолоховского окружения. Почти всё, что сказал или якобы сказал Шолохов в дохрущевские времена, цитируется именно по И. Лежневу. При Хрущеве таким своеобразным пресс-секретарем при Шолохове становится К. Прийма. Именно они как бы управляли околошолоховским пространством, пресекая доступ туда слишком настырным ходокам по части «творческой лаборатории» писателя. И делали это — при очевидной литературо-риведческой малоодаренности — безупречно. Невольно приходит на ум Крюков при Горьком...

²⁷ Между прочим М. Мезенцев также рискнул усомниться в принадлежности «Судьбы человека» перу Шолохова («Вопросы литературы», февраль 1991). Но сам же и обесценил свое дерзкое предположение, сведя его к «крюковской» версии. Де, после Ф. Крюкова остались два очерка о «судьбе русского воина, совершившего побег из плена», и вот из них-то сконструировал Шолохов свое произведение. Здесь интересно по крайней мере признание безусловной художественной ценности повести в отличие от удручающих заявлений о ее полной бездарности.

лением, Хрущев постоянно провоцировал Шолохова на поступки, недостойные мифа Шолохова. К сожалению, Шолохов этим искушениям поддавался, превращаясь из вешенского герменевта, небожителя, в заурядного идеологического кадровика. Он, так сказать, проигрывал судьбу, выигрывая придворные почести.

Освобожденное от опеки тайного гения, неугомонное шолоховское «я» требовало своего собственного писательского продолжения. Этого же требовала хрущевская литературно-партийная челядь. Не понимая драматизма проблемы и наталкиваясь на оскорбительное молчание, она временами даже возмущалась за спиной у мэтра: «Многих писателей и широкие читательские круги волнует судьба некоторых крупных художников слова, таких, как Шолохов, который систематически пьет, серьезно подорвал свое здоровье и долгое время не создает новых произведений». Это из записки в ЦК КПСС от Отдела культуры и науки при ЦК КПСС²⁸.

Итак, человек по имени Шолохов о б я з а н был оставаться писателем Шолоховым. Этого требовало его окружение, этого хотел он сам. Ведь он так долго, так интимно близко находился у творящего источника, что (казалось ему), возьми он перо и из-под него потекут такие же божественные глаголы.

Один из шолоховских конфидентов по своей наивности описал одну из таких попыток. Это описание, если вчитаться, звучит ужасно: «Три года назад мне и моим товарищам довелось несколько недель ездить с Шолоховым по придонским станицам и жить в рабочих поселках строителей Цимлянского гидроузла. Каждый из нас должен был написать очерк о Волго-Донском канале, о том новом, что принесла в засушливую степь живительная вода созданного советскими людьми моря. Днем Шолохов осматривал вместе с нами участки гигантского строительства, а по ночам писал. Он запирался в отдельной комнате, работал до изнеможения, вдруг будил нас среди ночи, просил, словно проверяя себя, послушать очередной вариант его очерка, сердито отмахивался от наших похвал, рвал написанное, нервничал, вновь запирался в душной, полной дыма комнате, а через час-полтора подходил к кому-нибудь из нас, с простодушной, виноватой усмешкой поднимал с постели и просил:

— Ну-ка послушай, по-моему, так будет лучше!

Эти поиски лучшего продолжались из ночи в ночь, замучали нас вконец, и мы только могли удивляться: откуда в этом человеке берутся силы и где предел его беспощадной требовательности»²⁹.

Очерк так и не был опубликован.

Наш сюжет исчерпан. Мы не настаиваем на его аксиоматической достоверности. Мы лишь утверждаем, что полностью, от «а» до «я», загадку Шолохова можно объяснить лишь так — и никак иначе.

²⁸ Цит. по: «Вопросы литературы», 1933, вып. 11. С. 278.

²⁹ «Литературная газета», 1955, 24 мая.

Автор этих строк был бы искренне огорчен, если бы кто-нибудь прочел их как очередное антишолоховское разоблачительство. «Зона Шолохова» — особая, внеморальная зона, некий мефистофельский андерграунд советской культуры, нравственные оценки тут вообще невозможны. Усредненно-гуманистическое, «арифметическое» прочтение феномена Шолохова даст нам лишь образ банального мошенника, а это не так. Шолохов сам достоин стать героем гениального романа.

И последнее. Автор этих строк надеется, что близкие и родные Шолохова не воспримут его версию, как оскорбительную, и сумеют прочитать нечто между строк. Сказано туманно, но, надеюсь, меня поймут.

СИМПОЗИУМ В НОРВИЧЕ — ЛИТЕРАТУРА В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ

На главной площади маленького американского городка Нордфильд, штат Вермонт, в окне местной парикмахерской гордо красуется самодельная вывеска, на которой по-русски написано: «Добро пожаловать в парикмахерскую Франческо». Почему же хозяин парикмахерской, добродушный сицилиец Франческо, решил украсить свою витрину знаками, непонятными ни ему, ни жителям этого затерянного посреди зеленых гор Богом и людьми забытого местечка? Ответ прост. Каждое лето — уже 39-й год — сюда съезжаются люди со всего мира учить русский язык и знакомиться с русской культурой. В прошлом это были в основном студенты, желавшие в обстановке «полного погружения» наскоком овладеть «великим и могучим», как сказал бы Василий Павлович Аксенов, который не раз заглядывал сюда. Теперь же, в послеперестроечные времена, контингент учащихся меняется. По кампусу из учебных корпусов в столовую проходят крутые американские бизнесмены, которые качают нефть в Тюмени или строят паркинги в Москве. Кучкуются на травке благодушные миссионеры и работники Армии спасения. Оживляют местный пейзаж юные американские школьники с оранжево-желто-зелеными волосами и сережками, гроздьями свисающими с ушей, губ, носов, бровей и прочих лицевых зон.

Все эти люди приезжают сюда, потому что каждое лето здесь работает Русская школа Норвичского университета. Основана она была в 1958 году Зинаидой Полторацкой, и с самого начала администрация и преподаватели поставили своей задачей не только обучать американцев русскому языку, но и обогащать их знакомством с русской культурой. Пожалуй, ни одно американское учебное заведение не может похвастаться таким реестром знаменитостей — тех, кто приезжал сюда, общался со студентами, читал лекции или свои произведения. В школе бывали ЮЗ Аleshковский и Андрей Битов, Фазиль Искандер и Сергей Каледин, Бахыт Кенжеев и Наум Коржавин, Виктор Некрасов и Саша Соколов, Татьяна Толстая, Владимир Уфлянд и Алексей Цветков, критики Андрей Арьев, Петр Вайль, Александр Генис, Яков Гордин, Наталья Иванова, Алла Латынина... Наведался раз, еще в начале своей эмиграции, и Александр Исаевич Солженицын, поиграл в теннис на школьном корте. Надо полагать, школа ему понравилась, так как он впоследствии прислал сюда учиться своим сыновьям.

А учиться здесь есть чему. Вячеслав Всееводович Иванов читал лекции аспирантам школы. Ефим Григорьевич Эткинд в течение многих лет ведет здесь семинар по русской литературе. Возможно, не всем известно, что поэт Лев Лосев еще и профессорствует в престижном

Дартмутском колледже — он тоже каждое лето читает лекции в аспирантуре Русской школы.

Среди гостей и друзей школы числятся и артисты фольклорного ансамбля Дмитрия Покровского. Ансамбль давал концерты в стенах университетского театра, привлекая не только студентов, но и жителей окрестных городов. Артисты ансамбля учили студентов русским песням и пляскам, а Нина Савицкая и Сергей Григорьев (он же — Собака Филя) вот уже пять лет ведут здесь студенческий фольклорный ансамбль и академический хор. Московский режиссер и драматург Сергей Коковкин ставит пьесы, прививая студентам любовь к русскому театру, причем делает это столь успешно, что увлекшиеся студенты не могут остановиться и едут потом в Москву учиться в московских театральных студиях.

Каждый год в Норвич, как традиционно именуют Русскую школу старожилы, съезжаются ученые-слависты на ежегодный симпозиум по русской литературе. Тематически каждый симпозиум посвящен или отдельному писателю, или какому-либо литературному явлению. В последние годы Русская школа начала издавать сборники докладов и материалов симпозиумов. Вышли сборники «Лермонтов», «Пастернак», «Цветаева», «Державин».

В этом году симпозиум Русской школы посвящен теме: «НЬЮ РАШН — КУЛЬТУРА, ЛИТЕРАТУРА, ЯЗЫК В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ»*

Директор Русской школы
Константин КУСТАНОВИЧ

Марина АДАМОВИЧ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ИЛИ НАКАЗАНИЕ? (Американский и российский триллер)

Признаюсь, люблю литературные обзоры. Они напоминают мне дневниковые записи заботливых родителей: что там с нашим дитятей за год произошло? зубки прорезались ли? встал на ножки?.. схватил ручками?

Обзоры подтверждают: встала на ножки, хватает ручками и новая наша литература. С отеческой заботой критики подмечают качественные изменения в ее привычном течении. Скажем, Е. Ермолин уважает авторов концепции «хаосмоса» и «постреализма» («Собеседники хаоса» — «Новый

* От редакции: ниже мы предлагаем вниманию наших читателей две статьи, подготовленные известным литературоведом Александром Генисом и представителем «Континента» в США Мариной Адамович на основе докладов, сделанных ими на симпозиуме в Норвиче.

мир», № 6), В. Ерофеев, судя по всему, уважает самого себя и предлагает «Разговор по душам о виртуальном будущем литературы», о постмодернизме («Общая газета», № 11), К. Степанян утверждает, что приходит время нового реализма, ориентированного на высшие духовные ценности (что-то вроде «высшего реализма» Достоевского. См. — К. Степанян. «Реализм как преодоление одиночества», «Знамя», № 5). А вот В. Курбатов «новыми реалистами» считает повествующих о мафии, киллерах, новых русских бизнесменах и прочих отечественных пассионариях («Уходящее вперед». — «Москва», № 5). Он обвиняет их в «реалистической рекламе зла» «именно реализмом сочинений» (очевидно, под крутую руку к любителям «черных дел» причислены постмодернисты типа В. Ерофеева и В. Сорокина. Простим критику это).

Явление же народу курбатовских «новых реалистов» действительно состоялось.

Чаще всего это называют «коммерциализацией» литературы, иногда, между собой, «американизацией». Эти бытующие дежурные термины мне кажутся неточными: каждый по-своему, но — сужающими действительный объем понятия.

Термин «коммерциализация», на первый взгляд, справедлив. Мы не имеем статистических данных о доходах с каждого тома книжных серий типа «Белый лебедь», «Черная кошка», «Отечественный бестселлер», «Русский триллер», не подсчитаны тиражи, не прослежена история переизданий, не изучена печатная судьба каждого автора... Но думаю, что со скидкой на российскую специфику картина коммерциализации нашей литературы не сильно отличается от американской. Скажем, от коммерческого успеха самого популярного за последние десять лет американского триллера Дж. Гришэма. С 1991 г. Гришэм выпускает по книге в год (в 1997 г. уже вышло два его новых триллера). Начиная с 1994 г. его книги занимают первое место по популярности («top hardcover bestsellers»); на сегодняшний день на английском издано более 30 миллионов экземпляров его произведений (средняя цена каждой книжки — 8 долларов).

Коммерческим целям триллер подчинил не только издательские планы, но и сам творческий процесс: выбор темы, ее разработку, художественные идеи, литературных героев — всё предельно утилизировано. Тем не менее, этот активный процесс вторжения триллера на российскую литературную авансцену назвать просто «коммерциализацией» значило бы отослать нас к тривиальному «всё на продажу» и оставить при этом в стороне собственно вопрос о природе явления.

Но и термин «американизация» ставит ненужный национальный акцент на происхождении явления, забывая о его *общемировом* характере.

Вот почему я бы предпочла реже употребляемый термин «вестернизация» культуры России, и в частности — ее литературы. Процесс же вестернизации в литературе и в искусстве и заявил о себе как раз появлением — и довольно агрессивным самоутверждением в качестве ведущего — жанра триллера. Жанра нового, прежде не захаживавшего на поля российской

словесности. Его не стоит путать ни с детективом, ни с приключенческой литературой, традиции которых убого, но все-таки развились в отчих краях; жанры эти являются пусть нелюбимыми, но законными детьми нашей литературы, тогда как успешно осваиваемый триллер — гость, заезжий, из прихоти нацепивший русский кафтан (с подобной пуганицей я столкнулась на недавнем литературно-артистическом симпозиуме в Норвиче, посвященном новым явлениям в российской постсоветской литературе. Удивительно и показательно, что американская аудитория меня вполне понимала, отечественная же не видела принципиальной разницы между, скажем, детективом и триллером. Причина тому, как мне кажется, — реальный читательский опыт-общение с жанром триллера у одних и отсутствие оного — у других).

Негодование литературных критиков по поводу торжественной встречи триллера российским читателем можно понять. Тяжело после Толстого, Тургенева, Набокова, Пастернака читать, как «великий и могучий» изрыгает нечто следующее: «Я отскочил в сторону с прытью возбужденной лягушки», «повсюду летал пух, который своим количеством уступал только перьям» и т.п. («Последний маршал» Ф. Незнанского). Но «главное отличие подлинного литературного произведения от той чудовищной макулатуры, какой завалены книжные лотки, — справедливо считает один из героев триллера О. Суворова «Покушение на вождя», — порождено тем, как сочиняются одни и строчатся другие. Вычерчивается схема, берутся персонажи-фишки, и вперед — передвигай их по игровому полю сюжета, пока не надоест... Настоящий роман... начинает жить по своим законам... В настоящих романах герои рефлектируют и переживают, а в литературных поделках они лишь гоняются друг за другом, а догнав, бьют по яйцам или промеж ушей»...

Вот и поди разберись: безграницный ли цинизм, исповедальный порыв, или абсолютная наивность подвигли на откровения автора «Покушения», где на каждой странице «клубничка» перемежается с мордобоем по тем самым вышеназванным местам. Хотя, может быть, разгадка — и в присущей Суворову, судя по роману, потребности вдарить «промеж ушей» — мол, говорите-говорите, а я пишу, как хочу, и меня читают!

И это правда. Хотят того литературные критики или нет, но «самая читающая в мире страна» явно предпочитает жанр триллера всем иным. Можно ли ставить этот упрек массовому читателю? Нужно ли вообще в чем-то упрекать читателя? Неблагодарное занятие! Он всегда искренен в своем блеске и падении, в своих пристрастиях и антипатиях. Триллер же — что там Россию — всю Европу завоевал. Французы, известно, уже лет эдак двадцать тому назад на законодательном уровне попытались оградить себя от экспансии лихих ковбоев XX века. Введенные ими штрафы за превышение объема американских фильмов в телевизионном прокате — это ли не попытка остановить триллер, основной киножанр Голливуда (как и американской книжной продукции)? Тем не менее, отвергнутый культурной элитой всех стран и народов, триллер завоевал сердца наследников как д'Артаньяна, так и князя Мышкина. Почему?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к истории жанра. Да и просто — к истории. Отнюдь не случайно процесс утверждения в европейской культуре жанра триллера называется «вестернайзацией». Именно вестерн, рожденный Новым Светом, дал начало нашему монстру. Вспомним, кем были первые переселенцы в Америку — труженики-ковбои, религиозные фанаты, шарлатаны, искатели приключений или достатка. Носителями какой культуры они были?

В массе своей они принадлежали к социальному слою средних буржуа или крестьян и несли в себе энергию массовой фольклорной культуры, любовь к мелодраме, лубку, сказке. Из этой любви и был создан новосветовский фольклор, породивший, в свою очередь, вестерн. «Вкратце, смысл этой философии состоял в том, что ранние формы социальной организации были выше поздних, сельскохозяйственное общество было лучше, чем индустриальное, пасторальное общество было лучше сельскохозяйственного, а дикое было лучше всего. Отсюда — благородный дикарь, — пишет американский литературовед Моди С. Ботрайт в своем исследовании «История и теория народных вестернов». — Природа, как закон и как отклонение, была самодостаточным путем к хорошей жизни. Поэтому не было необходимости и в специальном моральном кодексе. Ведь созданные человеком моральные системы, в большинстве своем заумные и педантичные, чаще запутаны, чем ясны... Человек казался природно одарен... и не нуждался в улучшении, чтобы соответствовать идеалу, именно — одухотворенной природе, которая выше одухотворенного искусства». Предтеча вестерна — ковбойские пасторали — были полны пафоса «возвращения к первоначальной простоте», к природной гармонии, к подлинной свободе, которая понималась не как свобода выбора (интерпретация современная), но как отсутствие ограничений, запретов. Образцом таких пасторалей можно считать «Отшельника Колорадских гор» Вильяма Бушнеля (1864). Ковбои Бушнеля, задействованные пока на второстепенных ролях, подкупали аудиторию своим невинным природным благородством. С самого начала подкупали настолько, что «собирательный образ природно-благородного персонажа» утверждается, в конце концов, именно «за человеком в сапогах и с хлыстом, вооруженным шестикалиберкой и взгроможденным на лошадь».

Мелодраматическая примитивная идиллия первых вестернов, однако, не могла долго удерживать читательское внимание. Роль народного фольклорного героя требовала от ковбоя участия в событиях, отличающихся от его рутинных обязанностей. И вот в 80-х годах прошлого века Джозеф И. Бадгер создает «Ранчо в прерии», где впервые (по наблюдениям М. Ботрайт) допускается насилие со стороны героя. Наконец-то физическая мощь ковбоя (атрибут, необходимый для природного, естественного героя) находит реальное применение. Начинает звучать пальба шестикалиберок, свистят лассо (нашедшее новое широкое применение в этой далекой от скотоводчества жизни), стучат копытами уворованные лошади... Вестерн набирает силу — в прямом и переносном смысле.

«Впервые представленный с симпатией как второстепенный герой... и как символ изначальной невинности, он (ковбой) дошел до лидерства в военной банде... и в 90-х годах появился как рыцарь гор и долин».

Упрочение «рыцаря гор и долин» лишь на первый взгляд выглядит странной (не лишенной вульгарности) причудой молодой американской культуры. Суть же дела в том, что внутренний процесс формирования национального искусства Нового Света совпал с общей демократизацией мировой цивилизации, а следовательно — с активизацией в ней именно мифологических, фольклорных структур. Но если духовный аристократизм старой Европы был при этом надежно защищен от напора демоса отточенной веками иерархией в культуре (эстетических ценностей, критериев, норм, жанров, стилей *et cetera*), и даже массовая культура Европы была внутренне сориентирована на классические идеалы, то что могло удержать скачущего ковбоя в диких прериях Нового Света?.. Что? — если весь мир переориентировался на массовое сознание, на ценности и структуры массовой низовой культуры?.. Рыцарь-ковбой родился, потому что не мог не родиться. Поистине, это был новый герой новой цивилизации.

* * *

Между старым добрым ковбойским вестерном и современным народным любимцем — триллером — родство по прямой линии. Хотя пальба и запах пороха здесь совсем не главное. Отличительной особенностью триллера, вестерна XX века, стало очевидное *отсутствие героя*. Пальба и мордобой действительно остались, но героя — уже нет. Точнее — герой в античном понимании (как ни забавно это звучит), эдакий Геракл-Шварценеггер, здесь присутствует. Но литературного героя — нет. И быть не должно. Потому как должен быть «рыцарь гор и долин» — *герой-функция*.

Здесь уместно вспомнить известное наблюдение Проппа о фольклорном герое волшебной сказки: все эти Иван-царевичи да Кащеи Бессмертные (независимо от того, какой народ и когда их породил) призваны к жизни единственно, чтобы *действовать*, они выполняют определенную функцию и, выполнив ее, — уходят со сцены. Пример из русского фольклора — трогательная дружба Иван-царевича и Серого Волка — универсален. Царевич должен достать Жар-птицу для батюшки-царя, иными словами — выполнить функцию царского сына — защитника рода: поддержать добрый порядок жизни в государстве и защитить главу рода — царя. Функция же Серого Волка — отблагодарить царевича за коня на обед — это функция защитника-помощника. Сказочке конец наступает только тогда, когда функции эти выполнены: царевич спасен, злые братья разоблачены, царь избавился от хандры, род — вне опасности.

Так в неожиданном витке тысячелетней мировой культуры сказка вдруг восстала из небытия, чтобы подарить героя основному литературному жанру целого континента, а в будущем, очевидно, — популярному повсеместно.

О таких и иных Серых Волках и рассказывал некогда вестерн своим доверчивым слушателям, о таком Волке-Терминаторе вздыхает сегодняшний читатель и зритель. Если бы кто-нибудь из отечественных критиков вздумал написать рецензию на киноверсию гришэмского, например, триллера «The firm», точнее всего было бы начать ее так: «главное в жизни — быстро бегать»... Глядя, как мелькают на экране подметки стремительно мчащегося Тома Круза, исполняющего главную роль — молодого юриста Мишеля Мак-Деера, нельзя не поймать себя на мысли, что залог удачи писателя — в резвых ногах его героев. И пусть мысль эта покажется несерьезной, но в ней — правда. Правда жанра, которую Гришэм отстаивает и в «Pelican Brief». Там молодая красивая студентка-юрист докапывается до документов, объясняющих, почему начались серийные убийства членов Верховного Суда, и — пускается в бега: чтобы вывести всех на чистую воду, чтобы не пристрелили...

Еще история — «Runaway Jury»: молодой, красивый... на этот раз под чужим именем скрывается, чтобы вывести на чистую воду табачную компанию... И еще — «Покушение на вождя» Олега Суворова: молодой, красивый социолог Дмитрий бегает по Москве, Питеру и Парижу, разоблачая и спасаясь. «Последний маршал» Фридриха Незнанского (здесь фабула просто-таки навеяна гришэмским «Пеликаном»): молодой, не просто красивый — неотразимый следователь Турецкий бегает, разоблачает, спасается, раскрыв причины серийных убийств видных членов правительства... «Операция Faust» того же автора о том же Турецком, которому приходится не просто бегать, но и летать (в Афганистан), и плывать (в московской канализации), чтобы раскрыть в правительстве преступную суперорганизацию бывших афганцев... Словом, герои все бегают, разоблачают, скрываются, попутно занимаются сексом (в российских триллерах — чаще и занимательнее, американцы в этих делах традиционно сохраняют пуританскую скромность), — можно ли что-то о них еще сказать? Нет. Характеры — в литературоведческом понимании слова — в триллерах отсутствуют.

Герой, повторюсь, вызван к жизни для выполнения конкретной задачи, задания. В этом смысле, особенно интересен нам герой триллеров Ф. Незнанского — Александр Турецкий (серия романов так и названа — «Марш Турецкого»). Казалось бы, невозможно написать с десяток романов об одном и том же действующем лице — и не создать литературного характера. Но марширующий из тома в том Турецкий так и остается эдакой голой функцией.

Нет, он сполна наделен набором тех человеческих качеств, тех достоинств и недостатков, которые отвечают традиционному образу «классного» современного мужчины. Но — это именно набор, вроде дорожной аптечки: очень удобно — всё необходимое и ничего лишнего. И здесь — ловушка для потребителя — такой «набор» исключает возможность подлинного развития литературного характера. Здесь человек подменяется «тиpическими реакциями в типических обстоятельствах».

Кстати сказать, отнюдь не случайно столь схожи на всех континентах профессии героев триллера: у Гришэма обычно это адвокаты-лойеры, у Незнанского, понятно, следователь, у Э. Тополя — следователи и журналисты... Здесь в выборе профессии главным образом важно, чтобы герой, во-первых, был подвижен, не привязан к «станку» (вспомним абсолютную свободу первых пасторальных ковбоев), чтобы он имел законное право пострелять или руки скрутить, чтобы частые командировки выглядели естественно (а иначе — откуда у положительного героя деньги?). Во-вторых, чтобы криминальное «нечто» вокруг него копошилось и давало повод побегать, попреследовать. Эдакая сказка-страшилка. В этом отношении (пожалуй, только в этом) интересен герой О. Суворова — социолог Дмитрий: дабы увеличить беговую дистанцию своему герою, Суворов выбирает модную и, кстати (на заметку прозаикам), более мобильную, чем милицейская, свободовизовую профессию социолога. Тогда как Эдуарду Тополю, чтобы отправить своего следователя Шамраева всего-навсего в Берлин, пришлось свести того с самим Брежневым («Красная площадь»). Так что социология в российских условиях — престижнее.

Но вернемся к теме разговора. Давайте задумаемся, почему все-таки вестерн, принадлежащий фольклорной культуре, обрел второе дыхание в век кибернетики, компьютеризации, урбанизации? Как сельская провинциальная страшилка, еще в середине XIX века уступавшая детективам и куперовским следопытам, сумела стать захватывающей сказкой мегаполиса? И была ли в действительности, как принято считать, основной причиной популярности вестерна в первой четверти XX века ностальгия по прошлому в век Прогресса, когда американский Запад остался последним представителем свободы и индивидуализма, символом потерянной идиллии, — в противовес всё задавившему индустриальному веку?...

Отчасти — да. Несомненно, герой воплощал культурно-интеллектуальную матрицу Дикого Запада. Но, что гораздо важнее, одновременно этот одномерный, пассионарный герой-функция оказался на редкость подходящим для новой суперрациональной, суперутилизированной, прагматичной и демократичной цивилизации XX века. Оказалось достаточным положить в бабушкин сундук лассо и дать в руки бывшему ковбою лазерный пистолет, чтобы продлить жизнь его на века. Причины, кажется, две. Прежде всего, герой Нового Света по своим корням, по природе своей — *универсален, мифологичен*. По сути, он рассказывает один и тот же миф — о Георгии Победоносце, сразившемся с драконом и победившем его. Наш век, как век демократии, торжества массовой культуры, естественно тяготеет к разного рода мифам и мифотворчеству.

Да, литература XX столетия создала собственный хронотоп, место замкнутого пространства и времени классической литературы, где все — родные и близкие, — место это было занято огромным разомкнутым миром чужаков, незнакомцев, случайностей (мир безграничной свободы). Не могла не возникнуть и новая генерация литературных героев. Рефлектирующие «потерянные поколения» тихо отошли, «игры в бисер» благо-

получно закончились... И вот к концу века правит бал герой-функция, который поистине обрел свою вторую жизнь: его суперактивность, функциональность, при фундаментальности отрабатываемого им мифа, стали подлинной находкой для «городской» демократичной литературы XX века (совершенно был прав литературовед И. Сухих, когда лет десять тому назад написал о том, что «городской», «мегаполисной», современной делают литературу не сюжеты и пейзажи, но — особый разомкнутый хронотоп и особый тип героя).

Но есть и еще одна причина. Не стоит забывать, что с самого начала в становлении триллера сыграла свою роль еще одна народная любимица — мелодрама. Мелодрама и сама жанрово близка к сказке, точнее — разрабатываемому мифу о грехопадении человека, о противоборстве абсолютного Добра и Зла (об этом, кстати, уже размышляли отечественные критики, скажем, Е. Ермолин — в 1985 г. на страницах «Литературного обозрения», а в 1996-м — в «Литературной газете»).

Мелодрама, впрочем, живет созданными ею литературными характеристиками, пусть слегка перегруженными «тонкими чувствами», но — характеристиками. Энергичному триллеру над душевными стенаниями мелодрамы задумываться некогда, ковбойские пасторали отошли в прошлое. О глубоких страданиях своих героев он заявляет декларативно. И приходится верить на слово. Как, скажем, в известном триллере «Pelican Brief» Дж. Гришэма. Дэрби Шоу потеряла любимого человека, взорванного политическими мафиози прямо на ее глазах. Но на слезные муки красотке в 500-страничном романе оставлены два абзаца. Сначала глубоким личным горем объясняется отказ героини принять недвусмысленное предложение приятеля, второй раз взор Дэрби заволакивается в конце романа, когда хеппи энд заставляет ее вспомнить о кровавом начале удачно завершившейся истории. Буквально так: «Ровно неделю назад она и Томас ждали обеда... Он был одет в черный шелковый пиджак, джинсовую рубашку, красный галстук и сильно накрахмаленные хаки... Она чувствовала боль»... Воспоминания, достойные, как видим, почитаемого триллеристами модельера Юдашкина, но не влюбленной девушки. Впрочем, если ничего кроме костюмчика да ботиночек Дэрби не вспоминается, то это не потому, что сердца у нее нет, а потому, что на сердечные дела триллер не отпускает более двух абзацев, причем сумятицу душевного томления предпочтая заменять более наглядным, «функциональным» сексом. Action, действие — ничто не должно снижать темпа.

Тем не менее, знакомство с мелодрамой оказалось важным для кристаллизации жанра триллера. Именно из мелодраматического сопреживания происходящему почерпнуты великие *терапевтические* возможности этого жанра XX века, века стрессов и одиночества, века социальной энтропии. Хотя терапия триллера — особая: это врачевание не познанием болезни, но — ее «заговором», успокаивающим гипнозом; вместо тончайшего препарирования человеческой души вам предлагается укол наркотика.

В триллере определяющим становится не столько момент личностного соприсутствия, сопричастия, узнавания читателем собственных чувств и надежд, собственных оценок и реакций, сколько важна отработка основных социально-политических ситуаций, культурно-национальных, социально-групповых, этических кодов, подтверждение их истинности и неизыблемости. Это было ясно уже в первых пасторальных вестернах. «Если автор, ищущий массовую аудиторию, хочет иметь успех, — замечает та же М.С. Ботрайт, — он должен представить своих героев в соответствии с убеждениями и ценностями этой аудитории. Это не означает, что он обязан отразить некое существующее социальное мировоззрение. Интеллектуальные конструкции философов, историков и других ученых должны присутствовать фрагментарно, разбиваться на мифы, символы, призывы и доходить до масс как серия доктрин и житейских позиций, часто не соответствующих друг другу». Уже на заре вестерна-триллера была важна «эмоциональная удобоваримость» героев, их соответствие бытующим житейским установкам. Уже авторы XIX века, стремящиеся показать ковбоя «в положительном свете, должны были найти какой-то путь, чтобы соотнести ковбоя с популярными ценностями». Эта укороченная дистанция между героем и читателем — принципиальна для жанра. И пусть поклонники Гришэма и Незнанского — явно не любители Софокла, но они вправе рассчитывать на катарсис. Ведь, право же, российская и американская толпа мало чем отличается от греческой. Слаб человек, везде и во все времена слаб. И он настойчиво ищет сопереживания, духовной поддержки, облегчения; в чуждом, опасном, холодном мире он хочет узнавать «своих» — и быть узнанным. Мелодраматическое же, сентиментально-мелководное противоположение хорошего и плохого, стремление к счастливым концовкам — всё это как раз и удовлетворяет такую потребность.

И потому всё это было взято на вооружение триллером. Так — спрятанный мифом, подмоченный горькими слезами мелодрамы — метафизический конфликт Добра и Зла в триллере окончательно утратил свою глубину, масштаб борьбы Абсолютов, приобретя круголобость и почти карикатурную четкость. (Отметим кстати, что в этом досадном обмельчании сыграла, несомненно, свою странную роль и протестантская новосветовская этика, согласно которой человек к своей земной активности призван самим Богом. Так что добиться житейского успеха, счастливо устоять на ногах — это ли не подтверждение Божьей Благодати?.. И вот — вперед, ковбои всех времен и народов! Круши направо и налево за правое дело...)

Итак, при всем напоре злых сил и кровавых страстей (вспомним упреки Курбатова), триллер провозглашает мелодраматическую *неодолимость Добра*. Да, орудие героев триллера — летально, но сохраняет при том наивное очарование добродетели. Потому что они — главные герои — воплощение благородства, *этичности*, спасители мира, каким бы мордобоем ни отстаивалось Добро.

В этом смысле весьма показателен первый роман Гришэма — «A time to kill» (кстати, наиболее психологичный из всех гришэмских романов. К своему третьему роману Гришэм вполне избавится от этого ненужного груза психологичности). В предисловии к переизданию романа Гришэм пишет, почему он решился на свой первый роман: молодой лайер Гришэм по долгу службы присутствовал на судебном заседании по делу об изнасиловании ребенка. Сам отец двоих детей, будущий писатель вдруг представил себя на месте родителей пострадавшей девочки. Потрясение, испытанное им, было столь сильным, что потребовало выхода. Писатель признается, что создавал героя — молодого лайера Бригенса — с себя. Признание это можно было бы отнести за счет наивности автора, но Гришэм, триллерист высшего разряда, и если это и «наивность», то особого рода и он не случайно сохраняет эту наивность и к седьмой книге. Ибо наивность — тоже весьма удобная фигура в триллере, она и порождает доверие читателя, готового вслед за автором надеть на себя типовой костюм героя и вложить в него собственное «я». Момент узнавания сразу заявляется как определяющий, он обусловливает и дальнейшее развитие интриги. Читатель должен узнать себя в типовой чужой судьбе, боли, надеждах. А как бы вы, читатель, поступили на месте отца потерпевшей? — Убить негодяев! — эта первая реакция любого нормального человека закладывается в сюжет и разыгрывается уже на романном пространстве: отец девочки убивает насилиников прямо в зале суда — и теперь уже он подсуден. Вот тут-то автор и прибегает к пусть художественно слабому, но безусловно житейски беспрогрышному ходу: присяжным заседателям (а с ними и читателю) устами одного из участников процесса предлагается на месте 10-летней Тони представить *своего* ребенка. Пережитые таким образом за собственные, боль, сомнения и поступки приводят жюри присяжных заседателей к единодушному решению: оправдать отца-убийцу.

Оказывается профессионально «удачной» и другая ловушка автора романа: разом жюри предлагается забыть то, что изнасилована *черная* девочка. В контексте современной американской жизни ход — беспрогрышный: «черные» *знают и помнят*, что Тони — «черная», «белые» же в этот момент невольно *представляют*, что героиня — «белая». Таким образом, и для тех, и для других она становится *своей*. Этот тривиальный, с точки зрения построения сюжета, провокационный, с точки зрения житейской, ход на самом деле весьма характерен для триллера; разомкнутый хронотоп современного романа, поселивший героя в мире чужаков и врагов, обрекающий его на одиночество и самооборону, вдруг — вопреки всем законам искусства — подменяется на хронотоп классической литературы, где все персонажи начинают ощущать себя единой семьей, мир замыкается, борьба стихает, гармония восстанавливается.

Этот же прием используется и в триллере Фридриха Незнанского «Ящик Пандоры», в котором неохватное пространство романа и действующих лиц в определенный момент объединяется единой задачей спасения украденного ребенка героини Вероники Славиной, случайной свидетель-

ницы убийства — одного из звеньев в цепи преступлений политической мафии. С точки зрения художественной, киднепинг лишь отяжеляет сюжет, искусственно совмещая параллельные орбиты вращения героев (коих здесь — что звезд на небе). Но житейски, для обыденного сознания массы почитателей триллера, киднепинг является неоспоримым доказательством низости и злодейства политических оппонентов действующего правительства (замечу, что впервые трюк с киднепингом был использован в 1889 г. Вильямом Дж. Паттеном в «Стремительном Гарри, приятеле-ковбою»; с тех пор сложилась добрая традиция в деле кражи детей и женщин).

Без сомнения, мы имеем дело с жанровым штампом, и штамп этот входит в набор обязательных; для триллера недобрать отштампованных ситуаций и положений — значило бы сплоховать, разочаровать читателя. Это как нарушить обряд бракосочетания: разочарованные гости запомнят промах на всю жизнь. Триллер и есть некий обряд. Его приемы давления на психику читателя, низкопробные, нелитературные, строятся на специальном смешении законов восприятия искусства и реальности. Подобная эклектичность делает жанр триллера необычно гуттаперчевым: чутким к волнениям масс и гибким в изобразительных средствах.

Возьмем, скажем, триллеры того же Гришэма — не скажу, что высокожудожественные, но, без сомнения, высокопрофессиональные (уровень, о котором российскому триллеру — только мечтать). «Черная» тема Гришэма — явная спекуляция. Проблемы взаимоотношений афро-американцев и евро-американцев и сегодня стоят весьма остро. Но они волнуют писателя не сами по себе. Просто к популярному у массового читателя криминальному сюжету романист добавляет еще одну перчинку — этническую (этим же приемом пользуется и Э. Тополь, эксплуатируя российский вариант темы — русско-еврейские отношения). Разрабатываемая проблема «маленького человека», его права на честь, на жизнь актуализируется социально-психологически, но не художнически: честные труженики, отличные семьянины, домовитые хозяева (особенно важно для Америки) — парни «свои в доску» третируются ККК, общепризнанным, опять же, служителем Дьявола. Противостояние Добра и Зла становится житейски прозрачным, сюжет же — репортажно-плоским. Читателю уже не нужно отягощать свою совесть размышлением на тему «кто меч поднимет, от меча и погибнет», на тему зла, порождающего зло, скручивающего каждого — и правого, и виноватого... темы, согласитесь, возможной при столь драматичном сюжете. Какой-нибудь Достоевский просто не удержался бы от нового «Преступления и наказания»... Но... психологичности и философичности «высшего реализма» триллер предпочитает публицистичность. И между прочим, — со всей полнотой ее информативности, реальным отражением именно сегодняшней действительности. Хотя решения и выводы — столь же поверхностны, это органичные выводы толпы, скорой, известно, на руку.

А в чем, собственно говоря, и секрет этой способности толпы на «скорую руку», если не в наличии готового, отработанного комплекса решений и реакций на ту или иную ситуацию? Решения толпы всегда

стереотипны. Публицистика, даже самая лучшая, всегда апеллирует именно к массовым стереотипам. Откровенно публицистичен и триллер, опирающийся на стереотипными конфликтами, ситуациями, поведенческими моделями, этическими и эстетическими оценками. Он также скор на руку.

Место, время, положения здесь должны быть мгновенно узнаны читателем, культурно-национальные ценности — отработаны, морально-нравственные коды — подтверждены. Поучительными покажутся наблюдения Бограйт над тем, как в старом вестерне герои-ковбои постоянно носят при себе виски, но никогда не откупоривают фляжку, «даже дома»; курят сигары, но никогда — сигареты; не вступают в сексуальные отношения с украденными или спасенными ими женщинами; могут играть в покер, но не употребляют наркотиков и не стреляют в спину... Неожиданности возможны по минимуму (даже пикантности, эпатирующие обывателя подробности, коими столь славен именно российский триллер, — на самом деле не должны разрушать культурно-национальное табу, лишь слегка его пощекотать. Известное дело — перчинка придает вкус, полная тарелка перца вызывает отвращение. Вот потому-то столь ратующий за «подлинную литературу» г-н Суворов, автор триллера «Покушение на вождя», в «особых» моментах тоже стыдливо прикрывает героев...газеткой. Совестится, должно быть, написанного).

Художественная разработка стереотипов особенно любопытна в портретных характеристиках героев. Говоря о персонаже триллера «голая функция», нужно иметь в виду, что как раз с одеждой и телом у него всё в порядке. («Его рост был пять футов десять дюймов, но весил он меньше ста пятидесяти фунтов и ни грамма лишнего жира» — таким предстанет перед читателем известный террорист из «Pelican Brief». В этом лаконичном, медицински-точном, художественно-сомнительном описании важно отсутствие лишнего веса у героя. Американский читатель, судорожно подсчитывающий поглощаемые за день калории, особенно чутко прореагирует на эту информацию. Именно потому в описании очередного персонажа Гришэм заметит: «галстук был приспущен, он был шесть футов шесть дюймов, но ни грамма лишнего жира». Между прочим, обмolvka об ослабленном галстуке здесь тоже важна. Это, так сказать, особенность гришэмской поэтики: автор известнейших триллеров, как любой средний американец, убежден, что состояние галстука или пуговиц на пиджаке героя типологически характерно и может многое рассказать о нем именно в плане типовой психологической «классификации» (но, конечно, отнюдь не как об индивидуальности). Потому у одного весьма *положительного* героя «пальто было застегнуто, а его галстук — идеален», а у другого, слегка *расхлябанного, неудачника* «пиджак был снят, большинство пуговиц на его несвежей и помятой рубашке было расстегнуто». Столь же необходимым атрибутом в прошлом были одежда ковбоя и шляпа фирмы «Стинсон».

Российский триллер лишь на первый взгляд равнодушен к одежде, массово обряжая героев в джинсы. Отечественная специфика создания

портрета героя сказывается, скорее, в обтекаемости описаний (плохо мы еще знакомы с тем, что, где и как надевать следует), но «красный пиджак от Юдашкина или там «мерседес» шестисотой модели (Ф. Незнанский) призваны также служить надежным опознавательным знаком персонажей как определенных социально-психологических типажей.

В лица их тоже, впрочем, стоит взглянуться. Как, например, может выглядеть все та же неутешная Дэрби? Тут важны и крашеные ногти, и очень-очень пышные волосы, которые она тщательно перекрашивает раз пять за роман, чтобы... сбить со следа ЦРУ и наемных убийц. Хитроумная девица. И — «красавица, умница, спортсменка».

Для российского триллера красота лица и фигуры также имеет принципиальное значение. Потому голливудская звезда Робертс, игравшая Дэрби, вполне сгодится и на роль Тани Зеркаловой, несчастной героини «Последнего маршала» Ф. Незнанского, и молодой следовательницы Лили Федотовой из того же романа, и Вероники из «Ящика Пандоры» — «с короткой стрижкой каштановых волос и глазами цвета морской пучины». И уж сам Бог велел ей сыграть роль Светланы из романа «Покушение на вождя» О. Суворова, которая, подобно всем остальным героям триллера, «изумительно, невероятно хороша собой. Легкий загар, несмотря на декабрь месяц, и пышные каштановые волосы, уложенные с небрежным изяществом. Большие, внимательные, темные глаза, прямой нос, безупречные, невозмутимые губы... И тонкий аромат духов, перемешанный с дымом легкой ментоловой сигареты»...

Страшно представить, если героиня закурит «Родопи» или какой-нибудь там «Восток»... как ей после такого сочувствовать! Ведь вряд ли пропахшая никотином, облысевшая бой-баба способна победить мафию, ЦРУ и КГБ, а уж тем более — организовать антиправительственный заговор, как это делает красотка Лана Белова, глава мафии ветеранов-афганцев с «прямыми плечами, светлыми волосами, как-то неповторимо обрамляющими лицо», «мерно покачивающимися в такт походке» всей своей «тяжелой массой», да еще и с «маленьким зеленым бантиком, окончательно сведшим... с ума» следователя Александра Турацкого («Операция «Фауст» Ф. Незнанского). Который и сам по себе просто неотразим, «достаточно было бы раз взглянуть в его серые, с огоньком, глаза, чтобы ощутить физическую силу, исходящую от этого человека», мужчины «с репутацией Казановы»...

А представьте, что Турацкий — маленький, плюгавенький, лысенкий импотент? Будете про такого читать?..

Увы создателям триллеров! Их герои просто обязаны быть суперменами. Ибо только супермен согреет обывателя, тоскующего об идеале, мечтающего о прекрасном и вечном, о том, чего недополучил в жизни. Герой триллера — доказательство возможности невозможного, реальности нереального. Казанова ли, Аполлон, Геракл, Кентавр или Георгий Победоносец (в зависимости от интеллекта читателя, — он все равно герой. Но при всей своей суперменовской монументальности, он лишен индивиду-

альности, лица, имманентности. Это — некая пустая полость, которую каждый заполняет на свой вкус; функция, ладно вычерченная и безошибочно работающая. Что, однако, не только не промах «низкого жанра», но — победа его. Потому как отсутствие литературного характера при наличии «деятеля» рождает *уникальную* для читателя возможность самому до-создать, до-писать героя, открывает реальность со-творчества, со-авторства. Между героем триллера и читателем нет привычного отчуждения, дистанции, это отношения интимности. Но и это неточно. Если искать определение их взаимосвязи в современном языке, то следовало бы назвать ее *игрой в виртуальную реальность*. Терапевтический эффект этого по-февдоприсутствия трудно переоценить. Поистине, дьявольское искушение *проиграть* все мыслимые и немыслимые варианты собственной жизни — ничем при этом не рискуя, но навсегда излечиваясь от комплексов и предопределенности судьбы. Нет, не из ностальгии по прошлому вырос этот жанр, но *из* иррационального, подсознательного страха перед настоящим, перед реальностью, которую читатель так хорошо знает.

Построенный на основных культурно-нравственных стереотипах XX века, завязанный на главных социально-политических проблемах, воссоздающий мифологического героя-функцию, обладающий терапевтическим даром, триллер сумел выстроить *особое художественное пространство — виртуальное*. По иронии судьбы, реализованная жанровая сверхзадача триллера совпала с поисками-построениями постмодернизма. Пусть российские его певцы всё еще наивно полагают, что владеют истиной избранных и доверительно посвящают в нее в «разговорах по душам». Феномен виртуальной реальности на самом деле давно уже знаком массовой культуре и активно обживается ею. Виртуальные игры сегодня — *площадные*, оглядитесь вокруг — это любимый аттракцион Диснейленда!...

Тем не менее, встреча «верха» и «низа» литературы — не случайна. Свойственное каждому из них отрицание классических традиций литературы имеет, в общем-то, единый гнозис: посягновение на значимое Слово, на Слово-Имя.

В доверительных «душевных разговорах» российские постмодернисты ратуют за принцип анонимности автора как возможности сотворчества писателя и читателя, «оплодотворяющего» своими бесконечными интерпретациями законченный литературный текст. Что ж, принцип анонимности автора уже выдвигался в истории русской литературы, я имею в виду древних летописцев. Однако уточним: анонимность летописцев касалась их собственной индивидуальности, писательского имени. Такая позиция держалась на бесконечном доверии к Слову, полученному от Бога и ему же возвращаемому. Такая анонимность — от гипертрофированного чувства ответственности; чувства сохраненного и бережно пронесенного российской классической литературой через века.

Отрицание Слова нынешними российскими новаторами не касается их собственных имен. Отрицается *имя героя*, превращаемого в голую

функцию. Слово предлагается просить у толпы, а не у Бога. Ну что ж — у каждого свой алтарь... Может быть, писатель от того и выиграет. Выиграет ли литература?..

Впрочем, ответ на этот вопрос, вообще-то говоря, неоднозначен. С одной стороны, утверждение на литературной авансцене триллера (жанра литературы, так сказать, «вторичной») неизбежно. Признаем этот свершившийся факт, не зависимый от *продолжающейся* традиции классической литературы. Вестернизация литературы, выразившаяся в утверждении жанра триллера, — это если и не преступление, то в какой-то степени всё же наше наказание. Заслуженное наказание. Неизбежное. По Сеньке — шапка. По нам — триллер...

Но с другой стороны, если заняться неблагодарным делом прогнозирования, судьба триллера мне представляется достаточно ординарной.

Россия всегда была литературной цивилизацией, для которой главное как раз — Откровение Слова. Отсюда и просветительски-пророческий характер ее искусства, и философичность его, и неизменная сложность литературных характеров... Умирают традиции? — Подлинные традиции не умирают, точнее — умирают вместе с нацией, фундамент которой они составляют. Это социальную нашу жизнь бросает из огня да в полымя, так, что начинает казаться — погибло всё... Но культурная традиция — малоподвижна. И слишком в стороне от российской культурной традиции стоит жанр триллера, может быть, по природе своей самый «нелитературный» из всех литературных жанров. Думаю, что, покуражившись, триллер займет свое скромное — а по чину и достойное — место в огромном доме российской литературы.

Александр ГЕНИС

ОБЖИВАЯ ХАОС

Русская литература в конце XX века

После провала путча 91-го года, ознаменовавшего конец советского режима, возникла насущная необходимость понять, кто из писателей сумел пережить падение прежней власти. Дело в том, что в те эйфорические времена в одночасье пала грандиозная литературная система, которая либо украшала, либо уродовала, но, главное, питала нашу общественную жизнь на протяжении нескольких поколений. Крах коммунизма и отмена цензуры упразднили ту самую словесность, с которой эта же цензура так яростно боролась. В пропасть рухнула целая литература. И дело тут не в отдельных именах и названиях, а в самой мировоззренческой системе, без которой она не могла функционировать.

Крушение режима лишило общество наработанного им символического арсенала и обрекло советскую литературу на безнадежное метафизическое сиротство. В постсоветскую эпоху почти вся прежняя литература, что правая, что левая, оказалась *лишней* литературой. Ощущение ненужности было таким острым, таким очевидным, таким бесспорным, что не заметить его было нельзя. Первыми это поняли сами потерпевшие. Писатели, пожалуй, раньше читателей увидели ту самую пропасть, которую они же помогли вырыть.

Фазиль Искандер, один из самых тонких и чутких не только романистов, но и эссеистов, остроумно и безжалостно описал новую литературную ситуацию. Представьте себе, говорит он, что вам нужно было всю жизнь делить комнату с буйным помешанным. Мало того, приходилось еще с ним играть в шахматы. Причем так, чтобы, с одной стороны, не выиграть — и не взбесить его победой, а с другой — и поддаваться следует неизменно, чтобы опять-таки не разозлить сумасшедшего. В конце концов все стали гениями в этой узкой области. Но вот «буйный исчез, и жизнь предстала перед нами во всей неприглядности наших невыполненных, наших полузабытых обязанностей. Да и относительно шахмат, оказывается, имели место немалые преувеличения. Но самое драгоценное в нас, на что ушло столько душевных сил, этот виртуозный опыт хитрости выживания рядом с безумцем оказался никому не нужным хламом. Обидно».

Искандер поставил клинически точный диагноз того психологического ступора, в котором оказалась советская литература, привыкшая смешивать фронду с лояльностью в самых причудливых пропорциях.

Кризис захватил и ту литературу, которая не только в сделки с дьяволом не вступала, но и никаких игр с психом не вела. Более того, эта принципиально аполитичная, раскованная, не терпящая всякую идеологическую нагрузку литература научилась вообще не замечать буйнопомешанного. Немало преуспев в этом трудном искусстве, она сумела выкроить в сплошном поле советской словесности островок лирической свободы. Но и ее задели безжалостные перемены. Послушаем корифея наиболее независимой части нашей словесности Валерия Попова: «Думаю наше поколение уже «выдохнуло» то, что у него было на душе. А было немало... Теперь ясно, что то упоение красотой слова, иронией, тонкостью мысли, скрупулезностью рисунка могло родиться лишь тогда и только среди нас, веселых «прогульщиков социализма». Нынче всё изменилось... Раньше нас всех несло ветром, а теперь он как-то растерялся, куда дуть, и все остались в полной растерянности, без рубля и ветрил. Эпоха оказалась короче жизни».

Обе стратегии, позволявшие выжить литературе, в постсоветской культурной ситуации перестали работать: и хитроумные виртуозы выживания с психами и счастливые «прогульщики социализма» остались не у дел. Как игра с властью, так и игра без власти, перестали приносить успех.

Между тем способы преодоления этого кризиса были намечены довольно давно. Хотя тут любые даты приблизительны и необязательны, удобной вехой может служить эпоха, наступившая сразу после хрущевс-

кой оттепели, когда общественная реакция вновь вынудила литературу уйти с поверхности жизни и заняться собственными проблемами. Главной из них стала давно назревшая модернизация русской литературы. Чтобы выбраться из принудительной изоляции к мировому культурному сообществу, ей предстояло освоить как зарубежный, так и собственный, прерванный властью опыт Серебряного века.

Задача, которую пришлось решать последнему советскому поколению, была мучительно трудной. Многие писатели, входившие в литературу в 60-е годы, столкнулись с необходимостью вести войну на два фронта. Путь к новой литературе пролегал между «метафизическим» соцреализмом официальной литературы и правоискательским реализмом «новомирского» толка. Литераторы и того и другого лагеря были либо далеки, либо безразличны, либо враждебны модернистским опытам. Усложненная поэтика только мешала им бороться за широкого читателя. Никакие политические и идеологические перемены не меняли принятый еще в начале 30-х годов курс на экстенсивное развитие советской литературы.

Только сегодня становится ясным, что любые победы на этом пути были временными. Однако если бестселлеры советской эпохи в большинстве своем умерли вместе с ней, то «интенсивное» литературное хозяйствование принесло более долговечные плоды. Вновь начатый в 60-е годы процесс литературной модернизации, проходивший под девизом не ЧТО, а КАК, привел к созданию произведений по-настоящему современной русской словесности, способной пережить падение режима, сделавшего всё, чтобы ее, этой словесности, не было.

Особенности российского литературного процесса определили эклектическую структуру постсоветской литературы. Ее образуют как книги авторов, появившиеся *после* советской литературы, так и те, что родились в ее недрах, но сумели пережить советскую литературу. Сложность этой ситуации привела к утрате привычной шкалы оценок. Раствущая на руинах прежней литературы словесность стала аморфным образованием, лишенным ядра и границ. Ходасевич говорил: то, что в хорошие времена является литературой, в смутные становится трудой книг. Желание разобраться с этой «трудой книг» и побудило меня описать сочинения авторов, представляющих наиболее живые и перспективные направления в сегодняшней словесности. Сюда попали книги, способные стать «почками» новой и разной постсоветской литературы. Конечно, отбор героев тут сугубо субъективен, но произвол тут — необходимое условие. Если классическая литература покончилась в глубинах национального сознания, то современная — всегда коктейль, который каждый составляет себе по вкусу.

Андрей СИНЯВСКИЙ

То, что портретную галерею новейшей российской словесности открывает Андрей Синявский, вряд ли кого удивит. Его роль в создании «новой» литературы, так же как и героическая биография, хорошо известны во всем мире. Впрочем, в России литература всегда была опасным

занятием. И отцом не просто свободной, а именно нынешней постсоветской литературы Синявского делают не преследования властей, а эстетические прозрения. Раньше других он понял природу советской литературы и наметил маршрут бегства из нее.

Сегодня, после всех потрясений, ознаменовавших закат советской цивилизации, можно в полной мере оценить провидческий характер написанной еще в 1957 году статьи Синявского «Что такое социалистический реализм». Описав соцреализм как историческое явление, он очертил четкие временные формальные и содержательные границы этого явления, но сам при этом вышел за его пределы.

Обогнав чуть ли не на поколение современные ему художественные течения, Синявский первым обнаружил, что место соцреализма не в журналах и книгах и не на свалке истории, а в музее. Соответственно меняется и отношение к теории, ставшей экспонатом. Исчезает столь важная для тех оттепельных лет ситуация выбора: принимать — не принимать, бороться или защищать, развивать или отвергать. Вместо этого Синявский намечает другую, более плодотворную перспективу — эстетизацию этого феномена. Констатировав кончину соцреализма, он ставит этот художественный метод в один ряд с другими, что и позволяет начать игру с мертвой эстетикой. Эту задачу, хоть и с большим опозданием, выполнило последнее течение советской культуры — искусство соцарта. Теоретические построения из статьи Синявского воплотились в творчестве В. Комара и А. Меламида, В. Бахчаняна, Э. Булатова, И. Холина, Вс. Некрасова, Д.А. Пригова и многих других художников, писателей и поэтов, которые реконструировали соцреалистический идеал, доведя его до логического и комического завершения.

Главное произведение Андрея Синявского — Абрам Терц. Терц нужен Синявскому, чтобы избежать прямого слова. Текст, принадлежащий другому автору, становится заведомо чужим и в качестве такового уже может рассматриваться как большая, размером в целую книгу, цитата. В этой тактике раскрывается задача эстетики Синявского — взять текст в рамку, отделив жизнь от искусства. За этой позицией стоит особая модель автора, творца, художника, поэта, исследованию которой подчинено всё творчество Синявского. В его словаре художнику сопутствует донельзя сниженный словарный ряд: дурак, вор, лентяй, балагур, шут, юродивый. Именно этот ряд взбесил многих читателей лучшего произведения Синявского — литературоведческого романа «Прогулки с Пушкиным». Наставая на том, что «пустота — содержимое Пушкина», Синявский отказывает классику в главном — в авторстве. Поэт — медиум на спиритическом сеансе искусства. В монографии «Иван-дурак» Синявский подробно описывает «философию» своего заглавного героя, который оказывается очень близок к фигуре идеального поэта из книги «Прогулки с Пушкиным». Объясняя, почему сказка выбирает себе в любимчики глупого и ленивого героя, автор пишет: «Назначение дурака — доказать [...] что истина (или реальность) является и открывается человеку сама, в тот счастливый момент, когда

сознание как бы отключается и душа пребывает в особом состоянии — восприимчивой пассивности».

Философия «дурaka», живо напоминающая об учении даосов, объясняет неосознанную, внеличностную, интуитивную, инстинктивную, если угодно, «животную» природу творчества — поэт, погружаясь в искусство, идет вглубь, минуя свое Я. Залог успеха — отказ от себя в пользу текста: «Когда пишешь, — говорит Синявский в своей исповедальной книге «Спокойной ночи», — нельзя думать. Нужно выключить себя... Тебя наконец нет, ты — умер... Уходим в тест».

Уходят в текст все любимые герои Синявского — Пушкин, Гоголь, Розанов, безымянные сказители, растворяющие себя в анонимной фольклорной стихии. Этой ценой все они оплачивают метаморфозу искусства.

Плетение словес, игра самодостаточной формы, ритуальный танец, орнаментальный рисунок — вот праобразы прозы Синявского, которыми он восхищается и к которым стремится.

На основе этих образцов Синявский и строит свою эстетическую вселенную. В космогонии Синявского искусство — источник жизни, тот первичный импульс энергии, который порождает мир.

Творчество, по Синявскому, — путь не вперед, а назад, к истоку. Не созидание нового, а воссоздание старого. Эстетика Синявского — своего рода археология или даже палеонтология искусства: реконструкция целого по дошедшим до нас останкам.

Пафос восстановления цельности ведет к очищению искусства от чужеродных добавлений. К ним Синявский относит и логику, и психологию, и социальность, и соображения пользы. Художник, как алхимик, занят изготовлением чистого, без примесей, искусства, которое обладает чудесным свойством — уничтожать границу между материальным и духовным, между словом и делом: «Слово — вещно, — говорит он, — Слово — это сама вещь». Поэт, которого Синявский постоянно уподобляет колдуну, это тот, кто находит подлинные имена вещей. И если ему это удается, он вызывает их из небытия. Вот так и сам Синявский вызвал — накликал — собственную судьбу, описав свой арест *до того*, как он произошел в жизни.

Синявский решительно и окончательно разрывает столь неизбежную в советской литературе связь между искусством и прогрессом. Развернув культуру лицом к прошлому, он предлагает ей любоваться не вершинами грядущего царства разума, а той, как он пишет, «божественной истиной, которая лежит не рядом и не около искусства в виде окружающей действительности, но позади, в прошлом, в истоках художественного образа».

Андрей БИТОВ

Битов, прозванный на Западе за «Пушкинский дом» славянским Прустом, так легко перешагнул рубеж, отделяющий постсоветскую литературу от советской, будто его, этого рубежа, и не было. Это, конечно, не так. В своем письме Битов давление власти не замечал, но учитывал как

невидимую гравитационную ловушку, искривляющую вокруг себя пространство. Битов советскую литературу не пережил, а аккуратно обошел по периметру, причем с внешней стороны. Поэтому даже в самые тяжелые времена Битов умел придавать вынужденному молчанию сибаритскую форму праздных размышлений.

Молчание безгласности выталкивало Битова на просторы виртуальной альтернативной вселенной. Окружающая реальность, губившая одних и разворачивавшая других, вынудила Битова освоить вымышенный мир, где он был хозяином положения. Так, выворачиваясь из-под ига власти, он угодил в новейшую мировую литературу, занятую теми же темными отношениями искусственного с естественным.

У Битова этот конфликт связан с проблемой отражения, которой посвящена одна из его самых замысловатых и самых удачных книг «Преподаватель симметрии». Предмет ее — отраженная реальность, которая встречается тут в самых разных формах — зеркало, фотография, картина, энциклопедия.

Противоречие между предметом и его отражением — это конфликт природы и культуры, или — конфликт человека и писателя. Ведь именно писатель, создавая все эти химеры, живет в искусственном, им же сочиненном мире. Объединить вымышенный мир с подлинным, вторичную — культурную — реальность с первичной, жить одновременно в двух мирах — вот задача, которую перед нами ставит эпоха, потерявшая «сырую» действительность в игре культурных отражений.

Битов ищет выход из лабиринта, ставшего нам домом. Этим поискам посвящена одна из его лучших повестей — «Человек в пейзаже». В ней Битов очерчивает центральный конфликт своего творчества. Есть немой мир — камни, деревья, облака, — составленный из отдельных предметов, не осознающих, что они — часть общности, часть «пейзажа». И есть человек, под чьим взглядом отдельное становится единым, хаос — гармонией. Камни и деревья не знают о соседстве друг друга: пейзажем они становятся лишь в глазах человека, который, в сущности, и является если не автором, то соавтором пейзажа. Если только взгляд человека рождает пейзаж, то любой взгляд любого человека есть творческий акт. Перед каждым из нас стоит задача: составить из мириад отдельных фактов картину, выстроить отдельные вроде бы и не связанные между собой элементы в сюжет. Мир отражается в нашем на него взгляде. Более того, он существует только тогда, когда мы на него смотрим.

Взаимоотношение человека с пейзажем — это проблема диалога творца с его творением. Поэтому и Бога герой битовской повести трактует как коллегу, как художника, который ждет нашей оценки его творения. Он говорит: «Не то, что мы похвалим, а то, что — поймем! Понимание, неодиночество — в этом смысл творения, как и художественного создания».

Правильность нашего понимания зависит от выбора верной точки зрения, что и является творчеством. Битов бегло напоминает: «Живопись, по-моему, это окно. Или зеркало. Зеркало — это ведь тоже окно. Окно

сквозь стену — в мир... Холст, формат, перспектива, взгляд. Рамка видоискателя... Выбор точки».

Все герои Битова вместе с автором мечутся в поисках этой точки, точки, в которой смыкаются немая и говорящая вселенная.

Изображая плутание художника по лабиринту химер, Битов стремится нащупать некую красную нить, которая может оказаться путеводной.

В финале «Человека в пейзаже» автор с временным облегчением растворяет лукавое мудрствование своей повести в умилении от живого тепла. К нему, пишущему последние строчки книги на кухне деревенского дома, на ноги забираются погреться цыплята. Разъятый анализом мир может объединить только живое, ибо его-то разъять никак нельзя. Вернее, можно, но тогда это уже не живой цыпленок, а мертвый.

Органика, с хранящейся в ней тайной всего живого, — вот ключ к воодушевленной пафосом цельности культуре XXI века, а именно ее проблемами и занят сегодня Андрей Битов. В поисках экологической цельности Битов придает самой своей литературе органический характер. Его текст, как куст кораллов: из каждой повествовательной веточки рождается новое ответвление. Свидетельство его жизнеспособности — способность к росту, а значит, принципиальная незавершенность. Не зря Битов и своего «Человека в пейзаже» закончил самым оригинальным образом: из последнего предложения он убрал точку, выпустив вышеупомянутого цыпленка на синтаксическую свободу.

Владимир МАКАНИН

В советскую литературу Маканин входил боком. Отчасти в этом виновата биография. В словесность он попал из математики, где добился немалых успехов. Писателем он стал после душевного перелома, связанного с тяжелой аварией, последствия которой мучили его несколько лет.

Осторожный изоляционизм предохранил Маканина от увлекательной литературной борьбы, столь часто заменявшей отечественным писателям собственно литературу. Тщательно оберегая себя от любой партийности, он сумел выйти к иному, необычному для советской литературы масштабу обобщений. Постепенно проза этого плодовитого и очень разнообразного автора приобрела качества почти кинематографического реализма. Сюжет у Маканина выстраивается за счет зрительных образов. Монологи и диалоги звучат глухо, почти за кадром. Текст часто организован на световых контрастах. С кинематографическим динанизмом мелькают эпизоды. Маканин пишет бегло, почти пунктиром. Обычно тут есть только крупный план и совсем нет скучного, ватного среднего плана. Отказываясь от многословного описательства, он монтирует свои выпуклые гиперреалистические кадры с пустотой, с пропусками.

Найдя путь к символической монументальности, Маканин сумел воплотить в своих зрелых сочинениях архетипический конфликт нашего времени: душевные муки человека, с изверской изобретательностью обреченного губить то, что он больше всего любит. Удушающее — насмерть — любовное

объятие — тема книги «Стол, покрытый сукном и с графином посередине», получившей Букеровскую премию 93-го года. (В то время я был членом жюри и горячо настаивал на этом выборе.) Фабула этого короткого романа перекликается с «Процессом» Кафки, но у Маканина суд не уголовный, а — товарищеский. В ходе повествования-допроса вскрывается иезуитская взаимосвязь душ, сплетающихся в коллектив, объединенный чувством обоядной вины. Товарищеский суд — самый безжалостный, ибо он всегда готов оправдать себя любовью к обвиняемому.

Тот же мотив убийственной любви превращает в глубокомысленную притчу превосходную батальную повесть «Кавказский пленный». Участник неназванной войны на южных границах нехотя убивает захваченного в плен горца, чья красота рождает у русского солдата восторженное, почти эротическое чувство. Не ненависть — причина войны, а страстная неразделенная извращенная любовь, говорит Маканин, возвращая геополитику на уровень человеческих, интимных, плотских отношений.

Политика у Маканина никогда не заглушает биологию. Именно потому ему и удалось свернуть с наезженной колеи, что он открыл для себя новое художественное измерение. Взамен социальной темы у него на первый план вышла наша биологическая природа — человек как особь.

Переломным произведением стала написанная еще в начале 80-х повесть «Гражданин убегающий». Здесь завязался клубок мучительных отношений, связывающих трех главных героев зрелого Маканина — природу, личность и общество. Эти универсальные элементы выстраиваются у Маканина в глубоко пережитое, *пронзительно актуальное* мировоззрение, катапультирующее автора из инфантильной советской словесности в трезвые просторы мировой литературы.

«Гражданин убегающий» — трагедия рока. Ее герой, строитель, осваивающий просторы Сибири, как Сизиф, ненавидит свой нескончаемый труд. Преобразовывая дикую природу в цивилизованную, он, как Мидас, обладает роковым прикосновением, обращающим всё живое в мертвое. Руины погубленной им природы гонят строителя всё дальше в нетронутую тайгу, девственностью которой он одержим.

Любование природой — не эстетическая потребность, а поиск надлежащего масштаба, путь к нулевой точке отсчета, возвращение на родину. Маканинский герой стремится выявить свое биологическое единство с дикой тайгой. Он не очеловечивает природу, а напротив: себя стремится растворить в ее неодушевленной, бессознательной стихии. Путь обратно к божественно безразличной природе оплачен ценой личности убегающего в безвестность анонимности гражданина.

По Маканину, у человека три ипостаси: либо он безличный представитель биологического вида *homo sapiens*, либо личность, стремящаяся воплотить свою уникальность, либо вновь безликая часть толпы, утопившая эту самую уникальность в коллективной безответственности.

Вопрос жизни и смерти всей современной культуры: как удержаться на золотой середине, как проложить курс между Сциллой и Харибдой —

между биологическим доличностным и коллективным послеличностным существованием? Как по пути из «биологии» в «социологию» не проскочить ту единственную узкую и кривую тропинку, которая ведет нас к самим себе?

Венедикт ЕРОФЕЕВ

С каждым годом из тех, что прошли со дня смерти Венедикта Васильевича Ерофеева, всё труднее поверить в то, что за мифическим образом Венички стоит настоящий — а не вымыщенный автор поэмы «Москва—Петушки», эссе о Розанове «Глазами эксцентрика», коллажа «Моя маленькая лениниана» и трагедии «Вальпургиева ночь».

Дело в том, что Ерофеев родился, жил и умер в другую — советскую — эпоху. Но он — один из очень и очень немногих русских писателей — в ней не остался. Немногочисленным страницам его сочинений удалось пересечь исторический рубеж, разделяющий две России.

В советской литературе, увлеченно плутавшей в плоских реалистических схемах, Ерофеев был фигурой одинокой. Пренебрегая злобой дня, Веничка смотрел в корень: человек как место встречи всех планов бытия. Текст Ерофеева — всегда опыт напряженного религиозного переживания. Всё его мироощущение наполнено апокалиптическим пафосом.

На этих древних путях и обнаруживается новаторство Ерофеева. Оно в том, что он бесконечно архаичен: высокое и низкое у него как бы еще не разделено, а нормы, среднего стиля нет вовсе. Поэтому все его герои — люмпены, алкоголики, юродивые, безумцы. Их социальная убогость — отправная точка: отречение от мира как условие проникновения в суть вещей.

Один из них — сам Ерофеев, автор, чья бесспорная темнота, стущенная сложность постоянно искушает и провоцирует читателя. Ставя препятству пониманию своего текста, он обрекает нас на мучительные и увлекательные попытки проникнуть в его замысел. Ерофеев обрушивает на читателя громаду живого идеологического хаоса, загадочного, как всё живое. В этом сюрреалистическом коктейле, составленном из искаженных цитат и обрывков характеров, из невнятных молитв и бессмысленных проклятий, из дурацких розыгрышей и нешуточных трагедий, он растворяет псевдовнятность мира.

Во вселенной Ерофеева не существует здравого смысла, логики, тут нет закона, порядка. Если смотреть на него снаружи, он останется непонятым. Только включившись в поэтику Ерофеева, только перейдя на его сюрреалистический язык, только став одним из персонажей, в конце концов — соавтором, читатель может ощутить идеиную напряженность философско-религиозного диалога, который ведут его герои. Вести его им всегда помогает водка.

Венедикт Ерофеев — великий исследователь метафизики пьянства. Алкоголь для него — концентрат инобытия. Опьянение — способ вырваться на свободу, стать — буквально — не от мира сего.

Водка — повивальная бабка новой реальности, переживающей в душе героя родовые муки. Каждый глоток расплавляет заржавевшие структуры нашего мира, возвращая его к аморфности, к тому плодотворному первозданному хаосу, где вещи и явления существуют лишь в потенции.

Омытый кошмарным коктейлем «Слеза комсомолки» мир рождается заново — и автор зовет нас на крестины. Отсюда — то ощущение полноты и свежести жизни, которое, переполняя текст, заряжает читателя.

В этом странном, хочется сказать, первобытном, дикарском экстатическом восторге заключена самая сокровенная тайна поэмы — ее противоречавший сюжету оптимизм.

Рождение нового мира происходит в каждой строке, каждом слове поэмы. Главное тут не судьба его героя и даже не судьба его автора, а — слова, бесконечный неостановимый поток истинно вольной речи, освобожденной от логики, от причинно-следственных связей, от ответственности за смысл и значение. Ерофеев доверяет случайному созвучию, игре звуков, сопоставляющих несопоставимое. Веничка вызывает из небытия случайные, как непредсказуемая икота, совпадения: всё здесь рифмуется со всем — молитвы с газетными заголовками, имена алкашей с фамилиями писателей, стихотворные цитаты с матерной бранью. В поэме нет ни одного слова, сказанного в простоте. В каждой строчке кипит и роится зачатая водкой небывалая словесная материя. Пьяный герой с головой погружается в эту речевую протоплазму, оставляя трезвым заботиться о ее составе. Сам Веничка просто доверяется своему языку. Он сеет слова, из которых, как из зерна, произрастают смыслы. Он только сеятель, собирать жатву нам — читателям. И каков будет урожай, зависит только от нас, толкователей, послушников, адептов.

Сергей ДОВЛАТОВ

Центральная тема Довлатова — апология лишнего человека, которого он изобразил смешно и обаятельно, с искренней любовью и трогательным пониманием. Здесь следует искать и объяснение его огромного — не только массового, но и универсального успеха на родине. Тайна его — в авторе, том самом, который является и его непременным героем. Довлатов — как писатель, так и персонаж — сознательно выбрал для себя чрезвычайно выигрышную позицию. Восточная мудрость учит, что море всегда победит реки, потому что оно *ниже* их. Так и Довлатов завоевывал читателей тем, что он был не выше и не лучше их: описывая убогий мир, он смотрит на него глазами ущербного героя.

Довлатовскому герою нечему научить читателя. С одной стороны, он слишком слаб, чтобы выделяться из погрязшего в пороках мира, с другой — слишком человечен, чтобы не прощать — ему и себе — грехи. За это читатель и благодарен автору, который призывает разделить с ним столь редкую в нашей требовательной литературе эмоцию — снисходительность.

Вслед за тем же Веничкой Ерофеевым, которым он всегда восхищался, Довлатов стремился туда, где не всегда есть место подвигам. Слабость

исцеляет от безжалостного реформаторского пыла. Слабость освобождает душу от тоски по своему и особенно чужому совершенству. Довлатов любил слабых, с трудом терпел сильных, презирал судей и снисходительно относился к порокам, в том числе и к своим. Он считал, что стоит только начать отсекать необходимое от ненужного, как жизнь сделается невыносимой. В своих рассказах он никогда не отрезал то, что противоречит повествованию, образу, ситуации. Напротив, его материал — несурзное, лишнее. Пафос довлатовской литературы — в оправдании постороннего. Успех тут зависит от чувства меры: максимум лишнего при минимуме случайного.

Довлатов предлагал читателю философию недеяния — всё видеть, всё понимать, ни с чем не соглашаться, ничего не пытаться изменить.

Прозрачные рассказы Довлатова закрыты для интерпретации — ведь он не объясняет жизнь, а покорно следует за ней. Предмет его творчества — очищенная от писательского вмешательства жизнь, которую автору удалось запечатлеть в словах. Оставаясь нейтральным, он решительно отказывается выносить свою оценку. Он воспринимает жизнь как изначальную данность, ценную именно своей естественностью, которая успешно сопротивляется нашим кавалерийским наскокам. Только естественное, говорил Чжуанцзы, нельзя изменить.

Даже авторское «Я» — вечный его герой, носящий имя Сергей Довлатов, — всего лишь равноправный участник диалога, не более чем один из персонажей рассказа, отказывающийся отвечать за своих героев. В этом отказе — тайный бунт Довлатова против метафизического подтекста. Скользя по поверхности жизни, он принимал с благодарностью любые ее проявления. Отказываясь судить действительность, он не расчленяет ее на искусственные категории добра и зла. Здесь нет чистых, не- смешанных красок. Всякая трагедия, попав в зону его прозы, неизменно превращается в трагикомедию.

Довлатов любил естественное, поэтому и его прозу отличает ощущение грубой, сырой достоверности, фактографической — вплоть до подлинных имен и документов — точности. Однако факт в его рассказах — выходец из иррационального мира, который привносит в эту псевдодокументальную прозу фантасмагорию и гротеск. С фантастическим Довлатов обращается по методу барочного искусства: чем причудливее содержание, тем строже и дисциплинированнее должна быть форма. Так, если у Венички Ерофеева алкоголь, этот вечный генератор всякой ирреальности в русской литературе, растворяет границы между персонажем и автором, то у Довлатова водка их, напротив, укрепляет: герой тут бывает пьяным, рассказчик — никогда.

В духе этого «ленинградского барокко» Довлатов так обращается с любыми иррациональными элементами своей прозы, что они не отличаются от рациональных. Отсутствие заранее выбранной позиции, да и вообще определенной концепции жизни подготавливает автора к тем фантастическим неожиданностям, которыми дарит нас живая, неумышленная действительность.

Довлатовские рассказы напоминают сад камней. Прелесть необработанного камня в том, что он лишен умысла. Его красота — не нашей работы, поэтому сад камней и не укладывается в нашу эстетику. Это и не реализм, и не натурализм, это — искусство безыскусности. Уравнивая зрителя с экспонатом, оно учит зрителя быть живым, а не судить о жизни.

Саша СОКОЛОВ

В отличие от своих современников Саше Соколову удалось написать о свободе больше, чем о рабстве. Свобода у Соколова как горизонт: далека, заманчива, недостижима, но только по пути к ней совершаются открытия. Например, появляется проза подробностей, которую Набоков противопоставлял самонадеянному российскому универсализму. «Школа для дураков» стала первой русской книгой, вернувшей набоковское понимание литературы в отечественные пределы.

Проза Соколова нова, но содержание его романа вопиюще традиционно. Вот как его пересказывает сам автор: «Эта книга об утонченном и странном мальчике, страдающем развоением личности... который не может примириться с окружающей действительностью». Бунт соколовского героя, классический мотив романа «взросления», разворачивается в «школе для дураков», которая стала символом общего, универсального, застывшего в законченных образах мира.

Сложность прозы Соколова определяется тем, что условием освобождения его героя стало преодоление языка и времени, в которых коренится всякая неволя. Чтобы сделать свою книгу *возможной*, Соколов придумал особый язык и особое время.

Исповедуя своего рода лингвистический пантеизм, он одушевляет язык, наделяет его способностью к росту. Взламывая сросшиеся конструкции, Соколов раздает самостоятельные значения каждой части слова. Как заклинатель духов, он не строит образы, а вызывает их из корней и приставок. Так, расчленив невзрачное слово «иссякнуть», он обнаружил в нем способный плодоносить обрубок — «сяку». И вот из этих звучащих по-японски слогов на страницы книги явились обратившиеся в японцев путейцы Муромацу и Цунео-саны, а там и целая гравюра с заснеженным пейзажем в стиле Хокусая: «В среднем снежный покров — семь-восемь сяку, а при сильных снегопадах более одного дза».

Язык для Соколова — экспериментальная делянка, на которой он выражает свои образы, сад, в котором он срывает цветы для икебаны, не стесняясь подчинять их естественную форму своим художественным задачам. Оживляя язык, наделяя смыслом служебные фонетические и грамматические формы, Соколов преодолевает окостенение его конструкций: язык обретает самостоятельное существование. «Что выражено» и «чем выражено» органически сливаются воедино. «Школа для дураков» — результат «самоуничтожения» языка, полностью воплотившегося в текст.

Такой, растворившийся в книге язык больше не угрожает ей рабством — причинно-следственным пленом. «Школа для дураков» — «одно-

временная» книга. Она напоминает не разворачивающийся в пространстве и времени свиток, а голограммное изображение, где запечатленные объекты живут в сложной, подвижной, зависящей от угла зрения взаимосвязи. Рассказчик «Школы для дураков» бродит вокруг своей книги, останавливаясь там, где ему заблагорассудится.

Располагая все события в плане «одновременности», герой Соколова обретает власть над временем. Мир «Школы для дураков» безнадежно ограничен. Бегство вовне невозможно. Пространство вокруг героя свернулось. Дорога — этот путь к свободе, этот вечный источник неожиданностей, встреч, авантюрных случайностей — у Соколова превратилась в непреодолимую границу. Упервшись в нее, он меняет пространство на время.

Образ времени в «Школе для дураков» явлен в сугубо материальной метафоре: «Маятник, режущий темноту на равные тихотемные куски». Это время ощутимо, весомо, зримо, надежно: оно всегда с собой, всегда под рукой, перед глазами. Оно расположено в пространстве памяти. Герой Соколова по-настоящему живет лишь в картинах, которые он прокручивает на экране своего сознания. Бегство наружу невозможно для ученика школы для дураков, ибо это охранное отделение цивилизации встроено прямо в его сознание.

Источник трагедии у Соколова — противоречие между органическим миром свободы и социальным миром необходимости. Ни в том, ни в другом мире для героя книги нет места. Он обречен на мучительность раздвоенного существования, боль от которого смягчает воспоминание о брезжащей на горизонте свободе.

Татьяна ТОЛСТАЯ

Утонченный эскипазм роднит прозу Саши Соколова и Татьяны Толстой. Ее тема — бегство в замкнутый мир, отгороженный от пошлой будничности прекрасными метафизическими деталями.

Чаще всего это — мир детства. Сюжеты Толстой строятся по весьма жесткой схеме. Обычно это история преступления и наказания: герой изменяет своему детству и за это расплачивается бессмысленно прожитой жизнью и смертью, которая почти всегда подстерегает его в finale. Рассказы Толстой посвящены не эпизоду, а всей судьбе человека — от начала до конца. Это — завершенная история героя, в которой пунктиром запечатлена его внешняя биография, но ярко и подробно раскрыта внутренняя, духовная эволюция, вернее — деградация.

Истолкованная как ряд событий жизнь у всех скучно одинаковая, как справки в отделе кадров: родился-учился-женился. Этому страшному однообразию Толстая противопоставляет чудесную метафорическую вселенную, выросшую на полях биографии ее героев

Метафора — главное орудие Толстой, это — ее волшебная палочка, возвращающая быль в сказку. При этом она отнюдь не добрый волшебник, и сказки у нее с плохим концом. Мир страшен сам по себе. Жизнь изначально трагична уже потому, что подчиняется Хроносу. Однако Толстая

и не принимает *такую* жизнь. Наперекор ей она создает свой мир — прирученный, уютный, бессмертный. В нем живут умные говорящие вещи, вроде «молодого, пугливого абажура», в нем всегда царит рождественский дух, в нем говорят на языке щелкунчиков. Конечно, мир этот невелик — он весь умещается под детской кроватью. Но он умеет пускать в мир взрослых свои отростки — метафоры, берущие волшебный плен всех встречных, чтобы превратить их в героев сказки. Беда в том, что никому не удается схватить протянутую автором руку помощи — хищная жизнь всех окунает с головой в Лету. Никому не удается удержаться на зыбкой границе между подлинной и вымышенной реальностью.

Впрочем, тайный, но главный секрет обаяния Толстой не в сюжете, а в отклонениях от него. Ее мир составляют говорящие вещи, каждая из которых может рассказать нечто свое, заведомо чуждое фабуле. Тропинка, которой Толстая ведет читателя к финалу, выписывает такие вензеля, что камерное повествовательное пространство рассказов раздвигается до эпических размеров. Чем ниже наклоняемся мы над текстом, тем больше обнаруживается в нем разговорчивых деталей, ведущих свое независимое существование. Каждая строка тут вынуждает читателя менять бинокль на лупу. Ее взгляд обладает сюжеторождающей силой. Всё, что попадает в авторское поле зрения, шевелится, одушевляется, обретает самостоятельную жизнь, начинает себя как-то вести. Эта избыточная, чрезмерная проза просто кишит той же причудливой живностью, что заполняет картины Босха.

Литературу Татьяны Толстой отличает редкое качество — своеобразное *биофильство*. Такое же «спонтанное зарождение жизни» больше всего ценил у Гоголя Набоков, ибо оно обеспечивает литературе, писал он, «огромный, бурлящий, высокопоэтический фон, который и создает подлинную драму».

Такой драмой Толстую обеспечивает густо записанный задник. Здесь разворачиваются, не сопровождая, не иллюстрируя, не соответствуя, а просто сопутствуя действию, замечательные по своей повествовательной энергетичности живые картины, каждая из которых является собой свернутую в тугой клубок сказку. Вот, например, романтическое описание огорода: «черный купол редьки, чудовищный белый нерв хрена, потайные картофельные города». А вот «готический» пейзаж: «Курица в авоське висит за окном, как казанная мотается по черному ветру. Голое дерево поникло от горя».

Любая из этих картин — своего рода иероглиф. Способный существовать на чистом листе бумаги без соседей, сам по себе, он в то же время — неотъемлемая часть общей конструкции. Предлагая каждый свой рассказ и оптом и в розницу, Толстая вынуждает читателя смотреть на текст поп-тичи — одновременно держать в фокусе далекое и близкое.

Сложенный из автономных историй рассказ словно возводит искусство в степень. Оно достигает такой эстетической плотности, что взрывает линейное повествование. Текст отрывается от плоского листа, обретает объем, позволяющий вести повествование сразу в нескольких измерени-

ях — не только вдоль сюжета, но и над ним. Такое «композитное» письмо требует от автора виртуозности органиста, который, как известно, одну мелодию играет руками, а другую — ногами.

Суть этой трехмерной тайнописи — во взаимодействии микро- и макрокосма. Форма у Толстой и не противоречит, и не соответствует содержанию, а живет с ним в симбиозе. Мини-сюжеты тех говорящих элементов иероглифов, из которых составляются рассказы, заражают собой ее прозу, как микроб — слона. Масштаб перестает играть роль — малое не становится большим, но навязывает ему свою волю, как дрожжи тесту. В прозе, зараженной свернутыми образами-сюжетами, начинается неуправляемая реакция. Неожиданно, кажется, и для самого автора, в тексте самозарождается причудливая живность. Следить за ее проказами — главное удовольствие от чтения Толстой.

Владимир СОРОКИН

Владимир Сорокин, автор поп-артовских книг «Очередь» и «Тридцатая любовь Маринь», метафизической пародии «Сердца четырех», сборника стилизаций «Рассказы», романа «Роман» и многих других сочинений, — *enfant terrible* русской словесности. Оказавшаяся последним самиздатом, его проза шла к читателю мучительно долго, что и понятно. Она не может не раздражать. Причем не столько обилием шокирующих садистских описаний, прием достаточно тиражированный новейшей словесностью, сколько принципиальной непонятностью литературы Сорокина. Когда этот непревзойденный стилизатор, способный воспроизвести любую манеру, говорит, наконец, от себя, мы слышим лишь абракадабру.

Искусство для Сорокина — уравнение с иксом, значение которого известно, но не нам. Религиозность культуры проявляется в готовности ввести в свой состав элемент непознаваемого — случай, абсурд, хаос. Если имеющая разгадку загадка — это преграда перед развязкой, то неразрешимая тайна — ее замена.

В прозе Сорокина тайна, скажем, в виде патологически деградировавшей, распавшейся речи, позволяет высказаться лишенней старого языка постсоветской литературе. Первым зафиксировав смерть языка советской литературы, Сорокин сконструировал особую «шизофреническую» семиотику, в которой знаки, как в абстрактной живописи, остались без означаемых. Можно сказать, что Сорокин показывает, как постсоветское общество из картины Лактионова переехало в картину Кандинского.

Изучению такой «шизореальности» посвящен не только самый непонятный, но и самый непонятный роман Сорокина — «Норма». Составленная из принципиально разнофактурных частей, эта книга объединена одним приемом: автор уничтожает знак, истребляя переносное значение слов. Метафора тут овеществляется настолько буквально, что перестает ею быть.

Так, например, Сорокин материализует метафоры из хрестоматийных советских стихов, лишая ключевые слова переносного,figурального

значения. Вот как Сорокин обходится с цитатой из известной футбольной песни: «Эй, вратарь, готовься к бою! Часовым ты поставлен у ворот! — прошептал запыхавшийся Пономарев Яшину, доставая из-за гетры небольшой браунинг».

Всё это отнюдь не соцартовский китч, как решили многие критики. Сорокин вовсе не стремится к комическим эффектам. «Норма» посвящена *не пародированию, а исследованию* советской литературной и — шире — метафизической системы. Чтобы изучить ее устройство, механизмы ее функционирования, пределы ее прочности, Сорокин проделывает ряд семиотических экспериментов над разными смысловыми и стилистическими пластами, составляющими ее литературное пространство.

Блестящий пример такого опыта — написанный под классиков фрагмент «Нормы». По отношению к остальному, специфически советскому тексту этот «красивый отрывок», воскрешающий чеховский быт, тургеневскую любовь и бунинскую ностальгию, должен был бы исполнять роль подлинной жизни, то есть являть собой естественное, исходное, нормальное положение вещей, отпадение от которого и привело к появлению описанной в романе кошмарной советской «нормы». Но тут Сорокин искусственным маневром разрушает им же созданную иллюзию. Неожиданно, без всякой мотивировки, в точно стилизованный текст прорывается грувая матерная реплика, которая «протыкает», как игла воздушный шарик, фальшивую целостность этой якобы истинной вселенной.

Так, последовательно до педантизма и изобретательно до отвращения Сорокин демонстрирует метафизическую пустоту, оставшуюся на месте распавшейся системы. Предельным выражением этой пустоты в романе соответствуют либо строчки бесконечно повторяющейся буквы «а», либо абракадабра, либо просто чистые страницы.

Проследив за истощением и исчезновением метафизического обоснования из советской жизни, Сорокин оставляет читателя наедине со столь невыносимой смысловой пустотой, что выжить в ней уже не представляется возможным. Отсюда гнев и отвращение, которое вызывает у читателей проза Сорокина. Но и эта, в сущности, неизбежная реакция — часть замысла, художественный прием, помогающий автору очертировать границы, прежде чем их нарушить.

Главная черта искусства Сорокина — бескомпромиссность как этическая, так и эстетическая. Пожалуй, именно в этой экстремальности — художественной, философской, религиозной — отчаянный авангардист и новатор Владимир Сорокин, как никто другой в современной литературе, близок к русской духовной традиции, которую он продолжает даже тогда, когда ее опровергает.

Виктор ПЕЛЕВИН

Прозаика Виктора Пелевина, чей дебют — книга рассказов «Синий фонарь» — удостоилась малой Букеровской премии 93-го года, можно назвать наиболее характерным представителем собственно *постсоветской*

словесности. Чтобы ощутить стратегическую новизну прозы Пелевина, его удобно сравнить с Владимиром Сорокиным.

Тема Сорокина — грехопадение советского человека, который, лишившись невинности, низвергся из соцреалистического Эдема в бессвязный хаос мира, не подчиненного общему замыслу. Акт падения происходит в языке. Герои Сорокина, расшибаясь на каждой стилистической ступени, обрушаются в лингвистический ад. Путешествие из царства необходимости в мир свободы завершается фатальным неврозом — патологией захлебнувшегося в собственной бессвязности языка.

Пелевин не ломает, а строит. Пользуясь теми же обломками советского мифа, что и Сорокин, он возводит из них фабульные и концептуальные конструкции. Для Пелевина сила советского государства выражается вовсе не в могуществе его зловещего военно-промышленного комплекса, а в способности материализовать свои фантомы. Хотя искусством «наводить сны» владеют отнюдь не только тоталитарные режимы, именно они создают мистическое «поле чудес» — зону повышенного мифотворческого напряжения, внутри которой может происходить всё, что угодно.

Окружающий мир для Пелевина — это череда искусственных конструкций, где мы обречены вечно блуждать в напрасных поисках «сырой», изначальной действительности. Все эти миры не являются истинными, но и ложными их назвать нельзя, во всяком случае до тех пор, пока кто-нибудь в них верит. Ведь каждая версия мира существует лишь в нашей душе, а психическая реальность не знает лжи.

Пелевин — поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты — одна картина мира, накладываясь на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, он населяет свои рассказы героями, обитающими сразу в двух мирах. Так, советские служащие одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпен оказывается американским шпионом, китайский крестьянин Чжуань — кремлевским вождем, студент оборачивается волком. Изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Ее героини — валютные проститутки Люся и Нелли — в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к переменам, они поменяли не только профессию, но и пол.

Важная странность прозы Пелевина заключается в том, что он упрямо выгесняет на повествовательную периферию центральную «идею», концептуальную квинтэссенцию своих сочинений. Обо всем по-настоящему серьезном здесь говорится вскользь. Глубинный смысл происходящего раскрывается всегда неожиданно, якобы невпопад. Наиболее существенные мысли доносят репродуктор на стене, обрывок армейской газеты, цитата из пропагандистской брошюры, речь парторгра на собрании. В поэтике Пелевина не может быть ничего постороннего замыслу потому, что в его мире случайность — непознанная (до поры, до времени) закономерность. Текст Пелевина не столько повествование, сколько па-

ломничество. Тут всё говорит об одном, а значит, и автору, в сущности, безразличен предмет разговора: не материал важен, а его трактовка. Глубинный смысл обнаруживается в любом, в том числе и самом тривиальном сюжете; чем более он избит, тем ярче и неожиданнее оказывается скрытое в нем эзотерическое содержание.

На этом приеме построено много произведений Пелевина, включая и энтомологическую мистерию «Жизнь насекомых», пересказывающую самую, наверное, известную басню Крылова «Стрекоза и Муравей». Однако настоящий шедевр такой поэтики — книга «Чапаев и Пустота». Этот роман вырос из одной остроумной предпосылки. Пелевин, взяв фольклорные фигуры «чапаевского цикла» анекдотов, самого Василия Ивановича, адъютанта Петьку, пулеметчицу Анку и красного налетчика Котовского, превратил их в персонажей дзен-буддистской притчи. Так, Чапаев в его романе стал аббатом, хранителем дхармы, мастером дзен, учителем, который в свойственной восточным мудрецам предельно эксцентрической манере ведет к просветлению своего любимого ученика — петербургского поэта Петра со странной фамилией Пустота, известного также в качестве чапаевского адъютанта Петьки.

Исходным материалом для такой метаморфозы Пелевину послужили бесчисленные чапаевские анекдоты, в которых он увидел дзеновские коаны, буддистские вопросы без ответа. В романе Пелевина каждый такой коан с соответствующим объяснением служит Петьке очередной ступенью на пути к просветлению. Вот как это звучит в тексте:

«— Петька! — позвал из-за двери голос Чапаева, — ты где?

— Нигде! — пробормотал я в ответ.

— Во! — неожиданно заорал Чапаев, — молодец! Завтра благодарность объявило перед строем. [...] Всё, что мы видим, находится в нашем сознании, Петька. Поэтому сказать, что наше сознание находится где-то, нельзя. Мы находимся нигде просто потому, что нет такого места, про которое можно было бы сказать, что мы в нем находимся. Вот поэтому мы нигде».

Безусловный комизм этого чапаевского апокрифа ни в коем случае не отменяет серьезности первого в России настоящего дзен-буддистского романа. Глубокомысление его только выигрывает от того, что автор ведет разговор о высших истинах в разных стилевых регистрах. Каждая из десяти глав романа написана на своем языке, отражающем тот или иной уровень реальности, в рамках которой автор проводит испытание своей правды. Стилистический метампсихоз, перевоплощение идеи в разные языковые формы не меняет ее невыразимой словами сущи. При этом Пелевин обращает всю свою книгу в коан — как написать роман о том, о чем написать вообще нельзя?

* * *

Самое примечательное в постсоветской литературе — то, что она всё еще не позабыла найти себе новое имя. Память о предшествующем этапе помогает ей сохранять преемственность с тем прошлым, с которым

она, вопреки всем ожиданиям, вовсе не торопится расстаться. Поэтому и обычный спор поколений в литературном процессе сегодня часто принимает форму борьбы за советское наследство. Впрочем, раздел его уже произведен: «отцам»-шестидесятникам отошла рациональная, а «детьм» — иррациональная часть советского прошлого. Первым досталось сознание советского человека, вторым — его подсознание.

Осваивая эту новую тему, сегодняшняя литература решает двоякую задачу. С одной стороны, определяя советский режим как отечественную форму коллективного бессознательного, она выполняет оздоровляющую для общества роль: установление диагноза уже терапия. С другой стороны, выявление и описание национального подсознания и есть главная задача всякого искусства. Не удивительно, что именно с ее выполнением связаны первые успехи авторов постсоветской литературы. В области советского бессознательного они находят источник мифотворческой энергии. Поэтому для многих из них важна традиция социалистического реализма. Выполняя роль снов, она позволяет «проболтаться» коллективному подсознанию советского общества — в соцреализме важно не то, что он говорит намеренно, а то — что случайно. Впрочем, здесь же проходит и граница между соцартом как последним этапом советской культуры и началом нового витка. Соцарт эксплуатирует материал соцреализма, постсоветская культура — его методы.

История последнего десятилетия показала, что если незыблемость советского режима оказалась иллюзорной, то вполне реальными стали его призраки. Получается, что по-настоящему свою власть над действительностью он проявляет после смерти. Зачарованная силой этих некроэффектов, сегодняшняя культура стремится освоить механизмы, при помощи которых режим творил, причем куда успешнее, чем казалось раньше, собственную реальность.

Как лучше всего использовать этот ценный опыт в мире, всё острее осознающем свою искусственность? Этот вопрос предстоит решить нынешнему поколению российских писателей, которые, балансируя на краю пропасти в будущее, обживают узкое культурное пространство самого обрыва.

Нью-Йорк, 1996

ЭТЮДЫ О ТЯПУШКИНЕ

От редакции

Публикуя сокращенный вариант большого очерка Анатолия Слепышева о творчестве замечательного русского художника Алексея Тяпушкина, редакция вполне отдает себе отчет в том, сколь желательно было бы сопроводить этот текст хотя бы несколькими репродукциями с его работ. К сожалению, пока журнал не располагает такими возможностями, а между тем рассказ А. Слепышева о живописи Алексея Тяпушкина статья, на наш взгляд, выразителен, созданные им словесные «портреты» его картин стать ярки и увлекательны, отличаются столь тонким и точным, доступным тоже лишь подлинному художническому чутью и профессионализму проникновением в тайны и сокровенные смыслы «знаковой» живописи, что мы надеемся: предлагаемая вниманию наших читателей публикация вполне оправданна и в том виде, в каком она осуществлена, и будет с интересом и благодарностью принята ими.

Вступление 1

Волны окатывают плоские граниты. Люлькой качается Бесов нос. Каменные гравюры (петроглифы) — криптограммы, хранящие людей от враждебной природы,очных страхов, болезней и непогоды, — талисманы, заставляющие всходить солнце, — знаки, навечно зафиксировавшие упорство борьбы жизни в суровых условиях.

Море, небо, скалы и петроглифы.

**Анатолий
СЛЕПЫШЕВ**

— родился в 1932 году в селе Лопатине Пензенской области. Окончил Суриковский институт в 1967 году. Широко известен в России и за рубежом как один из самых крупных современных русских художников; его картины представлены во всех ведущих художественных музеях мира. Несколько лет работал в Париже. В настоящее время живет в Москве.

* Журнальный вариант

Вступление 2

Не перемешанными между собой, а положенными так, чтобы выявить яркость цвета друг друга, краски в абстрактной картине Тяпушкина «Ритмы на охристом фоне», 1965 года, передают сложный, благородный по ощущению фон, где размещены пятна разной конфигурации.

Разливается тепло красочной палитры, переливаются красные, желтые, малиновые оттенки, вспыхивая чистым цветом. Нижние пятна материально убедительные, но чем выше они расположены, тем становятся бледнее и прозрачнее, неуловимее по цвету. В самом верху они почти исчезают, растворяются в цветовой среде, чтобы эхом возвратиться в сознании зрителя еле уловимыми большими тенями в середине холста.

Всё находится в организованном целенаправленном движении.

В правой части парящее, как птица, терракотовое пятно движется по краю картины, создает острое ощущение осенних солнечных дней в золотом березовом лесу, отражающемся в голубом озере, по которому пробегают тени облаков.

Цветовые сочетания, ритмы пятен пронизаны светом и воздухом.

Идет тихая, таинственная жизнь картины, проявляясь цветовыми сгустками, заявляющими о силе цвета, благородстве цветосочетаний, о простоте и сложности ритмов, о глубине, западающей в душу, тональности.

Окно покрывается белыми силуэтами коней. Пока дед лепит на стекло очередного тонконогого скакуна, мальчик, задавив кончик розового языка, вырезает из тетрадного листа своего самого прекрасного коня. Табун коней пасется на фоне улицы, они разгуливают по заборам, деревьям, по излучающему свет снегу и огромному небу, размахивают хвостами, ксят безумными глазами, бьют копытами. Глаза мальчика горят восторгом.

Остановился мужик в треухе, застыла баба с ведрами. Замелькали в воздухе крупные снежинки. Повалил густой снег. Деревья зачарованно замерли в сиянии дня. Вскоре под сугробами оказались крыши домов, заборы и деревья. Зеваки превратились в снеговиков.

Мир устроен просто. Всё состоит из пятен: пятна домов, пятно неба, вытянутые и слегка вверху растрепанные пятна деревьев, пятно снега и замечательные пятна коней.

Жизнь — сплошной восторг открытия мира.

Для каждого времени года характерна раскраска неба и своя форма облаков. Сельчане тесно связаны с природой. Их жизнен-

ный уклад, состояние души и настроение во многом зависят от погоды.

Утро. Звенит голубизной небесный свод. Кое-где в небе плавают мелкие облачка. День будет солнечным и светлым. Дети берут лукошко и идут собирать ягоды среди пахучих трав и ярких цветов.

Но вот с утра всё небо затянуло серой массой, наполненной влагой, похожей на весенний набухший водой снег. Дети весь длинный день проводят в избе. Хорошо бы уговорить мать почитать сказки.

Лето. Хочется смотреть на небо, любуясь сменой форм облаков, переливами красок неба. Облака огромные, белые-белые, круглой формы. Медленно и торжественно продвигаясь, как рыцари на турнирах, процессы демонстрируют свои пышные украшения. Вечером рыцарские поединки с клубящимися толпами, дамами в пышных платьях происходят на огненно-красном фоне зарева.

Осенью цвета облаков меняются на нежно-голубые тона с розовой и бледно-желтой подкладкой. Кажется, что за одну ночь неведомый садовник вырастил клумбы роз, которые плавно раскачиваются свои лепестки от легких движений ветра. Птицы стаи, двигающиеся веером точек от горизонта к зениту, то сгущаются, то расползаются, вкрапляются в эту голубо-розовую пастилу.

Зимнее небо — декоративное, яркие полосы небрежно намазаны лихим художником то розовым, то зелено-голубым, а то и ярко-желтым цветом. Внизу белизна снега с голубыми переливами, а над ней парад цветных пятен вытянутой формы, сносимых воздушными потоками.

Весна кружит голову ароматом новых возможностей, пьянист кровь обновлениями. Первые ручейки, дымится земля на бугорках и проталинах.

Дремали у ворот в лучах яркого солнца. Ломали вербу. Цветы, похожие на крошечных цыплят, густо усевшихся на розовую веточку.

Детские впечатления зыбки и неустойчивы. В памяти остаются очажки воспоминаний. Однообразие ежедневного быта забивает впечатления, как наклеенные на окно одна поверх другой вырезки, теряющие четкость, прозрачность и превращающиеся в темное, неопределенной формы, пятно. Иногда вслыхивает в памяти рыхлый снег, проваливаясь, бредет мальчик, длинные прутья лозы, плетение корзин с дедом; иногда вспоминается собирание подснежников на проталинах целой ватагой малышей. Дети соседних домов объединялись в группы по интересам. Как только солнце достаточно прогре-

вало землю и лужи на дорогах просыхали, малыши носились по лужайке, возились, развлекались незатейливыми играми в лапту, прятки, чижика. Вечерами усаживались на прогретые бревна, и кто-нибудь постарше рассказывал страшные истории про колдунов и ведьм. Когда становилось совсем темно, расходились по домам, дрожа от страха.

Каждый день сменяет ночь. Появляется она из-за забора, подглядев сперва круглым желтым глазом — все ли легли спать. Закрывает всё мягким, душным одеялом, упрятывая детей от страхов с головой. Широкими мазками фиолетовых чернил красит небо, небрежно пропустив массу белых пятен и пятнышек — звезд, которых становится больше и больше, чем дольше смотреть на них. Как будто кто-то в огромный косматой шапке, низко опустив лицо, пристально разглядывает мириадами глаз детские сны. Золотой пастух наигрывает сладкую музыку расползшимся по мирозданию белым овечкам. Иногда зазевавшуюся овцу утаскивают таинственные силы, и она оставляет сестрам прощальный яркий след. Густая темнота неба мягко светится, и от этого становится уютно и радостно.

Засыпая, Алеша представляет, как он завтра с ребятами утром пойдет на озеро ловить карасей. А сейчас ему кажется, что мрак ночи, навалившийся на весь мир, никогда не пройдет.

У северных озер Вологодчины берега не заболочены, а сразу же уходят в глубину. Вода чистая и светлая. По берегам шапки незабудок. В голубых лепестках венчика — кольцо желтых чешуек. Шершавый стебель с продолговатыми листьями. Цветок нехитрый по устройству, но несет в себе бездну обаяния и прелести. Цветы кувшинок похожи на маленькие солнца, уютно устроившиеся на широких кругах листвы. Рябь воды скользит к дальнему берегу, манящему детское воображение своей загадочной неведомостью. Переплыть бы всю бескрайнюю голубизну, перенестись вместе с птицей, и взору открываются неведомые луга, покрытые лоскутами алых маков, над которыми висят большие фантастические бабочки. А может быть, там раскинулись светлые сказочные города.

Утренний туман пробирается холодком под рубашку. Штаны, мокрые от росы. У каждого мальчишки за пазухой по большому ломтию круто посоленного хлеба. Старенький бредень разрезает, подобно стягу, напоенный ароматом луговых трав воздух. Розовый серпантин дороги разматывается под ногами. Ломит глаза от пламени озера. Берега густо заросли осокой и шапками кустарников, где водятся утки. В топких недоступных местах живут гуси

и лебеди. Их курлыканье гулко разносится по воде. Слои тумана похожи на горы манной каши. Вот-вот покажутся великаны с ложками и начнут наперегонки разъедать эту бугристую массу.

Сняв штаны, все лезут в воду и старательно процеживают ее бреднем. Ноги детей, исцарапанные жесткими водяными травами, целый день месят ил. День проходит, как мгновение. На востоке загорается голубая звезда. Костер посыпает к ней тонень-кую синюю струйку дыма.

Позже Алешу Тяпушкина увлекает творчество. А пока — счастье детской дружбы, рыбная ловля, охота за утиными яйцами.

По обочине дороги, пробитой колесами телег, стадами коров, лошадей и пешеходов, в изобилии растут в определенной последовательности одна после другой травы. У розовых тропинок, узором линий бегущих рядом с дорогой, под самыми ногами расселились заросли травки-муравки, густых темно-зеленых растений с мелкими продолговатыми листьями, покрывающейся к середине лета крохотными белыми цветочками. Чуть подалее — заросли подорожника, веером разостлавшего по земле темно-зеленые с белыми прожилками круглые листья, которыми бабушка лечит у детей царапины и ссадины. Из его середины гордо выносится к солнцу на тонкой ножке султан с пушистой пыльцой. За подорожником — колонии кашки с пеной цветов, с жуками, мухами и мелкими красными, голубыми и желтыми бабочками. Кое-где пижма высоко выбрасывает соцветия золотых звезд. Поля, забрызганные белой краской, — это ромашки. Вкрапления золотисто-красного львиного зева. Душистый колосок, трясунок лисохвост, мятыник, тысячелистник, луговая герань, красный клевер, мышиный горошек, хлопушки, просвирник, иван-чай. До горизонта раскинулись зеленые волны разнотравья с темно-коричневыми высоко торчащими цветами конского щавеля. Ярко-красные вкрапления ужасно колючего татарника. Пауки развесили сети с капельками росы и в восхищении застыли от сказочной красоты.

Деревенские дети хорошо знают названия, свойства и пользу трав. Весной поедается масса щавеля, столбунцов, барчевки, сурепки, просто какой-то съедобной травы, которую отличают от несъедобной только они. Эти познания передаются от бабушек: одна трава годится в корм животным, другую можно есть самим, одни цветы бабушка собирает для лекарства, из других составляются букеты, плетутся венки.

В местах, где прошло детство художника, осень необычная. Здесь нет ярко раскрашенных лесов, золотых берез, дрожащих

мелких ярко-киноварного цвета листочков осины, красных кленов — привычных жителям средней полосы России, где осень пестро расцвечивает деревья, где в прозрачность лесов вкрапливается пронзительная чернота елок.

Осень в лесу Алеша представлял по рассказам отца — и об утренних лохматых туманах, белых, как молоко, где седые стволы елок завязли в густом мху, похожем на щерсть Полканы, где зеленые поляны горят изумрудом, с рыжиками, пригоршнями золотых монет рассыпавшимися под колючими лапами елок. Особенно много их в неглубоких лощинах. Большие, сочные, похожие на полосатых окуней, они маскируются в густой траве. Леса находились где-то далеко, а за деревней бесконечность волнистых дон, где можно бродить, поднимаясь и опускаясь на пологие взгорбы, покрытые выгоревшей травой, по цвету похожие на серый картон, исчерченный светло-розовыми тропинками. У водоемов торчат веточки кустарников с одинокими листиками. Вся радость осени для деревенских мальчишек заключается в беготне по лужам, подернутым первым хрустким ледком, с замиранием сердца слушать, как он трещит и бьет фонтанчиками грязи, заливая ботинки, донашиваемые после старших, да штаны, за что бывает от матери нагоняй.

Недосягаемая близина неба светится не звонким ярким белым цветом, а некой приглушенной абстрактной светоносной близиной, усиливаемой окружающим пространством. По лучезарному мягкому фону бредет фигура. Подчеркивая ее движения, пятна домов и заборов горизонтально вытянулись в середине композиции. Небо, сугробы, тоскливая ровность заборов, кое-где в домах теплый живительный огонек, маленькая фигурка, всё повисло, и светоносная нереальность. Эту картину — «Путники» — Тяпушкин напишет в 1961 году.

Детей в семье Тяпушкиных было много, они рождались и умирали. В годовалом возрасте умерла сестра. В полгода года умер брат. Еще один брат умер от воспаления легких. Выжили две сестры: Таня — 1928 года и Даша — 1932 года рождения. Алексей родился в 1919 году. Отец и мать всегда были заняты работой. Маленькая деревушка состояла из дюжины дворов. Тяжелый труд хлеборобов на мало урожайной земле формировал суровые характеры.

Дед, буравя колючими глазами, после очередной рюмки водки поучал: нужно уметь жить. Не ждать, когда наступят счастливые времена, а работать с радостью, получая удовольствие от каждого прожитого дня. Не бояться трудностей. В борьбе с трудностями крепнет характер, закаляется здоровье.

Дед был сух, на длинных ногах — высокие валенки. В такт его жестикулирующим узловатым пальцам по стенам и потолку металась страшная тень. Высокому сухому голосу вторил скрип половиц; пугаясь пауз речитатива, за печкой взвизгивал сверчок.

Чредой сменяются беспечность детских дней, сладость ночных грез, радость утренних просыпаний, прелесть материнских ласк и общения с отцом. Открывая мир и удивляясь его красоте и многоцветности, ребенок восторженно творит свой мир фантазий. В детстве происходит накопление в подсознании жизненных устоев, заряжаются человеческие аккумуляторы оптимизмом и положительными эмоциями, формируется характер, накапливается энергетический багаж, питающий впоследствии жизнедеятельность и творчество. Детская душа чутко на всё реагирует.

* * *

«О как постигнуть меру красоты,
когда ты красотою очарован,
ты сам частица этой красоты».

Микеланджело

С 1965 по 1967 годы Тяпушкин пишет серию абстрактных маленьких картин, создающих беспределный мир, в котором изображение живет, как галактики в космосе.

Его композиция «Чувственная материализация» 1967 года передает ощущение неба в августовскую ночь, когда, выйдя со света, различаешь на его бесконечности только отдельные яркие звезды. И темно-кровавый пятиугольник с прижавшимся к нему рыхим пятном, и светлый шестиугольник, подобно голубой планете, где в его середине угадывается не то горный пейзаж, не то волны океана, и крошечная точка ярко-красного цвета в самом центре холста, с маленьким рельефом из такой же черной краски, что и фон, и длинное прямоугольное пятно неправильной формы, выходящее за верхний край композиции, и черная линия, трещиной разверзшаяся над бездной, — всё написано ярким, активным, пульсирующим, переливающимся, живущим в процессе развития цветом. Целая палитра розовых, желтых, серо-коричневых, ярко-зеленых на фоне непроницаемо-черного, воспринимается раскаленной лавой, где идет формирование галактик.

Пятна, цветовые ритмы и напряжения фактур являются знаками, передающими полноту радости, красочности праздника жизни, на который попал художник.

В 20—30-е годы все слои населения России захватила великая послевоенная миграция. Стаями птиц, вспугнутых выстрелом, люди срывались с насиженных мест и носились по неведомым просторам. Страна превратилась в кочевой табор, двинувшийся в неизвестном направлении вместе со своим жалким житейским скарбом. Станции и полустанки железных дорог переполнились. Солдаты, женщины, старики и старухи, дети всех возрастов тащили узлы, мешки, чемоданы, корзины, самовары и мятые чайники, а иногда и домашних животных. Надолго застревали на грязных голодных полустанках, обедая местное население, проедая жалкие денежные сбережения, домашнюю утварь и одежду. Оседлое население встречало кочевников враждебно, заламывая непомерные цены за ведро картошки и горшок молока. Обдаваемые копотью встречных поездов, люди ехали и ехали в неизвестность завтрашнего дня.

Места детства с привычным ласковым небом были покинуты сразу, без подготовки. Переезд семьи в город разрушал детский мир. Желание к перемене мест у отца было в крови.

...Старые города деревянные. Стены домов из бревен, из досок — крыши и заборы, черные от постоянных дождей. К заборам теснятся деревянные мостовые, под которыми хлопает грязь. Для своего каталога персональной выставки 1980 года Тяпушкин пишет: «Когда я узнал, что мы должны уехать, мне стало страшно. Над нашей деревней улыбается солнце, освещает ближайшие окрестности, а если мы уедем далеко, там солнца нет — это же видно! Там сплошная ночь, люди живут при керосиновых лампах, на улицах всегда темно».

Город Иваново-Вознесенск лениво развалился по обе стороны реки Увоть. Дома среди лабиринтов высоченных заборов. Окраины изобилуют грязными дворами и роями детей.

Взрослые рано вставали, умывались, завтракали и исчезали. Приходили поздно, усталые, мрачные, рано ложились спать. Дети, предоставленные сами себе, целыми днями носились по городу, дрались, штурмовали кинематограф.

Если уйти далеко от дома, к центру города, то низкие деревянные дома меняются на двухэтажные, красно-кирпичные. Люди, красиво разодетые, толпами бродят взад и вперед, заходят в магазины, несут свертки.

За железной оградой — церкви, похожие на спрутов, с маленькими черными глазами-окнами, местами заколоченными досками. Колокольни и главки частично разрушены. Эти сооружения стоят в стороне от шумной жизни города. Находясь в самом

густом людском движении, они как будто перечеркнуты и отстранены от общества. Людские волны, прокатываясь по площадям, обходят стороной белые, громадные, ободранные временем постройки церквей, как будто не замечая эти циклопические здания, некогда игравшие важную роль в формировании мировоззрения общества.

Заклятые, забытые, они посещались только мальчишками, забиравшимися сюда из любопытства, со страхом обследователей. Они карабкались по сгнившим лестницам колокольни, любовались панорамой остроконечных крыши с бесчисленными трубами, напоминающими нахохлившихся птиц, усевшихся на коньки крыш, терпеливо ждающих теплого солнца. Интересно бродить около церкви, читая надписи на поваленных и полузарывшихся в землю могильных плитах.

Город — это нагромождение прямоугольников, треугольников и квадратов, подобно заплатам на шубе нищего. Прямоугольники домов изрезаны прямоугольниками окон. Длинные прямоугольники заборов, заплаты на карточном пасьянсе домов. Стены переходят в бульжную мостовую, повторяя кладку кирпича, будто отражаясь в кривом зеркале. Крыши, расчерченные на четырехугольники кривельного железа, и кирпичные трубы. По всему мирозданию прямоугольников пестрота вывесок, реклам и афиш, как лоскутное деревенское одеяло. Вывески ремесленных мастерских, некогда во всю мощь красок зазывавшие посетителей, потускнели от времени, но некоторые еще горели наглостью красного, глубиной зеленого, радостью голубого и сумасшествием желтого.

В 1928 году 1 сентября мать надела на Алешу белую выглаженную рубашку, начистила до блеска ботинки, а отец отвел в первый класс. Сорок пять минут дисциплинарной муштры сменялись десятью минутами разнудзданной перемены. Шло время. Менялись учителя. Были равнодушные, но попадались и одержимые своим делом.

Дети рисуют особенно, по-детски. Творят увлеченно и самоизбвенно. Играют в рисование. Живут в изображенном мире, отключившись от реальной жизни. Средства рисования превращают в колдовство, оживляющее изображения. У детей отсутствуют сомнения в своих возможностях. Не задумываясь о ремесленных приемах и законах изобразительного искусства, равные богам, создают они свой мир при помощи знаков, глубоких по смыслу и полных символики.

Алеша без конца изображает яркоперых петухов, расцветающих на листках бумаги, подобно фантастическим цветам, ярко-

рыжих львов, круторогих баранов, кудрявых модниц, как будто только что вышедших из парикмахерской. Его звери живут не столько на бумаге, сколько в его голове, в разыгравшейся фантазии.

Урок рисования в школе вел учитель, увлеченный своим делом. Кроме еженедельного разового занятия по расписанию он занимался с желающими в кружке. Из лучших, отобранных учителем работ, делали в классе выставку. Молодой и веселый учитель любил острую шутку, интересно рассказывал о знаменитых картинах Сурикова, Репина, Левитана, Верещагина, Перова. По воскресеньям в теплые весенние дни водил ребят на этюды в городской парк или за город к реке. Сам с ребятами писал этюды. Алеша воочию видел, как происходит чудо: оживают деревья, бегут тропинки, в глубине неба догорают вечерние облака.

Преподаватели хорошо знают, что на сотню рисующих детей попадаются такие, у которых повышенное чувство цвета. Подобный уникальный дар у детей — юных художников — проявляется сразу. Это способность врожденная — вроде голоса или абсолютного слуха. И хотя этот дар всегда бывает заметен, но редко кто из педагогов обращает внимание, а тем более бережно относится к нему. Всех учат шаблонному методу: видеть форму, пропорции, тональность, уметь компоновать. Не учат работать ярким цветом. Поэтому зачастую в процессе обучения дар повышенного чувства цвета теряется, подменяясь серым общим колоритом. Одним словом, через испытания обучением яркое чувство цвета проносится единицами; хотя большинство художников Запада пишут во всю силу цветовой палитры, в России подобное явление встречается очень редко. Хотя иконы писались ярко.

Старшие ученики изучали репродукции с картин Грабаря, Малявина, Аполлинария Васнецова, подражали Туржанскому, его широкому мазку и теплым замесам земляных красок. Лошадки Туржанского, артистически исполненные горячим цветом на ярко-зеленом фоне травы, подкупали простотой и непосредственностью, будили у Тяпушкина воспоминания о травянистых просторах его детства: его родной деревни со стадами коров, возвращающихся домой в лучах заходящего солнца. Переливы цветовой палитры Грабаря раскрывали не только мир в его предметном наполнении, но передавали еще жизнь красок и пятен в их сложном взаимодействии, в развитии. Сложностью цвета передавалось отношение предмета к пространству, игра света и тени, вес и объем. Увлекались импрессионистами, их эскизной манерой письма. М.С. Пырин, долго живший в Париже,

воспитанный на произведениях Ван-Гога, прививал ученикам любовь к цвету, к фактурной живописи, говорил о темпераменте в творчестве.

К искусству относились как к святыне. Художник принадлежал к клану, посвященному в таинство творить чудеса, способные очаровывать людей. Но, в первую очередь, воздействие искусства учащиеся испытывали на себе.

Дорога, по которой каждый день ходил Алеша в училище, была не просто бульжной мостовой, по обочине поросшей ободранными репейниками, покрытыми грязью и пылью, а серебром умбристых разбелов с вкраплениями мазков золотистой охры. Трава воспринималась как изумрудная краска с подкладкой кадмия красного. Черные фигуры невыспавшихся горожан были пятнами персиковой черной, вплавленной в желтый кадмий солнечных лучей.

В музее висела картина Малевича «Черный квадрат». Картина — формула. Совершенная по пропорциям, она выполнена как хорошо сработанная вещь, вещь значительная, несущая в себе большое содержание. Ее хочется не только без конца созерцать, но подержать в руках и физически почувствовать соразмерность, обаятельность и завершенность. Ученики, наслушавшись А.А. Леонова о минимуме средств в достижении большого замысла, часами простаивали перед картиной черного пространства, скованного узенькой полоской белого поля.

Им казалось, что в этом небольшом черном квадрате, покрытом непроницаемым слоем краски, рождаются и умирают целые миры.

На уроках работали много и самозабвенно. После занятий оставались писать портреты, позируя по очереди. Тяпушкин написал этюд головы настолько удачно, что вызвал восхищение своих товарищей.

Заказными работами занимались в период каникул. Достать заказную работу было не так-то просто. С заказчиком умел вести переговоры друг Тяпушкина. Тяпушкин же был только исполнителем. Чаще приходилось писать лозунги на красном полотне, натянутом на подрамник, или просто на куске тряпки, растянутой по полу. Буквы должны быть ровными, хорошо закомпонованными и ровно прокрашенными. Белые буквы красивой арабеской выстраивались на кумаче, радуя глаз декоративностью ослепительно белого на яркости красного.

Иногда на листах ватмана выполняли длинные списки и диаграммы плакатными перьями, черной тушью. Редко попадалось

задание по увеличиванию плакатов с фигурами рабочих, крестьян или солдат. Особенno сложно выполнение портрета сухой кистью на белом ситце. Нужно делать его наверняка, без поправок. Портреты выставлялись на улице, около общественного здания, и на просвет любое исправление смотрелось черным пятном.

Такая практика прививала навыки оформительской работы, учила начинающего художника общаться с заказчиками, помогала почувствовать свое место в обществе. Художник, умеющий выполнить плакат, написать натюрморт, пейзаж, а тем более портрет, не останется без куска хлеба.

Тяпушкин много читал. Был полностью прочитан Джек Лондон, Шекспир, что-то попалось Мольера, с упоением прочитана «Госпожа Бовари» Флобера, было очарование от Теккерея, Дюома, Гофмана, О'Генри, Диккенса. Еще в начальных классах школы была прочитана книга Марка Твена «Приключения Тома Сойера»...

Книги вряд ли делают молодого человека более мудрым и стойким, служат панацеей от ошибок или руководством в формировании личности. Повседневность и вымыселный мир книг имеют мало общего, книги уводят в мир грез и фантазий, они учат любить красивое, формируют чутье к подлинному в литературе и изобразительном искусстве.

Только при непосредственном общении с художественным произведением раскрываются его качества, его живой организм, единственно-неповторимый цвет, тон, фактура, размер — все особенности языка, настроения и чувства, заложенные автором. В картинной галерее, отстранившись от всего мира — от движения посетителей, от разговоров и толкотни, от обилия экспонатов, со всех сторон привлекающих к себе внимание, — можно углубиться в длительное изучение выбранного произведения, изучить композицию, вникнуть в законы построения цветовой палитры, разобрать приемы передачи предметов и деталей, подышать ароматом и испытать на себе все обаяние картины.

Но не менее важную роль, чем музей, в формировании художника играют книги по искусству. Их можно часами рассматривать и изучать в тихой, уютной обстановке. Хорошо изданная монография с репродукциями различных деталей картины, на отдельных листах, может быть и учебным пособием, и источником эстетического наслаждения. Не всегда можно съездить в Париж и Неаполь посмотреть шедевры мировой живописи. Приходится довольствоваться книгами.

В картине Брейгеля «Охотники на снегу» все силуэты (а их бесконечное множество) сложные и четкие. Тяжелая фигура ле-

вого охотника передана крупным обобщенным пятном. Тщательно найденная по пятнам и разработанная деталями одежда и охотничье снаряжение не разбивают общий силуэт всей фигуры. Пятно вначале тщательно продумывается, находится характерный лаконичный силуэт, затем на нем изображается несколько характернейших деталей. Костюм охотника, все его снаряжение — нож, фляга, всевозможные ремни и т.д. — закрашиваются краской одного тона, с небольшой градацией освещенных или затененных мест. Пятно охотника по общим очертаниям просто, но украшено рисунком свисающего ремешка, остроконечным головным убором, палкой, которую охотник несет на плече. Все эти части снаряжения, хорошо читающиеся на фоне снега, делают фигуру охотника сложной, полной динамического напряжения.

Прозрачности и сочности винограда в картине «Вакханалия» Рубенс добивается наложением мазка по сырому слою подкладки и вкраплением в густой слой светло-зеленого и коричневого цвета блика белил. Замечательно написана масса большого экзотического фрукта золотисто-красного цвета, с ребристой поверхностью, похожей на связку перезрелых бананов. По красочному слою художник наносит золотистые цвета, не скрывая следов от кисти. Получается фактура, передающая цвет, вес и аромат фрукта, брожение его сока, вкус и сочность. Передается игра света, прозрачность краски.

Путем длительного всматривания, раздумий и размышлений можно постичь глубину образов древних японских фресок и свитков. Линии, рисующие лицо Будды в древних храмах, просты и незатейливы. Но как точно они выражают сложный духовный мир мыслящего человека, убежденного в смысле своего учения. Нет ни одного движения кисти, которое не выражало бы главную мысль произведения — величие и красоту духовно богатого человека. Обаятельны и многогранны женские образы фресок XIII века. Изысканная, живая плавная линия облегает, очерчивает контур фигуры, складки одежды, пряди волос, черты лица. Певучая беспрерывная линия является ключом к раскрытию сложного непознаваемо-загадочного женского образа. Лицо женщины, чистое и ясное, как незамутненное рябью высокогорное озеро. Вальяжность царственного жеста. Простота и изящность деталей костюма. Крупность, масштабность деталей говорят о значимости и самоутверждении образа. Художник, создавший подобное чудо, должен был не только в совершенстве владеть приемами своего ремесла, но и обладать высокой культурой, прекрасно знать и горячо любить жизнь.

При рассматривании репродукций картин можно много понять, что не всегда доступно даже при посещении выставок.

Картина Тяпушкина «Напряжение» 1964 года внешне напоминает на темном фоне пятна распустившихся роз. Одно из них — ярко-красное, — стремительно перемещаясь, оставляет за собой светлый широкий след хвоста. Яркость красного пятна достигается при помощи сложной фактуры. Вначале художник наносит подмалевок ярко-оранжевого цвета. Затем на него кладутся мелкие пятна синей краски. И только после высыхания этой сложной подготовки она закрашивается чистым кадмием, через прорывы которого просвечиваются все цветовые градации нижнего слоя. В ярко-красном цвете проявляются ярко-оранжевые разной тональности. Это повышает интенсивность красного цвета.

Рядом с красным пятном — желтое пятно, близкое к прямоугольнику. Его заряд энергии доведен до предела. Кажется, что желтый цвет бурлит, клокочет и вот-вот взорвется, подобно петарде.

Водопад красок, зарождаясь внутри картины, низвергается фейерверком брызг, искрами цветовых пятен. Движение золотых фактур, устремляясь сверху, из правого верхнего угла, то сливается в поток ярких цветовых скоплений, то рассыпается мелкой рябью пляски звезд. В левой части растет и дыбится накопление темной массы, причудливо извивающейся боковыми движениями. Возникает то образ корявой коры векового дерева, глаза сучков, всматривающихся в жизнь окружающей среды, то образ скал, густо поросших лишайником. Необычность цветовых построений: столкновение фиолетового и густо-черно-холодного — придает пятну таинственность, мистичность и настороженность.

Веером раскинулись удары голубого через всю композицию. Такого же размера фиолетовые мазки изображают не тоочных мотыльков в сиянии лунного света, не то полет фантастических звезд.

Внизу широким потоком разместилась коричнево-фиолетовая краска, внося покой в картину. Пытаются успокоить бьющую изнутри энергию длинные черные мазки.

Нагромождение и столкновение фактур и цветовых напряжений переливается звонкой волшебной радугой. Повышенная эмоциональность цвета. Энергия, скапливаясь внутри пятна и не находя выхода, живет сама в себе, беспокоя воображение и будоража мысль.

Служат в армии обычно два-три года. Тяпушкин же, будучи призван в 1939 году, прошел две войны — короткую финскую с суровой зимой и Великую Отечественную, — и вернулся домой только в 1945 году.

Жарким, знойным летом прошел в артиллерийских войсках курс молодого бойца, принял присягу, обучился ратному делу. Затянутый в форму солдата, спасающую от зноя, дождя, холода, жил строгим суровым распорядком дня. Казарма, строй, муштра, зубрежка уставов, хождение в караул, обеды в столовой, размещенной в бараке с утепленным земляным полом, за длинными дощатыми столами с неструганными скамьями, из алюминиевых мисок, жизнь по команде «подъем», «отбой», с ежедневными политзанятиями и одним часом личного времени, когда солдат может написать письмо, прислать чистый подворотничок и надраить до ослепительного блеска все металлические детали своей амуниции, — всё это вместо творчества. Но этот армейский распорядок неожиданно кончился.

Разверзлась финская война. Лишения и испытания мужества, проверка на выживаемость. Смерть, превращающая твоих товарищей — молодых, здоровых, умных, обаятельных — в разлагающуюся падаль...

На синем фоне различных оттенков белые четырехугольники, то контрастно выступающие в синем мареве подвижной среды, то растворяющиеся, чуть сформированные, теряющие четкость контура, — картина «Белые квадраты» (1964 год). Холодный цвет ритмуется с теплым. Настроение снежных покровов, пронизанных вспышками света, находящимися в постоянном движении: то сверху вниз, то снизу вверх. Цветовые градации формируются и разрушаются. Проникновение в смысл движения. Ностальгия о тишине и чистоте соприкосновения с красотой природы.

Человек, полный внутренней гармонии, вошел в высокий березовый лес, как в Божий храм. Белые стволы уходят ввысь синего неба. Блики солнца. Блики чистоты. Тихая сосредоточенность, полная глубочайшего смысла. Тихо перешептываются листья. Плынут и плывут в вышине белые облака, тая и теряя в движении переменчивые формы.

Финская война. Снег до горизонта, по кромке которого распускаются цветы взрывов. Уханье гаубиц сливается в сплошной гул. Стена еловых лесов. Лошади тонут в сугробах. Мороз. Разлетающиеся в куски от прямого попадания стволы огромных сосен. Визг снарядов уничтожает чувство времени. Напряжение такое, что все ужасы, происходящие вокруг, не имеют в людям никакого отношения, превращая их в сторонних наблюдателей. Кровь. Страх. Смерть.

Война кончилась так же неожиданно, как и началась. Полк, в котором служил Тяпушкин, переброшен в Одессу, где был переформирован и пополнен после зимних боев с белофиннами.

Смертельно усталый от страха, тоски по мирной жизни, Тяпушкин воспринял воздух Одессы, пропитанный морем и солнцем, как награду за испытания. Ему нравились и тихие улочки, и крошечные магазинчики, и запутанные дворы, заваленные мусором. Он любил бывать в порту, где полоса светлой архитектуры и белые пароходы выбрасывают клубы дыма в акварельное небо. Полюбились яркие одесситы с быстрым музыкальным говором и круглолицые красавицы с блестящими черными глазами, стучащие каблуками туфелек по асфальту.

В 1962 году Тяпушкин с семьей вновь посетил Одессу. Прожив в южном городе около месяца, художник написал сорок один этюд. Его внимание привлекли низенькие домики, выкрашенные известкой, под красной черепицей, красно-желтые трамваи, громким стуком и резким треском сгнояющие пешеходов со своего пути, зеленые платаны. Перенасыщенность южным солнцем узких уочек портового города Тяпушкин передает цветовым контрастом синих, белых, красных и черных красок. Пишет локальным черным цветом. Зелень он пишет зеленой краской, кое-где перекрывая ее фиолетовой и разными оттенками кадмия. Асфальт улицы то сочетаниями теплых земляных, то светлой охрой, перекрытой разбелами синих цветов. Ритмы окон, дверей, проемов, труб создают суетливую сложность жизни города. Разудалый размах большого южного порта Тяпушкин показывает яркостью цветовых сочетаний, свободным, как бы небрежным движением мазка. В этюде «Все на карнавал» двери, окна приземистых зданий замазаны кое-как, плохо соблюдается и симметрия дверей, оконных проемов. Широкие горячие мазки изображают охристо-желтые стены построек старого общарпанного района грузчиков, завсегдатаев кабачков. Небрежный мазок выражает обаяние и теплоту человеческого жилья. Движение линий низких построек улиц, их перекрещивание, создает биение пульса города, то переполненного толпой людей, то на время опустевшего и потускневшего.

Яркими красками, броским пятном, экспрессивным мазком автор свободно выражает полноту восприятия жизни всеми органами чувств.

1941 год. Страшная сказка, созданная воображением, не способна передать и частицы ужасов и кошмаров, которые свалились на людей, обитавших в степных и лесостепных областях. Уютные домики в окружении вишневых садов, раскинувшихся по поймам речушек, сгорели в одно мгновение. Горели белые города, трудно

построенные за короткое время после Гражданской войны. Потоки беженцев бросились на поиски места, где не сыплются с неба бомбы и снаряды. Страшно стало жить. Люди встали на защиту своего жилья.

Тяпушкин прошел всю войну. Смерть шла рядом, была реальной. Нагромождения искромсанных тел представляли повседневными и привычными картинами перед усталым взором солдат.

За пять лет войны впечатлений на художника обрушилось столько, что мозг — в усилиях самозащиты — мало что вынес, кроме желания спать.

Продырявив немецкое небо салютом Победы, люди начали возвращаться домой, вспоминать мирную, забытую профессию.

Пройти всю войну рядовым солдатом, оставаться живым, да еще получить звание Героя Советского Союза — выдающаяся судьба. И она выпала на долю Тяпушкина.

Когда Тяпушкина спрашивали, как он получил Героя, он говорил, что служил вместе с необученными солдатами и что они, как ни стрельнут, всё в нашу сторону, а он стрелял в немцев. Про войну он рассказывать не любил.

* * *

В одном из переулков Арбата находилась Собачья площадка. Здесь располагался Художественный институт имени Сурикова. Маленькие аудитории плохо освещены. Но счастье переполняло любого поступившего в институт. Мечтой каждого начинающего художника было побывать здесь, подышать воздухом, пропитанным искусством, посмотреть хотя бы на стены, где воспитываются волшебники, творцы изобразительного искусства, самого прекрасного рода занятий человечества.

Размахивая, как знаменем, полосатыми матрацами, полученными у хозяйственника, только что принятые счастливые студенты, подобно огромным нелепым бабочкам, мелькали в пестрой толпе москвичей, перебираясь на знаменитую и столь знакомую художникам Трифоновку, где в деревянном бараке на дощатом полу с дырами, проеденными мышами, каждому вновь поступившему отводилась железная койка.

Для Тяпушкина наступила счастливая студенческая пора. Каждый день короткая пробежка до метро по деревянному настилу тротуара мимо длинных бараков, белого цементного забора, за которым сказочный дворец Рижского вокзала, мимо хилого кустарника, с которого сыплются на придорожную зелень воробы. Возвращение из института с пачкой пельменей и свежей булкой — ежедневным меню ужина.

Состав педагогов в Суриковском институте был замечательный: Фаворский, Чекмазов, Почиталов, Матвеев, Осмеркин и другие, а общее руководство осуществлял Сергей Герасимов.

Время идет по-разному: то месяцы незаметно проскаивают, то наваливаются ежедневными однообразными проявлениями обыденности раннего утра с умыванием ледяной водой, бесконечностью лекций, рисованием и живописью в аудиториях, стоянием в буфете к тете Кате, кормившей в кредит, за тощей сосиской и ложкой гарнира и бесконечностью догорающих вечерних сумерек изнурительного жаркого сентября.

Началась новая жизнь с новыми укладами, с новыми надеждами. Нужно не только учиться в непривычных условиях, но и научиться работать, работать напряженно, задумываясь над каждым этапом обучения, анализируя каждый прожитый день. Вглядываясь в работы своих товарищей, видеть в них достоинства и замечать свои недостатки. Приходится не только много работать, но и много раздумывать. Часто первое впечатление от работы не всегда бывает правильным. Внешне мастеровито выполненное произведение через некоторое время смотрится вяло, скучно и неинтересно, и наоборот, по первому впечатлению неумелая, грубая и даже неряшливая работа всё больше и больше притягивает к себе внимание, увлекает, радует, волнует. Приходилось работать над культурой понимания искусства, вкусом, да и над общим образованием.

Любил Тяпушкин после занятий в институте побродить по Москве. Москва неповторима в вечерних сумерках, после отлива густой толпы «часа пик», когда небо над столицей наливается светловишневым цветом и черные лоскуты ворон мечутся в архитектурных прорывах особняков. Улицы — каменные лабиринты — то широкие, то узкие со страхами, притаившимися в темных подворотнях. Чистые плоскости асфальта пусты и насторожены. Причудливые изгибы невысокой старой архитектуры обобщены сумерками до таинственных пятен. Кое-где хитросплетения цементных лабиринтов разделены зелеными массивами парков и бульваров, рек и железнодорожных магистралей с узлами фантастических конструкций. В одну сторону необъятное пространство уходящее к горизонту мягких холмов с церковью XVII века, округлостью своих куполов подчеркивающей всхолмленность моря зелени, в другую сторону открывается густая сеть железнодорожных линий с извивающимися составами, похожими на китайских драконов.

В 1966 году Тяпушкин пишет серию картин про Москву: «Москва, Сущевский вал», «Ощущение города», «Ритмы города».

Формальные построения этих работ близки между собой и отдаленно напоминают супрематические композиции Малевича. Несколько крупных пятен передают энергию современного города. Геометрические конструкции, застывшие в смертельной схватке за любой клочок пространства, громоздящиеся друг на друга, врастающие, вклинивающиеся друг в друга, яркие по цвету, динамичные и будничные. Пестрая толпа, наполняющая архитектурные конструкции, является неотъемлемой частью композиции. Она живет органичной жизнью города. Композиции похожи на коллажи, но за всем их внешне простым построением возникает сложный и интригующий своей неразгаданностью ритм.

Институт имел на Южном берегу Крыма дачу с таинственным названием «Козы».

«Едут в «Козы» на два месяца студенты и педагоги. Перед отъездом — конкурс натурщиц, отбираются девушки с самой белой, самого красивого цвета кожей, чтобы при солнечном свете их тело светилось нежнейшими оттенками и мы, студенты, постигали бы чудеса пленэра. Запомнились Валя Гольдер, Нина Корякина, Зина Пешкова» (М.А. Бирштейн. Люди, мастера, картины).

За хребтом Карадага, неподалеку от Коктебеля, на берегу, усыпанном халцедоном и сердоликом, где в глубине играет голубая волна Черного моря, находится местечко «Козы», в переводе на русский язык — «Голубой глаз». Дача «Козы» — это несколько сараев с койками, отдельное помещение столовой. Кормили далеко не «на убой», но солнце, воздух и море «хоть носом ешь».

Рядом в Феодосии находится картинная галерея Айвазовского, в ней — знаменитая картина художника «Волна», где волна до того прозрачная, до того лучезарная, до того искрящаяся теплыми лучами солнца, что ее игрой можно любоваться и любоваться.

Молодой Тяпушкин — красивый и стройный студент, которым гордится весь институт, ведь он Герой Советского Союза, — целыми днями под большим зонтиком от солнца пишет, и пишет, и пишет море, небо, облака. Гордостью института была выполненная им постановка с обнаженной моделью. «Обнаженная» по цвету напоминает жемчуг. Светом пронизанная зелень. Блики. Влажный воздух теплого моря. Букет живописи, сотканный из бесконечной градации оттенков золота и голубого.

Обнаженная фигура юной натурщицы кажется прозрачной. Только в Крыму бывают такие прозрачные тени, только у моря бывают такие глубокие яркие цвета освещенных мест. Только под южным высоким небом бездонной голубизны такая шелковистая

зелень. Только в «Козах» на практике можно понять, что такое живопись масляными красками.

Герасимов и Осмеркин сами славились как художники цвета, который был программой всего их творчества, и они не мешали своим «питомцам» производить эксперименты с краской. Цвет, краски, живопись — вот о чём не уставали повторять мэтры своим ученикам: «С руками, с ногами, с головой нужно залезть в краску, лишь бы была яркость, передающая голубизну и рокотанье моря».

Два месяца на пленэре пролетели, как одно мгновение. В памяти остались воскресные прогулки на автобусах по серпантину горных дорог. Долины. Горы за горами, причудливые формы облаков — вымыщенный мир нарисованного нереального пейзажа, чуть-чуть приоткрывающийся в литографиях Богаевского. Нагромождения облаков, лесов, покрывающих горы, рваные клочки синего неба, зацепившиеся за разломы гор, — калейдоскоп красок, уложенных в необъяснимый порядок.

Триумфальная арка на строгих колоннах с ажурной чугунной решёткой. Парк культуры и отдыха им. Горького занимает пойму по левую сторону Москвы-реки. Здесь вырастили декоративные деревья, залили асфальтом дорожки, разбили цветники и клумбы, воздвигли декоративные здания для отдыха и развлечений, запустили отдыхающих и гуляющих обоего пола, различного возраста.

Зелень деревьев круглыми головами в упор разглядывает прогуливающихся по асфальту. Водоёмы с синими и зелеными лодками, пронумерованными красными цифрами, чуть заштрихованы рябью. Грохот военно-духовых оркестров. Вечно неподвижное колесо обозрения* Движущиеся аттракционы за низкими загородками и выгородками с длинными хвостами очередей нежных родителей, старательно развлекающих своих детей. Тир, палатки, кафе, шашлычные, туалеты — всё это плохо удерживается в голове. Выставочные залы, где можно посмотреть, покритиковать, разнести в пух и прах в азарте студенческой дерзости, поумничать у картин модных художников.

По воскресеньям в парк приходил и Тяпушкин с альбомом под мышкой. Наброски можно делать и с движущихся фигур, и с групп, расположившихся под деревьями. Схватить характер толпы около увеселительных заведений или у киоска. Вот промелькнуло хорошенёкое лицико беспечно прогуливающейся девушки. Хорошо бы познакомиться, поговорить об искусстве. А может быть, удастся уговорить попозировать?

Неугомонно живет парк отдыха, протянувшийся вдоль большой реки, заряжая москвичей энергией на трудовые дни. Завтра

снова в институт. Опять работа над натурой. Бесконечные приемы ремесла при выполнении штудий, выслушивание поучений педагогов. Дремота на лекциях по истории искусства, курение в узких коридорах в перерывах.

Постепенно надвигалось время работы над дипломом.

На городской площади раскинулся рынок цветов. На первом плане корзины с цветами. Широкими мазками лепятся фигуры продавщиц. Ярко-зеленый фон парка. Сложная по цвету архитектура. Играют отражения на розово-голубом асфальте. Краски играют, мерцают, благоухают. Цветовые пятна так подобраны и расположены по поверхности картины, что напоминают скоропись старинного манускрипта. Знаки- пятна то группируются, то веером разбегаются по плоскости картины, в стремительном порыве образуют направленное движение.

Пятна-знаки разного цвета и тональности составляют очень сложную среду: распадаются на точки, образуют разнообразные линии, накапливаются, формируются. Чистые и прозрачные цвета разливаются озерами и бочажками. Цветовые сочетания передают радостное настроение.

Пятна и мазки накладываются легко и свободно. Художник как будто бездумно, небрежными движениями наносит хаотическое наложение красок. В то же время при внимательном анализе картины видно, что композиция вымерена, ритм пятен настолько построен, что достаточно мысленно сдвинуть любое пятно, как вся сложная система цветовых ритмов нарушится, пропадет то единое, еле уловимое настроение, которое автор деликатно вкладывает в произведение и тактично предлагает зрителю.

По точности и красоте картина Тяпушкина «Продавцы цветов» перекликается с японской «Ширмой с ирисами». Ее сложность и благородство раскрываются тем полнее, чем дольше на нее смотришь. Хочется без конца любоваться сочетаниями, ритмами и движением мазков, открывая сложность краски, мастерски выявленной художником.

Художник передает душу букетов цветов, ивовых прутьев корзин, цветастых ситцевых платьев продавщиц, деревьев, пронизанных лучами солнца и движением ветерка, напоенных ароматами лета. Осмысленно любое проявление, даже еле уловимое, почти незаметное душевное движение человека и окружающей среды.

Просторная Таганская площадь, обрамленная церквями, как глаза ресницами, стремительно опрокидывается в Москва-реку. Полукружие арок старых торговых рядов, головокружительно

уходящих в перспективу. Рекламный щит на торце здания, призывающий посетить курорты страны. Плынет толпа мимо расположившейся архитектуры здания «Детского мира» в Товарищеский переулок, заселенный двухэтажными особняками XIX века. Массивный каменный куб собора Мартина-исповедника с пышной колоннадой коринфского ордера, с легким куполом. Черные дощатые заборы со скрипящими калитками, постоянно заглатывающие теток с короткими ногами и большими сумками. Ряд чахлых полисадников не то с ободранной сиренью, не то с акацией неизвестного сорта.

И вдруг — сразу встает нелепое и большое здание, похожее на квадратную коробку — Суриковский институт. Огороженный двор с мусором и известкой, груды ломаных мольбертов.

В самой верхотуре неба затерялись два малюсеньких облачка, какие и самый виртуозный художник самой маленькой кисточкой не сумеет изобразить на своем этюде.

Поменяв аристократический район Арбата на пролетарский район Таганки, институт сменил не только внешний облик, но и свою внутреннюю суть. Директором в институт пришел Ф.И. Модоров.

Мастерская, которой руководил С. Герасимов, переходит к В. Ефанову. После педагогов — блестящих художников, продолжателей традиций московской школы живописи, институт наводнили педагоги слабые в профессиональном отношении, ремесленники, плохо владеющие мастерством изобразительного искусства, подменяющие законы пластической формы детальной проработкой, жизнь цвета и форму — фотографическим видением. Художественная культура подменяется подгонкой под натуру.

Ефанов, по образованию актер, в изобразительном искусстве был случайным человеком. Сделав блестящую карьеру, но слабо разбираясь в живописи, больше внимания уделял своему честолюбию и себялюбию. В преподавательской деятельности для него главным было самоутвердиться, дать почувствовать студентам свою диктаторскую власть, покрасоваться, сыграть роль. Позер по характеру, он любил низкопоклонство и раболепство. Не понимая большого значения пятна, значимости изображаемого объекта, Ефанов обращал внимание только на мелкие детали, старательную отделку их. Своими указаниями он не только не помогал студентам в работе, а мешал, путал их, да зачастую просто раздражал своей серостью, за что при первой же возможности, когда прочность занимаемых позиций вновь прибывших педагогов пошатнулась, был первым принесен администрацией института в жертву. Его уволили по желанию студентов, даже не сообщив ему

о приказе об увольнении, и он еще долго ходил на отбор натуры для занятий, потешая нелепостью своего положения и студентов, и педагогов.

В 1951 году Тяпушкин пишет диплом «Снова в семье». Тема близкая и желанная. Всеми средствами изобразительного искусства, освоенными в течение долгих пяти лет, ему предстояло выразить радостную минуту возвращения солдата.

Каждому дипломнику администрация института с трудом находила плохонькую мастерскую, и он, оставленный один на один с эскизом, как мог боролся с непреодолимыми трудностями создания первой своей картины. Руководители мастерской давали указания только в идеином направлении. Никто из студентов не знал, как пишутся дипломы. Читали, как Репин или Суриков гонялись за натурой, и старательно ее срисовывали, и даже те, кто мастерски выполняли учебные постановки и эскизы, в работе над дипломом чувствовали беспомощность.

Плохо разбираясь в системе академического обучения, профессора зачастую подменяли ее требованием примитивного и педантичного копирования суммы деталей. Им хотелось, чтобы их ученики умели рисовать, как Александр Иванов, а писать, как Суриков. Подобное смешение стилей путало, если еще учесть, что композицией почти не занимались. Дипломы получались сухие и скучные, нередко замученные. Их защита проходила в нервной обстановке. Иногда это кончалось трагически. Зато дипломированные художники чувствовали себя вольными птицами, не всегда понимая, что теперь-то и начинается борьба за звание художника, борьба трудная, не на жизнь, а на смерть. Нужно было многому переучиваться. Большинство становятся художниками-исполнителями комбинатских заказов. А немало и тех, кто просто перестает заниматься изобразительным искусством и ищет себе новое применение.

Тяпушкин, получив за дипломную работу «хорошо», покидает стены престижного художественного института, выходит в жизнь свободным художником. «Открылась возможность для самостоятельного творческого эксперимента, поиска новых форм сюжета». (Из статьи для каталога А. Тяпушкина.)

* * *

Окончить институт и стать профессиональным художником — еще не значит, что после этого можно получить мастерскую и начать писать картины.

Для поступления в Союз художников нужно иметь выставки, а чтобы выставляться, нужно быть членом Союза художников. Этот гордиев узел почти не разрубаем. Некоторые, окончив вуз, всю жизнь работают художниками, получив широкую известность как интереснейшие мастера кисти, но ни разу не участвовали в выставках, поэтому никогда не будут членами МОСХа.

Членство в Союзе дает художникам очень многое. Член Союза художников не служит в учреждении и не ходит на работу каждый день, не считаясь за это нарушителем советских законов. Для членов Союза имеется комбинат, где в зависимости от активности и положения художников снабжают работой, предоставляют мастерские, посылают на творческие дачи, в командировки с творческими заданиями. Все выставки устраивает Союз художников и, естественно, выставляет только членов Союза, притом все крупнейшие экспозиции формируются из договорных работ, за которые очень прилично платят. Союз заключает с участником выставки договор и выплачивает ему сорок процентов аванса, совет принимает произведение на выставку, еще платит двадцать процентов, работа выставляется, и выплачиваются остальные деньги. Да мало ли всяких льгот предоставляется художникам — членам Союза: и специализированные киоски по продаже материалов, и бесплатные билеты в музеи, и продажа билетов на иностранные выставки без очереди, и многое другое.

Но чтобы стать членом Союза, нужно постараться, нужно познакомиться с членами бюро секции, с влиятельными художниками и активными членами Союза, завести с ними дружбу, посещать их мастерские, заглядывать в глаза и не уставать петь им дифирамбы, не стесняясь и не смущаясь, что переборщишь: художники любят лесть. Нужно любыми методами организовать вокруг себя людей, которые помогут штурмовать баррикаду, выстроенную административной бюрократией перед крепким орешком — Союзом художников.

На второй год по окончании института Тяпушкин был принят кандидатом в члены Союза, что давало ему возможность поступить на работу в комбинат, где он делал пейзажи, натюрморты и очень редко тематические картины. Существует жесткое правило выполнения «комбинатских» работ, нужно набить руку для успешного выполнения заказов.

Большинство живописцев в комбинате быстро приспособливаются к требованиям художественного совета, прекрасно зарабатывают и «живут безбедно». Тяпушкин до конца своей деятельности в комбинате, то есть до выхода на пенсию, так и не мог, да и не хотел понять, что от него нужно. К любой работе он

подходил творчески. Занимался поиском художественной формы. Поэтому каждое произведение сдавалось с трудом, с частыми переделками. На это уходило много времени, а платили очень мало. Но иногда за работы ему присуждались грамоты.

Было у Тяпушкина распределение в Тобольск директором художественного училища. Но место директора оказалось занято, и Тяпушкин остался в Москве, в студенческом общежитии, в котором кроме студентов жили какие-то посторонние люди, и ему, как участнику войны и как Герою, дали комнату в восемь метров, где он и застрял на восемь лет. Здесь он спал, ел, творил комбинатские «шедевры», сюда же привел свою молодую жену Светлану, полногрудую брюнетку с черными живыми глазами и головокружительной красоты ногами.

Светлана была преподавательницей в школе рисунка. Познакомился с ней Алеша случайно, но влюбился серьезно и на всю жизнь. Светлана вскоре после их знакомства уехала в командировку в Ленинград, и Алексей бросился за ней вдогонку. В Ленинграде они провели два месяца в розовом тумане опьянения любовью, бродя по дворцам и паркам.

Набегавшись, насмотревшись и нарисовавшись в октябрьские промозглые дни, Тяпушкин любил посидеть со Светланой часок в недорогом кафе, выпить вина, жмуриться на свет.

В Ленинграде самое притягательное место для любого художника — Эрмитаж. Шедевры малых голландцев, Рембрандт, Рафаэль, Леонардо да Винчи, Тициан. Можно часами стоять перед их творениями. Старые мастера были великими художниками. Чем больше вникаешь в их приемы исполнения, тем непостижимее их шедевры. Точность, артистизм, расчет и, конечно, гениальное откровение, недоступное осмыслению. Кажется, они слегка свихнулись и выдали нам нечто такое, что на всегда останется загадкой; непостижим секрет их приемов исполнения картины.

В 55-м году в семье Тяпушкиных родилась дочь Инна. Жить в восьмиметровой комнате стало невозможно. Пришлось похлопотать об улучшении жилищных условий. Ослабленное здоровье жены, беспрерывные стирки пеленок, многочасовое гуляние на воздухе с ребенком, недосыпание по ночам. Ребенок в семье бедного художника, занимающегося экспериментом, — большая роскошь.

Положив все силы на штурм соответствующих инстанций, семья Тяпушкиных получила восемнадцатиметровую комнату на Масловке в коммунальной квартире, где жила до 71-го года.

Масловка — особый район, со своим микроклиматом, ароматом и устоями; он предназначен для элиты художников, но здесь юится и богема, сохранившаяся до наших дней. Заселение ее не всегда было бескровно для первых жителей и кончалось переселением в «не столь отдаленные районы Севера». Есть легенда, что М.К. Соколов был репрессирован по доносу своего ученика из-за полученной на Масловке мастерской.

Десяток многоэтажных домов расположился по правую сторону от спортивного комплекса «Динамо». Воздух здесь относительно чистый. Дворы завалены обломками мрамора и монументов-великанов, напоминающими произведения сюрреалистов.

По сравнению с Трифоновской здесь были «царские» условия жизни. В восьмиметровой комнате на Трифоновке холст для работы ставился по диагонали, часть полотна освещалась плохо, поэтому полкартины получалась темной, что раздражало и приводило в полное недоумение художественный совет. Кроме мелких бытовых услуг, как продажа красок и кистей в подвале по предъявлении московского билета, и библиотеки, обслуживавшей в первую очередь жен академиков, на Масловке можно было проехать в лифте с живым реликтом (здесь имели квартиры А. Герасимов, Матвеев, Чуйков, Фрих-Хар, Чернышев, Лабас и многие другие, с чьими легендарными именами связана история советского изобразительного искусства) и даже, набравшись смелости, заговорить с ними. Можно заглянуть в мастерские, где окна во всю стену пропускают мягкий, ровный свет, на полу — ковры восточной работы и мебель из карельской березы.

Тяпушкин целыми вечерами дискутировал на общей кухне с соседом Плаксиным на тему: Что важнее — «что?» или «как?».

Это было время, когда люди радовались всему: что победили в войне, что судьба подарила пережившим войну еще годы жизни, радовались просто так, по контрасту с недавними ужасами. Художники радовались каждой выставке. Каждое заметное произведение искусства воспринималось, как событие. Все обсуждали «Письмо с фронта» Лактионова, «Утро на Куликовом поле» Бубнова, «Утро моей Родины» Шурпина, как обсуждают сейчас популярность Глазунова и Шилова.

Время шло своим чередом, солнце каждое утро вставало и, отбыв повинность освещать будничность бытия, пряталось за рваность краев новостроек, пугаясь в штриховке башенных кранов.

В 63-м году Тяпушкин пишет картину «Моя семья», задуманную на столкновении теплых и холодных тонов, борьбе формы птиц. Банально-обыденный сюжет раскрывается через игру

цвета. Ритм пятен спирально разворачивается от центра композиции подобно лепесткам распускающейся розы. В середине картины разлился желтый благородный цвет, выражающий тепло женского образа и душевное спокойствие матери, а по краям — дробный танец пятен: лица, рук, ног. Завершением конструкции является пятно шапки волос женщины. Небольшое темно-синее пятно, где угадывается фигурка ребенка, близко по очертанию к желтому, к которому оно нежно прислонилось. Два лепестка: желтый большой и темно-синий поменьше, в желании сомкнуться, хранят в своей середине добро, уют, теплоту. Бугон любви, душевной красоты, отгородившийся от суетности и ничтожности мелких пятен окружающей среды, напряженный ритм которых пытается вторгнуться в центральный остров незыблемости через белую линию. В пятне ребенка ощущается легкая тревога. В пятне матери библейское спокойствие, самоутверждение и уверенность, тактично подчеркнутые контрастом дробных ритмов фона. С одной стороны, стремление к равновесию, с другой — к динамизму.

Густо-красное активное пятно, нанесенное художником как бы небрежно, стремится растечься и заполнить низ композиции, сдерживается пятном, похожим на небольшие диванные подушечки, и серым пятном. Сверху же горячее темпераментно-красное пятно натыкается на белую плоскость, умиротворенно разлитую; с одной стороны, она как бы слегка нивелируется активностью красного, а с другой — напряженно контрастирует с его энергичностью.

Цветовая гамма композиции строится на ярких цветах. По всей плоскости разбросаны цветовые пятна неопределенной формы, стремящиеся к равновесию. Очертания каждого большого пятна повторяются в пятне меньшего размера, все пятна как бы стремятся освободиться, расползтись и одновременно соединиться в гармонии покоя.

Внимание женщины и ребенка направлено на пятно с белыми штрихами, изображающее лист книги. Здесь сталкивается реальный мир с вымыслом. Мать и дочь пытаются осознать смысл холодного белого начала инородного настроения в их живой теплой среде.

Образы живут, нагромождаясь, сталкиваясь, развиваясь во времени, сложной, познаваемой и непознаваемой до конца формой.

Длинные и гнилые зимы Москвы с редкими солнечными днями сменялись веснами, самым любимым временем года Тяпушкина. И вот в 56-м году в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина открылась выставка коллекции Дрезденской

галереи. Впервые вокруг музея выстроилась очередь. Люди стояли сутками, чтобы взглянуть на «Мадонну» Рафаэля, «Распятие» Дюрера. Картины возвращались в свой дом, откуда их выгнала война. Началось паломничество, чтобы приобщиться к великим произведениям, приезжала масса народа из других городов. Ведь демонстрировались шедевры международного класса, да и Дрезден не в Коломенском, запросто не сбегаешь. Люди шли и шли. Шли даже такие, кто раньше не ходил ни на одну выставку и картины ценил не выше обертки от душистого мыла.

Вновь была открыта постоянная экспозиция Третьяковской галереи. Новые экспозиции следовали одна за другой, подобно разрывам салютов в ночном небе последнего года войны.

«Мадонна» Рафаэля ошеломила Тяпушкина. Впечатление было как от воссиявшего яркого света в непроглядной ночи. Цвет струится, играет, живет подобно сверканию лавы, хлынувшей из кратера только что пробудившегося вулкана. Произведение сработано, как совершенное мироздание — необъятное и величественное. Сама вечность прикоснулась к душе человека и воссияла торжеством справедливости, разума, человеческого совершенства, беспредельного и бесподобного. Человек равен Богу в творении гармонии, в своей красоте и своей разумности.

В Москве в 57-м открылся Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Молодые люди всех цветов кожи пели песни, веселились, танцевали, жали руки, знакомились, узнавали друг друга, обнимались, обменивались информацией, проводили спортивные соревнования, концертировали, устраивали выставки картин.

В павильонах Центрального парка культуры и отдыха выставляли картины художники Франции, Германии, Бельгии, Америки, Испании.

Тяпушкин, забыв об уроках, вынесенных из стен Суриковского института, стал еще больше обращать внимание на яркость цвета, небрежно закрашивая холст, добивался эмоционального звучания, большой страстности и экспрессивности цветовых сочетаний, обобщая сюжет почти до абстракции.

Кое-кому из дипломатических работников Запада удалось, заручившись поддержкой нашего правительства, устроить выставки советского искусства у себя на родине, демонстрируя уровень мастерства художников послевоенной России.

В 67-м году, в связи с 50-летием советской власти, Стивенсон устраивает выставку молодых советских художников в США, где были и картины Тяпушкина. В это же время одна его работа была

приобретена в крупный американский музей «Модернарт». Это — большое полотно размером 120x90 см; оно имеет два названия: «Красное и черное» и «Эмоциональный взрыв». На черном фоне пятно фигуры неопределенной формы, слегка напоминающее латинскую букву «S» с отростками. Фигура занимает всю плоскость холста, отступая сверху и с боков сантиметров на десять. В картине прочитывается идея борьбы цветовых пятен за выживание в живописной среде: черного фона и красного пятна.

Цвет красной фигуры, состоящий из темно-коричневого до темно-красного, постоянно переливается, как бы слегка закручиваясь по спирали.

Это была не первая картина, написанная Тяпушкиным в стиле абстракции. Еще в 56-м году художник пытается написать абстрактную картину. Как он сам объясняет: во время обучения реалистическому методу теряется острота чувства цвета, пятна и энергии линии. Эти компоненты в процессе академического штудирования натуры становятся вялыми и зачастую нивелируются. Работа идет в тональном ключе, где основное внимание уделяется детальной проработке, деланию предмета, внешне похожего, с тщательной проработкой объема.

Тяпушкину хотелось, чтобы цвет звучал во всю силу краски, пятно жило большим напряжением, а фактура говорила о возможностях материала, чтобы приемы создания и мастерство исполнения были главным в произведении.

Каждый художник желает участвовать на выставке. Выставки, организованные МОСХом, бывают разные, но, как правило, формируются они из работ одних и тех же авторов. Можно еще как-нибудь при помощи знакомства и личных пробивных способностей попасть на молодежную выставку, организующуюся раз в несколько лет, написав соответствующую работу, или на весенние и осенние салоны, но совсем невозможно попасть младому начинающему художнику на выставку в Манеж.

В Манеже выставляются только заказные работы, распределляемые среди ведущих художников МОСХа, да членов академии. С выставки закупаются работы в центральные и провинциальные музеи, они дают известность.

Тяпушкин мог каждый год участвовать в выставках, посвященных ветеранам Отечественной войны. В 1965 году с выставки ветеранов закупочная комиссия Министерства культуры СССР купила у него «Большой натюрморт» для провинциального музея. В это же время была удачно сдана производственная картина на революционную тему. Имя Тяпушкина постепенно получает известность в кругах художников.

В воздухе чувствовались перемены. По мастерским художников ходил господин Эстерик, отбирал для своей галереи работы. Про него много говорили. Господин Эстерик интересовался всем: живописью, графикой, скульптурой. Шли переговоры на высоком уровне о выставке в Лондоне.

Все хотели познакомиться с господином Эстериком, что было весьма сложно, его отгородили от незнаменитых художников консультанты, администраторы и именитые художники.

Выставка — продолжительностью в 20 дней — состоялась в 64-м году; на ней экспонировалось двадцать наименований картин художников разных поколений. Выставка москвичей на Западе для послевоенного времени была историческим событием. Был издан каталог в виде тоненькой тетрадочки с 17-ю черно-белыми репродукциями и полным списком работ участников. Сам директор галереи Эрик Эстерик сопроводил его небольшой вступительной статьей.

Среди работ молодых художников на выставке были и работы Тяпушкина: два натюрморта (один из них «Букет цветов» — ре-продуцирован в каталоге) и пейзаж.

Даже в раннем произведении Тяпушкина 61-го года проступает основная линия его творчества. Его язык лаконичный и внешне простой, в формотворчестве ничто не отвлекает от знаков, выраждающих образы. Упраздняются такие приемы, как выявление объема, передача веса, закона перспективы и т.д. — всего того, без чего не мыслится ни одно произведение, выставляемое в Манеже. Здесь есть язык цветовых пятен, их взаимоотношений: их выявление, их усиление, их ослабление, их иносказание, ритмы и взаимосвязи цвета, тональностей, размеров, форм, их символика и т.д.

Натюрморт с наклейками 66-го года, названный Тяпушкиным «Сюрритм», выполнен в очень сложной технике. Художник предварительно написал натюрморт из бытовых предметов: трехлитровая банка с томатами, серая пепельница и черно-серого цвета консервный нож. Остальные вещи почти не прочитываются за последующими наслоениями цветовых пятен, наклеек из бумаги с рисунками цветными карандашами и нанесением фактуры.

Цветные пятна обведены рельефным белым контуром, отдаленно напоминают изразцы, расположенные один возле другого, то наславаясь, то располагаясь мозаикой. На большинстве из них наклеены бумажные лоскутки, так же рельефно обведенные белой краской.

Вначале контуры сверкали белизной, делая работу звонкой и прозрачной, подобно горному ручью. Сейчас белая краска слегка пожелтела, закостенела и потеряла свою упругость.

Калейдоскоп пятен, которые не несут по силуэту никакого обозначения. Художник сознательно добивается, чтобы очертание конкретного предмета, пятно не напоминало какое-нибудь реальное изображение.

Тяпушкин в картине «Сюрритм» подошел вплотную к проблеме знакового искусства. Художник использует эмоциональность цветового пятна и его конфигурацию. Всё остальное отбрасывается.

Эмоциональная напряженность цвета и очертание пятна используются как символы, позволяющие выразить философское осмысление жизни через эмоциональное ощущение. Проводится пластическая разработка произведения, передающая осмысление мира через реальность неосознанной ассоциации чувств.

Ядро заряда, напряжение композиции находится точно в центре картины. Черное пятно глухой тональности, небольшой прямоугольник, веером рассыпает энергию во все части холста. Энергия захватывает зрителя и возвращается с ассоциациями, исходящими от зрителя в черный цвет картины. Вся система знаков и каждый знак отдельно выражают современное восприятие ритма жизни, строгих и смелых конструкций, находок, холодных и рассудочных мыслей. Ритм замкнут в шарообразном движении.

Знакомый код холста раскрывает совершенство человеческого разума, его красоту и высокий уровень. Каждый миллиметр картины точен и продуман в выражении жизнеутверждающего ритма, и где-то внутри композиции — глубоко запрятанная, щемящая человеческая грусть, ностальгия о высоком техническом совершенстве изобразительного искусства мастеров прошлого.

Пластический язык — знак, подобно букве в письменности поставленный в ряд с другими знаками, раскрывает содержание. Пластические знаки исключают литературный сюжет, переливающийся из эпохи в эпоху, любимый и привычный зрителю, но часто мешающий и уводящий от собственно живописного содержания, настроения, энергетического заряда композиции.

По статистике каждый день в Париже открывается до восьми-девяти выставок, и посещаются они случайными зрителями и теми, кто непосредственно в них заинтересован. Даже на выставки Пикассо и Шагала шли так же неохотно, как на Тышлера и Древина на улице Вавилова в Москве.

Мечта каждого художника — показать свое произведение на выставке за границей. Попадет картина в Париж, Лондон, Нью-Йорк, и начнется новая жизнь у счастливчика, полная славы. Почет. Узнавание на улице. Уважение.

Но проходит время. Случайно узнаёшь, что была выставка в Лондоне, где среди множества картин сомнительного качества висела и твоя. Хорошо, если спустя полгода пришлют каталог с десятком черно-белых репродукций плохого качества, где напечатали и твою фамилию, перепутав инициалы и год рождения, среди общего списка участников.

Художники рано встают. В часы пик сложно с транспортом. Прошли времена Верещагина и его современников. Хорошо им было. Пришла мысль, встал с дивана, стоящего в домашней библиотеке, прошел в мастерскую и — твори. Ныне, прежде чем отдаваться музам, будешь изрядно помят в общественных средствах передвижения. Семенов-Амурский от Киевского вокзала ездил в Коломенское, где ему к 60-ти годам дали мастерскую размером с ученический пенал; там, исчезнув из жизни на месяц (так как там не было телефона), он творил свои шедевры.

— Алеша, к тебе рвется мадам Стивенсон!

— А кто она такая?

— Ты не знаешь? Знаменитая коллекционерка. У нее муж — американский дипломат. Завтра идем к тебе.

Любят гости опаздывать. Художник — не английская королева, может и подождать. Но невероятно трудно ждать художнику опаздывающего. Писать картину невозможно, для этого нужно полное духовное спокойствие, а тут каждую минуту могут прийти — и сидишь, как дурак, ничего не делая, проклиная невежливых визитеров. Приготовился к показу картин, продумал, как будешь себя вести, что будешь говорить, — гостей нет, и нужно перестраиваться, чтобы втиснуться заново в уже давно начавшийся и испорченный день, прожить его. Когда к Вейсбергу не приходила натурщица, он не только в истерике резал почти законченный портрет, на который были затрачены месяцы работы, но и несколько раз пытался вскрыть себе вены.

Звонок. В мастерской появляется знакомая с крупной мужеподобной дамой.

— Мадам Стивенсон, — басит она, не выпуская сигареты изо рта.

Мадам похожа на базарную бабу. Тяпушкин слышал, как могут ругаться в сердцах солдаты, знакомая, приведшая гостью, также

мастерски пересыпала речь матом, но так, как ругалась Стивенсон, он слышал впервые.

По мастерской ходила уверенно, вела себя запросто, хлопала его по плечу, показывая, что картины очень нравятся. Боюсь настаивать на осведомленности мадам в искусстве, но не было никакого сомнения, что сам Тяпушкин ей понравился.

Он был в самом расцвете мужской красоты и многим женщинам нравился. Высокий, стройный, подтянутый, всегда в накрахмаленной белой свежайшей рубашке. Раскосые глаза, прямой нос, четко очерченный рот. Постоянно подчеркнуто вежлив и выдержан.

Стивенсон выбрала три картины и спросила о цене. Опустив глаза, мэтр положился на щедрость покупателя. Мадам, не задумываясь ни минуты, положила на столик 300 рублей и, не дав художнику опомниться, исчезла за дверью вместе с покупкой и знакомой.

Опомнился Тяпушкин много позже.

— Триста рублей, когда за каждый натюрморт в комбинате платят по семьсот рублей и более! Да она мародерка! Жулик! Чтобы я еще пустил к себе в мастерскую этих обирай-меценатов! Никогда!

Через две недели телефонный звонок знакомой.

— Можно я приду в мастерскую с дочкой?

— Приходи. Завтра в одиннадцать, только не опаздывай.

Знакомая была пунктуальна. Дочка — 17—18 лет — красавица. Взаимоотношения между матерью и дочерью, как между подружками: все называют своими именами, много говорят о половых вопросах. Сейчас это модно.

— Подари картину. Клиента приводили? Плати.

— Вы про тот грабеж?

— Популярность тоже кое-чего стоит. Чего жмешься? Вон их сколько!

— Я думаю, что вам подарить.

— Мы уже выбрали. Вон тот пейзаж с облаком.

— Да, но...

— Жалко таким красивым женщинам? У нас много народа бывает в гостях, реклама... О, да что с ним разговаривать? Держи его, Маша, за руки, пока я заверну работу.

Маша, выставив свой роскошный бюст, смело идет на Тяпушкина.

— Дари, и надпись дарственную...

Художники тоже пьют. Недельные запои начинаются весьма прозаично: сдал работу, получил деньги, пришли закадычные

друзья — нужно отметить. Берется пара дешевого портвейна, десяток бутербродов с колбасой и сыром. Экономия на закуске приводит к быстрому опьянению. За двумя бутылками появляются еще три, и еще... Веселые, ни к чему не обязывающие разговоры, состязание в остроумии и, конечно, анекдоты.

Художники — народ корыстный и завистливый. Каждый занимает строго определенное место. Первые места занимают чиновники-художники. Все рядовые перед ними заискивают, говорят комплименты прямо в глаза, славословят его талант, ум и мужество. А каким успехом пользуется он у женщин... Ну и, конечно, рассказывают ему, как он бескорыстен и справедлив, что если бы не его бескорыстная и самоотверженная работа в организации МОСХа, деятельность всех художников захирела бы и прекратилась, все завтра же превратились бы в безработных, а Союз художников развалился бы.

Второе место в веселых сбираицах занимают «таланты». «Таланты» — это особый вид художников. Пьют они много, говорят еще больше и в пьяном виде часто бывают самодурами. Больше всего от этого страдают семьи: жена, дети. Перепои портят не только здоровье, быстро деградирует личность, а то часто и жизнь кончается трагически. Попков нарвался в пьяном виде на пуллю инкассатора, Шиповский — сшиблен ночью грузовиком, Сергей Чехов в 37 лет умер от кровоизлияния в мозг от чрезмерного увлечения алкоголем.

Тяпушкин любил путешествовать по стране один с чемоданчиком смены белья, бритвой и зубной щеткой и, конечно, с огромным этюдником, набитым тяжелыми красками, связкой грунтованных картонок.

Любил ездить к друзьям-художникам по приглашению в различные города, вместе с семьей много раз бывал в Узбекистане, жил в гостиницах Самарканда, Ферганы, Коканда, Мары, несколько раз был в городе Байрам-Али, посетил Винницкую область, жил в Одессе и Ферапонтове.

В «Вечернем Регистране» 1964 года использован принцип симметрии. В композиции, разделенной на четыре части, две сверху и две снизу, близких по площади, верхние фигуры, напоминающие восточные купола, уравновешиваются внизу четырехугольниками ярко-красного и насыщенного серого цвета с вкраплением черных пятен.

Внизу справа громоздится бесформенное пятно площади, на ней, нарушая все мыслимые масштабы, синее пятно женщины в парандже.

В серо-голубых прохладных зданиях зияют проемы с золотисто-охристыми потоками света, заливающего площадь.

Пятно полусфера синего цвета придает композиции неуравновешенность. Купол перекликается с одиноко бредущей фигурой такого же синего цвета, навевая настроение бренности и временности бытия.

Темно-терракотовый энергично длинный мазок, единственный по цвету и форме во всей композиции, вносит раздражение, беспокойство и является осью движения пятен.

Небольшое смещение плоскостей серого здания с проемами подчеркивает движения человеческой фигуры в глубину пространства. Динамика композиции создается не только подвижностью пятен, но и энергичным приемом нанесения цвета. В то же время стихия движения пятен сдерживается тем, что на большие пятна насылаиваются маленькие, придавливая их. Вся плоскость для цельного восприятия пронизана вкраплениями светло-серого цвета, которые усиливают звучность цвета: да еще в небе превращаются в звезды, а внизу — в их отражения.

Мироздания, скопления галактик, ровно льющих свет, перекликаются с хлещущим потоком света из золотисто-охристых проемов Регистана. Серые цвета всех оттенков струятся и переливаются вокруг ярких цветов красного, голубого, зеленого. Тихой нежной музыкой звенят светлые тона картины вокруг неподвижных пятен архитектуры.

Ритм несложных форм прост и, как вязь восточного письма, покойно ленив. Мир, созданный в картине «Вечерний Регистан», не материальный, а ассоциативный, духовный, живущий только в воображении художника и готовый растянуть, подобно миражу. Но чем таинственнее и загадочнее мир, тем он больше возбуждает мысль, дурманит сладким ароматом воображение, пьянит красотой гармонии и ритмом форм.

* * *

Давно осталось позади время учения в Суриковском институте. Давно сдан экзамен на свободного художника и получен диплом. Но вот предстоит еще один экзамен перед толпой, свободно собравшейся в Измайлово на пустыре, где художники решили устроить выставку прямо под открытым небом, подобно своим французским и английским коллегам, организующим такие экспозиции постоянно.

Утро было холодное. Небо делало тщедушные попытки окропить прозябшую землю. Но верхние слои атмосферы растаскивали клочки хляби. На пустыре, зажатом стандартными коробками

архитектуры, начали собираться помятые невыспавшиеся художники, держа в руках странные картины, совсем не похожие на экспонаты Манежа. Накануне весь вечер в квартирах художников раздавались телефонные звонки, шли переговоры о вернисаже под открытым небом.

— Ты будешь завтра участвовать на выставке?

— Что? Где?

— Ну как же, неделю с властями ведутся переговоры о выставке на пустыре в Измайлово. Все художники с профессиональным образованием и без образования могут принести свои картины и показать любителям живописи, которые здесь соберутся завтра. Будут иностранные журналисты. Будут покупать картины.

— Кто разрешил?

— Полная договоренность с Моссоветом. А чего здесь особенного? Продемонстрируют художники, кто на что способен. Ведь костров не будут разводить. Старики, обязательно приходи!

— А можно я еще кого-нибудь приглашу?

— Обязательно! Чем больше, тем лучше! Зови всех подряд!

Народу собралось много. Толпа росла и росла. Вслед за пестро задрапированными художниками стали подъезжать на длинных черных автомобилях, похожих на сюрреалистических рыб, дипломаты, обвешанные с ног до головы современной записывающей и фотографирующей аппаратурой. Они деловито засновали среди художников. Стали появляться люди, непохожие ни на художников, ни на любителей искусства, какие-то нахально уверенные и хамовато развязные. Они сразу же стали уговаривать всех расходиться по домам.

— Здесь строительная площадка. Сейчас сюда прибудет техника для рытья котлована. Товарищи, расходитесь! Не мешайте работам!

Из-за угла здания, спичечным коробком громоздившемся на фоне серого неба, потянулись самосвалы и бульдозеры.

Вероятно, произошла накладка в чиновничьей среде. Кто-то с кем-то не договорился... Кто-то перестраховался... Художники не захотели добровольно очистить занятый ими под «выставочный зал» пустырь, пригодный только для вывоза на него мусора, и произошла свалка. Бригада спецработников милиции быстро загнала галдящих и махающих руками художников в автобусы, а их картины побросала на самосвалы с песком, который почему-то сверху был прикрыт березовыми ветками; кое-кому из иностранцев в порыве усердия попортили аппаратуру.

Каким-то путем Тяпушкин попал в актив организаторов этой выставки, впоследствии вошедшей в историю под названием

«Бульдозерная». В эпопее хождения по чиновничим инстанциям с требованиями извинения властей за нанесение морального ущерба и компенсации за испорченные произведения Тяпушкин принял очень активное участие. Эта борьба с чиновниками принесла художникам, не членам Союза, значительную победу: они добились разрешения на выставку в Измайловском парке. Здесь была организована первая выставка художников: около двухсот представителей этого беспокойного племени в обход МОСХа собрали на зеленой поляне тьму любителей изобразительного искусства и зевак, пришедших поглязеть на картинки авангардистов и на скандал, должный непременно произойти. С опозданием начали появляться иностранцы, увешанные аппаратурой, подобно новогодним елкам. Сентябрьский день выдался солнечным и теплым, ртутный столбик поднялся до тридцати градусов, что в Москве и в летние месяцы бывает довольно-таки редко. Было «бабье лето», 29 сентября.

Толпа насчитывала до двадцати пяти тысяч человек. Художники, отородившись от нее тонкой бечевкой, выстроились в ряд, держа в руках плоды своего творчества. Часть зрителей двигалась, разглядывая причудливые картины, несобразные ни с чем; остальные, не надеясь что-либо разглядеть сквозь толпу, устроили на поляне пикник: расстелили одеяла и скатерти, разложили на них всякую снедь, образовав живописные группы, достойные кисти Ватто.

Пестрота женских платьев, белизна мужских сорочек, бесконечность черных пиджаков, зелень травы, голубизна неба и над всем — спокойствие и умиротворение: ни шума, ни крика. Люди собрались на поляну в огромном количестве как будто для демонстрации корректности и пристойности. Праздничный хоровод продолжался в течение четырех часов, превысяв вдвое время, предписанное администрацией выставке, по прошествии которого толпа незаметно растворилась.

Тяпушкин на зеленой поляне Измайловского парка показал картину «Возрождение». У него брали интервью, снимали на пленку телевидения Запада и Америки, фотографировали, но что он говорил и кто брал у него интервью — в голове не осталось. Осталось общее впечатление солнечного дня, толпы, доброжелательности и праздника.

Через четыре месяца на ВДНХ открылась выставка картин авангардистов в павильоне «Пчеловодство».

На выставку шли по кольцевой аллее минут двадцать, выстояв предварительно в очереди на морозе часов пять-шесть. Неделю продолжалась она — с 19 по 26 февраля 75-го года, и неделю шел беспрерывный поток людей, желающих посмотреть произведения

двадцати художников, отобранных из «лионозовской» группы, из группы, возглавляемой Кабаковым, и из «горкомовцев». Перед самым открытием группа Кабакова заявила о своем отказе от участия в выставке, обескровив тем самым экспозицию изъятными работами самого Ильи Кабакова, Эриха Булата, Олега Васильева, за ними ушли бы и Эдик Штейнберг с Янкилевским, да их притормозил горком графиков, чем-то пригрозив.

На выставку пускали маленькими группами, чтобы можно было не торопясь разглядеть и карточные пасьянсы Немухина, красиво разложенные на ломберных столиках, и загадочно-интригующие картины из цветных точек Харитонова, и коллажи из фотографий с космическими сюжетами Беленка. Тяпушкин был представлен «Эмоциональной информацией», «Возрождением» и «Материализацией».

Можно четко проследить процесс создания картины «Возрождение» при внимательном ее изучении. Стандартный фабричный картон заполнен фактурным наслоением масляной краски разных цветов. Композиция создается под влиянием «Черного квадрата» Малевича. Квадратное черное поле, заключенное в написанную раму, заполнено цветовыми пятнами.

Белая рамка черного квадрата сделана пастозным наложением краски цвета слоновой кости, местами перемежающейся цветными треугольниками кроваво-красного цвета и небесно-голубого, а кое-где на светлый цвет треугольника наносятся пятна светлой охры. Вокруг нее — серое поле из ряда треугольников, напоминающее древнюю письменность клинописью.

Вверху три фактурные круглые пятна, растрескавшиеся от толщины красочного слоя — не то печати, не то медали. Рама, сложная по цвету и по ритму является прелюдией к эмоциональному миру картины «Возрождение».

На обратной стороне картины зачеркнуто несколько первонаучальных названий: «Космическое движение», «Атомная энергия», и, наконец, автор останавливается на названии «Возрождение».

Прослеживается, как художник, нанося слой за слоем, отвергал одну тональность за другой, без конца искал то единственное расположение цветов-вспышек краски в глубокой среде темно-серого фона.

Бытие вечности. Ритмическая пульсация крови. Встают призраками образы из мглы серой среды. Время остановилось. Видения, возникшие в картине Босха, проявляются в картине Тяпушкина «Возрождение» — только более обобщенные, расплывчатые, подсознательные, как сны, не поддающиеся анализу.

Фантастические видения, сложные, как галактики, возникают и, не успев материализоваться в сознании, распадаются в пространстве серой мглы, то разгораясь расплавленным металлом, то охлаждаясь до цвета пепла золы. Вот цвет расплавленным золотом скатывается в центре картины, переходя в кровавый след от фантастического оперения хвоста огромной птицы. Ниже горит всеми переливами красок след тени дракона с темно-синей головой, с глазом яркого пламени, с раздувающимися в негодовании ноздрями, и шупает пространство лапами, тонко прочерченными, подобно капиллярам. А внизу над вечностью неосознанного движения материи — огромный сгусток живой энергии, зависшей над бесконечностью миров и галактик.

И всё начинается от верхнего края картины, от самой рамы — следом широкой кисти грубой щетины, мазка, нанесенного зигзагом в порыве безумного вдохновения маэстро, — мазка, которым, как поворотом ключа зажигания, включилось ритмическое движение всего пространства, заполненного цветными знаками, мира, неподвластного осмыслинию, но не ставшего от этого менее великолепным, с его вечным ужасом — смертью, придающей ему смысл и остроту.

Каждый кусок, каждый миллиметр растет, движется, дышит, полон энергии и возможности раскрыть закодированное в нем содержание. Всё взаимосвязано, доведено до крайнего напряжения, как будто идет процесс распада галактики в период кульминации. Серые тона фона, местами воспринимающиеся как черный цвет, построены при помощи наслложения цвета на цвет, притом нижние цвета просвечивают через верхние, создавая неизмеримое пространство сладкого погружения в сон в самый первый момент, когда контроль над мыслями еще не утрачен, но уже все ощущения пропадают в неподвластную бесконечность, где цветными фонарями радости вспыхивают отдельные моменты, как елочные шары в густой хвое ели, каждый со своим миром, таинством и загадкой, но все перевитые гирляндами и сверкающей мишурой — взаимосвязанные отдельные представители единого мироздания.

Вскоре после выставки в павильоне «Пчеловодство» художники пожелали показать свои произведения в еще большем составе. Выставляться захотели все: профессионалы-художники со специальным высшим образованием, но по тем или иным причинам не принимавшие участие на официальных выставках, такие, как Измайлов, Плавинский, Одноралов, Кабаков и т.д., художники-самоучки, посвятившие всю свою жизнь служению искусству, и художники, занимающиеся изобразительным искусством в свободное от основной работы время.

На выставку принимали всех желающих, ограничивали только количество работ из-за размеров помещения. После развески началась «игра» администрации с художниками, которая желала пройти по экспозиции цензорской рукой, чему художники сопротивлялись всеми своими силами.

Среди выставлявшихся было тридцать художников — членов МОСХа. Подкрепленный ими актив организаторов выставки, возглавляемый Тяпушкиным — Героем Советского Союза, довольно-таки успешно боролся с администрацией. Выставке была сделана солидная реклама: все представители посольств иностранных держав с интересом следили за событиями, развивающимися вокруг нее.

Если снимались какие-то картины из экспозиции, художники объявляли бойкот и уносили остальные. Администрации пришлось отступить, ограничившись наложенным арестом на пять произведений, и 30 сентября 75-го года выставка была открыта. Это была на редкость пестрая выставка. Около ста пятидесяти художников представили около 500 произведений всех направлений: мир фантазии, выдумки, изобретательства, остроумия, непосредственности и рационализма. Виртуозы классической живописи соседствовали с примитивистами, коллажи из кухонной утвари — с картинами, составленными из наклеек с консервных банок.

Начались зрительские манифестации, зрители хотели приобщиться к произведениям художников, сделанных по велению сердца и чести. Народ шел на выставку, как на праздник. Разглядеть отдельные произведения было немыслимо из-за сплошного вала посетителей, да никто этой цели и не преследовал — все хотели вдохнуть воздуха, пронизанного свободой, озорством, бунтарством.

Само явление выставки, расположившейся в двухэтажном здании в стиле аля ампир, с огромной толпой под массой зелени, ярко освещенной вечером, воспринималось как хеппенинг. На выставку шла вся Москва: музыканты и писатели, чиновники и обычаватели, студенты и учащиеся, но, конечно, прежде всего шли художники всех возрастов и поколений.

Тяпушкин не только выставил свою работу «Амовитивизм», но проявил себя и как активный организатор. Все переговоры с администрацией он вел авторитетно, все конфликты, бесконечно возникающие в процессе организации выставки, он умело устранил, добиваясь положительного их разрешения. В среде художников популярность Тяпушкина становилась очень значительна. Молодые художники заманивают его в свои мастерские. С ним ищут знакомства, хотят знать его мнение о своих произведениях. В его мастерской на

улице Горького в смежной с редакцией «ДИ» комнате бывают частые посетители. Запаслись двумя-тремя бутылками портвейна, окруженный молодыми почитателями обоего пола, Тяпушкин любил рассуждать о красоте жизни. О том, как он в 71-м году в августе месяце ездил в Париж. О, Париж! Неожиданно в МОСХе распределяли туристические путевки стоимостью 324 рубля на девять дней. Ну, конечно, Лувр, живопись Веласкеса, иконный канон «Монны Лизы» Леонардо да Винчи, Тинторетто с мощной живописью, пробивающейся через наслаждения времени. Рубенс — высокий уровень «производственных» заказов — предмет зависти всех художников, работающих на заказчиков. Нотр-Дам с органной музыкой, витражами — памятник пролитой крови в борьбе за веру, где даже такой убежденнейший атеист, как Тяпушкин, чувствует присутствие Бога. В музее современного искусства, помимо сильного впечатления от картин Кандинского, Малевича, Матисса, Архипова, скульптора Орлова, совершенно потрясли картины Пикассо.

* * *

Мастерскую Тяпушкина составляют две комнаты, напоминающие кубы, основательно захламленные: банки из-под консервов, коробки из-под чая и кофе, ящики, заполненные какими-то упаковками, бумажками. Вокруг, по стенам, — штабелями сложенные картонки с этюдами, подрамники, рамки из реек, стекла. По одной стене стоит железная кровать, застеленная солдатским сукном. В другой комнате перед окном — маленький столик, перед ним — подобие сидения. Столик завален пачками чая, сахара, посудой. Рядом стоит на полу электрический чайник, хотя Тяпушкин ходит на кухню «ДИ» кипятить чай на газу и у них же берет чайный сервис, а зачастую и хлеб.

На стене — множество прикрепленных бумажек, подобие самодеятельных объявлений, расклеиваемых на стенах домов и на столбах-мачтах, с изречениями, цитатами, мыслями. А писания в этих бумажках замечательные:

- Следует изображать не предмет, а его идею. Следовательно, можно изображать мысль и чувства. 9.9.73 г.
- Любовь эстетична по своей природе.
- Правило действует в рамках (это, пожалуй, закон).
- Изображая предмет, художник создает наглядное пособие, оно нужно, но в другой среде...
- Предмет изобразить невозможно, только часть его.
- Реализм — оценочное воспроизведение каких-либо признаков реальной мысли. Меня интересует прекрасное в жизни и прекрасное в искусстве. 18.1.79 г.

- Эмоциональная логика (логика чувств).
- 25.5.74. Прилетели стрижи.
- 16.5.75. Прилетели стрижи.
- 20.5.76. Стрижи прилетели.
- 20.6.76. Начала цвести липа.
- Человек не должен ставить перед собой задачи выше своих возможностей или ниже (в каждый данный момент).
- Мышление — это процесс.
- Прекрасное эмоционально по форме и содержанию. Романтика — практика идеализма.
- Создание эмоционального знака (и эстетического). (Подмить эмоциональную сферу. Для человека нужен не предмет, а его свойства. 81 г.)
- Натурализм — память от восприятия природы, возведенная в идеал (в категорию прекрасного). 76 г.
- Свой необходимый набор признаков в каждом случае (стиль) 30.7.71 г.
- Искусство аксиологично в высшей форме. Не труд создает условия для развития науки и искусства, а что-то другое.
- 12 ч. 30 мин. Стрижи прилетели с 3—4. Предыдущие также. Они стимулируют радостный импульс. 13 ч. 21 мин. Летают.

Результатом этих словесных опусов родилось замечательное произведение «Амовитизм» 74-го года, яркое произведение, выражающее ритмы современного общества, ввергнутого в водоворот технического и эстетического прогресса.

«Амовитизм» — программная картина, всё в ней — проблема: застыли строки в пространстве, неуверенно цепляясь за край белой рамы, повисло не то знаком вопроса, не то восклицательным знаком центральное пятно красного, желтого и черного цвета перед проблемами современного изобразительного искусства. В этой картине и композиция, и ритм, и цвет, и размер холста говорят об утверждении положительного начала. Жизнь идет и нет ей конца, и главное — уметь ощутить, пытаться понять ее красоту.

В 50 лет Тяпушкин прямой, жилистый, с плоской грудью, худощав, среднего роста, одет всегда безупречно: сверкающей белизны сорочки, застегнутая на все пуговицы, поверх — вязаная кофта мягко-теплого тона. Держится художник всегда прямо, с достоинством и уверенно; коротко пострижен, говорит тихо, медленно, голос — низкий, бархатистый; плоское скуластое лицо, с глазами без блеска, чисто выбрито и не лишено приятности. Огромные сухие кисти рук, подчеркнутые белой полоской рукава, спокойно висят. Он постоянно носит огромный портфель свет-

ло-коричневой кожи, где кроме книг и носового платка — запас сигарет и спичек, а иногда и недопитая бутылка портвейна. Улыбается, хитро шуря глазки, скаля мелкие, прокуренные зубы.

Со скоростью цепной реакции начали появляться квартирные выставки. Когда-то зародившись на шоссе Энтузиастов, они перекочевали в подвалы художников и сохранились до сего времени в своем полуподпольном состоянии. Их устраивали у себя на квартирах журналисты, писатели, композиторы, музыканты, конечно — художники, всякие энергичные люди, крутящиеся около артистической среды, выжимая кое-какую выгоду из этой деятельности.

Для пропаганды своего творчества художники очень охотно дают картины любым коллекционерам, лишь бы их знали, лишь бы их (художников) произведения видели. Коллекционеры современного искусства в Москве, да и не только в Москве, а и в Ленинграде, Киеве, Харькове, Новосибирске и других городах, стали расти, как грибы. Их собрания быстро становятся модными и посещаются научными работниками, артистами, студентами, иностранцами. Собственно, этих вновь возникших коллекционеров, зачастую выпрашивавших картинки у знакомых художников или выменивавших в «горячий момент» за бутылку водки и очень редко покупавших их по дешевке, вдохновляли на такое «подвижничество» иностранцы, которые охотно приобретали произведения авангардного искусства, поскольку они были дешевле, чем во всем мире, и правительство смотрело сквозь пальцы на вывоз этой продукции. Связи с иностранцами были в основном у коллекционеров, художникам на это не хватало времени, да и побаивались.

Объединившись в группу по тем или иным признакам, художники устраивали выставку у кого-нибудь в мастерской, оповещали телефонными звонками всех своих знакомых, последние обзванивали своих знакомых, — и народ густо шел на выставку.

Были слухи, что в одной квартире обвалился потолок от наплыва посетителей. Очереди на такие выставки поднимали к ним дополнительный интерес. Появились салоны, то есть квартиры, где постоянно устраивались экспозиции молодых художников Москвы, Ленинграда и других городов. В салоне принимала гостей очаровательная хозяйка, угощая вином, чаем или кофе, а зачастую и водкой. Сюда уже не шли по телефонным звонкам-слухам; посетители тщательно отбирались организаторами по положению и денежному состоянию.

На некоторых квартирах Тяпушкин выставлялся. Одна из них находится на Садовом кольце, у Ники. Так уж вышло, что все

маршаны женского рода не только высокие и стройные, но еще с красивыми именами: Ника, Аида, Татьяна.

Поднявшись на второй этаж дома, построенного архитектором Мунцем, попадаешь в большую, ярко освещенную прихожую двухэтажной квартиры с деревянной лестницей, сплошь завешанную картинами и рисунками. На столах лежат большие папки с эстампами. Стол в гостиной заставлен бутылками и подносами с бутербродами. На диване в свободных позах возлежат дамы в модных платьях, курят, демонстрируют свои формы. Остальные гости дефилируют по комнатам, небрежно рассматривая продукцию художников, пьют вино из тонкого стекла, знакомятся, обмениваются телефонами.

Хозяйка в длинном до пола черном, плотно облегающем, с глубоким вырезом на спине, платье обносит гостей комплиментами. Злые языки поговаривают, что ее любовь к искусству рождается из глубокой привязанности к темпераменту молодых художников.

В отличие от костюмов иностранных представителей, художники одеты небрежно и подчеркнуто неряшливо: в вязанных домашним способом свитерах, мятых брюках, в белых рубашках позавчерающей свежести.

Ника выставляла всех художников, лишь бы они были модны или скандальны. Тяпушкин показывал у нее в 1975 году четыре холста: «Амовитизм», «Фрагмент биографии», «Возрождение» и «Абстракцию с металлической наклейкой» — пожалуй, самые лучшие, самые замечательные свои произведения.

Писатель Злобин предложил сделать выставку на своей квартире. Собралась симпатичная группа художников. Помещение роскошное, несколько комнат, просторных, с хорошим светом. Сам хозяин — приятный молодой мужчина. Равеска картин получилась удачной. И вот звонок — прийти утром... Расстроенный хозяин сообщил, что по сложившимся обстоятельствам выставка состояться не может, не то бабушка заболела, не то жена против. Пришлось забрать свои картины и очистить помещение. Шел Тяпушкин и думал:

— Скоро нужно выходить на пенсию... Нужно в комбинате просить побольше работ, кому-то кланяться... Но без этого не выработаешь сумму, достаточную, чтобы дали пенсию, как всем рядовым художникам — сто двадцать рублей.

Сколько связано с выставкой у художника волнений, переживаний, чаяний, планов...

Тяпушкин выставкой не занимался. Всё шло своим чередом, без суеты со стороны художника. Однажды кто-то из членов со-

вета предложил включить его в план выставок на 80-й год в связи с его шестидесятилетием — как ветерана, как Героя Советского Союза, как старейшего члена МОСХа. В фонде ему обернули работы дешевыми рейками, не всегда прямыми и плохо подогнанными. К открытию было готово несколько десятков каталогов, текст для которых написал сам Тяпушкин так художественно, грамотно и красиво, что сколько бы впоследствии ни писали искусствоведы о художнике конца XX века Тяпушкине, лучше не напишут.

Перед самым открытием Тяпушкин решил добросовестно обзвонить всех своих друзей и знакомых, но хватило его на две первые страницы записной книжки, авось, слух о его выставке распространится сам собой, и все любящие придут на его единственный персональный, приуроченный к шестидесятилетию, вернисаж. И действительно, — несмотря на то, что афиши по Москве были расклеены лишь две недели спустя после открытия, народу было полно. Правда, не было официальных представителей МОСХа, модных говорунов об искусстве, завсегдатаев шумных, модных вернисажей, не было маститых и признанных мастеров советской кисти, но было достаточно тесно в довольно-таки просторных помещениях выставочного зала при мастерских художников на улице Вавилова.

Рядовые художники и искусствоведы говорили речи, поздравляли Тяпушкина с праздником искусства; его друзья и красивые женщины, столь всегда любимые Тяпушкиным, преподносили ему цветы, много цветов, потому что был июнь и было тепло и солнечно на улице, и на душе художника и у всех присутствующих.

Выставком разрешил Тяпушкину оставить все работы, привезенные из мастерской, за исключением «Фрагмента из моей биографии». Были и закупочные комиссии: комиссия МОСХа купила две работы по тысяче рублей: «Обнаженная» и варианты картины «Моя семья», произведения для Тяпушкина довольно-таки значительного размера — до метра. Много отобрала для закупки ГТГ, но отнеслась к этому мероприятию несерьезно: может, потому, что в этот период в ГТГ менялась администрация, но работы так и остались в мастерской художника. Была на выставке директор Русского музея Новожилова вместе со своим секретарем, и они отобрали тринадцать работ, предложив Тяпушкину, чтобы он их привез в Ленинград. Это было в 1980 году, но долго еще Тяпушкин вспоминал, что надо как-нибудь съездить в Русский музей, отвезти картины...

* * *

Художник, работающий при помощи знаков, создает картину о мировых катаклизмах, о душевных стрессах, о слабости человека перед противостояниями ему природы, среды обитания, о зависимостях между развитием общей культуры общества и его свободой, о вечной борьбе человечества за человечность и справедливое общество, за утверждение личности в ее противостоянии насилию и лжи.

Алексей Тяпушкин своим творчеством утверждал красоту и свободу человеческого самовыражения в истине и добре, свободу творческого восприятия мира. Всю свою жизнь он боролся со злом и варварством, всю жизнь веровал в то, что счастье человека — в радости, в восторге приятия жизни, как бы она к нему ни оборачивалась. Картины его — это всегда картины ясные, радостные и светлые, покоряющие не только четким ритмом, точно построенной композицией, но яркие и по своей красочной палитре — как сама природа в час ее наивысшего расцвета в радостных лучах лучезарного солнца...

Художника Алексея Тяпушкина не стало 2 декабря 1988 года.

Осталась его живопись.

Навсегда.

14 февраля 1984 года

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ

Современная проза, литературная критика, историко-культурная, философская и религиозная мысль

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СЛУЖБА «КОНТИНЕНТА» (БСК) — постоянная рубрика нашего журнала (начиная с 78-го номера).

БСК — это помощь читателю, духовные и культурные запросы которого охватывают достаточно широкие области современного культурного процесса, но который физически не в состоянии следить за всей той обширной российской прессой, что формирует этот процесс.

БСК — это предлагаемый читателю в каждом номере журнала подробный аннотационный обзор всего, что появилось за предыдущий квартал на страницах ведущих российских газет и журналов наиболее значительного и показательного в области художественной прозы и литературной критики, а раз в полгода — в историко-культурной, религиозной и философской мысли.

При отборе текстов для такого аннотирования редакция руководствуется, естественно, органичной для «Континента» системой духовных, культурных и эстетических ценностей, что находит свое отражение и в характере самих аннотаций. Однако задача БСК всякий раз прежде всего в том, чтобы дать читателю, по возможности, наиболее емкое, точное и адекватное представление о самом содержании и характере аннотируемого текста.

При всей определенности редакционных критерииов, БСК ориентируется также и на предельно возможную широту при отборе материала для аннотирования. БСК не исключает из своих обзоров даже и такие тексты, которые никак не выдерживают содержательных и эстетических критерииов «Континента», но, однако же, выражают и представляют в современном интеллектуальном и художественном процессе тенденции и течения, пользующиеся общественным вниманием. А тем самым — репрезентативны для нашего времени.

В разделе литературной критики БСК информирует читателя только о статьях обобщающе-проблемного характера, обращенных либо к концептуальному осмысливанию современной литературной ситуации в целом, либо к анализу тех или иных значительных течений, крупных творческих судеб или даже отдельных заметных явлений в текущем литературном процессе и в недавней литературной истории, но оставляет в стороне весь остальной более частный материал отдельных рецензий, полемических выступлений и прочих локальных откликов на эмпирику текущей литературной жизни.

Таков же принцип отбора и в разделе историко-культурной, философской и религиозной мысли. Здесь аннотируются тоже лишь статьи принципиального, крупнопроблемного характера, ориентированные на обобщающее концептуальное осмысление тех стержневых процессов, которые имеют определяющее значение для сегодняшних и завтрашних судеб России, ее культуры и ее интеллектуальной жизни. При этом учитываются только работы, имеющие к тому же не специфически-профессиональный, а общезначимый культурный интерес — рассчитанные не на специалистов, а на широкого читателя. Этот раздел БСК публикуется в нечетных номерах журнала.

Редакция «Континента» хотела бы надеяться, что БСК — полезный и нужный нашему читателю ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ РОССИИ, сочетающий определенность редакционных критериев с профессионально-добротной информационной надежностью и объективностью в отборе, представлении и освещении аннотируемого материала.

1. Художественная проза

В последнее время и многие читатели, и критики сходятся на том, что невыдуманные истории — интереснее выдуманных. В моде нон фикшн. Возможно, это знак некоей немощи художественного вымысла, примета усталости от вымысла, от «мнимостей», которыми переполнено культурное пространство XX века. Есть в этом веке, в его культурной и социальной жизни, очевидный дефицит: нехватка подлинной бытийности, восходящей к абсолютному началу. Религиозный, мистический кризис повлек за собой многограничные перемены в искусстве. К их числу на исходе века можно, наверное, отнести и разочарование в художественном вымысле, отвечающем на сей раз преимущественно за чужие грехи. Эта тенденция, разумеется, не господствует. Однако характеризуемый период дает основания, чтобы оценить разные виды невымыщленной прозы, различные ее векторы. Сегодня не всегда легко определить грань между невыдуманными историями и лирической, исповедальной прозой. Тем более, что зачастую и сам автор не стремится отделять одно от другого. В «чистом» нон фикшн обычно более значим акцент на подробную повествовательность, нередко образуется обширное мемуарное пространство, есть претензия на какое-то временное обобщение. Лирическая проза тяготеет к эмоциональному рассказу о ярком событии, случае из жизни повествователя, то ли совпадающего с автором, то ли нет. Одно плавно перетекает в другое.

Из десятилетия в десятилетие идет вместе с читателями **Анатолий Рыбаков**, решивший суммировать опыт своей жизни в романической автобиографии. Его «Роман-воспоминание» («Дружба народов», № 7—8) — это подробное, богатое деталями мемуарное повествование, причем автор оговаривается, что сегодня ему трудно отделить правду от вымысла.

История рода (евреи с Украины), родители, комсомольская молодость, Москва (начиная с 20-х годов), персонажи и нравы эпохи, кратко — ссылка, боевые реалии 40-х, начало писательства, обычаи и казусы в литературной среде сталинской и послесталинской эпохи. Подробнейше изложена история «Тяжелого песка» и «Детей Арбата». Автор с высоты прожитых лет стремится дать окончательный отзыв об эпохе, которая ему досталась для жизни. Он чрезвычайно неприязненно относится к Сталину, почти столь же отрицательно к Горбачеву и нынешней власти, мягче — к Троцкому, совсем хорошо — к Хрущеву. (См. также ниже о рецензии Т. Бек.)

Далекое советское прошлое становится предметом освещения в близкой некоторыми сторонами к роману Рыбакова хроникальной повести петербургского художника Абрама Рабкина «Вниз по Шоссейной» («Нева», № 8). Это большое панорамное повествование о детстве автора, главным образом — о колоритных быте и нравах бобруйских евреев в 30-е годы. В повести много живописных и драматических подробностей сурогового времени, тщательно воссоздан аромат эпохи и среды.

«Повесть о прожитом» Владимира Зубчанинова («Октябрь», № 7—8) — обширные мемуары старого политзэка, очень подробный очерк лагерной жизни, скитаний и лишений, встреч и драм. Опыт автора огромен, память вместительна, и воспоминания его не только являются ценной добавкой к уже известным лагерным мемуарам, но и дают немалый материал для размышлений, к которым сам мемуарист, однако, не склонен.

Елена Крапивина в основанном, как можно уверенно предположить, на подлинных фактах рассказе «Золушка после бала» («Нева», № 9) повествует, как в 1935 году она попала на вечер джаза в ленинградский «Теа-клуб» в новеньких туфельках, которые были на размер меньше нужного, и как на следующий буквально день она чудом избежала ареста.

Великая Отечественная война отняла у миллионов семей отцов, но не отняла надежду. Об этом автобиографический рассказ Генадия Горчакова «Между хлебом и солью» («Север», № 7). Гадалка-сербиянка месяц за месяцем обещает женщине, чей муж пропал без вести в 41 году, что он вот-вот вернется — то ли на Ивана Купала, то ли на Покров. Когда становится ясно, что гадалка бессовестно лжет, вымогая под залог зыбкой надежды деньги и еду, старший сын женщины выгоняет ее, но напоследок гадалка успевает «объяснить», что «держит жененька черноволосая медсестра-красавица, не пускает домой к жене и деткам». После окончания войны женщина прожила еще тридцать шесть лет, столько же, сколько прожила на свете до того, как проводила мужа на эту проклятую войну. И до последнего дня верила, что он остался жив, но живет с другой женщиной. С этой верой и ушла в иной, незнакомый нам мир.

Вторая половина века также мало-помалу становится предметом для мемуарных повествований.

Игорь Смирнов-Охтин в повести «Былое бездумье» («Нева», № 9) делится воспоминаниями о своей жизни, о друзьях, о военных сборах в

58-м году, о первоапрельских розыгрышах, на которые автор был мастером, и воссоздает колоритные подробности ленинградской советской жизни литераторов. На страницах повести появляются как известные лица (Довлатов, Никольский, Р. Погодин), так и никому не ведомые персонажи, примечательные, тем не менее, какими-то своими чертами. Таков, например, Александр Цыбин, который студентом гласно вступил за антипартийную группу Маленкова, Молотова и прочих. Особенно подробно автор повествует о том, как советская партийная цензура вытаскивала его в андерграунд. Ностальгические интонации сочетаются в повести с обличительными.

Анатолий Найман в очередном фрагменте из собирающейся постепенно книги рассказов о своей жизни и о своих друзьях и знакомых «Славный конец бесславных поколений» («Октябрь», № 8) вспоминает о своих встречах с другом юности Иосифом Бродским и дает оценку его личности. Это не в последнюю очередь попытка соотнести христианскую направленность мысли автора с каким-то особым характером религиозности Бродского, у которого в стихах Христос «никогда не вышел — из дней Ветхого Завета» и всегда оставался в пустыне, и всегда — молчал.

Валерий Барзас в мемуарном очерке «Поминки по «Сайгону» («Нева», № 9) в свободной форме рассказывает о знаменитом в советские времена заведении на углу Невского и Владимирского проспектов в Ленинграде, об его нравах и завсегдатаях. Из таковых особенно часто появляется на страницах воспоминаний Татьяна Горичева.

Еще один небольшой фрагмент первой части трилогии **Новеллы Матвеевой** «Фамильный роман» под заголовком «Мяч, оставшийся в небе» («Знамя», № 7; см. также № 7 и 10, 1996) посвящен разнообразным, почти нескоординированным подробностям детства автора.

Николай Шмелев в воспоминаниях «Curriculum vitae» («Знамя», № 8) рассказывает о том времени, когда он недолго служил в ЦК КПСС, на Старой площади, лектором. Акцентируется экзотика цэкашной жизни. Затем автор переходит к воспоминаниям о разных чудаках и оригиналах, которые встречались ему в жизни, об анекдотических и трагикомических историях из советского прошлого.

Евгений Карпов в мемуарах «Да будет воля Твоя» («Нева», № 7) с подзаголовком «Немного о Горбачеве и о себе» рассказывает, как он стал писателем, как очутился на Ставрополье, как познакомился там и потом встречался и общался с Михаилом Горбачевым и другими интересными людьми края. Появляется на страницах воспоминаний и Владимир Максимов — один из тех, кто способствовал приобщению автора к религии. Мемуары в целом не слишком-то богаты интересными подробностями, Горбачев присутствует там обычно в суждениях о нем разных лиц, а не лично. Любопытно, что, как сообщает Карпов, он показал свою рукопись Горбачеву — и тот отнесся к ней скептически.

Нонна Мордюкова в «Записках актрисы» («Октябрь», № 8) сообщает очередную порцию историй из своей жизни: про общение со

зрителями, про детство, о матери, об общежитской любви и «молодой гвардии клипменов». Это не претендующие на глубокомыслие колоритные истории, богатые разнообразными эмоциями.

Силен, кажется, мемуарный элемент и в рассказах Петра Алешкина («Октябрь», № 9) — о первой любви, о невзгодах юности (как и почему автор дважды оказался за колючей проволокой), о первых литературных опытах.

Петербургский прозаик Николай Крыщук по случаю 50-летия удостоен в «Звезде» (№ 9) отдельной, юбилейной рубрики. В ней помещаются его записки «Стая бабочек» с подзаголовком «Способ моего проживания». Это собрание дневниковых заметок, лирических этюдов, житейских эпизодов, замечаний по разным поводам. В связи с выбранным жанром неслучайным выглядит упоминание на страницах записок Розанова с его «Опавшими листьями». Лучше всего писателю удается передача своих эмоциональных состояний и наблюдения за «жизнью врасплох». Между тем из хаоса впечатлений и ассоциаций возникает пунктирно очерченный сюжет жизни и очерк души тонкого, взыскательного, думающего художника.

Более прозаичен и наполнен всевозможной ежедневной суетой дневниковый «Блок 1995—1996» другого известного литератора, Михаила Рошина («Октябрь», № 9). Это продолжение тех писательских заметок, которые уже появлялись в «Октябре» (1992, № 1; 1995, № 6). Здесь возникают известные фигуры из столичного культурного круга, появляются отчеты о посещениях театра и врачей, фиксируются венчанья и смерти, передаются литературные впечатления... В этом пестром собрании есть и весьма небезынтересные страницы.

Критик Павел Басинский в «исповеди провинциала» «Московский пленник» («Октябрь», № 9) действительно очень откровенно повествует о своем «романе с Москвой», о том, почему и как он стремился попасть в Москву и как таки попал; о том, как адаптируется провинциал в столичном окколитературном кругу, в Литинституте и «Литгазете». На страницах воспоминаний много места отведено и рассказу о реальных лицах из литературной среды, многие из которых живут и здравствуют, например — поэт Игорь Меламед и критик Вячеслав Курицын (подробно, с бытовыми деталями, освещен и критично осмыслен жизненный путь последнего).

Сравнительно недавний личный опыт — опыт радикальной перемены в жизни описан Алексеем Варламовым. Новый опыт предоставляет литератору из столицы жизнь в деревне дачником. Варламов в «повести сердца» «Дом в деревне» («Новый мир», № 9) рассказывает о том, как он решил осесть на земле и приобрел дом в селе на Вологодчине, а потом обживал его, знакомился и общался с соседями, сочинял миф о врастании в почву, о братании со своим народом, а после — расставался с этим мифом. Это лирическое повествование, богатое подробностями деревенской жизни, наблюдениями над современной деревней и ее жителями, свидетельствами о волнениях сердца. Жизнь в деревне, прогулки в леса,

рыбная ловля дают немало впечатлений и переживаний, позволяют про-чувствовать полноту и неподдельность существования. Но человеческий ландшафт этой местности, по Варламову, ныне выглядит довольно бедно. Самой значительной встречей оказывается общение с пожилым крестьянином Василием Малаховым, бескомпромиссным противником советской власти, человеком религиозным, дорожащим своим достоинством. Но Малахов умирает, а замены ему здесь нет.

Олег Ларин в «сценах из захолустной жизни» «Ехала деревня мимо мужика...» («Новый мир», № 8) также, в который уже раз, делится как совсем свежими, так и довольно-таки давними историями из своего опыта жизни в деревне, в «срединной России». Здесь, однако, сведены к минимуму исповедальные признания, лирические вздохи и прочие сентиментальности. Лейтмотив повествования — анекдотическое бытописание; разговоры, дела да случаи. Вниманию читателя предложены самобытные характеры соседей автора по деревне, тупошных аборигенов, раскрывающихся в основном в перипетиях комического свойства. Впрочем, автор не чужд и точных наблюдений над общим строем вконец распавшейся к 80—90-м годам сельской жизни — наблюдениям, которые по своей тональности в целом совпадают с выводами Варламова.

А Борис Екимов является на село не просто дачником из города. В повести «Наш старый дом» («Новый мир», № 7) он рассказывает о доме своего детства, прошедшего в селении на донском берегу. Екимов вспоминает о родных и близких, об их трудной жизни, живописует соседей, описывает нынешние свои наезды в этот дом, который выглядит как место бытия, как пуповина, соединяющая рассказчика с космосом. Здесь дается автору та полнота существования, которую по-своему искал и Варламов. И Екимову удается выразить эту переполненность бытием. Но дом стареет, ветшает, ушла из него богатая событиями жизнь. Автор исполнен светлой печали, умиротворенной грусти. Кончается год, кончается жизнь, пора и в отъезд. «Но пока еще живы, старый дом мой и я».

Цикл калужских автобиографических рассказов **Станислава Куняева** «Дело душевное» («Наш современник», № 8) привлекает теплотой, с которой автор описывает родные места и родных — по сути и месту — людей, повествуя от первого лица. Впечатляют образы *своего* города, старых домов, заросших дворов, они как бы словесно выплетены из потрескавшегося деревянного кружева, металлических окантовок почтовых щелей, изразцовых печей с выпуклыми рисунками сказочных цветов и растений; они многообразны и написаны с настоящей, не выдуманной любовью. Тем досаднее спотыкаться на антисемитских вкраплениях, точечно обозначенных то там, то здесь.

Близки к лирико-исповедальному вектору в прозе рассказы **Светланы Василенко** («Новый мир», № 9). От первого лица она делится эмоционально пережитыми, пропущенными через сердце случаями из жизни. В рассказе «Суслик» речь идет о том, как рассказчица пионеркой «выливала» сусликов из норок; эта процедура увидена сегодняшним

взглядом, отчасти совпадающим со взглядом суслика: как надругательство над жизнью, над природой. В рассказе «Хрюша» рассказчица повествует о своем конфликте с матерью, которая из бедности завела поросенка; фиксируется сложный букет переживаний: любовь к матери, стыд за нее, боль маленького сына рассказчицы, сильно раненного тем, что поросенка зарезали на его глазах...

«По-весь» (так!) Анастасии Гостевой «Дочь самурая» («Знамя», № 9) — это дебют прозаика. Читателю предложен развернутый ассоциативный этюд, где сюжет растворен в разнообразных окolicностях, иногда довольно забавных, а в целом передающих склад сознания современной молодой москвички, самоуверенной и эрудированной студентки МГУ. Характерный фрагмент: «Мы зарабатываем деньги, кропаем дипломы и диссертации, собираемся поехать в Тибет, в Мексику, на Валаам, уйти в монастырь, ждем звонков, рефлексируем, рассуждаем о смысле и предназначении, ищем новые джинсы, не находим времени встретиться, садимся на диету, выстраиваем социальную ситуацию, суетимся, заплетаем дреды, участвуем в конгрессах, ищем шторы под цвет глаз, читаем умные книжки, покупаем молоко, переписываем последний фильм Тарантино, заводим будильник, курим марихуану, впадаем в истерику из-за отключенного телефона, боремся за место под солнцем (...), учим санскрит, обеспокоены состоянием здоровья президента, жаждем признания, занимаемся у-шу и тайцзы-цюань, не высыпаемся, сходим с ума, смотрим боевики, экономим, удаляем аппендицит и гланды, коллекционируем иэцке, трахаемся, цитируем Бозия, Абеляра, Гваттари, гуру, лечимся у экстрасенсов, тратим по три часа на дорогу, занимаемся шейпингом, вызываем сантехников, плетем интриги, исповедуемся перед Пасхой, пьем, рожаем детей, ожидаем грядущей синхронизации галактической оси, предсказанной в хрониках майя, обожаем Дизи Гиллеспи, не прислоняемся к дверям, умираем». «И не понимаем, что в жизни бывают, может быть, одна-две настоящие встречи».

Есть в литературном потоке, разумеется, *и проза, вовсе не претендующая на невыдуманность*. Художественное обобщение, игра воображения являются здесь без грима.

Несколько литературных произведений посвящены советскому прошлому.

Роман Бориса Хазанова «После нас хоть потоп» («Октябрь», № 6—7) начинается с впечатляющих картин почти апокалиптического характера, отнесенных к позднесоветскому времени. Москву осаждают стаи жутких птиц, гадящих где попало и превративших столицу в тотальный нужник. Затем автор сворачивает к другим темам, как он сам говорит в завершающем публикацию интервью, — темам Окраины и Подполья в контексте заката и смерти Империи. Хазанов выводит литератора-нон-конформиста, собирающего статьи в подпольный журнал, некоего республиканского начальника («половецкого хана»), вознамерившегося стать основоположником национальной литературы, и других, не менее экзо-

тических персонажей. В романе немало и философствования на разные темы. Повествование окрашено в тона иронии и печали. Хазанов, как обычно, претендует на предельные обобщения, что придает его опусу сходство с притчей. В его прозе есть очень сильная предзаданная условность, которая оборачивается, кажется, некоторой картонностью образов и во всяком случае сильно понижает градус читательского сопереживания персонажам романа.

Повесть Анатолия Семячко «Большая охота» («Звезда», № 8) — неприглядная история из 60-х годов. Где-то в Сибири для столичного генерала, приехавшего с инспекцией, затевается охота, постепенно превращающаяся в форменное безобразие. Перед влиятельным гостем всячески выслуживаются местные армейские чины. Происходящее увидено глазами охотничьего пса Фильки. Он рвется на охоту, но там и гибнет от руки человека. О случившемся рассказано увлекательно, без спешки, с живописными деталями.

Олег Ермаков в романе **«Транссибирская пастораль»** («Знамя», № 8; первая книга романа «Свирель вселенной») повествует о пареньке, который отправился из Европы в сибирское странствие в поисках полноты и насыщенности существования и оказался на Байкале, где с ним случилось много всяких случаев. Он живет в небольшом поселке, в заповеднике, где сталкивается с разными людьми — как аборигенами, так и пришельцами, понемногу взрослеет, набирается ума-разума, влюбляется... Все честь по чести. Пожалуй, в художественной прозе еще никогда так подробно, так пластиично не рассказывали о Байкале, его природе и людях... Слог автора виртуозен, в романе много ярких деталей. Но содержание духовного роста персонажа не слишком впечатляет. В основном он остается только наблюдателем быта и нравов, местной экзотики и каких-то кривых характеров. Панорама пестрой, иногда увлекательной, иногда унылой жизни подавляет историю становления личности.

Повесть Любови Гуревич «История, извлеченная из дневника» («Нева», № 9) датирована первой половиной 80-х годов. Это история любви. Героиня-«зрительница» рассказывает о своей безответной влюбленности в странноватого питерского художника-нонконформиста, о перипетиях своих с ним отношений. В повести воссоздана атмосфера полуzapрещенной художественной жизни в Ленинграде тех лет — с принципиальным отколом художников от официоза, с выставками на квартирах, с книжными радостями и пр. Есть здесь и тонкие наблюдения психологического свойства — над взаимоотношениями людей, над душевной жизнью художника. Гуревич отличается незаурядным умением увлекательно говорить об искусстве и о человеке в искусстве.

Недатированное эпическое прошлое воссоздает **Антон Уткин** в повести **«Свадьба за Бугом»** («Новый мир», № 8). Он рассказывает историю вневременного свойства, из неких баснословных, легендарных времен — о красоте, любви и смерти. Мирные поселяне на реке Буг живут незамысловато, не доверяя рассудку, только душой. В центре повествования

ния — простодушный богатырь Семен и прекрасная певунья Евдося. Нет в повести особо острых конфликтов, но стеченье обстоятельств приводит историю к драматическому финалу. Повесть может заинтересовать в первую очередь тем, что в ней Уткин продолжает начатый в «Хороводе» носталгический поиск стилевой и содержательной экзотики, обращаясь к традиции романтического орнаментализма в литературе прошлого и начала нашего века. Повесть написана словно бы в подражание ранней, «малороссийской» прозе Гоголя, а также, возможно, литературно-этнографическим опытам писателей-украинцев. Автор суммирует опыт предшественников и виртуозно имитирует их стиль и слог.

К более давним историческим временам обращает нас историко-авантюрный роман **Анатолия Рогова** «Ванька-Кайн» («Москва», №№ 7—8). Он экспрессивен, насыщен, ярок и лишен изнуряющей и часто не оправдывающей себя архаизации слога. Время действия — 40—50-е годы XVIII в., герой — отчаянный, умный, острый Иван Осипов, прозванный Кайном. С детства Иван мечтал быть только вором или разбойником, потому что жизнь всех остальных людей казалась ему беспросветно скучной. Он и становится виртуозным вором-организатором, скитается по всей Руси с ватагами и в одиночку, ворует, но не обездоливает, не обижает людей, попадает в «каменные мешки» и поет песни, которые сам же и сочиняет. Решающую роль в судьбе Ивана играет встреча со стариком Елисеем-Батюшкой, в прошлом тоже вором, а ныне — спутником ватаг, давшим обет молиться беспрестанно за разбойные души, святой души человеком. Иван искренне привязывается к старику, а через некоторое время узнает, что Батюшку сожгли в деревянной церкви воры — за то, что он уговаривал их не разорять храм. И, обуреваемый лютой злобой и жаждой отомстить за единственного человека, просившего у Господа прощения за воровские грехи, Иван идет в Сыскной приказ и «закладывает» всех своих бывших товарищей по разбойному цеху, за что и получает прозвище «Ванька-Кайн». Он не щадит никого и, поставив целью отыскать убийц Батюшки, становится активнейшим членом Сыскного приказа, заводит обширную тайную и явную агентуру, расправляется с ворами и спекулянтами. Еще важна сюжетная линия, подробно разработанная автором, с интереснейшими историческими экскурсами — проблема раскольничества на Руси. Одной из любовниц Ивана становится сектантка-раскольница Федосья, женщина страстная, одержимая. Из любви к Ивану она помогает ему уничтожить секту, половину которой составляли ее же родственники, участвует в допросах и присутствует при пытках. Иван бросает Федосью, когда она перестает быть ему полезной, женился, находит убийц Батюшки и — стараньями истерзавшейся, не забывшей обиды Федосьи, практически сошедшей с ума от любви-ненависти к Ивану, — попадает по доносу на дыбу, в яму, в Сибирь. Автор мастерски рисует драматическую картину на историческом грунте, образы по-киношному красочны и живы, повествование эпично, манера изложения гибка и изящна, идеи просты, но отнюдь не кондовы.

Исторический рассказ Александра Ларина «Кольчуга» («Наш современник», № 8) — о том, как кузнец Макар Прохоров выловил бреднем в Оке три кольчуги и постарался их отреставрировать. Между тем проезжающий инкогнито через Калугу Петр I покупает у Макара две кольчуги с тем, чтобы отвезти в Москву, в Оружейный приказ для пополнения коллекции. (Другой рассказ Ларина «Черный квадрат» (там же) демонстрирует нам превратности современных реалий: два друга — наркомафиози и честный верующий художник — сидят, выпивают и философствуют, потом художник накидывает мафисзный плащ — выйти за сигаретами, и тут-то его по ошибке убивают киллеры, которые ориентировались на одежду наркодельца.)

Художественно-исторический очерк Бориса Куркина «Государева слобода» («Наш современник», № 9) о Вшивой (Швивой) горке, разместившейся за Китай-городом, о прилегающих окрестностях — Гончарной набережной, Котельнической, Таганке — интересен живостью наблюдений автора и хорошим знанием истории этих мест, что, впрочем, нивелируется тенденциозными рассуждениями о нынешней политике и ее деятелях.

Гораздо больше в журнальной прозе произведений о современности. И взгляд на нее у писателей, как правило, не отличается снисходительностью. Неприятие реальности так или иначе преобладает.

Так, рассказ Дмитрия Стахова «Проверка паспортного режима» («Октябрь», № 7) — это бытописательный очерк о продажности журналистов и полном беспределе в современном российском быту. Автор фиксирует происходящее, не претендуя на выводы.

Небольшая повесть Эдуарда Зубова «История болезни» («Урал», № 3) написана жестко и беспощадно. Сюжет обычен для наших дней: девушка умирает от того, что вовремя не были диагностированы пневмония и сепсис, потом «левой ногой» поставлен неверный диагноз, назначено бессмысленное лечение. Уже привычными стали для нас полное нежелание врачей брать на себя ответственность за жизнь людей, круговая порука среди «коллег», когда все друг друга покрывают, а в случае чего — апеллируют к мнению псевдосветил. Молодой врач, наблюдавший всю историю со стороны, испытывает «чувство нравственной тошноты» и бешенства от бессилия хоть как-то изменить ситуацию. Ложь везде — только изощренная, окультуренная, объясняющая убитому горем отцу, как невозможно было спасти его единственную дочь, фактически убитую сконцентрированным равнодушием тех, кто призван исцелять. История болезни девушки и ее смерть проецируются на название повести, по сути излагается и история болезни современной медицины и ее деятелей. «Производственная» медицинская повесть не оставляет никаких надежд и вызывает в памяти молитву: подай, Господи, кончины безболезненной, непостыдной, мирной...

Небольшой по объему рассказ Валентина Волкова «Композиция» («Наш современник», № 8) — бытовая зарисовка, желающая казаться сатирической. К молодому и, как водится, бедному русскому студенту привязывается в электричке «мерзкий, рыжемордый, женоподобный, зловонный» тип с квадратным перстнем и предлагает студенту пять

долларов, если тот отважится подойти к пожилому человеку и щелкнет его по лбу, просто так, ни за что. Студент — «внук Балды», видимо, «ослепленный жаждой легкой наживы», с восторгом проделывает это, и даже трижды — для завершения, так сказать, «композиции», но потом с ужасом видит надвигающегося на него разъяренного «щелкнутого» и готовится к самому худшему. «Мораль сей басни такова...» и т.д.

Повесть Виктора Брусицына «Прямо и наискосок» («Урал», № 3) освещает жизнь пробивающегося в большой бизнес Андрея Румянцева. Чувствуется, что автор знаком с этими проблемами не понаслышке. Подробно описываются его удачи и неудачи, взлеты, падения, любови, страхи, подсаживание на иглу и победа над собой. Румянцев способен на всё, кроме предательства, он может многое, но не в силах спасти от казни проштрафившегося перед «хозяевами» друга. Новым кажется то, что, возможно, до этой повести не было еще написано такого скрупулезно детального произведения о «бизнескухне», интригующего, красочного и отнюдь не утомительного.

Сюжет объемного романа Юрия Голубицкого «Новый»-вечный русский» («Молодая гвардия», №№ 7—11, продолжение следует) не требует пересказа не только потому, что он крайне запутан и невнятен, но в первую очередь потому, что явно написан не ради сюжета, а ради составляющих его доминирующих архетипов. В сущности, это роман о том, какие люди становятся «новыми русскими», как они ими становятся, почему и что с этого имеют и какие нравственные муки принимают те, кто с ними связался или хочет с ними «развязаться». Главный герой, «нравственный неофит», говорит: «Я не новый русский в общепринятом смысле. Если уж «новый», то одновременно и «вечный». Антонимическая пара. По аналогии с большой малой войной, плохим хорошим человеком...». Красочное карикатурное описание «новорусской бардачной презентации» даже не смешит вывернутыми известными фамилиями: Ефроимов-старший, Алла Сукачева, Михуэлс Жбанецкий, Сократов-Серый, Шарада, Абортайте с Соляковым-младшим и пр., настолько *всё* оголтело-ядовито написано. Зато смешны опечатки (или ошибки, пропущенные по незнанию): «жиг ало», «к ашерный», «Эсте р Лаудер» и т.д. Как сказали бы сдержанные англичане — *not worth discussing*.

Повесть Александра Мелихова «Высокая болезнь» («Октябрь», № 8) — не новый для этого автора очерк «сложной личности», которая брезгливо трепещет от «прикосновений скотства» и ведет войну с Простотой ради причуды, с Правдой и Хаосом. Утонченный рефлексирующий рассказчик культивирует «бесконечную собственную значительность», противополагая ее бесконечному ничтожеству «скотского мира событий и фактов». Герой неприкаянно мечется по жизни, ненасытно ищет чего-то, стремится к неким «прорывам», что и составляет его «болезнь». Попутно в повествование вбрасывается масса бытового хлама, описание которого призвано, кажется, демонстрировать бедность житейских возможностей. Уязвленный, беззащитный человек вброшен в неистребимый

хаос российской жизни: эта ситуация дает, конечно немало поводов для размышления и сопереживания. Но на сей раз у Мелихова его рассказ слишком, пожалуй, бессвязен, сплошь и рядом переходит в беллетристическое многоглаголанье, не прибавляющее смысла.

Повесть Майи Никулиной «Место» («Урал», № 2) с некоторой натяжкой можно было бы назвать семейной хроникой, но хронологию событий и место действующих лиц не всегда можно четко определить, причины и следствия намеренно запутываются. Тончайшими и легчайшими линиями пишет автор картину жизни людей, чьи образы смутно проступают на дымчатом фоне повествования. Главный герой отсутствует, прошлое условной семьи — суть смыслов. Более-менее внятно концентрируется действие в наши дни: «Она спешила домой, на юг... от дома осталось две стены. Место я обжила быстро — сидела в уцелевших углах, спала на каменном полу и, уходя, каждый раз оставляла тайные знаки своего пребывания: круглый камешек на пороге или горсть гальки у окна — была уверена, что кто-то придет». Внезапная перемена третьего лица «она» на первое «я» усугубляет зыбкость образа *места*. Далее силуэтно возникает тема любви, но по-прежнему никакой конкретики действий, при конкретике имен и слов. Заканчивается повесть прощанием героини с *местом*. Повесть прерывается перестрелкой неизвестно кого с кем и неизвестно зачем. «Рай — нежилое место», — задумчиво приходит к выводу «она». При полном отсутствии явного и размытости реалий повесть абсолютно цельна, и нет ощущения, что текст незавершен, безакцентен.

В повести Александра Хургина «Остеохондроз» («Дружба народов», № 6) скромный служащий Калиночка, проживающий в городе на берегах Днепра, становится очевидцем дорожного происшествия с трагическими последствиями, и это событие ломает привычный, рутинный строй его жизни. Автор детально прописывает бытовой строй провинциальной жизни, повседневный обычай маленького человека, лишенного возможности реализовать себя как-то ярко и значительно.

Цикл рассказов Евгения Богданова «Привет, счастливцы!» («Москва», № 7) предваряет эпиграф, суть которого сводится к следующему: когда-нибудь наши счастливцы-потомки осознают то, что происходило с нами, и ужаснутся. **«Оранжевые жилеты»** — притческий текст о лишних людях нашего времени, которые даже друг друга не называют по имени, а обращаются, называя по профессии — Юрист, Музыкант, Филолог. Отторгнутые новыми конъюнктурными правилами новой жизни, они укладывают трамвайные пути. Другой рассказ — **«Маргинальное танго»** — о бомжах Иване и Марке, тоже отринутых социумом людях, но, в отличие от персонажей **«Оранжевых жилетов»**, не сумевших жизнеустроиться. Они любят и находят в своем полулюдейском существовании какие-то маленькие радости, танцуют танго и умирают, замерзнув во дворе дома, в котором все двери заковали в сталь и закодировали, отрезав бомжам путь в теплые подвалы. Рассказ просто написан и четко акцентирован: люди, помните, что вокруг вас тоже — люди.

Рассказ Дарьи Акуловой «Шуша» («Урал», № 3) — о бессюжетице жизни женского существа Александры, которую звали Сашкой, Шурой, Шушей — фонетика имени всё время шипит, а дни ее начинаются с шороха и превращаются в шум. Шуша молода и не лишена привлекательности, но ни выгоды, ни смысла в этом она не находит. Она работает корректором на «Печатном дворе», где выживают только женщины, работа изводит до такой степени, что «по утрам не было сил вспомнить цвет собственной зубной щетки, а имя удивляло громоздкостью». Меж строчек угадывается желание (автора, героини) убедить в том, что эта никчемушная жизнь все-таки укладывается не в три слова описания — тремя словами не расскажешь о том, как человек жил, что чувствовал и почему решил оборвать свою жизнь.

О войне и о том, как она настигает людей, даже закончившихся, — рассказ Сергея Михеенкова «Комбат» («Наш современник», № 8). Майор Сидельников привозит в деревню гроб с телом погибшего солдата, выдерживает страшные проклятия матери убитого и в ту же ночь умирает во сне от остановки сердца.

Рассказ Михаила Федорова «По дороге в Чечню» («Урал», № 2), также как и рассказ Владимира Белоголова «Особый полет» («Север», № 7) — вариации на тему недавних войн, сюжеты которых неисчерпаемы, а вывод всё равно неизменен: «Бог рассудит».

Дмитрий Евсеев в рассказе «Встретишь — не запомнишь» («Нева», № 8) повествует об армейских буднях старослужащего Павлова, простоватого паренька, не без добрых начал в душе, который томится бессмыслицей жизни. Это томление достигает апогея в рассказе «Падь Безымянная», где старший лейтенант Глушко, устав от однообразных будней службы на дальневосточной границе, решает покончить с собой. Тщательное бытописание у Евсеева затевается для того, чтобы передать тоску армейского существования, больше — бессмыслица обычной человеческой жизни, от которой некуда деться.

По-прежнему обращена журнальная проза сегодняшнего дня и к *вечным темам межчеловеческих личностных отношений* — любви, дружбы, верности, предательства и т.д.

Один из путей осознания современных реалий является собой *попытка взглянуть на происходящее в России глазами иноземца*. Фазиль Искандер в диалоге «Думающий о России и американец» («Знамя», № 9) фиксирует комический, фарсового свойства разговор русского и американца в вестибюле московской гостиницы. Русский, чем-то неуловимо смахивающий на самого автора, объясняет простодушному интуристу, каковы нравы и люди в современной России, остроумно отвечает на самые острые и причудливые вопросы.

Зиновий Зиник в рассказе «Осторожно: двери закрываются» («Знамя», № 8) повествует об эмигранте из СССР, который вернулся в современную Москву и заранее перепуган ее криминальным характером. В метро с героям случается нелепая история: его преследуют двое подозрительных субъектов, роскошный плащ рассказчика застrevает в дверях

вагона. Беспомощность героя становится катализатором обсуждения пассажирами актуальных общественно-политических проблем, а затем провоцирует внезапный порыв их к некоему единению, увенчанный, впрочем, тем, что плащ у героя его преследователи все-таки отнимают.

В рассказе Анатолия Кима «Потомок князей» («Дружба народов», № 7) в охваченную войной Чечню приезжает западный журналист, чей предок, князь, когда-то в прошлом веке беспощадно усмирял Кавказ. Видя ужасы войны, журналист погружается в шоковое состояние. Его потрясает убийство русским офицером чеченского мальчика, пойманного с зажигательными бутылками-лімонками. Чеченцы опознали в журналисте потомка прославившегося жестокостью военачальника, и один из них хочет исполнить обряд кровной мести, однако, убедившись в беспомощности журналиста, выбитого из колеи увиденным, отпускает его с миром. Чеченцы у Кима представлены людьми чести, высокого, жертвенного накала. А вот среди русских правят бал негодяи, жестокие убийцы. Если их убивают, то — по заслугам. Рассказ состоит из трех частей, написанных от имени чеченца, журналиста и убитого мальчика. Также из нескольких частей составлен и обширный, замысловато скроенный рассказ «Дом», вместиивший в себя историю человеческой неприкаянности, попытку найти свое место и счастье, построить свой дом, который становится не просто местом для жизни, но символом обретения себя, возвращения в рай. В центре повествования — история дружбы врача и писателя, попытки врача обустроиться в Мещерском крае. Дом, однако, построить так и не удалось.

А сочинение Андрея Волоса «Чужой» («Знамя», № 7) фиксирует момент превращения человека, привыкшего считать своей родиной Советский Союз, в иностранца. Эта проза имеет подзаголовок «Хуррамабадская трилогия». Читателю предложено три истории, объединенных одной темой. Это драматичное, богатое подробностями бытописание о людях, которые внезапно оказались «чужими» в прежде уютном, удобном для жительства мире. На таджикском, очевидно, материале описано, чем обираются для простого человека конвульсии советской империи. Патриархальное добродушие сменяется агрессией, кто-то гибнет, кто-то должен бежать в Россию, но и здесь не находит покоя. О распаде восточно-западного синтеза и исходе русских из Средней Азии повествует Волос и в более, пожалуй, вялых рассказах из цикла «Хуррамабад» («Новый мир», № 8).

Рассказ Анатолия Гончарова «Пробуждение» («Молодая гвардия», № 9) знакомит нас с невеселыми подробностями бытия наших современников, оставшихся после раздела СССР проживать в странах Балтии. Виктор Иванович Зверев прожил в Риге много лет, имел за плечами 42 года трудового стажа, из которых новым правительством Латвии была учтена только половина, потому что Зверев трудился не на пользу Латвии, а на пользу оккупационной России, когда работал, например, в райкоме партии или был послан в Ленинград. Другие сумели как-то

вовремя сориентироваться, а Виктор Иванович не сумел. В свои 63 года он получил квадратный штамп в паспорте (как «постоянnyй житель, мигрант», имеющий 70 (!) отличий от полноправного гражданина суверенной Латвии), грошовую пенсию; жену его выслали в Россию, а он сперва пытался добиться справедливости, а потом «застыл, закоченел». Каждое утро пенсионер Зверев просыпается по старой привычке без четверти семь утра и лежит, прикидывая, может ли он себе позволить выкурит лишнюю сигарету или лучше потратиться на кефир.

В рассказе **Бориса Евсеева** «Банджо и сакс» («Дружба народов», № 8) два музыканта играют в электричках, потом пьют, потом один из них спянина решил отморозить пальцы другому, но и самого его схватило приступом, от которого спас злодея его же товарищ. В рассказе «Ресторан-Москва» грузинский актер в старые времена пострадал от любви к ресторанной танцовщице. Отсюда автор делает такой вывод: «...во всех сязаемых нами пределах времена для жизни кончаются одним и тем же: сумасшествием, бредом, жалкой земной любовью. Любовью, которая часто сама и опасней и злее безумья». Это проза сентиментального строя, с красотами слога.

Леонид Зорин в повести «Тень слова» («Знамя», № 9) также рассказывает о любви. Пропал литератор К.Р., его приятель криминалист Викентий изучает рукописи пропавшего в надежде найти концы. Фрагменты этих рукописей с краткими замечаниями Викентия и образуют объем зоринской прозы. Помимо афоризмов и рассуждений разного свойства в рукописях обнаруживается история о том, как литератор однажды съездил в провинцию, где у него случился роман с библиотекаршей — и это, как можно понять, в конце концов надломило К.Р. Взаимоотношения столичного писателя и провинциальной библиотекарши выписаны Зориным тщательно, умно и красиво. Фрагментарный же характер повести оправдан слабо.

Рассказ **Бориса Василевского** «Свободная командировка» («Москва», № 8) делится на две части — интермедиа и рассказ в рассказе. Тема вечна — грамматика любви, половина правил, половина исключений, обнажаются таинственные пружины людских отношений и исторических процессов. Немного рыхлое, скучноватое чтение.

Мелодраматическая повесть **Эльвиры Шугаевой** «Верь только мне» («Москва», № 9) невольно напоминает известную киноцитату — «когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите». Сюжет не нов и прошел испытание временем: поздняя любовь немолодой женщины и молодого человека, которую разрушает порицание общественности, проблема «дочки-матери» и амбиции совкового комильфо. Но стиль и авторская манера изложения вызывают по меньшей мере недоумение, особенно это касается диалогов, которые ведут между собой молодые девушки. Создается впечатление, что автор с чьих-то слов воспроизвел лексику и фразеологические обороты, наиболее характерные, по мнению автора, для современной молодежи, а также новых русских. Поэтому речь героев неестественна, кургуза, а взаимные реакции на реплики друг друга неадек-

кватны. Причины и следствия романа главной героини и молодого нового русского искусственны и, главное, неинтересны — при всей драматичности сюжетных перипетий. Чтение похоже на просмотр плохого спектакля в плохом же исполнении.

О человеке искусства идет речь и в рассказе Сергея Антонова «Смерть за ширмой» («Нева», № 8). Мастеровитый московский художник Васюков однажды попал в больницу, где увидел, как умирает человек. После этого с ним что-то случилось, он стал писать не всем понятные шедевры. Его труд высоко оценил маститый искусствовед. Однако приблизились коммерческие времена, и какие-то дельцы отняли у Васюкова его мастерскую. Тогда художник собрал свои работы, отвез их в овраг и сжег — «исполнил долг свой». Вероятно, это надо понимать так, что мир оказался не достоин творений Васюкова и потому должен был быть лишен их.

Цикл рассказов Галины Скворцовой («Север», № 7) объединяет тема «художник и рутина». Героям рассказа «Богатая жена богатого художника» предпримчивый пройдоха-финн обещает золотые горы, если они бросят заниматься ерундой (читай — искусством ради искусства) и начнут зарабатывать деньги, рисуя пейзажи с фотографий: «Фирма «Ностальгия» поможет вам заказать художественное изображение вашего родного дома, деревни, реки... любая финская старушка будет лить слезы при виде своего домика и каждого своего внука будет подводить к картине». Супруги-художники безнадежно вздыхают и, конечно, отказываются, а финн раздраженно констатирует: деньги висят у вас на стенах, а вы всё равно как были нищими, так ими и останетесь. «Этюд о жизненной силе» — о непризнанном художнике, умершем бесславно и оставившем свои картины алчной примитивной жене. Повествователь читает его дневники и задумывается о природе «чи» — жизненной силы обоих начал — мужского «ян» и женского «инь». Рассказ «Бескрылая Психея» — краткое жизнеописание некоей писательницы Каролины П., погубившей свой талант тщательно взеленяенным всепоглощающим эгоцентризмом, превратившим ее в асоциальную личность. Художник, пишущий с нее портрет, размышляет о судьбе писательницы и находит, что «оба они убивали в себе любовь и продолжали убивать любовь в других, его картины больше поглощают, чем дают, и что души их осколены и ущербны. Каролина — Психея, художник напишет ее Психеей без крыл...» Рассказы несколько тяжеловесны и довольно унылы.

Сергей Залыгин в маленькой повести «Уроки правнука Вовки» («Новый мир», № 7) рассказывает о взаимоотношениях старика Юрия Юрьевича и его правнука-школьника. Под конец жизни старик понял, что она не складывается во что-то цельное и значительное. А мальчик — грубянин, прагматик, злодей, хулиган, невежда, — все-таки чем-то подкупает. Может быть, трезвостью ума?

Рассказ Петра Проскурина «Аз воздам!» («Москва», № 8) огорчает примитивной тенденциозной концовкой. К писателю Тулубьеву приходит тяжело больной мальчик Сережка, сын соседей — «новых русских», прочи-

тавший рассказ Тулубьева о бездомном веселом псе Рыжике. Мальчик и старики-писатели становятся друзьями, и Тулубьев буквально спасает умирающему Сережке жизнь, читая ему «продолжение» книги о Рыжике, который находит своего хозяина. Проходит время, Сережка поправляется. Но тут на сцену выходит его всемогущий папа, который требует от Тулубьева, чтобы тот употребил свое влияние на Сережу и уговорил его уехать учиться в Англию. «Я не допущу, чтобы мой сын вырос спонтом, его тут же раздавят. Я внимательно изучил все ваши книги, ваш прекраснодушный романтический мир давно исчез. Россия теперь другая, теперь главное в России — деньги», — так вот откровенно шаблонно изъясняется отец мальчика. Тулубьев на вопрос Сережки, надо ли ему ехать, отвечает уклончиво, после чего мальчик замыкается и уходит, а через два дня Тулубьева убивают — почему, за что — неясно. И дело не в ожидаемом «хэппи энде», а в нелепости и натянутости.

Автор из Англии, профессор археологии **Павел Долохов** в рассказе «Герисейская история» («Нева», № 7) повествует об английском клерке Саше Петелине, однажды ставшем невозвращенцем. В Питере у него осталась семья, а на Западе однажды случился ослепительный роман, который оказался связан с неожиданным поворотом в служебной карьере. В финале герой чувствует, что его купили. Бытовая проза с критическими социальными акцентами, причем критика направлена на западный, меркантильный образ жизни.

Очередной опыт в манере «нового сентиментализма» предлагает читателю **Дмитрий Притула** в рассказе «Вторая попытка» («Нева», № 7). Простая труженица, всю жизнь ломившая ради семьи, после инфаркта попала в санаторий под Петербургом и здесь нашла себя в компании завсегдатаев танцплощадки, обрела вкус к жизни, научилась жить для себя, в свою радость. Это как бы запоздалая компенсация ее длительной жизни, отданной исполнению долга.

Сплавляет сентиментальный пафос с бытописанием и **Эмилия Кудышева** в рассказе «Жена Георгина» («Нева», № 9). Она изобразила супругу великого советского художника, особу простодушную, «голстую глупую бабенку, принявшую как должное все выпавшие на ее долю блага жены великого». Потом Георгинов умирает, и все знакомые забывают про его жену, она остается одинокой. Помнит про нее лишь «некто Гриньков», коего она когда-то, в бытность того студентом, обогрела душевным теплом.

Юрий Шевченко в прозаической «инсинуации» «Частное счастье» («Дружба народов», № 6) повествует о ярком, талантливом столичном враче-жизнелюбие Шибае, который коллекционирует произведения живописи и романнические интрижки. У него, однако, есть коварный друг, критик Ковалев по прозвищу Чумак, собирающий на Шибая досье. Аппетитная анекдотическая историйка.

Есть в журнальной прозе и *опыты игрового, гротескового, фантастического свойства*. Их трудно свети к общему знаменателю.

Андрей Лещинский в рассказе «Буковки» («Нева», № 7) описывает разного рода чиновничьи интриги — кажется, с целью показать выморочность, механистичность бюрократического мира. Этой цели служит и основной прием автора: в рассказе каждый персонаж имеет имя, отчество и фамилию на одну букву — от *а* до *я* по алфавиту — по мере вхождения персонажей в действие.

В духе черного юмора сочиняет свои **рассказы Георгий Балл** («Дружба народов», № 6), придумывающий нелепые, а то и вовсе невероятные повороты в жизни своих персонажей. Истории, которые он рассказывает, упираются в какую-то бессмыслицу, в житейский тупик и далеко не всегда, увы, остроумны. Придумки подчас скучноваты.

Юрий Мамлеев в рассказе «Прыжок в гроб» («Знамя», № 6) в своей испытанной манере предлагает вниманию читателей предельно достоверную в отношении бытовых подробностей страшилку. Родственники хороят живой престарелую старушку, измучившую их своими болезнями. Уговаривают ее, она раздумывает, потом соглашается, готовится всей семьей к похоронам, отпевают мимоусопшую в церкви, закалывают. Мамлееву удается, как всегда, передать впечатление обыденной жути.

Владимир Алексеев в повести «Вести из леса» («Нева», № 7) ведет рассказ от лица медведя — впрочем, весьма подкованного по части изящной словесности. Автор попеременно подражает разным литературным стилям, воспроизводит типичные ситуации, характерные для русской литературы, связывая их, однако, с косолапым зверем. В этом и состоит лакомое зерно повести, лейтмотивом которой является ироническая игра.

Рассказ Михаила Жаравина «Волчья морда» («Наш современник», № 7) хочется назвать «бажовским», очень уж вспоминаются сказки «Голубая змейка» или «Хозяйка Медной горы» о потусторонних силах природы, принимающих различные образы и вступающих в отношения с людьми. Человек сам неожиданно для себя вырезает из дерева перстень с оскаленной волчьей мордой и дарит его жене, а потом слушает боязливые сказы деда Авдеича о Хозяине Источников и Хозяйке Желтой реки, испытывавших людей разными страстями. И в тумане являются некие духи в образах женщин с желто-зелеными, будто натертными фосфором лицами, подзывающими: «Звали и пришли»; потом они оборачиваются рыжим волком с окровавленной пастью. Когда мистический ужас отступает и люди бегом возвращаются в деревню, выясняется, что жена стирала белье и обронила колечко с вырезанной волчьей мордой в реку. В общем, дешево отделались. Никакие американские фильмы ужасов ни в какое сравнение не идут с мистикой русских народных преданий.

Рассказ Николая Черкашина «Тайна старого надгробия» («Наш современник», № 9) тоже можно назвать мистическим. «Раз в году — летним днем — на стекле павильона, где стоит на Павелецком вокзале паровоз погребального поезда Ленина, проступает изморось, рисуя красивый женский профиль» — так начинается рассказ. Автор живет на Солянке и любуется лепной женской головкой — украшением дома

напротив, затем ему снится какая-то девушка, заставляющая его запомнить некий телефон, по которому он потом звонит, и тот же девичий голос, что и во сне, приглашает его прийти. Другой рассказ Черкашина «Натальин камень в Капитановой слободе» (там же) — непридуманная история. Между Красными воротами и Разгулем в Капитановой слободе вместо бордюрных камней использованы старинные надгробия разоренного в 1934 г. кладбища. Мраморные плиты погоста пустили на великую реконструкцию столицы, пытаясь построить светлое будущее в прямом смысле на отеческих гробах. Одна плита заинтересовала автора: «Вот уже много лет из-под ног прохожих несется этот мраморный женский вопль: «Мужу-другу... Мильй... Когда день... настанет... ужасный... съ тобой...». После долгих поисков и долгих часов сидения в библиотеках история прорисовывается. В 1842 г. линейный корабль «Ингерманланд» разбился у берегов Норвегии. В волнах погиб старший офицер Андрей Истомин, и жена его, Наталья Истомина, привезла с тех берегов могильный камень, который до сих пор, даже уничтоженный и повергнутый в прах, кричит из-под ног прохожих о любви. Рассказ заставляет задуматься о знаках прошлого, которых мы не замечаем, будучи слишком поглощенными суетой современности.

«Дачная история» Леонида Костюкова («Знамя», № 7) — маленький рассказ о том, как человек было умер, но вернулся к жизни благодаря участию и любви своей жены. Автор предлагает несколько фрагментов, по касательной раскрывающих эту тему.

Нина Садур в романе «Немец» («Знамя», № 6) в обычной для нее манере дамского бреда поведала о странностях любви. В центре романа — московская дама, утонченная, нервная особа с причудами и прихотями. Повествование представляет собой распадающийся на фрагменты поток сознания этой героини, связанный лейттемами. К числу таковых относится и страсть ее к юному немцу («Молодой король. Невыразимый. Гобелен. XII век. Кровь вся выпита гобеленом»), точнее — горячечный восторг по его поводу, томление и желание любви. Попутно — один за другим — возникают и русские друзья героини. Здесь есть красивые подробности, изощренная эмблематика желания.

«Письма полярнику А.Н.К., старшему лейтенанту запаса» Михаила Пророкова («Знамя», № 7) — несколько фрагментов разной величины, крайне слабо (или вообще никак не) связанных друг с другом. Здесь и нечто о нравах в художественно-артистической среде, и стихи, и сны, и ассоциативные этюды без явного стержня, и другие опыты и почеркушки, представляющие, надо думать, собрание законченных, полузараженных и не претендующих на законченность (нон финито!) сочинений молодого автора. Журнал зачем-то истязает ими читателя. Автор завершает свой опус так: «Я думал это. Я писал это. Я думал об этом, когда писал это. Написав это, я освободился от этого — и что делаю? И люблю». Похоже.

Короткие рассказы Евгения Эрастова — «Два сочинения» — и Михаила Попова — «Резонанс» («Москва», № 7) объединены по

небольшому объему. Но если рассказ Попова фельетонно остроумен и написан со вкусом без лишних деталей, то сравнение Эрастовым двух сочинений на тему «Как я провел лето» (один ученик был на Канаах, а другой в деревне, но оба недовольны и пишут абсолютно одинаково) кажется надуманным и претендует на глубокий философский смысл, которого нет.

«Наскальная поэма» Тимура Зульфикарова «Дервиш и мумия царицы Хатшепсут» («Знамя», № 8) — поэма в прозе о дервише Ходже Зульфикаре и означенной мумии, которая достается герою и будит в нем пламя эроса. Это пламя разгорается в поэме во всю силу, сочетаясь с оплакиванием «Русской империи», канувшей в небытие.

«Дружба народов» (№ 9) публикует текст, начало которого оформлено так: «Иосиф Сталин. Учитель. Литературная запись: Нодар Джин». Отмечено также, что «роман печатается с сокращениями». Из предисловия можно понять, что автором этого опуса является все-таки Н. Джин, исходящий из предположения, что Сталин «сидит в каждом из нас», и попробовавший генералиссимуса оттуда извлечь. В романе престарелый вождь рассуждает о разных разностях, размышляет о Берии и о своей домашней хозяйке и любовнице Валечке, общается с челядью, вступает в не слишком ясные отношения то ли с Иисусом Христом, то ли с ессеистским Учителем. Здесь есть остроумные фрагменты анекдотического рода, есть убедительность в некоторых деталях душевной жизни Сталина и его окружения. Менее всего интересен основной смысловой ход, опирающийся на фантастического свойства перипетии общения Сталина и Учителя. Задуманный перевод анекдотизма в философствование удался автору не вполне.

В завершение обзора отметим тематическую подборку в журнале «Звезда». Его № 7 посвящен шестидесятым годам, их литературе и культурной жизни в Ленинграде. В журнале печатается несколько взятых из писательских архивов прозаических произведений. Это:

- незаконченный роман Игоря Ефимова «Зрелища» о тоскующем, неудовлетворенном собой молодом человеке, у которого масса сложностей в жизни;
- рассказ Сергея Вольфа «Как-никак лето» о взаимоотношениях рассказчика с женщинами на лоне природы;
- произведение Андрея Битова «Азарт, или Неизбежность ненаписанного», предваряемое историей о том, как волей исторических обстоятельств сложился этот текст (автор некоторые свои сочинения никак не мог напечатать в застойные годы и потому представил их творениями некоего Чизмаджева, надеясь на издание опуса, но этого не случилось, а в недавнее время Битов вынул из него все то, что, было, приписал другому человеку, остатки же теперь предлагает читателям, «окончательно потеряв совесть»).

Литературная критика

Отличительная черта текущей критики — очевидный дефицит новых идей, отсутствие свежего взгляда на современную литературу, вообще претензий на концептуальность. Впрочем, иногда эти изъяны удается восполнить тщательностью анализа, меткостью в локальных наблюдениях, остроумным подходом к литературному явлению, необычностью заявленных критериев — или чем-то еще.

Традиционнейшую задачу поставил перед собой **Александр Агеев** в статье «**Это ваша жизнь...**» («Знамя», № 8). Он пытается разобраться в том, как современная жизнь отражается в современной журнальной беллетристике. Обобщая наблюдения, критик делает вывод: обращаясь к живописанию, наши беллетристы становятся романтиками, которым любая наличная реальность не по нутру. Одни романтики «революционные», другие — «реакционные», а есть и «реакционно-революционные»; таков Распутин, у которого симпатии к арханке сочетаются с горячим желанием срочно выгнать «всю эту сволоту» с телевидения и отовсюду. Агеев ждал добросовестного бытописательства — но не дождался. Зато увидел, что не принимают нынешний день практически все прозаики, а не только «потерпевшие» Афанасьев и Козлов, у которых «державу украли». Типовые составляющие образа реальности в литературе — «безденежье, голод, старики, роющиеся в помойках (откуда в помойки попало то, что старики добывают?), бомжи, страх перед бандитами, неуверенность в завтрашнем дне, всеобщая продажность, наглые богачи, фатально тупая власть, духовный вакuum, перманентная депрессия», а «еще — наркоманы, СПИД, распоясавшиеся гомосексуалисты и феминистки, порнография...». Причем все перечисленное не анализируется и не проклинается, из эмоций обычна скорее «отстраняющая брезгливость»: дескать, это чужая жизнь, не наша, а в нашей по-прежнему происходят другие, по-настоящему значительные события, о которых только и стоит размышлять истинной литературе. Щербакова рассказывает вечную историю любви, Ким создает притчу о жизни вообще, Пьецух — травит анекдоты про извечную абсурдность русской жизни. Уныло и однообразно изображаются «новые русские»; Агеев видит тут «мелкую социальную месть». Из интересного — начавшийся диалог детей с отцами (Полянская) и «новый характер»: человек, для которого абстракцией является все, кроме собственной жизни (Бучельников, Умнов).

Михаил Новиков в статье «**Золотое клеймо неудачи (Кировско-фрунзенская линия)**» («Дружба народов», № 8) бросает самый общий взгляд на явление, названное им «московским постобэриутством». Собственно, он претендует на открытие в литературе нового феномена, нового течения. Не вдаваясь в анализ конкретных произведений, критик ведет речь об абсурдистской прозе наших дней, представленной именами Анатолия Гаврилова, Дмитрия Добродеева, Игоря Клеха, Ивана Макарова, Сергея Саканского (из журнала «Соло»). Их общие черты — лаконич-

ная, точная фраза, «пушкинская суховатость», близкая разговорной речь. Здесь сознание пасует перед буйством российской жизни. У поколения нет ориентиров. В отсутствие познанного с детства мистического опыта писатели ведут поиски присутствия Бога — или хотя бы следов этого присутствия. Их поэтика есть поэтика мистического поиска в обычной бытовой действительности, уловления «капель света» в малостях, в глупейших пустяках. После «компрометации соцреализма и до некоторой степени реализма критического» «сухой остаток» — вот эти короткие рассказы, проза «пародийно-героическая, замешанная притом на вполне подлинной ностальгии, и тоске по идеалу, и жажде прекрасного»; со «свободным, естественным и свежим взглядом на вещи, неангажированностью». Критик полагает, кажется, что это, обозначенное им, направление является сегодня самым перспективным. К сожалению, заявленная идея не подкрепляется разбором текстов.

Александр Уланов в статье «Осколки авангарда» («Знамя», №9) пытается «проследить в современной литературе ряд признаков, свойственных авангарду начала века». В частности, Уланов находит в сегодняшней словесности примеры зауми, визуальной поэзии, звучащей поэзии. Современные авангардисты, однако, «своих предшественников не рвут, а исследуют и издают». Более того, сегодня «в условиях множественности норм авангардность оказывается относительной». Авантгард растворен «в огромной массе голосов». Он вписывается в постмодернистскую ситуацию, а постмодернизм унаследовал многие задачи авангарда. Многоглавая статья немного добавляет к обычным словопрениям по этому вопросу.

Евгения Щеглова в фельетоне «Подростковые игры поседевших мальчиков» («Нева», №7) ополчается на безвкусицу, порнографию в литературе. Сомнительные лавры современного Арцыбашева возлагаются ею на Игоря Тарасевича (за роман «Флиппер») и Валерия Попова («Разбойница» и «Будни гарема»). Михаила Веллера критик порицает за мешанину, путаницу понятий. Словом, мужчины-писатели проявляют себя ныне не лучшим образом. Это очередная попытка критика из Петербурга встать на пост благородного блюстителя морали и нравственности в литературе.

Станислав Золотцев в статье «Время гибели поэтов» («Независимая газета», 9 июля 1997) связывает расцвет поэзии с имперской (царской и советской) эпохой. Подлинные творцы поэзии в России не были ни открытыми врагами Империи, ни ее лакеями. И убивала их не «система». И поэт, и Империя — творения прежде всего русского народа. Сегодня же «поэтов убивает само Время». Оказывается, человек как общественная ценность нужен только империи. А без нее он никому не нужен со своей «самоценностью», и гибель его никем не замечается. Исчезает в стране воздух, которым может дышать человек искусства. Его не слышат, не замечают. На наших глазах происходит сейчас вымирание творцов отечественной поэзии. Кто погибает в пьяном маразме, кто — вообще «при неясенных обстоятельствах». «И — ничего! Происходит массовая гибель

русских поэтов, а — ничего!» Россия погибнет «с предсмертным криком последнего убиваемого русского поэта». «Но не верится, что Господь даст этому свершится». Эта не слишком оригинальная транскрипция идей Константина Леонтьева увлекает нешуточной увлеченностью автора своим предметом.

Наталья Иванова в статье «Накошитель» («Дружба народов», № 7) делится «избирательными впечатлениями» о прозе, опубликованной в журналах в первой половине 1997 года. Впечатления дробные и пестрые, кое-что из них (а может, и всё) уже было опубликовано в газетах. В авторской разбросанности преломился плюорализм без берегов, характерный для литературной позиции критика. Заметим некоторые суждения. Сегодня, воспроизводит Иванова далеко не новые суждения, невыдуманные истории («мемуарно-биографического ряда») читатель предпочитает выдуманным. Пелевину не догнать в читательском успехе Рязанова или Клару Новикову. Хорош также артистизм (Синявский, Довлатов), но этот дар исчерпан и, в основном, исчерпан у нынешних литераторов (Пыцух, Толстая, Кураев). Еще хороша литература, которая помнит о читателе (Улицкая, Вишневецкая). Но «общую литературную пластинку — заело». Впрочем, у нас две литературы — либеральная и консервативная. Кстати, в «Новом мире» появилась эротика, на которую ополчался еще недавно в том же журнале «ворчливый провинциал Сердюченко». Против прогресса не попрешь, куда мы без эротики. О журнале же «Континент» сказано, что он — «крейсерообразный, тяжелый на разворот».

Еще одна статья **Натальи Ивановой**, «Ностальгическое» («Знамя», № 9), посвящена моде на советское ретро в современной культуре, прежде всего — на телевидении. Критик, суммируя широко распространенные идеи и концепты, говорит о двух периодах русского постсоветского искусства и литературы. Первый — период концептуализма, замешенного на деконструкции Большого стиля советской эпохи, пародийно-травестийном использовании его элементов. У Пригова, раннего Кибирова, Кенжеева, Е. Попова, Сорокина, Пелевина «разыгрывалась Кострома — праздник изготовления, воспевания, а затем сожжения и утопления советского чучела». Новый этап получил название «новой искренности» и «нового сентиментализма». Он основан на ностальгическом возвращении литературе утраченной эмоциональности и дает о себе знать в последних вещах Кенжеева, Кибирова, Пелевина. «Культурная ностальгия связана со стремлением упорядочить возникший в результате резкой исторической смены строя жизни хаос, осмыслить прошлое, — агрессивная ностальгия обеспечена настойчивым желанием удержаться в прошлом, это прошлое насилиственно вернуть».

Капитолина Кокшенова публикует заметки о современной культуре «Всё стало спорно со времен гражданских идеалов» («Москва», № 9). Кокшенова отмечает, что в современной культуре «ничто не выступает единой нормой», сама культура мозаична, ее проявления разрознены при общем отсутствии Большого стиля. Традиция, означенная в культуре при-

вычным нам понятием «классика», «может выступать и выступает как вызов, обращенный к историческому настоящему (современности)». Именно классическая (высокая) культура, по мнению критика, способна «содействовать намерениям восстановления порядка в культуре», «где под «порядком» понимается иерархическая система ценностей. Но фактов высокой культуры почти не отмечено, противостоящая советскому официозу «культура для себя» не оправдала возложенные на нее надежды, вследствие чего деградировала и перестала быть самодостойной. С грустью отмечает Кокшенова, что итоги можно не подводить — практически ни к чему, мир культуры усилиями псевдонановаторов и адаптаторов приобрел бесцельный профанский характер. Всё становится без- (-идейно, -лично, -вольно, -гранично) и в то же время *обще*- (-разрушительно и -употребительно). Высший идеал (нравственный) подменяется идеалом гражданским — а значит, по приговору критика, — условным.

Татьяна Морозова в статье «После долгого воздержания» («Дружба народов», №9) пишет о современном российском любовном романе как жанре массовой литературы. Такой любовный роман поставлен на поток. Сложилась градация в рамках жанра — от красного романа к розовому, в зависимости от силы страстей, а также романы любовно-исторические и любовно-детективные. У жанра есть законы: женское имя автора; повествование от третьего лица; действие должно идти здесь и теперь; периодическое появление эротических сцен; психологичность («имитация психологического поведения героев»); авантюристичность; подробность («душевные порывы рассматриваются под микроскопом»); главная героиня — женщина, а герой обязан ее любить и быть человеком обеспеченным; счастливый конец. Статья имеет рецептурный характер. Разбираются примеры жанра, романы Анны Берсеневой, Анастасии Крыловой, Ольги Бронской и других.

Появилось и несколько статей (а также содержательных рецензий), *портретирующих современного литератора*. Среди прозаиков этой части удостоились впервые или после долгого перерыва Поляков, Азольский, Ефимов... Есть у критики и любимцы, те, о которых писать, очевидно, интереснее, чем о прочих.

Борис Соколов в статье «Два лица постсоветской литературы» («Дружба народов», № 6) ведет речь о прозе Юрия Полякова и Владимира Сорокина. Оба пришли в литературу в 80-е — но представляют собой полярные фигуры в современной русской словесности. У них одни темы (традиционные для соцреализма): школа, армия, районные будни... Оба отталкивались от этого творческого метода. Но один добросовестно пишет всё, как есть, а другой выворачивает эстетику соцреализма наизнанку, стремясь продемонстрировать идиотизм и метода, и действительности, которую тот призван был адекватно отразить. Критик подробно показывает, как это происходит у названных авторов, резюмируя: «Поляков и Сорокин демонстрируют нам два пути развития постсоцреалистической литературы: либо возвращение к не стесненному цензурой старому доб-

рому традиционному реализму, либо тернистая дорога литературного эксперимента (...) Кто более истории ценен — покажет время». В этих рассуждениях мало концептуальной новизны, но, пожалуй, преувеличена значимость авторов, которые, в общем-то, отнюдь не являются первопроходцами.

Никита Елисеев в статье «Азольский и его герой» («Новый мир», № 8) размышляет о творчестве Анатолия Азольского в своей обычной манере: беглыми касаниями в небольших главках он дает представление о некоторых заинтересовавших его мотивах и темах. Азольский был «честным советским писателем», за что и пострадал от цензуры. Он пишет притчи, может быть, даже басни, с моралью. Его герой прост, но у него достанет ума, чтобы с честью выйти из столкновения с КГБ. Этот человек хорошо умеет делать свое дело и способен побеждать. Такого героя в русской литературе еще не было. Писатель ищет гармонии долга со свободой. Быть может, такое возможно в какой-то идеальной империи. Но не в СССР. Здесь герой хочет служить, а ему не дают. Критик сравнивает Азольского с Кафкой и русскими классиками, с «производственным романом».

Дмитрий Быков в статье «Песни о тараканах» («Общая газета», №38) критически отзывается о сочинениях Людмилы Петрушевской, «самого успешного» (наряду с Токаревой) прозаика современности, в связи с выходом в свет ее пятитомника. По Быкову, Петрушевская и Токарева — две современные модификации Чарской. Между тем, по мнению критика, примерно половина сочинений Петрушевской — это «несерьезно». Сказка испытывается на прочность контрастом с ужасной жизнью, жизнь подменяется насквозь искусственной ситуацией. В прозе огромное количество больных и сумасшедших, но за предельной достоверностью медицинских реалий скрывается незнание жизни в более широком смысле слова: узкий круг неизменных статичных типажей, отсутствие психологических мотивировок. Быков отмечает монотонность и безжалостную редукцию действительности как явные пороки прозы Петрушевской. Главный побудительный мотив ее прозы — мстительность. Тут слышен обиженный голос обманутой веры, не выдержавшей столкновения с реальностью. Эта проза колотит читателя все яростней. Ее автор явно начал получать удовольствие от криков жертвы.

Лиля Пани в статье «Две одиссеи Игоря Ефимова» («Звезда», №8) по случаю 60-летия этого автора, живущего в США, разбирает роман писателя «Не мир, но меч», отмечая остроту постановки в нем вопроса о человеческой свободе и предопределении. Затем подробнейше осмысливается книга Ефимова «Седьмая жена», где автор размышляет о любви и эросе.

Весьма занятную статью посвятила Виктору Ерофееву **В. Фомина** («Метафизический Ерофеев и как с ним бороться». — «Дружба народов», №7). Во первых строках она объявляет, что Виктор Ерофеев — живой классик. По силе воздействия, по концентрации проблем, чистоте стиля и неповторимости образов. Его надо прочитать дважды, чтобы открыть «тонкие вибрации его поэтики». Он математик и поэт, а не просто

«чернушник». Нельзя его запрещать, замалчивать. Если есть зло, то должна быть и литература зла. «Заслуга Ерофеева в том, что он первый в русской литературе прошел до самого конца по дороге зла. Все. Описана и воспета мерзость, притаившаяся в наших душах (...) И кто из нас не заражен этой болезнью, кто из нас не мечтал отрезать секатором голову живущему с тобой родному человеку...» От уровня читателя зависит, как понять зло у писателя: воспевание это, обличение или описание без вывода. «Ерофеев говорит правду, говорит умно и талантливо, в этом его заслуга и значение». «По мнению одного психоаналитика (...) у Ерофеева очень сильная, лидирующая *anima* (женская часть души), причем фригидная, поэтому ее вдохновляют (или пробуждают) сексуальные садо-мазохистские картинки и арго, и как следствие наблюдается склонность к суициду». Фомина задается вопросом: какая сила стоит за спиной Ерофеева и водит его рукой, какова ее цель? Ответ таков: «рукой Ерофеева водит не СИЛА, а СИЛЫ. Идет страшная борьба». «Какой же он все-таки наш со своей метафизической брешью. Совершенно русско-традиционный в своих метаниях (...) Я восхищаюсь его отчаянной смелостью в выборе пути и молюсь о его душе, да и о своей заодно».

Ольга Славникова («Урал», № 3) рецензирует роман Дмитрия Липскерова «Сорок лет Чанчжоэ» (этот роман выдвинут на Букера, как и роман самой Ольги Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» — о нем см. «Континет» № 92, с. 390). Критик называет Липскерова «создателем русского Макондо», сравнивая роман о Чанчжоэ с романом Маркеса «Сто лет одиночества». Оставаясь в пределах заданной Маркесом чрезвычайно емкой модели, Липскеров, по мнению Славниковой, наполнил ее чисто русским содержанием, талантливо «переведя» Маркеса на русский язык, на русские реалии, на русский менталитет. «Земля на российских окраинах не круглая: наиболее естественным становится там представление о плоской тверди на трех китах... время, как и у Маркеса, идет по закону песочных часов: может струиться пестрой ниточкой, но может и закончиться, может стоять, заставляя события сбиваться в неразличимую кучу, может снова побежать от переворота...» Тем не менее это сходство не есть калька или вторичность, а вполне закономерное появление произведения, написанного в подобной традиции.

Рассуждая о прозе Асара Эппеля, Дмитрий Пилищук («Неописуемые караты». — «Октябрь», № 7) находит ее основное достоинство в том, что здесь речь идет «о чем-то простом и в наши дни столь труднодостижимом, почти невозможном, едва ли не запретном: о чуде каждого из мгновений жизни, помноженных на чудо языка, памяти, творчества».

Александр Генис в своей очередной «беседе о новой словесности» рассуждает о Татьяне Толстой («Рисунок на полях». — «Звезда», № 9). По его словам, «ее тема — бегство в замкнутый мир, отгороженный от пошлой будничности прекрасными метафорическими деталями. Чаще всего это — мир детства». Главный же секрет обаяния Толстой — в лишних историях, не имеющих никакого отношения к сюжету.

Татьяна Бек с похвалой пишет о «Романе-воспоминании» Анатолия Рыбакова («Мой XX век». — «Общая газета», № 32). Здесь процесс воспоминания по интенсивности и причудливости своей уравнялся с романом. Рыбаков научился говорить *всю* правду. *Былое* воссоздается красочно и выпукло, точно и детально, а *думы* составляют мощную историко-публицистическую часть вещи. Самая сильная сторона мемуаров — портрет.

Владимир Славецкий в статье «Мучительная проза» («Новый мир», № 8) откликается на роман Олега Павлова «Дело Матюшина». Критик полагает, что налицо не социальная беллетристика, не картина нравов, не сатира на то ли «савецкую», то ли «расейскую» действительность, а «трагедийная «повесть поэтическая» об аде душевном и о некоем роковом проклятии», о вырождении человека.

Ключ к личности автора ищет в прозе и публицистике Станислава Куняева Лев Анинский в своей авторской рубрике «Эхо» (статья «Средь шумного бара...» — «Дружба народов», № 7). С чем-то соглашаясь, чего-то не понимая, критик-эссеист приходит к выводу, что душа-то у Куняева «добрейшая», да вот заковал он себя в доктрину русского почвенничества, потому что «вне доктрины душа слишком незащищена».

В отзыве Александра Соколянского «Служба кабаку» на мемуары певца Михаила Шуфутинского («Общая газета», № 42) автор пытается осмыслить их как культурное явление. Мемуары свидетельствуют: ресторанный певец твердо уверен, что ему отведено место в Большой Культуре. В песнях Шуфутинского и Розенбаума, знакомых Соколянскому с молодости, была нарочитая невсамделишность, веселое соединение куража и угодливости. Эта песня звучит для отдыхающего клиента, а не сама по себе, как у Высоцкого. Ее место именно там, где человек выпивает и закусывает, желая иметь бесхитростные удовольствия. В кабаком весельи нет ничего плохого: лишь бы только было куда выйти из кабака. Публикация мемуаров Шуфутинского косвенно подтверждает, что сейчас выйти оттуда почти невозможно: кабак слишком распространился, и Большой Культуре придется пропиться до креста. «Брайтон-Бич покорил Россию».

Есть статьи и о современных поэтах.

Автор из США Виктор Дмитриев в огромной, полемически заряженной статье «Авангардисты седьмого дня и поэт Стратановский» («Звезда», № 9) сначала критически разбирает взгляды Михаила Эпштейна на авангардизм в искусстве и декларирует весьма негативное отношение к авангардистам («Они вбегают в музей с писсуаром и думают, что лет на двести опередили человечество, а оказывается, что крестьяне из Зимнего дворца были гораздо смелее их»). Напротив, лирический герой книги Сергея Стратановского «Стихи» (1993) — «тот самый пушкинский пророк, которого так лихо разуделили модернисты». «Пророк Стратановского очень тих, незаметен, но под его сереньким скромным пиджачком сложены мощные архангеловы крылья, имя которым — поэзия». В дальнейшем Дмитриев снова и снова противопоставляет Эпштейну Стратановского и

Стратановскому Эпштейна, завершая статью уверенным прогнозом: «Все эти авангардизмы, постмодернизы, концептуализмы, что там еще? Все развеется ветром времени. А стихи Сергея Стратановского останутся. Вот это и будет — постмодернизм».

Куда менее полемична, но столь же пространна и эмоциональна статья Олега Шаркова «Путешествие в святая святых, или Ольгазмы русского поэта в граде святого Петра и в земле Баден-Бюртэмберг» («Нева», № 7), посвященная жизни и творчеству поэтессы Ольги Бешенковской и различным смежным сюжетам. Критик не столько анализирует стихи поэтессы, сколько восхищается ими, кипит эмоциями, предается ассоциативным фантазиям. Намечает какие-то извилистые ходы мысли, следить за которой не всегда легко. О Бешенковской, в частности, сказано: «Ее поэзия умна демонстративно. С неприятием ереси неслыханной простоты (...) Почва же, на которой произрастает сложность ее поэтического мышления — индивидуализм. Страшно, аж жуты! (...) Грех — ровно дышать, внимая стихам Бешенковской. Что есть, то есть: она поэт милостью Божьей. А вдруг — о чудо! Все это поймут?».

Виктор Куллэ в статье «Сергей Гандлевский: «Поэзия... бежит ухищрений и лукавства» («Знамя», № 6) рассказывает о творческой и духовной биографии известного современного поэта, отталкивающегося вместе с друзьями от официально признанной литературы, от традиции Серебряного века, но не приемлющего и новояза. Он определяет свой метод как «критический сентиментализм». В стихах Гандлевского есть приятие жизни во всей ее полноте, есть и подспудная горечь, и направленная на себя ирония. (См. также статью самого Гандлевского «Августовские тезисы». — «Общая газета», № 31).

Новые стихи Андрея Вознесенского из его сборника «Casino «Россия» оценивает Александр Гаврилов в рецензии «Бег по кругу в поисках слова» («КО Ex libris НГ», 16 октября 1997). Любимый новый прием поэта — слиянное бормотание (типа: «А у нас сауна саунасаунасауна»). У приема этого механический привкус. За ним критику чудится внутренняя опустошенность. Эту пустоту тщетно старается заполнить собой злободневность. Хуже всего Вознесенскому даются умственные обобщения. Чем серьезнее повод, тем жутче на трагическом надрыве изменяет поэту вкус.

Юрий Кублановский в «Новом мире» (№ 7) пишет о современных поэтессах. Наталья Горбаневская ориентировалась на круг культурных и идейных единомышленников; «лапидарные необъемные тексты сразу вводят в суть дела»; стихи — не «дома», а «гнезда», лирический же герой — птица-труженица, неутомимая бесстрашная работница. Светлана Кекова — человек с обостренным мистическим чувством, она поэтически воплощает размытость и проницаемость границ реального с ирреальным; в ее поэзии есть ненатужный сюрреализм, ненасильственность стихового потока и нет повествовательной обязаловки.

Статья Владимира Гусева «Личное и народное. Феномен Вадима Кожинова» («Москва», № 7) посвящена циклу очерков Кожинова в

журнале «Русская провинция» об Аксакове, Пушкине, Чаадаеве, Гоголе, Тютчеве, Достоевском, Пришвине и Шолохове. Из содержания восторженно-экзальтированной беспорядочной статьи Гусева становится ясно многое, в том числе, что главная любовь Вадима Кожинова — «Россия и ее культура в их народном, «почвенном» выражении», «его любимая атмосфера — бахтинской двойственности, многоголосия, нерешенности»; что Кожинов пытается героически доказать, что «Мертвые души» являются не сатирой, а именно поэмой, а что лирика Тютчева, — «не личность, как таковая, а соборность» etc. — в общем, ясно всё, кроме того, в чем же все-таки заключается феномен Вадима Кожинова.

Особняком стоят *статьи о журналах, их направлении, достижениях и провалах*.

Дмитрий Бак в содержательной заметке «**Сто историй о настоящем в журнале «Октябрь»**» («Общая газета», № 31) размышляет о названном издании. Направление журнала весьма трудно определить, в нем присутствует гремучая смесь взглядов и пристрастий. Но критик видит тут плюс. Такова уж эпоха, лишенная единого миросозерцания, общепонятного идеологического поведения. Журнал представляет на своих страницах «сто слепящих фотографий» пока еще неуловимой, зыбкой современности. «Октябрь» сосредоточился на сегодняшнем дне со всеми его странностями и неурядицами.

Андрей Василевский в заметке «**Ну что ему Гертуруда?**» под рубрикой «**По ходу текста**» («Новый мир», № 8) откликнулся на статью Льва Боброва «Гамлетовщина: быть или не быть ее культу» в журнале «Молодая гвардия» (1997, № 3). Василевский иронически утверждает, что имеет место «изощренная вражеская провокация»: «коварные враги (гуманисты, катастройщики, бывшие диссиденты, потомки древних иудеев и проч.) в бессильной ярости отвели, что называется, глаза главному редактору и под видом «русской мысли» протащили на страницы неувядаемого патриотического журнала заведомо ПАРОДИЙНЫЙ ДИСКУРС», чтобы выставить журнал на посмешище. «Надо признать: им это удалось».

Вячеслав Курицын в статье «**Время множить приставки**» («Октябрь», № 7) признается в том, что ему куда интереснее, чем романы, читать библиографические заметки. В частности — библиографический отдел «Континента». Критик связывает это с непофосностью времени, с потерей литературой своих глобальных задач, своей харизмы. Творчество лишается обязательности, становясь непринужденной забавой. Это состояние в культуре он называет «постпост-модернизмом».

Владимир ШОХИН

О ПРАВОСЛАВИИ, ЦАРЕСЛАВИИ И ВОЦЕРКОВЛЯЕМОМ МОНТАНИЗМЕ

(По поводу статьи прот. Валентина Асмуса и не только)

В сегодняшних настроениях многих авторов, пишущих на религиозные темы, отчетливо проступают мотивы, связанные с ощущением «последних времен». В соответствии с этим и участники любых дискуссий всё чаще выглядят в их оценке как участники некоего решающего диалога сил добра и зла на завершающем этапе космическо-исторической мистерии. Показательно при этом, что характер этих оценок зависит по преимуществу от того, принадлежит ли оцениваемый участник дискуссии к «партии» своей или чужой.

Эсхатологические настроения порождают состояние двойственное. С одной стороны, они вынуждают находиться в состоянии постоянной напряженности и страха перед лицом всеобщей апостасии (отступничества). И это некомфортно. С другой — перед лицом всё той же постоянной угрозы можно многое себе позволить. И это уже гораздо комфортнее.

Хороший пример одновременности этих состояний дает новейшая «охранительная» периодика, и даже один только выпуск «Радонежа» (1997, октябрь, № 16—17 [61]) может убедительно продокументировать сказанное.

Название передовицы газеты — «Для новых гонений на церковь уже всё подготовлено» — могло бы создать впечатление, что вновь наступают времена Траяна и Декия и префектам и проконсулам рассылаются рескрипты по организации мер по принуждению христиан к отречению от своей веры. Однако на самом деле столь ответственные слова сказаны по поводу... годовщины «Церковно-общественного вестника» — приложения к газете «Русская мысль», авторы которого пишут не то, что хотелось бы читать и слышать «Союзу православных граждан», от имени которого написана передовица и который, судя по контексту статьи, и отождествляет себя со всей Церковью.

Владимир ШОХИН — родился в 1951 году в Москве. Окончил философский факультет МГУ. Доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии РАН. Автор трех монографий и более 50 статей по истории восточной и русской философии. Живет в Москве.

В настоящей публикации не предполагается рассматривать вопрос, о чем авторы «Церковно-общественного вестника» пишут хорошо, а о чем плохо. Имеет место и то и другое, так как этих авторов много и они разные. Гораздо важнее, что задача обличительной статьи, которая против них направлена и которая представляет собою уже продолжение публикации, вышедшей два номера назад (с обещанием дальнейшего продолжения, не окончания), — держать благочестивого читателя в неослабном напряжении перед лицом постоянной опасности в преддверии Армагеддона. А заодно — выразить свое отношение к «критической богословской мысли» (с. 3) — устойчивому компоненту образа врага. В трех же других статьях последнего «Радонежа» демонстрируется, сколь многое «под апостасию» можно себе позволить.

В двухстраничной статье «Герои нашего времени и бог благотворительности» (с. 4–5) выражается острое беспокойство по поводу теплого отношения в современном мире, в том числе у и нас, к памяти двух недавно представившихся неправославных женщин — принцессы Дианы и матери Терезы. Первая вызывает эти чувства своей аристократической женственностью, вторая, напротив, самоотверженным аскетизмом, и обе — благотворительной деятельностью. Но первое достоинство крайне сомнительно с позиций ригоризма, напоминающего древний монтанизм (о нем ниже), а второе нетерпимо в связи с тем, что его носительница принадлежала «не к той конфессии». И потому автор статьи решил дезавуировать обеих: в первом случае основательно разобравшись в интимной жизни английской принцессы, во втором — разоблачив теологические погрешности монахини, специальные богословские курсы действительно не кончавшей, но спасшей тем не менее множество людей от голодной смерти и ставшей всемирным символом христианского милосердия. «Сомнительность» жизни одной из этих женщин и догматического сознания другой оказалась для автора достаточным поводом, чтобы заговорить о сомнительности благотворительной деятельности вообще (поскольку она может быть использована не теми и не так, как нужно).

Отметим, что автор был полностью поддержан редакцией газеты. На первой же странице обсуждаемого номера «Радонежа» она поместила саркастическое замечание о том, что «в массовом сознании наших современников благотворительность оправдывает всё. А святость в конце XX в. напрямую зависит от участия в благотворительной деятельности». В этой связи возникает, правда, вопрос о том, как следует понимать помещенное в том же номере информационное сообщение под названием «Пленены православные благотворители» (с. 21), где читателям сообщается, что 20 сентября 1997 г. на границе Ингушетии и Чечни были взяты в заложники два сотрудника Международного православного благотворительного объединения, сопровождавшие груз гуманитарной помощи для граждан Ингушетии. Исходя из логики «Радонежа» не совсем просто определить, на чьей же стороне редакция газеты — тех, кого захватили в

заложники или же, напротив, тех северокавказских граждан, которые решили по-своему противодействовать стереотипам «массового сознания наших современников».

Что же до аргументов автора статьи «Герои нашего времени...» против матери Терезы, то они сводятся к тому, что апостолы в Лидде или Филиппах не организовывали для язычников благотворительные столевые и больницы, чтобы лишь потом начать проповедь; что Иисус Христос дал последнюю заповедь не о благотворительности, но о крещении народов во имя Отца и Сына и Святого Духа (Мф 28: 16) и что благотворительность используют в целях прозелитизма также сайентологи и кришнаиты. Однако при цитировании последней заповеди Спасителя умалчивается, что задолго до нее Он дал, по тому же Евангелию, и другую, имеющую определяющее значение для всей «миссионерской стратегии» христианства: «Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да видят добрая дела ваша и прославят Отца вашего Иже есть на небесех» (Мф 5: 16). И уточнил, что если праведность Его учеников не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то они не войдут в Царство Небесное. Не совсем понятно и то, как автор статьи, позиция которого в свете этих критериев является однозначно фарисейской, не будучи особенно «книжной», должен относиться к деятельности прав. Иоанна Кронштадтского, который принадлежал уже к самой бесспорной конфессии, но организовал беспрецедентный для своего времени опыт благотворительности и при этом начинал не с экзаменации приходивших к нему за помощью по катехизису, а показывал им вначале на деле, что есть христианство, и благотворил не только православным, но и инославным, а также мусульманам и другим иноверцам. Аргумент же относительно того, что благотворительностью могут воспользоваться для своей агитации также тоталитарные секты, не более убедителен, чем рассуждение о вреде для человека огня и металла на том основании, что ими пользуются также поджигатели и разбойники. Очевидно, что подобные статьи с соответствующими редакторскими ремарками в многотиражной православной газете могут оказать не лучшее воздействие на первые зачатки церковной благотворительности в нашей стране и, соответственно, будут только способствовать успехам прозелитической деятельности указанных сект.

Обратимся, однако, и к другим публикациям 61-го номера «Радонежа». В краткой, но выразительной и по названию и по содержанию статье «Академик С. С. Аверинцев в роли тяжелой артиллерии» (с. 9), широко известный в настоящее время конфликт в храме Успения в Печатниках (анализ которого не входит в наши задачи) использован для выражения нескрываемой классово-духовной неприязни к отечественной интелигенции: о крупнейшем представителе отечественной гуманитарной культуры с полной раскованностью (в духе пролетарского разговора с «профессорами» в эпоху победившего социализма) сообщается, что он сразу после очередного приезда из заграницы «сделал вылазку» (курсив мой. — В.Ш.) на радиостанцию «Эхо Москвы». Затем отмечено, что он

якобы потребовал от высших церковных властей обратиться в третейский суд по поводу означенного конфликта — «по всей видимости, к тому же самому, милому его сердцу Риму...». А в самом конце автор статьи выражает нескрываемую надежду, что «отныне вряд ли репутация академика, доселе сохранявшаяся незапятнанной, останется такой же чистой». Словом, статья тоже имеет воспитательное значение: благочестивый читатель должен быть с академиками начеку.

При всей однозначности статьи про «тяжелую артиллерию» она, однако, еще только предупреждает об опасности для церкви ученых гуманистариев. В самой же «ударной» публикации рассматриваемого номера «Радонежа», статье протоиерея Валентина Асмуса «Открытия господина Шохина» (с. 8), прямо сказано, что автору этих строк *«неприятно в той Церкви, которая живет тысячелетними святоотеческими традициями. Ему хотелось бы, чтобы в Церкви доминировала «критически мыслящая интеллигенция». Увы, пример г-на Шохина заставляет думать о такой перспективе с ужасом»*.

Речь идет о моей статье «Преемство или «вечное возвращение?», опубликованной в «Континенте» № 92 (1997, № 2, апрель—июнь).

Скажу сразу, что я приписываемого мне желания (как и многое из того, что приписал мне мой оппонент) в своей статье не выражал. Тем не менее, она, как видим, вызвала у отца В. Асмуса столь сильные чувства, что он воочию представил себе апокалиптический кошмар в виде «критически мыслящей интеллигенции», присваивающей и себе какое-то место в Церкви, и эта-то перспектива и наполнила его «ужасом». Однако и у многих знакомых мне достаточно благочестивых читателей обсуждаемого номера «Радонежа» его собственная статья вызвала схожие эмоции. Правда, то, что стихия оскорблений, пронизывающих статью, этих читателей столь удивила, свидетельствует лишь о том, что Бог избавил их от чтения таких изданий как, скажем, «Советская Россия», «Русь православная» или «Завтра». Ибо и по своей общей направленности, и по стилистике статья о. Асмуса лучше всего подошла бы именно для них, — особенно для раздела «Символ веры» газеты «Завтра», где в кратких и сильных выражениях разоблачаются всяческие «христопрода́вцы». Впрочем, другую причину их удивления следует видеть, вероятно, все-таки в том, что они всё еще верны некоторым культурным стереотипам. Например, всё еще верят в то, что образованный священник, особенно если он с классическим филологическим образованием и декан богословского института, вряд ли должен пользоваться такими «первоизданными» орудиями дискуссии, как постоянные переходы с предмета полемики на саму личность оппонента или применение прямых ее оценок в качестве лучшего способа аргументации по обсуждаемому вопросу. Но, как видно, о культурных стереотипах в наше время ничего не стоит уже и забыть, если даже образованный священник способен перед лицом апостасии и мещащихся ему апокалиптических видений столь существенно преобразиться.

Прот. В. Асмус — отнюдь не новичок в области «обличительного богословия». Не приводя других примеров, можно отметить, что ему принадлежит самый весомый вклад (целых четыре публикации) в совсем недавно вышедшем сборнике «Современное обновленчество — протестантизм «восточного обряда», посвященном памяти известного карловца-кого* архиепископа Серафима (Соболева). Сборник отличается выдающимся оформлением, апеллирующим к простым сердцам. На обложке изображен корабль, символизирующий Вселенскую Церковь, и ее враги, одни из которых угрожают кораблю оружием, а другие пытаются с помощью крючьев перевернуть его. Среди снабженных оружием — «антихристос», понятный всем дракон, а также мучители-цари и Лютер (у него что-то вроде пищали). Среди вооруженных крючьями — римский папа, патриарх-экуменист и «злой обновленец» (в образе диавола). На обороте же воспроизведены фотографии тех, с кем сражаются составители сборника (отождествляющие себя, исходя из символики этого издательского шедевра, с кораблем Вселенской Церкви): «по краям» А. Введенского расположены о. Александр Борисов, о. Георгий Чистяков, игумен Иннокентий (Павлов) и о. Георгий Кочетков (его фотография слегка, для выразительности, ретуширована). Та же композиция, с добавлением еще одного лица, воспроизводится и в самом сборнике. Типологически оформление сборника более всего напоминает наглядную агитацию времен гражданской войны: корабль Вселенской Церкви функционально замещает тогдашний сакральный образ Первой Страны Социализма, его враги — Антанту и белогвардейцев, фотографии обновленцев — изображения Краснова, Врангеля и Колчака.

Что же до статей прот. В. Асмуса в этом сборнике, то их отличает, характерный для него обличительно-поучительный тон и множество обычных для него некорректностей по отношению к обличаемым им оппонентам. Так в статье «Засекреченная книга», посвященной книге свящ. Г. Кочеткова «Православное богослужение: русифицированные тексты вечерни, утрени и литургии» (автору статьи, по его признанию, удалось достать ее с большим трудом и притом окольными путями — из храма, где служит о. Георгий) о. Валентин приводит такое решительное сравнение в связи с предложенной русифицированной версией литургических текстов: «Какая-то известнейшая картина, написанная великим художником, вдруг предстает перед нами, переписанная бездарным маляром, еще и со всякими сознательными искажениями». В третьей статье о. Валентина в том же сборнике прямо говорится: «Если бы о. Георгий вдумывался в слова, то перевод от этого только выиграл бы». Характеристика какого-либо художника в качестве маляра — дело личной оценки,

* Русская Православная Церковь За границей, организованная русскими эмигрантами в югославском местечке Сремски Карловцы в 1922 г. и с 1927 г. находившаяся в оппозиции к политике Московской Патриархии как слишком терпимой к большевизму. — Ред.

но наличие именно «сознательных искажений» должно быть все-таки документировано и конкретизировано, а не только декларировано, как, к примеру, и замечание в другой статье «Нет истины, где нет любви» — о том, что на о. Георгия, как и о. Александра Борисова — «на обоих — на каждого по-своему — наложило глубокую печать многолетнее общение с радикальными протестантами» Ведь в других случаях автор цитированных слов весьма решительно требует документации сведений биографического характера, называя, например, «гнусной ложью» мою информацию о его особом отношении к Распутину. Во всех полемических статьях о. Валентина (кроме последней, посвященной книге иером. Илариона (Алфеева) — нет ни единой ссылки на страницу не только книги о. Георгия, но и других «рецензируемых» им изданий (даже тех, которые не сопровождаются оговорками, что их надо было доставать сложными путями)¹.

Претендую на объективность в оценке данной полемики потому, что по многим причинам никоим образом не являюсь сторонником переводов богослужебных текстов на русский язык. Что же касается книги «Победившие нивы», то она, по моему мнению, не только противоречит в ряде своих решающих пунктов Православию (прежде всего в связи с воззрениями ее автора на значение Божией Матери, трактовкой Евхаристии и иконопочитния), но я не стал бы так тесно сближать ее по существу совершенно неконфессиональную позицию (автор прямо пишет, что его устраивает «христианство с человеческим лицом», а не православное, католическое или протестантское)² и с протестантизмом, так как вряд ли какая либо серьезная протестантская деноминация приняла бы на себя ответственность за ее формулировки.

Показательно, однако, что даже в таком издании, как «Современное обновленчество...» и даже при всех допущенных там о. Валентином некорректностях по отношению к его оппонентам, он всё же не доходит здесь до прямых оскорблений их. В отличие от полемики со мной.

В чем же причины такой «стилистической» разницы? Их несколько.

Во-первых, я, рассматривая наследников мифа «Москва — третий Рим», уделил некоторое внимание среди них и о. Валентину, указав при этом и на его близость к карловацкой идеологии.

Во-вторых, в своей статье я привел аргументы, подвергающие сомнению рациональность наиболее распространенных доводов в пользу канонизации Николая II — отец же Валентин относится к тому, весьма влиятельному и чувствующему себя всё более уверенно направлению, для которого необходимость этой канонизации является не только главной и первостепенной задачей Русской православной церкви, но и имеет статус едва ли не дополнительного члена Символа Веры.

¹ См.: Современное обновленчество — протестантизм «восточного обряда». М., 1996. С. 77, 149, 152, 153 и т.д.

² Свящ. А. Борисов. Победившие нивы. М., 1994. С. 105.

В-третьих, в той же статье я провел связь между настойчивым стремлением к этой канонизации (при которой, на мой взгляд, приходится полностью проигнорировать и характер правления последнего нашего царя, и его отречение от правления, притом не только за себя, но и за сына, и прямые результаты этого правления) с идеей цезарепапизма — т.е. с представлением о том, что монарх является главой Церкви. Мой же оппонент является не только убежденным цезарепапистом, но и придерживается вполне последовательной в рамках такого мышления убежденности в том, что православие без императора не является Православием в собственном смысле, так как Церковь становится в таком случае «безглавной». Естественно, что с таких позиций мое неприятие цезарепапизма (как и сомнение в оправданности канонизации Николая II) выглядит в глазах представляемого о. Валентином направления особо еретическим и вызывает «ужас».

Замечу в этой связи что единственным православным богословом и публицистом, решившимся за последнее время на рассмотрение этого вопроса с позиций индивидуального разума, был диакон А. Кураев. Но ему очень быстро показали, что этот разум совсем не поощряется там, где дело решают мифы «коллективного сознания». Спустя очень краткое время он вынужден был констатировать следующее положение дел: «В начале века авторы «Вех» указывали на своеобразное «равнение налево» в либеральных кругах: нормативным интеллигентом и либералом считался террорист... Сегодня в Церкви аналогично выстраивается шеренга «равнения направо». Нормативный православный — это тот, кто считает, что жиды царя-мученика принесли в ритуальную жертву. Если кто-то полагает, что Николай Второй был действительно мучеником, но при этом молчит насчет «жидов», то само его умолчание уже заставляет подозревать в нем некие умысли против «чистоты веры». Ну а если кто-то выразит недоумение, стоит ли канонизировать человека, не без участия которого в России произошла катастрофа, «общественное мнение» незамедлительно заклеймит его как тайного жидомасона, «обновленца», «католика» и изменника православию.

Сами критерии православия удивительно сместились. Не согласие с Никео-Константинопольским Символом Веры, с учением Семи Вселенских Соборов считается теперь условием православного вероисповедания, а отношение к «еврейскому» и «монархическому» вопросам³.

Отец Валентин не принадлежит, конечно, к тем, для кого первостепенен «еврейский вопрос». Зато и одной моей позиции по «монархическому вопросу» оказалось для него вполне достаточно, чтобы отнести мое мировоззрение к «явному протестантизму».

В-четвертых, как ни «еретичны» мои взгляды, мой оппонент при всем желании никак не может подвергнуть сомнению мою лояльность по отношению к Церкви (что сам же и вынужден признать). И эту невозмож-

³ См.: Кураев А. Трудное восхождение. // Новый мир, 1993, № 6. С. 179.

ность причислить меня к журналистам из «Московского комсомольца», обновленцам или агентам Ватикана ему тоже оставалось как-то компенсировать за счет стилевой экспрессии.

В-пятых, наконец, в нашем церковном обществе весьма сильны тенденции клирономии — т.е. представления о том, что в Церкви священнослужители — всё, а обычные миряне — ничто, и потому по отношению к оппоненту-мирянину можно позволить себе то, что было бы невозможным в случае с клириком. (Добавим в скобках, что подобные умонастроения очень характерны для традиционного католицизма, будучи тесно связаны там с догматом о папской непогрешимости. Разница лишь в том, что у нас и отдельный иерей нередко считает себя располагающим папскими полномочиями.)

Всё это, вероятно, и может служить объяснением того, почему после очень краткого, но вполне тенденциозного изложения моей статьи на страницах «Радонежа» о. Валентин позволяет себе дать ее автору оценку, которая на страницах церковной прессы встречается нечасто: *«Самоуверенное невежество, ангажированность и беззастенчивая лживость — основные характеристики г-на доктора как автора указанной статьи, что ставит статью за пределы и науки, и морали и совершенно избавляет нас от обязанности обстоятельного опровержения»*.

В отличие от моего обличителя, я, со своей стороны, как раз воздержусь от прямой оценки личности протоиерея Валентина как «автора указанной статьи» и, напротив, воздам должное его благородному, заставившему его уклониться от обстоятельного опровержения основных моих тезисов (что, возможно, представило бы для него известные трудности).

Второе мое отличие от моего оппонента будет состоять в том, что я кратко пройдусь по всем его филиппикам, чтобы осветить стилистику и стратегию современных борцов с «апостасией».

1. *«К уже немолодой традиции генерального осуждения исторической России, — начинает свою статью мой оппонент, — присоединился и доктор философии, индолог Владимир Кириллович Шохин...»*

Здесь с самого начала желаемое выдается за действительное: о. В. Асмусу было бы, видимо, очень желательно, если бы противодействие исповедумому им цареславия исходило только от врагов «исторической России». Но приписать мне такую позицию можно только находясь, как говорили в «исторической России», на позициях «предзанятых». В статье нет осуждения не только России, но даже и ... монархии. Я прямо проакцентировал тот момент, что сами русские императоры несут как раз минимальную ответственность за сервилизм тех архиереев и священников, которые создавали цареславный кульп. Я отнюдь не скрывал монархических симпатий столь почитаемого мною свт. Филарета Московского (которые, однако, не помешали ему решительно препятствовать проявлениям цареславия как однозначной деформации христианского сознания). Напомню, что я также признал и большие достижения во внутренней политике Александра III, сожалея лишь о том, что они были сведены на

нет в правление его сына, — вопреки, добавим здесь, всем усилиям П.А. Столыпина сохранить их. Поэтому думаю всё же, что различать царей действовавших и бездействовавших — вовсе не означает еще «генерального осуждения» той страны, которой они правили.

2. «Как истый воспитанник советской философской школы, наш автор зорко усматривает причину этой исторической аномалии в определенном идеологическом уклоне». Здесь подразумевается моя мысль о том, что для России имело и имеет место «вечное возвращение» к определенным мифологическим идеологемам, важное место среди которых занимает миф о Третьем Риме.

Мой оппонент вполне серьезно полагает, что внимание к «идеологии» — специфический атрибут марксизма. Но этим он доказывает лишь, сколь рискованно играть на чужом поле — в данном случае историко-философском. Термин «идеология» был канонизирован как философская категория задолго до марксизма в 1796 г. французским мыслителем А. Дестют де Траси, который впоследствии разработал целую систему «*Éléments d'ideologie*» (в четырех томах — 1801—1815), считая реальным основателем учения об идеологии еще Э. Б. де Кондильяка (основной труд которого датируется 1754 г.). Впоследствии во Франции сложилась целая школа «идеологов», считавших, что на основании идеологии следует строить политику. Сторонником «идеологии» был одно время Наполеон, ставший впоследствии ее критиком вследствие конфликта с «идеологами». «Идеологию» предпочитают «метафизике» известнейший историк философии начала XIX в. Ж.-М. Дежеранд и мистик М. де Биран. Термин «немецкая идеология» в уничтожительном смысле обращает в 1851 г. по адресу своих противников-либералов абсолютно далекий от марксизма прусский премьер-министр О.Г. фон Мантельфель. Еще раньше об идеологии и в отрицательном и в положительном смысле писал Гёте. О «платоновской идеологии» говорил современник Гёте религиозный философ Ф. фон Баадер⁴. К «идеологии» обращались и в философии религии. В XX столетии об идеологии писали самые различные по направлению православные богословы — от прот. А. Шмемана до очень близкого моему оппоненту архиеп. Серафима Соболева, который написал даже известнейшую книгу «Русская идеология» — ее, по логике отца Асмуса, тоже следует отнести, очевидно, к «советской школе философии».

Вполне некомпетентно причисление моей концепции к указанной школе философии и с содержательной точки зрения: марксизм видит в идеологии осознанное или неосознанное выражение определенных классовых интересов, «социальный заказ», тогда как рассматриваемая мною идеологема видится мне отнюдь не социально ангажированной (Московское государство в начале XVI в. ангажировать ее еще не могло), но выражющей аберрацию собственно религиозного сознания.

⁴ Baader F. von. *Samtliche Werke*. Herausg. von F. Hoffmann. Bd. IV. Lpz., 1853, S.338.

3. «Автором первородного греха русской идеологии объявляется смиренный Филофей, старец Псковского Елеазарова монастыря...»

Сочувствие моего оппонента к идеи старца Филофея было мною уже выяснено в моей статье. Смиренным же автора идеи «Москва — Третий Рим», взявшего на себя историософский суд над Римом и Византией и начертавшего по своим простым понятиям будущее мировой истории, может считать только тот, кто имеет самое приблизительное представление о важнейшей христианской добродетели. Смиренным в таком случае следует признать и его прямого предшественника — бывшего языческого жреца (затем примкнувшего к христианству), «пророка» из Малой Азии Монтана, который еще во II в. н.э. назначил месторасположение «новому Иерусалиму» во фригийском граде Пепузе и заложил основы теории Царства Божьего «в одной отдельно взятой стране». Ведь именно эта теория является определяющей для идеи «Москва — Третий Рим» и нашла свое «превращенное» отражение в идеологии первого социалистического государства.

4. «Правда, Филофей не есть первовиновник этого греха: еще раньше падение, по Шохину, произошло в идеологических эмпирах Византии».

Здесь оппонент мою мысль очень удобно «округляет». На деле я писал о том, что хотя Филофей хотел видеть в московском великом князе преемника византийского василевса, сохранявшего (как государь «ромеев») до определенной эпохи отдельные «реликты» и эпитеты римского императора-первосяценика (от соответствующего титула отказался еще в конце IV в. благочестивый император Грациан), в Византии легитимного цареславия не было, так как официальной имперской доктриной была доктрина симфонии двух властей. И действительно, согласно знаменитой шестой новелле императора Юстиниана есть два наибольших дара Бога людям — священство и царство, каждый из которых имеет свое, особое назначение и которые реализуются в единстве, в совместной деятельности. Вследствие этого параллелизма значение патриарха в его статусе и полномочиях в церкви со временем всё более возрастало, и хотя проявления цезарепапизма нередко имели место на практике, они воспринимались как очевидное отклонение от нормы. Цареславие же в России восходит именно к мифу о Третьем Риме, в котором от этой симфонии не остается и следа, поскольку, как я писал на той же странице, «обе власти сливаются в единой деснице «единаго хрестьяном царя и браздодържателя святых божиих престол святыя вселенския апостольския церкве» (253).

5. «Под конец г-н Шохин с особым сладострастием исполняет должность «адвоката диавала» в процессе канонизации Царской семьи, договорившись до глумливого предложения канонизировать заодно и Сталина с Лениным». При этом отец В. Асмус ставит мне на вид в конце своей статьи двуединую апостольскую заповедь: «Бога бойтесь, царя чтите» (I Пет 2: 17).

Что ж, видимо, мы с ним вдвоем по-разному ее нарушаем, и если я, вероятно, недостаточно чту царя, то он не считает для себя нужным бояться Бога. В моем тексте действительно речь идет о том, что предложенные

специальной комиссией, которая была создана для рассмотрения проблемы, основные аргументы в пользу канонизации нашего последнего царя — в первую очередь его страстотерпчество, — могли бы оправдать и канонизацию, наряду с бесчисленным сонмом людей, также двух названных вождей мирового пролетариата, поскольку они также завершили свой жизненный путь не без вмешательства извне. Однако я вовсе не предлагаю их канонизацию, но со страхом и трепетом предполагаю, что в перспективе вопрос может стать и о ней тоже — ввиду всё более влиятельного у нас «православного» большевизма, который рассматривает Октябрь как «удержавшего» (в значении 2 Фес 2:7) Россию от западной апостасии. А потому, если Октябрю приписывается то, что, согласно многим нашим монархистам, составляло основную космологическую заслугу последнего русского самодержца (хотя на деле он «удержавшим» отнюдь не оказался), то и соответствующая оценка результатов правления руководителей «удержавшего» государства также может стать со временем предметом обсуждения. Так один из самых видных нынешних идеологов «православно-монархического большевизма» М. Назаров, очень много пишущий о России как «удерживающем», прямо утверждает, что в историософском контексте результаты Октября оказались иными, чем ожидали его «организаторы». «Интернационалистический марксизм подвергся на русской почве непредвиденной мутации, не выдержав конкуренции с тысячелетней русской историей. В этой генеральной репетиции Апокалипсиса, вопреки первоначальному сатанинскому замыслу, обнаружился иной, провиденциальный смысл: перехватив у февралистов власть, большевики ценою огромных жертв невольно удержали Россию от присоединения к западному апостасийному процессу, оставив нам шанс на иной путь после освобождения»⁵. В той же статье, опубликованной в одном из известнейших карловацких печатных органов (в последнее время карловчане относятся к большевизму лояльнее, чем прежде), прямо говорится о горькой, но заслуживающей понимания правде «бело-красных союзов» перед лицом нынешней апостасии и необходимости отказа от «прямолинейного» антикоммунизма (к которому автор относит и позицию А.И. Солженицына) с целью выяснить подлинную миссию России как Третьего Рима. А в одной из книг того же автора, посвященной еврейско-масонскому заговору против России, где специальный «параграф» посвящен идее Третьего Рима как миссии Святой Руси в качестве «удерживающего», проводятся дальнейшие историософские осмысления Октября, провиденциально противостоящего апостасийному Февралю: «Быть может это был последний «хирургический» шанс на спасение нашего русского призыва — вместо присоединения к апостасийной «общечеловеческой семье»

⁵ См.: Назаров М. Между коммунизмом и апостасией // Православная Русь, 1994, № 19. С. 6 (ср.: Назаров М. Запад, коммунизм и русский вопрос. В связи с возвращением А.И. Солженицына // Литературная Россия, 1994, № 38 (1650). С. 4).

уже в феврале 1917-го?.. Так, и татаро-монгольское иго было подобной катастрофой, однако — предотвратившей «латинизацию» ослабевшей от междуусобиц Руси и лишь сплотившей ее в выполнении своей миссии...»⁶ Трудно представить себе текст, который нуждался бы в меньших комментариях, чем процитированный, и трудно представить себе идеи, более опасные для Русской Православной Церкви сегодня: в сравнении с ними открытое богохульство прошлого большевизма по степени своей деструктивности было совершенно ничтожным.

В заключение добавлю, что ко всему почему я в своей статье еще и специально разъясняю в конце соответствующей сноски свою позицию в отношении Ленина и Сталина: «Сказанное не означает, что мы приравниваем Николая II по его духовно-нравственному облику к последним, речь идет о самих аргументах и формулировках, призванных оправдать его канонизацию» (268). Мой оппонент это также прекрасно прочитал, но поскольку в его задачу входило скомпрометировать меня сколько возможно перед широкой аудиторией православных читателей и обратить на меня их праведный гнев, он решил действовать по принципу «на войне как на войне», считая, что цель оправдывает средства (для чего и употреблен термин «адвокат дьявола» — см. об этом ниже). Данный принцип, конечно, универсален, и вряд ли есть смысл его обсуждать. Но кажется, что этике священника он всё же должен противоречить. Особенно если тот берется судить о том, кто находится или не находится «за пределами морали».

Я аккуратно откомментировал все без исключения претензии ко мне моего оппонента, изложенные уже в первой колонке его статьи. Дальнейшие ее темы разрабатываются стилистически неотличимо от проработок «меньшиivistствующих идеалистов» и прочих «скрытых вредителей» в эпоху 1930—1940-х годов. Ср. фразы: «Наш новый христианин» по-видимому, не читал Библии...», «высокоученый господин Шохин», «Захлебываясь от гнева, г-н Шохин обвиняет Русскую Церковь...», «И когда г-н Шохин, без всяких оснований, в тексте старца Филофея интерпретирует его мысль так, что «Христос остается только Главой Церкви Небесной, предоставляя великому князю всю Церковь земную», то мы имеем здесь дело с суждением в меру собственной испорченности нашего философа, в меру его собственной одержимости политическими и идеальными страстями». Последняя фраза особенно трогательна, так как если она вообще что-то означает, кроме того, что мой оппонент «захлебывается от гнева», так это то, что я... сам претендую на должность главы Церкви. Отец же Асмус, обвиняющий меня в одержимости страстями, как зерцало аскетического бесстрастия особенно убедителен...

В тех же интонациях обличается и мое невежество в истории отечественной письменности и культуры, хотя, должен признать, о. Валентин справедливо ставит мне на вид, что моя фраза в связи с Алексеем Михайловичем, согласно которой именно к его правлению «восходит и

⁶ См.: Назаров М. Заговор против России. Потсдам, 1993. С. 173.

начало поминовения царя за богослужением», недостаточно аргументирована. Но его опровержение ее тем, что уже в новозаветных текстах рекомендуется «творити молитвы, моления, прошения, благодарения за вся человеки, за царя и за всех, иже во власти суть», логически никак не соответствует своему назначению, поскольку речь идет не о новозаветных временах, но о Руси. А потому ему следовало бы указать, когда именно у нас начались первые поминовения царя до Алексея Михайловича на литургии. Другое изображение моей некомпетентности: я вижу сервиллизм в том, что именование «Христос» в значении «помазанник» писалось с прописной буквы и под титлом, хотя подобная орфография вообще характерна для старопечатной литературы (пример — Острожская Библия), особенно для гражданской печати. Но ведь речь-то идет не о самом правописании, а о намеренных барочных играх и с эпитетом и с правописанием (не знать это может только тот, кто не знает историю культуры), предполагавших совершенно сознательные намеки на двузначность. Нечто подобное делает и сам о. Валентин, когда пишет о том, что я взял на себя роль «адвоката диявола» на процессе канонизации царской семьи: он великолепно знает, что весьма многие читатели «Радонежа» не ведают, что *advocatus diaboli* — это специальный католический термин, означающий определенную церковную ритуальную «должность» в связи с канонизацией, и вполне могут счесть, что я действительно ангажирован князем тьмы, как того и хочет о. Асмус, действующий по принципу «на войне как на войне» (см. выше). Указанные же мною иерархи и иерей действовали по другому принципу: «служить так уж служить». И обильно использовали двузначности в своих видах. О том, каковы были эти словесные игры, свидетельствуют обращения к царю слов: «Вниди, Царь славы!» или именование того же царя «ангелом, Христом и Богом». (См. опять же мою статью в «Континенте» — с. 256.)

Отец Валентин остается верен своей методологии и своему стилю и при характеристике одного из авторитетнейших наших культурологов Б.А. Успенского (на материалы которого я ссылаюсь), представляя его читателю в качестве «старообрядца» (?) и обличая мое неуважение к такому перлу литургической поэзии, как стихира прот. Д. Разумовского «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в российском царстве благоволение...», а также несостоительность моей критики карловацких идеологов.

Здесь о. Валентином представлены сразу два «пункта». Первый — безосновательность моего утверждения о неприятии карловчанами самого института патриаршества. Опровержением служит то, что митр. Антоний (Храповицкий), позднее первоиерарх Зарубежного Синода, участвовал в восстановлении патриаршества в России. Опровержение не сильное, поскольку одно дело позиция означенного иерарха еще в России до создания Русской Зарубежной Церкви, совсем другое — позиция этой юрисдикции в эмиграции, после полного размежевания с Московским Патриархатом. У меня же речь идет именно о второй теме, не о первой.

Второй пункт — ошибочность моего утверждения об особых отношениях между карловацким Синодом и нацистами: здесь указывается на то,

что другие юрисдикции также не представляли в данном вопросе «того монолитного единства, которое было бы удобно г-ну Шохину»; в качестве примера приводится известнейший «евлогиани»*, «кумир нашей либеральной окольцерковной интелигенции» архим. Иоанн (Шаховской), который «на следующий день после нападения Гитлера на Россию написал в берлинской газете людоедскую статью». Этот пример важен о. Асмусу в связи с тем, что будущий архиепископ Сан-Францисский не был, как и я, энтузиастом канонизации Николая II, а для усиления аргументации дается ссылка на такого «злопыхателя карловчан», как Д. Поспеловский, который обвиняет их только в «бездействии по приказу немцев».

И здесь мой оппонент попадает впросак... В статье «Из истории русского церковного зарубежья» Д.В. Поспеловский приводит факты и цифры, подтверждающие тезис о том, что имело место «насильственное отбиение приходов у м. Евлогия при помощи гитлеровского гестапо и передача их карловчанам». Поспеловский сообщает, что уже к началу 1938 г. у евлогиан оставалось лишь 9 приходов в Германии, но очень скоро шесть из них были также отданы карловчанам. Далее тот же автор информирует о том, что это было выполнением обещаний нацистов Высшему монархическому совету, данное еще в 1921 г. через д-ра Розенберга, дополненное лишь тем условием, чтобы карловицкие приходы в Германии возглавлял немец (коим стал еп. Серафим (Ляде), принявший сан, что весьма существенно, от обновленцев на Украине, но принятый карловчанами в сущем сане без всяких затруднений). И далее Поспеловский приводит запись беседы того самого бывшего архим. Иоанна (Шаховского) с чиновником нацистского Министерства церковных дел Гауттом от 22 июня 1938 г., присланную ему самим Владыкой Иоанном 29 июня 1986 г. В этой беседе Гаутт требует от архим. Иоанна присоединения к «карловчанам» на том основании, что «мы двух церквей не хотим иметь и не допустим. Мы признали Карловицкий Синод... и только из этого факта можно исходить и с ним считаться». В ответ на сопротивление архим. Иоанна, настаивавшего на том, что «только внутреннее единение в Христовой любви может быть названо единением, а не внешнее», нацистский чиновник, в свою очередь, настаивал на том, что «православная церковь должна быть только одна и именно Карловицкого Синода...»⁷.

Что же касается общей позиции Владыки Иоанна по отношению к нацизму, то достаточно привести свидетельство из дневника княжны М. Васильчиковой, согласно которому он отслужил панихиду по А. Тротту и другим казненным за покушение на Гитлера и служил у себя на квартире

* Внесинодальная, отдельная от Русской Православной Церкви За границей зарубежная православная юрисдикция, возглавлявшаяся митр. Евлогием (Георгиевским). — Ред.

⁷ См.: Поспеловский Д.В. Из истории русского церковного зарубежья // Церковь и время. Ежеквартальный журнал ОВЦС Московского патриархата, 1991, № 1. С. 49—50.

молебен за оставшихся в живых антифашистов, хорошо, разумеется, зная, чем он рискует⁸.

Видимо, после этой информации моему оппоненту, который решил сослаться на Поспеловского, придется теперь усиленно обвинять последнего в дезинформации, а княжну Васильчикову дезавуировать как представительнице «околоцерковной либеральной интеллигентии». Но «бремя доказательств» ему придется брать уже на себя.

Упомяну, наконец, столь же аргументированное обличение меня в «гнусной лжи» и в «явном протестантизме» (несмотря на мою «церковную лояльность» — см. выше) со всеми вытекающими из этого скрытыми ересями вплоть до иконоборчества. Замечу, впрочем, в этой связи только то, что термин «протестант» употребляется в нашей «охранительной» литературе, как правило, в том же аморфном значении, как у индуистов слово *pasanda*, которое обозначает всякого, кто может придерживаться просто несколько иных взглядов и несколько иной обрядовой практики, чем тот, кто адресует ему этот бранный эпитет. Как можно видеть, это обозначение оправдывается и в случае со мной не тем, что мне вменяется, например, исповедание учения о спасении одной только верой, без дел (догмат лютеранства) или о предопределенности к спасению или осуждению (догмат кальвинизма), но лишь тем, что я не признаю «догмата о канонизации Николая II» (о смещениях в сегодняшнем догматическом сознании см. выше).

Теперь остановлюсь на протесте в связи с указанной стихией. «Издаваясь над стихией, составленной прот. Д. Разумовским (лучшим до революции историком русской церковной музыки), г-н Шохин и не догадывается, что о. протоиерей близко подражал знаменитой рождественской стихири IX века «Августу единоначальствующу на земли», а тема «империя — ровесница христианства» присутствует в святоотеческой мысли с первых веков».

Отец В. Асмус вынуждает меня еще раз процитировать литургический шедевр отца Разумовского: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в российском царстве благоволение; якоже бо от корене богоизбранного пророка царя Давида, и от плоти пречистыя Девы Марии, воссиял нам Христос Избавитель мира: сице от корене равноапостольного князя Владимира и от плоти благородныя фамилии и христианнейшия, и от священныя крови царских, воссиял нам Император наш Николай Павлович, истинный образ Иисуса Христа, венценосный и миропомазанный...»

Не буду задерживаться на той любопытной и достаточно наивной логике, согласно которой мое «издевательство» над этим «произведением» кажется о. Валентину тем более недопустимым, что «поэт» был «лучшим до революции историком русской церковной музыки». Гораздо важнее,

⁸ См.: Кн. Васильчикова М.И., Берлинский дневник (1940—1945). Преписл., послесл., коммент. и примеч. кн. Г.И. Васильчикова. М., 1994. С. 215—216.

что мой оппонент решается, несмотря на свое филологическое образование, сопоставлять это «произведение» с рождественской стихией IX в., составленной инокиней Кассией: «Августу единонаачальствуя на земли, многоначалие человеков преста: и Тебе вочеловечшуся от Чистыя, многобожие идолов упразднися. Под единем царством мирским гради быша, и во едино владычество Божества языцы вероваша. Написашася людие повелением кесаревым: написахомся вернии именем Божества, Тебе, вочеловечшагося Бога нашего. Велия Твоя милость, Господи, слава Тебе»⁹. Скажу в свое оправдание, что я и не мог заприметить никаких родственных связей между двумя стихирами по причине глобальности различий между ними.

Во-первых, инокиня Кассия, составившая рождественскую стихиу, в отличие от о. Д. Разумовского, ничего за свое произведение от Августа получить не собиралась, да по историческим причинам и не могла, тогда как он в своем верноподданической «ревности не по рассуждению» (Рим 10:2) преследовал и совершенно очевидные сервиллистские цели. У означенной инокини, во-вторых, был безусловный поэтический вкус и эллинское чувство меры — две добродетели, начисто отсутствовавшие у автора обсуждаемой пародии на великое славословие. В византийской стихире, в-третьих, осмысляются только судьбы Промысла Божия, распорядившегося так, что рождение Спасителя мира пришлось на время объединения этого мира средствами земного «единоначалия», тогда как в русской проводятся прямые параллели между «масштабностью» рождений Богочеловека и российского императора. Тема «империя — ровесница христианства» здесь совершенно ни при чем, ибо в стихире о. Разумовского речь ведется вовсе не об этом, а о типичных для нашего цареславия XVIII—XIX вв. сопоставлениях Бога Небесного с «богами земными», о которых и идет речь в моей статье. Однако доказать цареславно мыслящему, что в прославлении императора может присутствовать грубый панегирический китч, очень трудно, ибо у нас с ним, как писал в одном месте свт. Василий, архиепископ Кесарии Кападокийской, имеет место «явная разность в самой вере» (см. ниже).

Завершается статья последним ударом, призванным решить весь спор в пользу моего оппонента. Этот завершающий аккорд настолько патетичен, что я просто не могу не привести его:

«Судорожно ища себе единомышленников в среде учителей Церкви, г-н Шохин возомнил, что для «критически мыслящей интеллигенции» подходит свят. Филарет Московский. Думаю, приведенной ниже цитаты из проповеди свят. Филарета на день рождения Николая I достаточно, чтобы опрокинуть антиимонархические настроения и утования нашего философа».

И далее приводится текст, посвященный приведенному уже выше стиху «Бога бойтесь, царя чтите» (I Пет 2:17) и завершающийся словами, которые должны меня сразить наповал: «Согласно с сим Бог, по образу Своего небесного единоначалия, устроил на земли Царя; по образу Своего вседер-

⁹ Минея праздничная, содержащая службы Господним и Богородичным праздникам и святым избранным. М., 1970. С. 203.

жительства — Царя Самодержавного; по образу Своего царства непреходящего, продолжающегося от века и до века — Царя наследственного».

Ощущая себя после этой цитаты, видимо, в силе св. Георгия, о котором сказано: «ополчения вся беззаконных низложил еси», мой оппонент и не подозревает, что сильнейший удар его копья пришелся мимо цели. В том, что свт. Филарет был монархистом, я и до приведенной цитаты не сомневался (равно как и в его риторическом даре) и выше даже проакцентировал этот момент. В том, что монарх в церковном сознании может вполне легитимно восприниматься как символ божественного единоначия, я не сомневаюсь также. Но цезарепапизму, который является предметом нашей дискуссии, это ни в малейшей степени не помогает. Еще более символической фигурой, чем монарх, является в церковном сознании епископ, и уже не свт. Филарет, а сам ученик апостолов св. Игнатий Богоносец (II в.) призывает паству видеть в епископе Самого Христа, подчеркивая и тот момент, что без епископа, как и без Христа, нет Церкви¹⁰. Но мой оппонент вряд ли согласится признать на этом основании правоту римского папоцезаризма, если, конечно, не захочет присоединиться к его сторонникам. Аналогичным образом символология монархической власти ни в малейшей мере не препятствовала, как и показано в моей статье, неустанным противодействиям свт. Филарета цезарепапизму и на практике, и в теории. Причина в том, что и в папоцезаризме и в цезарепапизме осуществляется как раз отказ от символики в пользу буквальных толкований, и это-то и есть то самое иконо-борчество, которое приписывает мне мой оппонент. Поэтому о. Валентин с его победоносной цитатой до известной степени подобен тем, кто, по выражению одного древнеиндийского текста, начинают, когда их спрашивают о плоде хлебного дерева, рассказывать о плоде дерева мангового и наоборот¹¹.

Последняя тема, после которой я могу уже со спокойной душой рас проститься с моим оппонентом — это его понимание тех «тысячелетних святоотеческих традиций», которыми живет Церковь. По его убеждению, мне в них «неприютно», поскольку я желаю доминирования в Церкви «критически мыслящей интеллигенции», а ему, соответственно, «приютно». Святоотеческие традиции фигурируют в его статье дважды — и притом в обоих случаях именно в качестве прямого антипода «критически мыслящей интеллигенции». Из этого следует, что менталитет носителей этой традиции рассматривается им в качестве до-критического или вне-критического, а сами эти носители к интеллигенции совершенно непричастны.

Думаю, что подобная характеристика, слава Богу, действительности не соответствует. Великие Каппадокийцы, двое из которых, по воспоминаниям свт. Григория Богослова, знали в Афинах только две дороги — в храм и в

¹⁰ Послания к Ефесянам (гл. VI) и Смирнянам (гл. VIII). См.: Писания мужей апостольских. Введение, перевод и примечания прот. П. Преображенского. М., 1895. С. 272, 305.

¹¹ The Dīgha Nikāya. Ed. by T.W. Rhys Davids and J.E. Carpenter. Vol. 1. L., 1967. P. 53—59.

светскую школу, в которой они прилежнейшим образом изучали все «внешние науки» — принадлежали не просто к интеллигенции, но и к критически мыслящей. Они не только «храли предания», но и критически переосмыслия догматические формулировки своего времени, пользуясь достижениями платоновско-аристотелевско-плотиновской философии¹². Они-то и создали то догматическое предание, на котором и ныне стоит Церковь, и без этой их «критической работы» преодоление арианства, савеллианства и прочих богословских деформаций было бы неосуществимо. К «критически мыслящей интеллигенции» принадлежали также свт. Мартин I папа Римский и прп. Максим Исповедник, которые пошли против богословского единомыслия своего времени, принявшего монофелитскую ересь, решительно поддержанную эдиктами императора Ираклия. Святитель же Филарет Московский, на которого, по мнению моего оппонента, критически мыслящая интеллигенция никак «рассчитывать» не может, до конца дней отстаивал принцип «богословие рассуждает» и вызывал нестерпимую ненависть современных ему противников индивидуального разума «крамольными» рассуждениями о том, что можно давать новые толкования апостольским посланиям даже после того, как их истолковал Иоанн Златоуст, что нет нужды вооружаться против частных мнений, не отделяя их от ересей и смешивая одно с другим, и что изучение богословия имеет главной целью способствовать самостоятельной мысли и углублению этой мысли в Слово Писания, а не «нанизыванию» в памяти готовых решений всех богословских вопросов¹³.

Наконец, из того, что оспаривающему принципы цареславия и цезарепапизма должно быть «неприятно» в «тысячелетних святоотеческих традициях», по логике о. Валентина следует вывод, что указанные принципы этим древним традициям соответствуют. Что ж, может быть моему оппоненту известны те древние Отцы Церкви, которые были бы причастны царе-

¹² В связи с последним моментом см., в частности, весьма основательную статью: Диакон Г. Зяблицев. Плотин и святоотеческая литература // Богословские труды, 1992, № 31. С. 277–295.

¹³ Подробнее см.: Шахин В.К. Святитель Филарет Московский в истории русской философии // Альфа и Омега, 1996, № 4 (11). С. 222–225. Свт. Филарет обнаруживал «критическое мышление» и в том, что дивился смелости тех «ревнителей», которые, объявляя инославные конфессии еретическими (в том же смысле, что и древние ереси), брали на себя прерогативы Вселенского Собора, а ставя под сомнение возможность спасения для западных христиан, «восхищали Суд Божий». Так, весьма аргументированно доказывая в «Разговоре между испытующим и уверенным» правоту Церкви восточной в ее расхождениях с западной, он, тем не менее, приводит от лица Уверенного слова апостола Павла: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор 4: 5). При подобных рассуждениях, разумеется, не дивно, что «ревнители» называли его не только лютеранином, но и масоном.

славному культу или высказывали бы положение о том, что монарх есть глава Церкви. Мне, вероятно по причине моей малокомпетентности, на которой настаивает мой оппонент, такие precedents до сих пор неизвестны, хотя известны некоторые прямо противоположные. Думаю, что к «святоеоческим традициям» относится, к примеру, прп. Феодор Студит (+826 г.), который, став главным оплотом Православия против ереси иконоборчества, наследавшейся к его времени уже четвертым императором, твердо настаивал на том, что догматические вопросы никак не должны решаться во дворце, а царская власть не имеет никакого права выходить за пределы своей легитимности¹⁴.

Что же касается цареславия как культа императора, то до нас дошли некоторые опыты его литературной реализации, которые относятся к тому времени, когда еще и Святых Отцов не было, но которые зато предвосхищают то сервильское творчество отечественных духовных и светских писателей, коему посвящена была частично моя статья (за что на меня особенно обиделся о. В. Асмус). Например, римский придворный поэт I в. Калльпурний в своих «Эклогах» сообщал, что цезарь Нерон (первый садистический гонитель христианства) — бог, правящий народом и посланный из эмпирей, и уповал на то, что этот «земной бог» еще долго будет царствовать на земле и не скоро присоединится к близким ему небожителям. Плиний Младший (I—II в.) в знаменитом «Панегирике императору Траяну» (следующему гонителю христиан) сравнивает его по добродетелям с небожителями, выражает мнение, что ему «подобает равная почти с бессмертными богами власть», называет его «отцом человеческого рода», к груди которого нежно припадает всё испуганное государство¹⁵, и те же мотивы слышатся в речах известного предста-

¹⁴ Так, в «Надгробном слове» прп. Никиты Исповедника, «списанном» его учеником Феостириком и вошедшем в Великий Минеи Четии свт. Макария, приводится ответ прп. Феодора императору-иконоборцу Льву V Армянину, в котором предельно ясно ставятся точки над «и» в вопросе о разделении полномочий светской и духовной власти: «Отвеша же Феодор, теплый учитель церковный, студийский игумен, рекы: «Не зазираите, о царю, церковного строя. Рекл бо есть апостол: «и овы бо положи Бог в церкви первое апостолы, и второе пророкы, третие пастухи (пастыри. — В.П.) и учителя на утверждение церкви» (Еф 4:11), а не рече «царя». Тебе убо, о царю, поручени суть гради и вои. Да о томъ пецися, а церковное остави «пастухом и учителем», по апостолу». См.: Великий Минеи Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Апрель. Тетради I—III. М., 1910—1915. С. 80.

¹⁵ Письма Плиния Младшего. Книги I—X. Изд. подгот. М.Е. Сергеенко, А.И. Доватур. М., 1982. С. 212, 214 — 216. Ср. «видение» киевского проповедника Иоанна Лаванды, который узрел в Александре II «ангела, Христа и Бога», обращения «отечественного Калльпурния» В.П. Петрова к Екатерине: «Ты Бог, Ты Бог, не человек...» или его же «тайнозрения» взаимоотношений России и Павла I: «Стремится тако днесъ душа ея к Нему, / Ко воскресителю и Богу своему». См. мою статью в «Континенте» — С. 256—257.

вителя второй софистики Диона Хризостома, также снискавшего милости у Траяна. Что же касается цезарепапистского догмата, то он получил формулировку значительно позднее. Так инициатор иконоборчества в государственном масштабе Лев III Исаев (716—741) в предисловии к изданному им сборнику законов «Эклоге» указывал, что «Господь, вручив царство императорам, вместе с тем повелел им пасти верное стадо Христово по примеру Петра, главы Апостолов»¹⁶. Здесь цезарепапизм имитирует папоцезаризм, но более известны опыты его легитимизации в оппозицию римской экклезиологии (богословское учение о Церкви). Наиболее известный прецедент — постановления английского короля Генриха VIII, который окончательно порвал с папой ради развода с Екатериной Арагонской. Согласно парламентским статутам двадцать пятого года его правления (1534 г.) король Англии утверждался правительской и апелляционной инстанцией по всем церковным делам (гл. 19, 21), ему предоставлялось замещение высших церковных должностей (гл. 20) и десятина церковных доходов, как до того папе (гл. 3), а в 1535 г. он был формально признан единственным земным главой английской церкви (статуты двадцать шестого года правления Генриха VIII, гл. 1). «Единственный глава церкви» получал право на введение всех догматических и уставных постановлений (вплоть до тех, что касались евхаристии и брака священнослужителей), которые затем ратифицировались парламентом, а положение о статусе короля как главы церкви закрепилось в качестве одного из сорока двух членов символа веры (артикулов), изданных при Эдуарде VI (1552). Начиная же с первого года правления Елизаветы (1558) королевская власть была титулована «верховным правителем» (Supreme Governoe) церкви, а в 1571 г. сорок два артикула веры были сокращены до тридцати девяти, среди которых, однако, неизменно сохранялся артикул о монархе как главе церкви. Именно по этим «прописям» учились идеологи русского цезарепапизма, начиная с Феофана Прокоповича, но я думаю, что Лев Исаев, а также Генрих VIII с Эдуардом VI, равно как и панегиристы Нерона и Траяна, к святоотеческой традиции, при всех их прочих достоинствах, все-таки не относятся. Поэтому я осмелись предположить, что мой оппонент трактует эту традицию излишне расширительно, включая в нее также язычников, откровенных ересиархов и даже «самых протестантов»...

Но оставим конкретный предмет беседы и обратимся к поставленному всеми «рецензируемыми» здесь статьями «Радонежа» вопросу об интеллигентии и Церкви, который еще древнее, чем проблема Церкви и монархии и к которому российское общество всегда было исключительно чувствительным. Авторы этих статей, как «индивидуальные», так и «коллективные», стоят на том, что как для интеллигентии, так для и критической рефлексии найти место в Церкви чрезвычайно трудно и поэтому Церковь должна себя от них всячески ограждать. Есть также и другие

¹⁶ Цит. по: Прот. А. Шмеман. Исторический путь Православия. М., 1993. С. 257.

люди, и они всегда в России были, которые решают тот же вопрос прямо противоположным образом, считая, что церковное предание для интеллигентии как носительницы этой критической рефлексии вполне факультативно. Однако приведенные выше примеры, которые документируются самой святоотеческой традицией (а их можно было бы значительно увеличить), позволяют предположить, что для Церкви (если речь идет о Церкви в реальном смысле слова) этой проблемы как проблемы, решаемой только в ракурсе «или—или», никогда не существовало и не существует. Равно как не существует того же соотношения «или—или» между соборным и индивидуальным церковным разумом. Следовательно, истоки антагонизма между ними следует искать как раз вне Церкви — в тех ментальностях, которые изначально не были воцерковлены.

Исторический путь Церкви от ее основания до наших дней является общеизвестную, но никогда не теряющую своей актуальности истину о том, что сама истина располагается посредине между двумя альтернативными, но реально взаимодополнительными крайностями, представляющими в общеисторической перспективе раз и навсегда сложившимися архетипы, которые впоследствии реализуются в продолжение веков, успешно адаптируясь к любой культурной среде. Два основных архетипа, составлявшие оппозиции церковному сознанию соответственно слева и справа, сложились практически одновременно — уже во II в. Речь идет о гностицизме и монтанизме, которые в одинаковой мере поставили себя вне Церкви, претендую на то, чтобы быть над нею¹⁷. Но помимо этого общего сходства они соотносились друг с другом как нечет и чет, правое и левое, квадрат и круг или прочие пары противоположностей. Гностики ориентировались на псевдоэлиту, монтанисты — на широкие массы, «пролетариев»; первые претендовали на эзотерические умозрительные спекуляции, вторые — на особый пророческий дар; первые погружались на парадигматические глубины — вторые жили и заставляли жить свое «стадо» в ожидании ближайшего конца времен; первые были равнодушны к вопросам морали — вторые были одержимы маниакальным ригоризмом; для первых был характерен принципиальный индивидуализм — для вторых подавляющая «соборность»; первые обнаруживали индифферентный «суперэкзистенциализм» — вторые обличительное сектантство; первые готовы были черпать вдохновение из любых философических источников — вторые не терпели не только философию, но и саму рациональность¹⁸.

¹⁷ Как и гностики, монтанисты считали себя людьми «духовными» — пневматиками, в отличие от «обычных» верующих, которых они называли «душевными» — психиками. См. Климент Александрийский. Строматы. IV.13.93.

¹⁸ Этому не противоречит то обстоятельство, что к монтанистам присоединился ок. 202 г. такой образованный апологет христианства как Тертуллиан, который еще до начала своей сектантской борьбы с Церковью настаивал на несовместимости Откровения с разумом и, в отличие от Учителей Церкви, видел в эзотерике философии одно лишь создание демонов, бесплодное для всякого познания истины.

Различным было и отношение Церкви к обоим этим деструктивным для нее отклонениям: гностики самим своим «эзотеризмом» поставили себя за пределы Церкви, и для нее не было особой нужды объяснять это пастыре, тогда как «демократичные» последователи Монтана и Прискилы апеллировали к ней, а потому уже в 170-е годы в Малой Азии был создан собор под председательством епископа Аполлинария Иерапольского, единодушно осудивший «новых пророков» из Фригии, и вскоре, несмотря на их «интриги» с галльскими исповедниками, то же решение вынесли и западные епископы¹⁹. Тем не менее Церковь рассматривала и тех и других как вполне находящихся за своими границами и принимала в общение выходящих из их среды лишь по чину повторного крещения²⁰.

¹⁹ Основной источник по монтанизму, в т.ч. по антимонтанистским соборам, из которых названный собор был уже последним и решающим, — сочинение Евсевия Кесарийского (260—340 гг.) «Церковная история» V.14-19. Евсевий опирается на первого полемиста — Мильтиада, а также на сочинения названного Аполлинария Иерапольского и другого малоазийского церковного автора II в., Аполлония. Другие древние источники — «Панарион» св. Епифания Кипрского («О катафригах»), сочинения богословов Александрийской школы — Климента и Дидима. Более поздние сведения собраны у епископа Луккского И. Манси — в дополнении к «Коллекции соборов и декретов» Н. Колетти (1748 г.). О неоднократных церковных осуждениях Монтана и его пророчиц свидетельствует с ссылками на надежный источник Евсевий (V.16.10). Среди ранних научных исследований по монтанизму следует выделить: *Schwegler F.K.A. Der Montanismus und die christliche Kirche. Tübingen, 1841.* Классический труд: *Bonwetsch G.N. Zur Geschichte des Montanismus. Die Geschichtsquellen. Das Wesen des Montanismus. Döbrat, 1881.* Монография содержит обстоятельныйнейший свод источников, анализ формы и содержания «нового пророчества» Монтана (отношение к браку, постам, внецерковной культуре, монтанистские «мистерии» и покаянная дисциплина), определение общего характера монтанизма. Лучшее изложение материала на русском языке: *Балотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. II. М., 1994. С. 348—367*, наиболее фундированное (особенно в связи с противомонтанистскими соборами): *Покровский А.И. Соборы древней Церкви эпохи первых трех веков. Историко-каноническое исследование. Сергиев Посад, 1914. С. 97—166.* В связи с метаморфозами монтанизма в последующие века см.: *Gwatkin H.M. Early Church History to A.D.313. Vol. II. L., 1909. Р. 74—75.*

²⁰ См. 7-й канон II Вселенского Собора: «...Евномиан же, единократным погружением крещающихся, и монтанистов, именуемых здесь фригами, и савелиан, держащихся мнения о сыноотечестве и иное нетерпимое творящих и всех прочих еретиков... всех, которые из них желают присоединены быти к православию, приемлем якоже язычников». Этому канону II Собора соответствует 95-й канон VI Вселенского собора. В I каноническом послании Василия Великого к Амфилохию Иконийскому (370-е годы), где различаются ереси, расколы и самочинные сборища, монтанисты («пепузиане») включаются в первую группу с формулировкой: «Ереси

Компоненты гностицизма и монтанизма как «естественные факторы» предоставленного себе (при «отступлении» от него благодати) менталитета существуют с необходимостью в каждом церковном организме в самые различные эпохи. Но, подобно двум основным началам китайской натур-философии инь и ян, в каждом случае в разных пропорциях. В России архетип монтанизма, ввиду некоторых особенностей русской души, всегда брал верх над противоположным. Монтанистские черты однозначно прослеживаются, как отмечалось уже выше, в эсхатологической патетике концепции «Москва — третий Рим», в эсхатологической истерии раскола (обнаруживающей самые конкретные сходства с энтузиазмом фригийских «пророков»²¹), в «огненных» выступлениях главного оратора гонителей Библейского общества новгородского архимандрита Фотия (Спасского) и некоторых других ревнителей «обратного хода». Позднее они явственно проступают в агитации сектантских проповедников вплоть до самого конца дореволюционного периода. В постсоветский период, с освобождением церкви от внешней опеки государства, выявляется практически полный спектр возможностей монтанистского архетипа религиозного сознания.

Так, среди широко распространяемой сегодня в нашей стране церковной литературы очень солидный удельный вес принадлежит разного рода руководствам по распознаванию точных признаков и времен пришествия антихриста (издается даже непериодический журнал «Антихрист в Москве», в котором, как видно уже из его названия, этот персонаж оказался не только вполне выявлен, но и пространственно выверен). Ригористическим увлечениям монтанистских «старцев» и «старниц», со всеми конкретными вытекающими из них проявлениями абсурда, соответствует нынешнее «младостарчество», пафос которого состоит в «отсечении воли» у мирян и в особенности мирянов и предании этой воли в длани

же суть, например: манихейская, валентинианская, маркионитская, и сих самых пепузиан. Ибо здесь есть явная разность в самой вере в Бога. Почему, от начала бывшим отцам, угодно было крещение еретиков совсем отметати». В последнем случае под ересью подразумевается радикальная несовместимость с самим христианством, и показательно, что «пепузиане» поставлены в один ряд с манихеями и двумя основными группами гностиков — последователями Валентина и Маркиона. См.: Книга правил святых апостол, святых соборов вселенских и поместных и святых отец. Троице-Сергиева Лавра, 1992. С. 45, 114, 307.

²¹ Так, когда Лев Исавр издал в 724 г. закон, принуждавший монтанистов переходить в церковь (эта дата считается верхней границей их существования), данная мера пробудила у них такой «энтузиазм», что некоторые стали сжигать себя вместе со своими молитвенными домами — совсем как последователи протопопа Аввакума, не желавшие сдаваться антихристу в «последние времена». См.: Балотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. II. С. 353. Совершенно сходным с монтанистским было отношение раскольников и к светской культуре.

«батюшки-подвижника»²². Сектантское самодистанцирование «пепузиан» и «фригов» от всего христианского мира воспроизводится во многих проповедях, в которых ответственность за все бедствия мира возлагается на дух отступничества (апостасии) западных христиан (начиная с великой схизмы), между которыми, разумеется, нет смысла проводить хоть какие-то различия, ибо никто из них Царства Божия не наследует. Неприязнь стада Монтана и Прискилы к общечеловеческой культуре, которая греховна как сама человеческая плоть и уж совсем неуместна в эпоху «исполнения времен», находит также самое звучное эхо в рассуждениях иных нынешних «пастырей и учителей». Наконец, объект особой неприязни и в современном монтанизме — индивидуальный разум: признаком истинного благочестия является без рассуждения «хранить» то, что досталось в наследие от благочестивых предков, которые были благочестивыми якобы именно потому, что никогда не «умствовали», а все только «хранили», тогда как плодом любых «рассуждений» (не говоря уже о философии, родной матери всех ересей) может быть только апостасия, до которой дорассуждались «западные» и дорассуждаются наши, коим не достаточно того, что хранили предки... Особенность теперешней ситуации видится в том, что если указанные мироощущения и мировоззрения были достаточно распространены и в дореволюционный период, то им всё же в гораздо большей мере противостояли и носители высокой академической культуры, и истинные старцы, тогда как в нынешние времена очевидный мар-

²² Достаточно сказать, что одним из важнейших предметов «догматических» дискуссий монтанистов был вопрос о том, как толковать положение 1 Кор 11: 5-13, где говорится о том, чтобы «жены» присутствовали на богослужении с покрытой головой. Монтанистские «фундаменталисты» настаивали на том, что оно должно соблюдаться и девицами, при этом «левые» среди последних допускали покрывала для девиц сообразно с их желанием, тогда как «правые» считали покрывала для них принудительно обязательными. Монтанистам были «откровения» не только об этом, но и о том, какой длины должны быть эти покрывала. См.: Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. Т. II. С. 363. Некоторые наши нынешние «старцы в миру» также имеют «откровения», какой именно длины должна быть женская юбка, какие музыкальные инструменты для приходских концертов являются «грешными» и какие «безгрешными». Послушание новоявленным «старцам», настаивающим на усиленных постах, бдениях и прочих аскетических подвигах для мирян считается главной добродетелью их пасомых. С «отсечением воли» согласуется и «отсечение ума», когда «дианозитической добродетелью» почитается не верить глазам своим, что скатерть белая если «старец» говорит, что она черная. Наградой за «отсечение ума» закономерно являются «откровения», видения и прочие харизматические дары. Среди антологий по «послушанию в миру» можно рекомендовать, к примеру, книгу: Иеросхимонах Сампсон Сиверс. Т. 1. Жизнеописание старца иеросхим. Сампсона. Т. 2. Беседы и поучения старца иеросхим. Сампсона. Т. 3. Письма (Ч.1—2). М., 1995.

гиализм все более выдается за норму и отождествляется с Православием как святоотеческим преданием.

Таким образом, нельзя еще раз не отметить, что клич о том, что «для новых гонений на Церковь всё уже подготовлено», крестовый поход против благотворительности, разоблачение академиков и несостоявшийся разгром «критически мыслящей интеллигенции» — всё это объединяется чем-то значительно большим, чем всего лишь простая публикация в общем печатном органе. Речь идет о бесспорной тенденции, имеющей очень длинную историческую генеалогию, восходящую еще к первым векам христианства и завершающуюся сравнительно недавней эпохой «культурной революции». Конечно, мы живем в эпоху плюрализма (на который так горько сетуют представители рассмотренного направления, но благодаря которому они только и могут беспрепятственно выражать все свои оценки современных явлений и свои чаяния в связи с будущими). Однако даже и в эпоху плюрализма только с большим трудом можно представить себе, что объем понятия *право-славия* настолько широк, чтобы включить в себя рассмотренные интенции мысли и души, которые и сущностно и в истории были с ним несовместимы.

Остается лишь надеяться на то, что Церковь, которой удалось восемнадцать веков назад преодолеть «фригийский уклон», сможет всегда отделить норму от маргинализма, несмотря на количественную масштабность последнего и его претензии на нормативность. Ее исторический опыт во времена упоминавшихся выше представителей «критически мыслящей интеллигенции» Максима Исповедника и Феодора Студита, которые были в свое время в абсолютном меньшинстве, делает эти надежды небезнадежными.

От редакции

В № 179 газеты «Известия» от 22 сентября с.г. в статье Натальи Селивановой «Букер и пустота», посвященном финалистам Букеровской премии, о романе Анатолия Азольского «Клетка», вошедшем в финальный список, а позднее удостоенном главной Букеровской премии, сказано, что этот роман был «отвергнут в свое время журналом «Континент». Мы не знаем из каких источников почерпнула автор статьи эту информацию, приведенную ею как бы в поддержку ее собственного отношения к роману, не вызвавшему у нее симпатий, но должны заявить со всей категоричностью, что информация эта совершенно не соответствует действительности. Анатолий Азольский — давний и постоянный автор «Континента», мы всегда охотно его печатаем, и не случайно именно в нашем журнале были опубликованы и две замечательные, на наш взгляд, его повести — «Окурки» (№ 76) и «Берлин—Москва—Берлин» (№ 79), и очерк «Кто убил Кирова» (№ 82), и рассказы из цикла «Охоги» (№ 89). Поэтому не случайно и то, что именно редакции «Континента» Анатолий Азольский показал вначале и свой роман «Клетка», от печатания которого мы, однако, с великим сожалением должны были отказаться по той же самой причине, по которой «Континент», выходящий всего четыре раза в год, вообще никогда не печатает прозу крупных жанров и любых других авторов, не умещающуюся в пределах одного номера. В результате автор «Клетки», с полным пониманием и без всяких обид принявший эту ситуацию, предложил роман «Новому миру», который напечатал его в двух номерах, а специально для «Континента» Анатолий Азольский написал новую повесть, которую мы и предлагаем вниманию читателей в этом номере. Соответствующее опровержение по поводу якобы «отвергнутого» нами романа «Клетка» было отослано в «Известия» сразу же после появления заметки там Н. Селивановой, но редакция газеты не сочла, увы, возможным не только напечатать наше письмо, но даже хотя бы ответить нам, что мало согласуется с принципами журналистской этики, декларируемыми этой газетой, и что и вынуждает нас поместить настоящий текст на страницах «Континента». Кстати, роман Азольского и публично получил очень высокую оценку в нашем журнале — в разделе БСК (№ 89) и в статье Евгения Ермолина «Вчера, сегодня, всегда» (№ 92). Так что присуждение Анатолию Азольскому Букеровской премии за этот роман мы восприняли с глубоким удовлетворением и искренней радостью за автора. Мы пользуемся случаем, чтобы от души поздравить Анатолия Азольского с заслуженным успехом и пожелать ему доброго здоровья и новых творческих свершений, которые не обойдут, мы уверены, стороной и страницы нашего журнала.

Мы поздравляем с большим успехом и признанием и другого постоянного автора нашего журнала, Юрия Малецкого, повесть которого «Любью», напечатанная в № 88 «Континента», тоже вошла в число шести букеровских «финалистов», и выражаем надежду, что и он тоже еще не раз порадует своими новыми произведениями читателей нашего журнала.

ПОПРАВКИ

В № 93 в сноске на с. 199 вместо «Новый мир», 1996, № 3» следует читать: «Новый мир», 1997, №3».

На с. 210 (3-я строка сверху) вместо «Врангеля Николая Николаевича» следует читать: «Врангеля, Николая Николаевича».

Художник *В. Лаврентьев*

Компьютерный набор и верстка *М. Егоровой*

ЛР № 0101184

Подписано в печать 16.12.97. Формат 84x108/32. Бумага офсетная.
Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0. Тираж 6000 экз.
Заказ № 196

Адрес издательства «Московский рабочий»
и редакции журнала «Континент»:

101923, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8
Тел. редакции: (095) 928-97-42

Отпечатано в Московской типографии № 13 Комитета РФ по печати.
107005, Москва, Денисовский пер., 30

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

**ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ
«КОНТИНЕНТ»**

принимается во всех отделениях связи России.
Наши подписные индексы в каталоге «Роспечати»

73218

и

71682

(годовая подписка)

Поскольку очередные номера журнала выходят в конце каждого квартала, годовая и полугодовая подписка на «Континент» 1998 года может быть осуществлена до февраля 1998 года.

Благодаря ИНКОМБАНКу, генеральному спонсору журнала, каталожная цена подписки на «Континент», самый «толстый» журнал России, намного ниже, чем на любой другой «толстый» журнал — 16 000 р. на полгода, 32 000 р. на год.

В помещении редакции «Континента» ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 12.00 до 15.00 можно оформить льготную подписку на журнал с любого номера и на любой срок на условиях самостоятельного получения выходящих номеров в редакции

* * *

«КОНТИНЕНТ»

высылается по индивидуальным заказам агентством
«Книга-сервис» — тел.: (095) 129-29-09

Жители Москвы и Московской области
могут покупать выходящие номера журнала в редакции,

* * *

«КОНТИНЕНТ»

приглашает на льготных условиях распространителей
и рекламных агентов

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ИНКОМБАНКА,**

генерального спонсора журнала,
и других предпринимательских структур
позволят редакции «Континента» предоставлять

**БЕСПЛАТНУЮ ПОДПИСКУ
БИБЛИОТЕКАМ РОССИИ**

на условиях самостоятельного получения
выписанных экземпляров в редакции журнала
или оплаты почтовых расходов по их пересылке.

Для оформления библиотечной подписки
необходимо прислать на адрес журнала
заявку и гарантийное письмо,
определенную способ получения
выписанных экземпляров.

**ПЕРЕСЫЛКУ ПО ПОЧТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ТОО «Центрэкс»**

ИНН 7712021130,
р/с 3467739 в Железнодорожном филиале МИБ,
БИК 044583438,
кор. сч. 438161200

**В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ ЖУРНАЛА «КОНТИНЕНТ»
БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ:**

Новые стихи

**Евгения Блажеевского
Анны Наль**

**Евгения Рейна
Олега Чухонцева**

Новые повести и рассказы

**Анатолия Азольского
Сергея Бабаяна
Владимира Илюшенко**

**Сергея Каледина
Евгения Попова
Евгения Федорова**

**В разделах
РОССИЯ, РЕЛИГИЯ и ГНОЗИС**

- Материалы конференции «Шестидесятники о шестидесятых» (Москва, октябрь 1996);
- материалы Вторых Чтений памяти В.Е. Максимова «Прошлое, настоящее, будущее России» (Москва, июнь 1997);
- статьи и очерки Сергея Аверинцева, священника Иллариона Алфеева, Юрия Н. Давыдова, Наума Коржавина, Лидии Польской, Григория Померанца.

**В разделах
ПРОЧТЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ, ИСКУССТВО**

- Статьи и очерки Игоря Виноградова, Евгения Ермолина, Якова Кротова, Павла Басинского, Инны Ростовцевой;
- беседы о современном искусстве с Сергеем Арцыбашевым, Анатолием Васильевым, Аллой Демидовой, Валерием Евдокимовым, Сергеем Женовачем, Евгением Колобовым, Эрнстом Неизвестным, Кареном Шахназаровым, Сергеем Юрским;

сийской мафиозно-номенклатурной псевдodemократии, способной привести страну к тотальной катастрофе, — **это Ваш журнал**;

— Если Вы сознаете, что возрождение России невозможно вне общих для современной цивилизации измерений демократии и либеральной экономики, способной стимулировать развитие национального производства, науки и культуры, обеспечить надежную социальную защиту и гражданский порядок, но при этом отдаете себе отчет и в том, как гибельны поиски таких путей не в русле органического для России опыта ее истории, ее духовных традиций и ее самосознания, а по чужим образцам и вехам, — **это Ваш журнал**;

— Если Вам дороги наши национальные традиции, духовная и культурная уникальность России, но Ваше национальное достоинство оскорбляет всякий крен в сторону шовинизма, ксенофобии, националистических мессианских или имперских амбиций, — **это Ваш журнал**;

— Если Вы, будучи верующим или неверующим, понимаете, как много может сделать Русская Православная Церковь для возрождения России, но видите всю опасность намечающегося опять сращения ее с государством и трансформации в своего рода духовно-идеологическое ведомство при нем; если Вы приветствуете только подлинную свободу ее деятельности в обществе, несовместимую ни с какими правовыми конфессиональными привилегиями ни для нее, ни для других конфессий и ни с каким подчинением ее собственной жизни тотальной фундаменталистской политизации, диктатуре и казарменности, — **это Ваш журнал**;

— Если Вы открыты в искусстве любым формальным поискам вплоть до чисто игровых эстетических конструкций, но отстаиваете при этом приоритет его духовно-эстетической содержательности; если Вы стоите на том, что духовное безразличие и тем более ценностно-нравственный релятивизм разрушительны для него, а потому Вам и сегодня дорога классическая русская культурная традиция, всегда исходившая из признания высокой духовной значимости искусства как формы творческого искания и утверждения Истины, Добра и Красоты, — **это Ваш журнал**;

— И даже если, наконец, Вы по каким-то из этих позиций и не совпадаете с нами, но готовы их обсуждать и Вам важно знать, какие точки зрения на этот счет существуют, — **это всё равно Ваш журнал**. Потому что, как уже сказано, именно готовность к серьезному обсуждению любых проблем — наш непременный и важнейший принцип. «Континент» всегда хотел бы оставаться и в этой области континентом порядочности, честности и добросовестности, журналом подлинной культуры дискуссий, терпимости и уважения к любому добросовестному мнению, какое бы мировоззрение, религию или культуру оно ни выражало. Это всё тоже входит в наш журнальный кодекс чести, и всё это мы тоже имеем всегда в виду, когда говорим о «Континенте» как о журнале, который хотел бы и всегда стремится быть журналом **христианской** культуры.

①K